



А. И. ДЕНИКИН

СТАРАЯ АРМИЯ
ОФИЦЕРЫ





А. И. ДЕНИКИН

СТАРАЯ АРМИЯ

ОФИЦЕРЫ



МОСКВА

АЙРИС  ПРЕСС

2005

УДК 94(47+57)
ББК 63.3(2)612-414.81
Д33

Редакция благодарит Л. Ю. Тремсину и А. С. Кручинина
за содействие в подготовке издания

Оформление *А. М. Драгового*

Деникин, А. И.

Д33 Старая армия. Офицеры / А. И. Деникин; предисл.
А. С. Кручинина. — М.: Айрис-пресс, 2005. — 512 с.:
ил. + вклейка 8 с. — (Белая Россия).

ISBN 5-8112-1411-1

Сборник включает никогда ранее не издававшиеся в России книги генерала А. И. Деникина, написанные им уже в эмиграции. Два выпуска книги «Старая армия» (1929 и 1931 гг.) посвящены различным аспектам жизни Русской Армии с 90-х годов XIX века до Первой мировой войны. В воспоминаниях кадрового офицера предстают яркие картины жизни и быта военной среды — от юнкерского училища до Академии Генерального штаба, от службы в артбригаде в захудалом местечке на западной границе Империи до военных смотров в столичном Петербурге. Очень ценными представляются наблюдения автора о взаимоотношениях Армии и общественности накануне революции 1905 г. и Великой войны. Отчуждение образованного слоя русского общества от Армии обернулось впоследствии непоправимой трагедией для всей страны.

Сборник рассказов «Офицеры» (Париж, 1928) повествует о драматичных судьбах белых офицеров, прошедших мясорубку Гражданской войны и выброшенных за пределы своей родины, но не сломленных духом и готовых сражаться за ее свободу до конца.

ББК 63.3(2)612-414.81
УДК 94(47+57)

© Предисловие, оформление,
Айрис-пресс, 2005

ISBN 5-8112-1411-1

«НУЖНО ПИСАТЬ ПРАВДУ...»

(Военный историк и писатель А. И. Деникин)

Действительно ли музы умолкают, когда приходит черед говорить пушкам? И насколько возможно служение двум этим стихиям — высокому искусству и суровому делу войны, адепты которого также относят его к искусствам, нередко встречая при этом возражения служителей муз? Не претендуя на всеобъемлющий ответ, вспомним все же, что среди спутниц Аполлона есть и строгая Клио, не только вызывающая на свой суд и простых солдат, и великих полководцев, но и побуждающая их самих то и дело браться за перо, оставляя потомкам горделивые реляции и тягостные раздумья, патетические речи и бытовые зарисовки, документальные повествования и художественные впечатления от прежних боев и походов, побед и поражений. Богатейшая библиотека военных мемуаров и исторических сочинений, написанных не просто свидетелями, а непосредственными участниками событий, берет начало еще в античную эпоху, — но и в этом потоке не затеряются многочисленные труды русских изгнанников, покинувших родную землю после неудачи в Гражданской войне, оказавшихся бессильными против охватившей Россию Смуты; и даже среди них не затеряется имя того, чей труд, пожалуй, больше, чем чей-либо еще, и закрепил в нашем сознании именно это название эпохи — *Русская Смута*.

Этим *военным писателем* был генерал Антон Иванович Деникин.

* * *

Сегодня уже нет нужды специально отмечать «литературные» страницы биографии Антона Ивановича. Переиздания — полные или фрагментарные — его работ, статьи и целые книги, посвященные этому выдающемуся, наделенному свыше разнообразными талантами человеку, восстанавливая историческую справедливость, прочно связали Деникина — мемуариста и литератора с Деникиным-полководцем, представляя читателям обе стороны его деятельной натуры. И все же в первую очередь Деникин,

разумеется, остается в истории генералом, героем Русско-Японской и Первой Мировой войн, а в 1918–1920 годах — одним из вождей Белого движения, Главнокомандующим Добровольческой Армией и Вооруженными Силами Юга России. Сын офицера, выслужившегося из солдат, сам выучившийся, что называется, на медные деньги, знавший и «лямку» строевика, и аудитории Академии Генерального Штаба, беспокойный правдоискатель, не боявшийся конфликта с военным министром, штабной работник, не задерживавшийся в штабах и всегда стремившийся в опасную боевую обстановку, где «головы плохо держались на плечах», не утративший задора и воинского темперамента и во главе многотысячных армий, которые он вел под знаменами Белого Дела — таким был *Русский Офицер* Деникин... и таким же он был и в своих литературных трудах.

В самом деле: вот подполковник Деникин в Маньчжурии, впервые получив — по собственной инициативе — самостоятельную задачу и пусть небольшой, но отдельный отряд, — принимая над ним командование, слышит от бывшего начальника: «Слава Тебе, Господи! По крайней мере, теперь в ответе не буду», — и с горечью отмечает: «Сколько раз я встречал в армии — на высоких и на малых постах — людей безусловно храбрых, но боявшихся ответственности (во всех цитатах выделения — разрядка, курсив и проч. — первоисточника. — А. К.)!»¹; и, как бы в противовес этой распространенной боязни, разве не чувство неуспокоенной *ответственности*, сопричастности всему происходящему вокруг и невозможности устраниваться, умыть руки, — будет руководить Деникиным-литератором, когда ему, в силу ли невысокого служебного положения или вынужденного эмигрантского бездействия, останется только перо и бумага для отстаивания своей позиции?

Вот — весной 1918 года, в трудную минуту Первого Кубанского похода Добровольческой Армии, которой в очередной раз грозит полное уничтожение, собираются последние резервы вокруг одного из вождей Белого Дела — генерала М. В. Алексеева, и последний рубеж обороны намечается на пороге комнаты, где лежит больной генерал... «Я вышел на крыльцо, — рассказывает один из прибли-

женных Алексеева. — На перильцах сидел генерал Деникин, как всегда, в пальто и шапке, с карабином в руках.

— Ваше превосходительство, вы с нами?

— Шел мимо. Тут генерал?

— Да, болен.

— Знаю.

Он шел мимо и зашел, чтобы умереть вместе»², — и разве не одна и та же скромная русская *совестливость* проявилась и в этом простом ответе и простом решении «умереть вместе», — и в деникинских литературных трудах?

Вот — в кошмарные дни того периода революции, который сам Деникин через несколько лет назовет «крушением власти и армии», не только не имея способа повлиять на новых «временных» правителей России, но и будучи по сути дела лишенным даже дисциплинарной власти по отношению к собственным подчиненным, он произносит громовые речи — казалось бы, всего лишь еще несколько речей в потоке риторики, захлестнувшем страну, — но в них столько живой боли, они, в отличие от подавляющего большинства всего, что говорилось в безумный 1917 год, настолько выстраданы, настолько честны и настолько бесстрашно идут против течения, что становятся поистине голосом лучшей части офицерства, а сам их автор — своего рода «народным трибуном», глашатаем всех, остающихся верными долгу солдата; и разве не столь же бесстрашно будет он идти, когда того потребуют его убеждения, и против течения «общественной мысли» на страницах эмигрантской печати, проявляя ту способность противостоять «террору» преобладающего мнения, которая по справедливости должна быть отнесена к наиболее трудным задачам для всякого, берущегося за перо?

Надо сказать, что литературное творчество Антона Ивановича с самого начала развивалось под знаком сопротивления косности, протеста против несправедливости, провозглашения и отстаивания собственных взглядов даже вопреки устоявшимся. Молодым офицером он будоражил своими корреспонденциями провинциальное захолустье погрязших в рутине армейских гарнизонов и вполне достойного их местного «общества». Годы спустя, уже занимая ответственный пост и будучи штаб-офицером, успевшим отли-

читься на Японской войне, «удостоился» даже замечания-предупреждения от прямого начальника: «Охота вам меня трогать...»³ — предупреждения, *естественно*, не возымевшего действия; и странной иронией кажется сегодня, что репутация бунтаря подчас приводила в то время к характеристике Деникина как «красного»⁴ — Деникина, в недалеком будущем белейшего из Белых генералов!

Об этом раннем своем «писательстве» под псевдонимом «И. Ночин» (дочь генерала считает, что в нем «ночь» противопоставлялась «дню»; якобы звучащему в фамилии Деникин⁵; по другой версии, «для большинства офицеров [сослуживцев], знавших, почему на казенной квартире Деникина ночь напролет горит свет, было ясно, кто скрывается под псевдонимом “Ночин”»⁶) Антон Иванович вспоминал, по-видимому, с удовольствием и даже не без некоторой гордости, через много лет не удержавшись, чтобы не пересказать в мемуарах сюжеты некоторых из своих давних очерков⁷. В те же годы складывалось и политическое мировоззрение Деникина, сформулированное им позже в трех основных положениях: «1) Конституционная монархия, 2) Радикальные реформы и 3) Мирные пути обновления страны»⁸.

Это будут (и чаще всего — с осуждением) определять впоследствии как «либерализм», и сам генерал, очевидно, если и не склонялся к тому же определению вполне, то по крайней мере принимал его, написав в 1924 году в частном письме: «Взыскую либерализма и болею над его немощами... Что же, это верно. То же и с Армией (очень значимое сопоставление в устах Деникина! — А. К.)... Так — любят иной раз близкого человека со всеми его слабостями и недостатками»⁹. Однако не зря генерал граф Ф. А. Келлер, в годы Первой Мировой войны бывший одно время начальником Деникина, писал ему в 1918 году: «В Вас я верю, считал Вас всегда честным монархистом...»¹⁰ (при том, что Деникин, по многочисленным отзывам, был органически неспособен ко лжи, притворству и «мимикрии»), а на прямой вопрос того же Келлера в личной беседе — «Скажите мне, наконец, ваше превосходительство, кто вы и что вы такое» (прямолинейного монархиста стала раздражать политика непредрешения государственного строя

России, проводимая командованием Добровольческой Армии) — Антон Иванович, по рассказу предубежденного графа, «skonфузился и отвечал: “я монархист”, и поспешно добавил: “я конституционный монархист”»¹¹, — так что монархический принцип в душе Деникина главенствовал — пусть и «skonфуженно» и с «конституционной» оговоркой — даже в смутные времена, когда ревизия прежних убеждений становилась делом весьма распространенным.

Но и в начале века, когда тридцатилетний офицер на ошупь подходил к своим «трем положениям», его «либерализм» не укладывался в рамки общепринятого толкования этого термина — недаром Деникин как единственно возможное решение воспринял жесткие меры правительства по подавлению бунтов 1905 года и суровые, вошедшие в пословицы фразы П. А. Столыпина, обращенные не только к революционному подполью, но и к сочувствующим из «конституционной» Думы: «Не запугаете!», «Вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия!» Интересно также отметить, что в таком важном для государства вопросе, как итоги Русско-Японской войны и перспективы ее продолжения (в случае, если бы не состоялся Портсмутский мир), Деникин и в последние годы жизни провозглашал убежденно: «...принимая во внимание все “за” и “против”, не закрывая глаза на наши недочеты, на вопрос — “что ждало бы нас, если бы мы с Сипингайских позиций перешли в наступление?” — отвечал тогда, отвечая и теперь:

— Победа!» —

и горько сожалел, что в Портсмуте «армию не спросили», а «Петербург “устал” от войны более, чем армия»¹². До некоторой степени это приобретает значение и в связи с вопросом о «либерализме» Деникина, поскольку один из столпов либерализма подлинного, безо всяких кавычек (впрочем, наряду с этим и убежденный государственный), фельдмаршал Д. А. Милютин, на склоне лет вынес уничтожающий приговор подобным взглядам: «...Приходилось порадоваться прекращению войны. Только отчаянные шовинисты могли бредить о реванше»¹³ (статья была опубликована после смерти ее автора, в 1912 году, в «Известиях Императорской Николаевской Военной Академии»¹⁴, и

следивший за военной литературой Деникин вряд ли мог ее пропустить). И, возможно, уже персонально к Деникину — автору «Армейских заметок» в журнале «Разведчик» отнес бы ту же характеристику «шовиниста» фельд-маршал, доживи он до 1914 года и прочитай страстный призыв к укреплению *духовной* боеспособности России и ее Армии («накануне уже неизбежной отечественной войны наши власти старательно избегали возбуждения в народе здорового патриотизма, разъяснения целей, причин и задач возможного конфликта, ознакомления войск со славянским вопросом и вековой борьбой нашей с германизмом»): «Духа не угашайте!»¹⁵ Не оставим без внимания и выбор глубоко и искренне верующим Деникиным этой новозаветной цитаты (1 Сол. 5:19), вольно или невольно сопоставляющий дело защиты земного Отечества с проповеданными Апостолом путями стяжания Отечества Небесного. Итак, не был ли Антон Иванович во многом чужд российскому либерализму в его сложившихся к началу XX века исторических формах?

Как представляется, мировоззрение Деникина скорее можно описать введенным П. Б. Струве термином «либеральный консерватизм», который, несмотря на внешнюю парадоксальность, заключает в себе достаточно глубокий смысл. «Суть либерализма, как идейного мотива, заключается в утверждении свободы лица. Суть консерватизма, как идейного мотива, состоит в сознательном утверждении исторически данного порядка вещей, как драгоценного наследия и предания», — пишет Струве¹⁶. «Либеральный консерватизм означает, таким образом, — раскрывает его мысль эмигрантский исследователь, — одинаковую любовь к началам и идеям свободы и власти, *свободы и порядка*, реформаторства и преемственности. Главная задача — и в то же время главная трудность — для носителей этой политической идеологии всегда заключалась в нахождении правильного «сочетания порядка и свободы *в применении к историческому развитию и современным потребностям*»¹⁷, — что, собственно, представляет собою отказ от догматизма во имя естественного развития живого национально-государственного организма. Размышляя, уже в эмиграции, о будущем Отчизны после ее освобождения от большевиков,

Струве подчеркивал: «...У нас нет политических рецептов, а есть ясная и твердая мысль — России нужны: прочно огражденная *свобода лица* и сильная *правительствующая власть*»¹⁸, — и это вполне совпадало с позицией Деникина как по сути, так и в вопросе частном — пресловутого «непредрешенчества» судеб освобожденной страны.

Не меньше соответствуют деникинским взглядам и «ясное сознание и твердое убеждение» Струве, «что духовная крепость и свобода лица, мощь и величие государства в своих глубинах, основах и истоках восходят к непреложным религиозным началам. Отрываясь от этих начал, личность духовно никнет и мельчает, корни ее свободного бытия иссыхают. И государство, которое отнюдь не представляет просто технического приспособления, а есть некий таинственный сосуд национальной, духовной и жизненной энергии, испытывает ту же судьбу, когда отрывается от религиозных начал»¹⁹; и чтобы еще раз убедиться в близости взглядов, достаточно сравнить с этими высказываниями мысли, звучавшие в 1919 году в официальных документах, подписанных Главнокомандующим Вооруженными Силами Юга России, — «твердое убеждение, что возрождение России не может совершиться без благословения Божия и что в деле этом Православной Церкви принадлежит первенствующее положение, подобающее ей в полном соответствии с исконными заветами истории»²⁰, и прямую апелляцию к религиозному авторитету: «Велико должно быть значение мудрого голоса Церкви и в настоящую тяжелую для государства годину, когда во многих местах его под напором большевизма и низменных страстей рухнули основы религии, права и порядка, и русские люди, забыв стыд и долг свой, глумятся над растерзанной и истекающей кровью Родиной. В такое тяжелое время глубоко отрадно вновь услышать голос Православной Церкви, и я верю, что по молитвам ее Господь Бог укрепит нас в нашем трудном подвиге и Десницею Своею благословит наше правое дело на благо и величие горячо любимой Матери России»²¹.

Применение к взглядам Антона Ивановича термина «либеральный консерватизм» кажется нам оправданным и еще по одной причине. Подобно тому, как в самом тер-

мине именем существительным является все-таки консерватизм, — и в мироощущении Деникина либеральная составляющая относится скорее не к глубинным основам, а к общественно-политическому темпераменту, который не раз побуждал его обладателя к громкому протесту и, в конечном счете, соотносению себя с определенным политическим направлением (хотя и с неперменной оговоркой: «...не принимая активного участия в политике и отдавая все свои силы и труд армии»²²). В то же время противоположный лагерь — демонстративно-консервативный, присваивавший себе — не всегда оправданно — привилегию на патриотизм и «охранительство» (как «либеральная общественность» — патент на «выражение народных чаяний»), — также должен был оказаться для него во многом чуждым, несмотря на близость основополагающих государственных идей.

Так, Деникин, конечно, разделял обеспокоенность кризисным положением вооруженных сил в первые годы после Японской войны, звучавшую в статьях М. О. Меньшикова — одного из ведущих перьев «правой» журналистики, перед лицом «бегства офицеров из армии» взывавшего: «Измените психологические условия офицерской службы — и бегство остановится. Сделайте службу интересной — и бегство остановится. Отодвиньте позор войны и верните почет, сделайте так, чтобы офицер не краснел в обществе и не чувствовал себя неловко даже в своем кругу, — и бегство остановится»²³, — но вряд ли сам должен был «чувствовать себя неловко» и признавать справедливыми слова о «позоре войны», которая, как мы знаем, по его мнению была проиграна не военными, а политиками, не Армией, а обществом; и еще менее — поддерживать призывы сделать «мечтой хотя бы нескольких поколений» — «блестящую, победоносную войну», «панацею всех военных бед», к которой Меньшиков фактически рекомендовал «втайне готовиться [...] всеми силами, всей жадой духа»²⁴.

Нам представляется, что налицо коренное различие в подходах к будущей войне — суровой необходимости для потомственного солдата Деникина (отсюда и его «духа не угашайте!») и отвлеченной, отдающей чуть ли не нищанством химере для штатского журналиста Меньшикова:

профессиональный военный видит делом Армии *служение* в грядущих сражениях Отечеству, России, народу, в то время как публицист по сути дела приближается к утрированному лозунгу «война для Армии», когда и существование последней, и боевая слава, и прекращение «бегства офицеров» превращаются практически в самоцель.

Патриотизм Антона Ивановича вообще носил не умозрительный, выношенный в редакциях и кабинетах политиков и журналистов, а жизненный, если угодно, практический характер, — и в кризисные годы полковник Деникин, как в свое время и подпоручик Деникин, как в недалеком будущем и генерал Деникин, — не только сам был отнюдь не из тех, кто «бежал», не дождавшись, чтобы кто-то другой «сделал ему службу интересной», но и хорошо представлял себе — как строевой и штабной офицер и как военный писатель — тот преобладающий, несмотря ни на что, слой армейских подвижников, который вытягивал тяжелый воз военного строительства и чьими трудами служба, собственно, и становилась «интересной» не только для офицеров, но и для призванных по воинской повинности нижних чинов. Здесь в Деникине проявилось счастливое сочетание литератора — и труженика, способного свои доверенные бумаге мысли и взгляды воплощать в действительность; и, вспоминая через много лет сложные, но непосредственно связанные с жизнью и с будущей боевой работой задачи, которые он тогда ставил своим подчиненным (пока на полях маневров), старый генерал писал: «Надо было видеть, с каким увлечением и радостью все чины полка участвовали в таких внепрограммных упражнениях и сколько природной смекалки, находчивости и доброй воли они при этом проявляли»²⁵.

И потому в те же годы, когда Меньшиков бил тревогу по поводу «бегства из армии», Деникин видел и другое. «Наряду с “бегством” одних, яркая картина очевидной и угрожающей нашей отсталости для большинства послужила моральным толчком к пробуждению, в особенности среди молодежи, — вспоминал он. — Никогда еще, вероятно, военная мысль не работала так интенсивно, как в годы, последовавшие после японской войны. [...] Усилилась потребность в самообразовании, и сообразно с этим значи-

тельно возрос интерес к военной литературе, вызвав появление новых органов...»²⁶ Жизнь оказывалась сложнее газетных схем, тем более что последние всегда готовы были приносить ее в жертву патетике или отвлеченным рассуждениям. «В 1907 году, например, когда обращено было, наконец, внимание на нищенское положение офицерства и дан был высочайший рескрипт на имя военного министра, преуказывавший прибавку им (офицерам. — А. К.) содержания, “Новое Время” пером Мен[ь]шикова — циника и эпикурейца — писало по поводу рескрипта: “Прибавка не вызывается потребностью. Военные люди должны довольствоваться лишь самым необходимым. Жизнь суровая, полная лишений, служит лучшей школой военного духа...”» и проч., — рассказывает Антон Иванович²⁷, с особым негодованием подмечая небрежно брошенное журналистом слово «роскошь», применительно к подвижникам из захолустных гарнизонов звучащее уже не только бестактно, но и кощунственно.

Не должен был Деникин соглашаться и с поднимаемой «правой» печатью тревогой по поводу национального состава офицерского корпуса. «В числе очень многих других причин», по которым «служба, казавшаяся прежде столь почетной, потеряла способность заинтересовывать, привлекать к себе», Меньшиков «указывал» и на «слишком неосторожное допущение в армию (и флот) чужого, инородческого элемента, равнодушного *безотчетно, без всякой измены*, но и без того, что противоположно измене, — без глубокого чувства народности и почвенной связи с ней»²⁸. И дело не только в том, что в жилах самого Антона Ивановича — глубоко русского человека — смешались великоросская и польская кровь (мать его была полячкой и до конца жизни не научилась свободно говорить по-русски): перед его глазами проходили *живые люди*, бесконечно далекие от кабинетно-умозрительных подсчетов Меньшикова, сколько командных должностей занимали немцы, финны, шведы, поляки... Более того, увлекшийся публицист готов был увидеть в «бегстве офицеров» чуть ли не проявление патриотизма: «Инородцы остаются. Русские бегут. Равнодушие первых позволяет им уживаться с какими угодно порядками. Живая любовь к отечеству, наоборот, делает

унижение военных сил нестерпимым»²⁹ (Меньшиков даже не заметил, что в другой статье, воздавая должное героям Цусимы, он сам, перечисляя фамилии, не менее трети называет инородческих³⁰). Неизвестно, читал ли это Деникин, хотя вполне мог читать: «Новое Время», в котором писал Меньшиков, в общем относилось к узкому кругу газет, пользовавшихся вниманием хотя бы части офицерства, — но на склоне лет, как будто возражая на утверждения, подобные приведенным выше, сопоставил (отнюдь не сосредотачивая своего внимания на «национальном вопросе») в мемуарах фигуры двух своих однокашников по военному училищу — великоросса П. П. Сытина и поляка С. Л. Станкевича:

«Юнкерский курс окончил, выйдя подпрапорщиком в пехоту, Сильвестр Станкевич. Свой первый Георгиевский крест (правильно: Орден Святого Георгия IV-й степени; в 1915 году, уже генералом, Станкевич был пожалован и III-й степенью этого Ордена³¹. — А. К.) он получил в китайскую кампанию 1900 года, командуя ротой сибирских стрелков, за громкое дело — взятие им форта Таку. В первой мировой войне он был командиром полка, потом бригады в 4-й Стрелковой “Железной дивизии”, которой я командовал, участвуя доблестно во всех ее славных боях; в конце 1916 года принял от меня “Железную дивизию”. После крушения армии, имея возможность занять высокий пост в нарождавшейся польской армии, как поляк по происхождению, он не пожелал оставить своей второй родины: дрался искусно и мужественно против большевиков во главе Добровольческой дивизии (1-й дивизии Добровольческой Армии. — А. К.) в Донецком бассейне, против войск... Павла Сытина. Там же и умер (от тифа³². — А. К.).

Трагическое раздвоение старой русской армии: два пути, две совести»³³.

Близко видя и чутко воспринимая жизнь, Антон Иванович всегда был человеком *действительности*, а не *доктрины*, широкого взгляда, а не догматической узости, — но при этом и твердых устоев... и потому с горьким недоумением запомнил «либерал» Деникин прозвучавшую в после-Февральские дни 1917 года сентенцию «правого» публициста Меньшикова: «Мы должны быть благодарными судь-

бе, что тысячелетие изменявшая народу монархия, наконец, изменила себе и сама над собой поставила крест»³⁴. Впрочем, в тот период, когда журналисты и политики еще могли вырабатывать свои суждения, более или менее парадоксальные, — у генералов досуга для отвлеченных размышлений уже не оставалось. Во имя спасения России надо было действовать, и одним из первых в рядах *действовавших* мы, конечно, видим генерала Деникина.

* * *

Новая возможность взяться за перо представилась Антону Ивановичу лишь через несколько лет (по насыщенности и трагизму стоивших десятилетий!), в изгнании, уже обогащенному горьким опытом борьбы, не увенчавшейся победой. Образы кровавого лихолетья, боль утрат, скорбь по ушедшим друзьям и соратникам, тягостные размышления о будущем поработанной России и неизбывная вера в ее грядущее возрождение, пути к которому, однако, пребывали сокрытыми во тьме, — теснясь, побуждали Белого вождя принять на себя миссию намного более значимую и важную, чем в его прежних литературных опытах. Похоже, он изначально не хотел ограничиться ролью мемуариста, «генерала на покое», доверяющего бумаге свои личные впечатления. Волею Божией на два с половиною года поставленный в центре событий, бушевавших в России, Деникин теперь чувствовал, что уровень его информированности не только о происходившем вокруг, но и о тех незаметных постороннему взору мотивах, стимулах, механизмах, которые подталкивали к принятию решений и в конечном счете влияли на судьбы страны, — подводил его к роли *летописца*.

Разумеется, и при этом Антон Иванович не отрекался от права — да, наверное, и нравственной обязанности — присоединить к изложению объективных фактов свои субъективные оценки, гнев и надежду, проклятия предателям и благодарность оставшимся верными. «В кровавом тумане русской смуты гибнут люди и стираются реальные грани исторических событий», — писал он во вступлении к первому тому «Очерков Русской Смуты», в этом «стирании

граней» видя личную необходимость сказать свое слово, уточнить «стирающееся», расставить акценты: «Поэтому, невзирая на трудность и неполноту работы в беженской обстановке — без архивов, без материалов и без возможности обмена живым словом с участниками событий, я решил издать свои очерки»; и сразу же следуют размышления о том *опыте* Смуты и борьбы с нею, который должен стать не только достоянием историков, но и фундаментом будущего строительства:

«После свержения большевизма, наряду с огромной работой в области возрождения моральных и материальных сил русского народа, перед последним с небывалой еще в отечественной истории остротой встанет вопрос о сохранении его державного бытия.

Ибо за рубежами русской земли стучат уже заступами могильщики и скалят зубы шакалы в ожидании ее кончины.

Не дождутся. Из крови, грязи, нищеты духовной и физической встанет русский народ в силе и в разуме»³⁵.

Несмотря на упомянутую Деникиным первоначальную скудость источников, книга оказалась насыщенной разнообразной информацией о военно-политическом состоянии России и происходивших катаклизмах настолько, что один из самых недоброжелательных критиков Антона Ивановича — «менявший вехи» эмигрантский журналист И. М. Василевский («Не-Буква») — даже писал по этому поводу: «Не отделаться от мысли, что генерал А. И. Деникин еще задолго до оставления своего поста (Главнокомандующего. — А. К.) задумал эти свои мемуары, еще задолго до своего отъезда из России стал готовиться к литературной работе», — и излил немало желчи на военачальника и правителя, среди великих потрясений потихоньку собиравшего (как думал сам Не-Буква или хотел заставить думать своих читателей) материалы для будущей книги»³⁶.

В действительности человек, не только наделенный пытливым умом и наблюдательностью, но и имеющий уже определенный литературный опыт, скорее всего должен был сохранять в своей памяти наиболее важные эпизоды и впечатления просто, если угодно, машинально (хотя и трудно представить себе Деникина, с некоторым позерством заставляющим, подобно его оппоненту в дни войны и мира

П. Н. Краснову: «Какая великолепная сцена для моего будущего романа!»³⁷). В то же время говорить о сборе им источников до начала эмиграции не приходится. «Первый том “Очерков” принялся составлять по памяти, — напишет он впоследствии, — почти без материалов: несколько интересных документов, уцелевших в моих папках, небольшой портфель с бумагами ген[ерала] Корнилова, дневник [генерала] Маркова, записки Новосильцева (так в публикации. Скорее всего, в подлиннике — «Новосильцева»: подполковник Л. В. Новосильцев, возглавлявший Союз Офицеров, в 1917 году был в гуще событий и являлся одним из приближенных Л. Г. Корнилова. — А. К.), комплекты газет. Поэтому 1-й том имеет характер более “воспоминаний”, чем “очерка”»³⁸.

В дальнейшем источниковая база «Очерков» расширилась. Так, вскоре в распоряжение генерала поступили документы бывшего Особого Совещания при Главнокомандующем Вооруженными Силами Юга России (quasi-правительства при Деникине) — «сундук», который «кроме журналов Особого совещания [...] содержал подлинные приказы Главнокомандующего, а также сношения с иностранными державами и сведения о положении во всех новых государствах на окраинах России»³⁹. Возможно, что содействие Антону Ивановичу в этом вопросе оказал бывший Председатель Особого Совещания генерал А. С. Лукомский, в эмиграции пользовавшийся доверием и расположением Великого Князя Николая Николаевича и генерала П. Н. Врангеля; по крайней мере, 6 марта 1921 года Лукомский писал Деникину о каких-то «документах “Юга России”», которые, по его словам, должны были скоро прибыть в Париж. «Я думаю, что лучше всего поступим так: разобрав [документы], я Вам сообщу, что именно имеется, — предлагал Лукомский, — а Вы, сообщив, что Вам нужно, если сами не можете приехать в Париж, пришлете ген[ерала] Шапрона (А. Г. Шапрон-дю-Ларрэ — бывший адъютант Деникина и один из наиболее близких ему сослуживцев. — А. К.) или для снятия копий, или привезти Вам определенные дела» (доверять бесценные документы почте генерал резонно считал «невозможным») ⁴⁰; а в ноябре Лукомский уже упоминает о «ящике с документами, находящи-

мися у Деникина»⁴¹, и похоже, что речь шла о том самом «сундуке» Особого Совещания.

Не менее существенную помощь оказал Антону Ивановичу генерал П. А. Кусонский, в эмиграции занимавший должность помощника Начальника Штаба Главнокомандующего (генерала Врангеля). Отношения между Деникиным и Врангелем были безнадежно испорчены еще в феврале — марте 1920 года, и Антон Иванович не желал обращаться за помощью к своему недругу, по должности Главнокомандующего Русской Армией сохранявшему и в изгнании архив командования Вооруженных Сил Юга России. Кусонский выступил в роли своего рода посредника, предложив Деникину «пользоваться архивом Ставки», — а затем и сам Врангель, проявив недюжинное благородство (поскольку он должен был ожидать от будущих томов «Очерков Русской Смуты» нелицеприятной оценки своей роли), «распорядился, чтобы все дела штаба Главнокомандующего за время управления Югом России генералом Деникиным перешли бы к последнему на хранение»⁴², и лишь считал важным при издании собственных «Записок» подчеркнуть, что «полемические» разделы его книги были в действительности завершены до выхода в свет соответствующих частей работы Деникина, «а не то, чтобы я оправдывался как бы на его обвинения»⁴³.

К чести Деникина-историка следует отметить, что, несмотря на отсутствие опыта широкомасштабной работы такого рода, он не «утонул» в море оказавшегося в его распоряжении документального материала, избежал как удручающего многословия, так и чрезмерного лаконизма и создал не просто объемный труд, но повествование логически развивающееся, с четкой внутренней структурой и привлекающее читателя не только живой, неподдельно-искренней авторской интонацией, но и последовательным, строгим изложением разнообразных событий почти на всех фронтах 1918–1920 годов, — что и делает книгу Деникина одним из наивысших достижений историографии Гражданской войны. Вряд ли новая работа была легкой для Антона Ивановича: генерал погружался в нее целиком, не давая себе передышек, и жена его отмечала в дневнике: «Моцион ему нужен, а когда он засядет за писание, его уже никакими силами не вытянешь даже погулять»⁴⁴. Впрочем, труд этот не был Антону Ивано-

вичу в тягость: «Я совершенно удалился от политики и ушел весь в историческую работу. [...] В своей работе нахожу некоторое забвение от тяжелых переживаний», — писал он генералу Ч. Бриггсу⁴⁵, в свое время возглавлявшему британскую военную миссию на Юге России.

Помимо этого, были и соображения материального характера: для генерала, чьи капиталы к моменту оставления им России в пересчете на твердую валюту не превышали тринадцати фунтов стерлингов⁴⁶, гонорары за литературные труды становились единственным источником существования. «Как пойдет дальше издательство (так в документе. — А. К.) книги, не знаю, — писал он Лукомскому. — Печатать в Париже — дорого, и цена экземпляра становится недоступной в беженских колониях низковалютных стран... Печатать в Берлине — очень дешево, но зато авторский гонорар в марках обрекает на голодный паек. Я себя пока еще не связал и вопроса этого не разрешил. Из всех издателей, с которыми велись переговоры о I-м томе моих «очерков», самым прижимистым оказался Ваш Гессен (И. В. Гессен — издатель многотомного «Архива Русской Революции», где печатались, в частности, воспоминания Лукомского. — А. К.)»⁴⁷. Впрочем, выбор издания, в котором можно было бы публиковаться, для Антона Ивановича определялся отнюдь не только меркантильными соображениями: скажем, об альманахе «Белое Дело», выходившем под своего рода «патронажем» Врангеля («материалы, собранные и разработанные бароном П. Н. Врангелем, герцогом Г. Н. Лейхтенбергским и светлейшим князем А. П. Ливеном»), Деникин отозвался категорически и недвусмысленно: «Я избегаю каких бы то ни было сношений с этим журналом»⁴⁸.

Так, в напряженном труде, уводящем от «тяжелых переживаний», и в заботах о хлебе насущном протекали первые эмигрантские годы и создавались первые эмигрантские книги генерала Деникина.

* * *

Разумеется, такая книга, как «Очерки Русской Смуты», не могла пройти незамеченной. Не стоит специально задерживаться на отзывах, звучавших из большевицкого

лагеря (которые достойно представлены хотя бы лаконичным ленинским: «Автор “подходит” к классовой борьбе, как слепой шенок»⁴⁹), — и лишь один из этих голосов нельзя проигнорировать: принадлежащий бывшему начальнику Деникина, к тому времени уже прочно обосновавшемуся на советской службе, — А. А. Брусилову.

В специальной статье, опубликованной в 1929 году в качестве приложения к посмертному изданию мемуаров Брусилова, бывший генерал довольно подробно оспаривает мнение Антона Ивановича о характере боевых операций брусиловской VIII-й Армии Юго-Западного фронта в декабре 1914 года, когда Командующий «под влиянием частной неудачи одного из корпусов [...] отдал приказ об общем отступлении, и армия быстро покатила назад. Всюду мерещились прорывы, окружения и налеты неприятельской конницы, угрожавшей якобы самому штабу армии. Дважды генерал Брусилов снимал свой штаб с необыкновенной поспешностью, носившей характер панического бегства, уходя далеко от войск и теряя с ними всякую связь»⁵⁰. Эпизод, вообще не связанный с основной темой книги и приведенный Деникиным, должно быть, с целью указать на моральную неустойчивость Брусилова и сделать для читателя не слишком неожиданными его политические эволюции 1917 и последующих годов, естественно уязвил маститого «военспеца», побуждая его реабилитироваться ссылками на приказы Штаба фронта. Брусилов, скорее всего, так и не узнал, что Начальник этого Штаба, генерал Алексеев, вспоминая кампанию 1914-го через два с половиною года, записывал в дневнике (не предназначенном для печати), как ему приходилось растерявшегося Командующего VIII-й Армией «успокаивать, указывать, что положение не столь безнадежно, что я готов беседовать с ним несколько раз в день, но взять на себя решение всех принадлежащих ему вопросов я стеснялся бы в силу того, что нельзя безнаказанно вторгаться в область чужих обязанностей»; по мнению Алексеева, Брусилов не умел «справляться с широкою стратегическою обстановкою и сохранять полное спокойствие, самообладание, способность находить выход в самые грозные и тяжелые минуты обстановки. Напротив, именно в такие-то минуты он терялся

и не мог принимать скорых, определенных решений. Он обладал подъемом и порывом только тогда, когда счастье улыбалось ему, когда действия войск сопровождались успехом», и «в армии хорошо знали [...] его способность теряться в тяжелые критические минуты»⁵¹, — а эти отзывы кажутся скорее подтверждающими правоту Деникина.

Брусилов возмущается: «говоря о времени после Февральской революции, Деникин удивляется, как мог я официально заявить, что я с молодых лет был революционером и социалистом», — чего он-де не заявлял «уже потому, что мне никто бы не поверил, да это и было бы ложью»⁵². Прежде всего, оригинальный деникинский текст все-таки несколько отличается от брусиловского пересказа («Наивно было [...] верить заявлениям генерала Брусилова, что он с молодых лет “социалист и республиканец”»⁵³); но если даже Антон Иванович и перешел границы, подавая без комментариев злой анекдот, — он вполне мог считать его недалеким от истины, поскольку оппортунизм Брусилова становился притчей во языцех, в принципе заставляя ожидать чего угодно от старого военачальника, терявшего голову под напором революционной стихии.

«...А. И. Деникин не упоминает, — начинает чуть ли не жаловаться Брусилов, — что во время Октябрьского переворота я был ранен в ногу тяжелым снарядом (большевики громили из пушек Москву, где тогда жил генерал. — А. К.), который раздробил мне ее настолько основательно, что я пролежал в лечебнице С. М. Руднева 8 месяцев, а когда я вернулся домой, меня арестовали и держали в заключении два месяца, а затем еще два месяца под домашним арестом я продолжал лечить свою раненую ногу. [...] И все это меня нисколько не озлило и не оскорбило, ибо я видел в этом естественный для революции ход событий»⁵⁴. Действительно, ничего из рассказанного здесь мы не найдем в «Очерках Русской Смуты»... Впрочем, «А. И. Деникин не упоминает», несмотря на всю свою неприязнь к Брусилову, и о не менее важных событиях, относящихся к тому же периоду.

«В ноябре [1917 года] приехал к генералу Алексееву посланец от Брусилова, — рассказывает Антон Иванович. — Брусилов писал, что тяжелое испытание, ниспосланное

России, должно побудить всех честных людей работать совместно. Узнав, что Алексеев формирует армию, он отдает себя в полное его распоряжение и просит полномочий для работы в Москве. Алексеев ответил сердечным письмом, в котором изложил свои планы и надежды, дал полномочия и поставил задачу — направлять решительно всех офицеров и все средства на Дон. Скоро, однако, алексеевский штаб убедился, что Брусилов переменял направление и, пользуясь остатком своего авторитета, запрещает выезд офицеров на Дон... Вероятно, нет более тяжелого греха у старого полководца, потерявшего в тисках большевистского застенка свою честь и достоинство, чем тот, который он взял на свою душу, давая словом и примером оправдание сбившемуся офицерству, поступившему на службу к врагам русского народа»⁵⁵. Изложение выглядит даже благоприятным для Брусилова, учитывая его положение в момент написания этих строк; а ведь «скоро» — понятие относительное, и *подпольная организация*, в которой состоял Брусилов (и другой известный «военспец», генерал А. М. Зайончковский), просуществовала, по свидетельству участвовавшего в ее работе профессора И. А. Ильина, по меньшей мере до *середины весны 1918 года*, причем приезжавшие с Юга посланцы Добровольческого командования имели явки к ее членам⁵⁶ (в свете этого свидетельства выглядит ошибкой памяти или тенденциозной вставкой утверждение сестры милосердия М. А. Нестерович, работавшей курьером между Доном и Москвой и помогавшей переправлять к Алексееву офицеров, будто Брусилов еще 29 ноября 1917 года говорил ей: «Пора нам всем забыть о трехцветном знамени и соединиться под красным»⁵⁷).

Заметим, что переход Брусилова на позицию хотя бы (поначалу) пассивного наблюдателя, таким образом, совпадает с месяцами, когда он мог получить достоверные известия о вступлении в командование Добровольческой Армией генерала Деникина, отношения с которым были серьезно подпорчены в 1917 году (а Зайончковский и вовсе считался чуть ли не открытым врагом Антона Ивановича!); сам же новый Белый командующий пользовался заслуженной репутацией человека волевого и твердого (в отличие от Алексеева, сотрудничать с которым поначалу так стремился Бру-

силов). Сложно сказать, проявил ли Деникин сострадание к бывшему генералу или просто не счел эту тему достаточно важной, — но то, что в «Очерках» он воздержался от более подробного развития темы, объективно выглядит нежеланием «добивать» Брусилова, на котором подобные разоблачения, пусть и сделанные *post factum*, могли отразиться весьма негативно. Нечаянную пронизательность проявил Антон Иванович и в мимоходом брошенном утверждении, что эволюция Брусилова к признанию Советской власти была, «вероятно, не последняя в [его] жизни»⁵⁸: пока писались следующие тома «Очерков Русской Смуты», Брусилов тайком сочинял последние главы своих мемуаров, в которых повествовал, как всегда хотел свергнуть большевиков, но был ими обманут и использован в их целях.

Двойственность ли собственного положения, уязвленность характеристиками, данными Деникиным, или что-либо иное руководило Брусиловым, но только в разбираемой нами «ответной» статье бывший генерал, прежде чем возразить своему критику, буквально обрушивается на него самого: «Это — человек характера твердого, но неуравновешенного, очень вспыльчивый и в этих случаях теряющий самообладание, весьма прямолинейный и часто непреклонный в своих решениях, не сообразуясь с обстановкой, почему часто попадал в весьма тяжелое положение. Не без хитрости, очень славолубив, честолюбив и властолюбив. У него совершенно отсутствует чувство справедливости и нелюбовь к лицу; руководствуется же он по преимуществу соображениями личного характера». Бывший начальник утверждает даже, что славу военачальника («карьеру») Деникину «сделали славные “железные” стрелки и я (а роль самого Деникина в победах возглавляемых им в 1914–1916 годах войск, надо полагать, была вовсе уж незначительна. — А. К.)»; от «Очерков Русской Смуты» же Брусилов якобы «ожидает, зная свойства характера автора, что он будет пристрастен, но не думал, что он перейдет все грани справедливости и правды», — и при этом не преминул намекнуть на собственную душевную глубину: «...Для того, чтобы судить меня, нужен более талантливый, более глубокий психолог и более честный, правдивый человек, чем оказался Деникин»⁵⁹.

В упреках Брусилова слишком сильно сквозит личная обида, чтобы безоговорочно принимать их на веру или хотя бы подробно комментировать; разумеется, не найти в них и серьезного анализа книги, к которому оппонент Деникина, впрочем, и не стремился. Если же обратиться к отзывам, прозвучавшим в Зарубежье, возникает впечатление, что единый по-видимому вопрос оценки «Очерков Русской Смуты» фактически распадается на два: были ли они оценены по достоинству и был ли оценен по достоинству их автор?

Действительно, в большинстве рецензий явно превалировало обсуждение деникинской книги (и даже шире — событий, нашедших или не нашедших в ней отражение), а сам Антон Иванович как будто терялся в тени своего труда. В принципе, в этом нет ничего странного, более того, подобная ситуация выглядит вполне естественной, и все же нельзя не пожалеть, что личность автора просмотрели критики и рецензенты, и она до сих пор ждет подобающего по глубине изучения и анализа. Правда, самое главное, что составляло человеческую сущность Деникина и, очевидно, не могло не проявляться в нем как мемуаристе и историке, было тогда же замечено и подчеркнуто на страницах журнальных рецензий.

«...Его отсутствие партийности и не подлежащая никаким сомнениям честность в самом широком смысле этого слова обязывает нас верить в полную объективность его суждений, преследующих лишь уяснение истины, совершенно независимо от личных симпатий или антипатий, — писал укрывшийся за инициалами «Г. О.» рецензент берлинского сборника «Историк и современник». — В одном месте своей книги он, между прочим, проводит такую идею: “Что касается лично до меня, то три года спустя, пережив все иллюзии, испытав тяжкие удары судьбы, упершись в глухую стену неприкрытого, слепого эгоизма ‘дружественных’ правительств, свободный поэтому от всяких обязательств к союзникам, почти накануне полного предательства ими истинной России, я остался убежденным сторонником честной политики”. В этой мысли сказался весь Деникин, каков он есть на самом деле: рыцарь, но не политический борец. В дальнейшем, впро-

чем, он сам высказывает предположение, что, может быть, это Дон-Кихотство. Но иначе он думать и действовать не может просто по свойствам своей натуры. И это не только фраза в его устах. Кто знал Деникина в ранней молодости, а впоследствии следил за всей его служебной карьерой, тот знает, что у Деникина слово никогда не расходилось с делом»⁶⁰. «...Фактов, противоречащих его схемам, он во всяком случае не пытается скрывать, и это составляет неоспоримое достоинство его книги», — отмечал историк и политический деятель В. А. Мякотин⁶¹. «Деникин пытается быть объективным и никогда не затушевывает теневых сторон», — вторит его коллега по народно-социалистической партии и тоже профессиональный историк, С. П. Мельгунов⁶². И даже открытый противник Белого движения, глава партии социалистов-революционеров В. М. Чернов не мог не отметить этих качеств Деникина, «о политической деятельности которого можно быть невысокого мнения, но отказать которому в политической прямоте и честности не приходится»⁶³.

Впрочем, для Чернова упоминание о деникинской прямоте и честности стало лишь средством оттенить фрагмент «Очерков», однозначно трактуемый им как недостаток книги и моральная неудача ее автора, которому, подразумевает статья Чернова, как раз не хватило ни прямоты, ни честности: описывая смутную политическую обстановку накануне так называемого «корниловского выступления», генерал привел слова известного общественного деятеля В. А. Маклакова, сказанные одному из активных «корниловцев»: «Передайте генералу Корнилову, что ведь мы его провоцируем, а особенно М-ъ. Ведь Корнилова никто не поддержит, все спрячутся...»⁶⁴ Действительно, имя «главного провокатора» завуалировано весьма прозрачно, и прав Чернов, отмечая: «“Лидер кадетской партии” или человек, чья фамилия начинается с буквы М., а кончается твердым знаком, и о котором Маклаков должен говорить в третьем лице (то есть не сам Маклаков. — А. К.), — завеса тут слишком приподнята, чтобы оставить у посторонних место каким-нибудь сомнениям, и в то же время недостаточно приподнята для того, чтобы формально засчитать П. Н. Милюкова выступить с опровержением, если

есть повод для опровержений». «Одно из двух: или все это по отношению к П. Н. Милюкову верно, — и тогда не для чего так неловко покрывать его; или неверно, — и тогда набрасывать на него тень, не давая ему формального повода для самозащиты — нелояльно», — утверждает эсеровский лидер, подчеркивая: «Особенно же все это не идет к ген[ералу] Деникину»⁶⁵. Подобный же упрек бросает Антону Ивановичу и другой критик «слева» — Не-Буква, обращая внимание на рассказ об одном из «корниловцев» — «главном руководителе петроградской военной организации, полковнике С.», который в критическую минуту августовского кризиса 1917 года «из опасения преследования скрылся в Финляндию, захватив с собой последние остатки денег организации»⁶⁶: «почему и теперь скрывает его имя ген[ерал] Деникин?» — с негодованием (быть может, несколько деланным) восклицает Не-Буква⁶⁷.

Упреки выглядят тем более серьезными, что бесспорных оснований для реконструкции деникинских мотивов нет, и остается лишь строить на этот счет предположения — более или менее убедительные. В принципе, Деникин мог, например, осторожно подойти к цитированию (с чужих слов) приведенного выше высказывания, автор которого — не менее осторожный Маклаков — вскоре в письме к Милюкову вынужден будет оправдываться («Я был поражен и испуган тем общим впечатлением, которое посланцы Корнилова вынесли из этого собрания; это впечатление было, что “общественные деятели” им сочувствуют и их поддерживают. [...] Эту позицию “общественных деятелей”, которая укрепила посланцев в том, что они встретят сочувствие и даже содействие, я в то время очень резко называл Новосильцеву провокацией, конечно бессознательной... [...] Говорил ли я Новосильцеву “особенно Милюков”, не помню...»⁶⁸), хотя осторожность такая, по справедливости, выглядит крайне неуклюжей; в то же время следует обратить внимание и еще на одно обстоятельство: к моменту написания соответствующих глав книги и П. Н. Милюков, и «полковник С.», в котором легко угадывается полковник (впоследствии генерал) В. И. Сидорин, могли быть с немалыми основаниями названы *личными недругами* Антона Ивановича.

Если Милоков, недалекий и напрочь лишенный дара политического предвидения, в годы Гражданской войны успел совершить ряд крайне сомнительных поступков, от совета Добровольческой Армии «свернуть свое знамя и разойтись, оставив для истории красивую страницу», или же в качестве отдельного корпуса подчиниться донскому атаману⁶⁹ — до «германской ориентации», а в эмиграции быстро склонился к идее об «изживании» большевизма русским народом (ср. деникинское мнение на ту же тему: «Не верую. Будет взрыв»⁷⁰), — то Сидорин, завершивший свою военную службу Командующим Донской Армией, в марте 1920 года, при эвакуации из Новороссийска в Крым, шел с Главнокомандующим на конфликт столь яростно, что сторонний наблюдатель счел его поведение «невменяемым»⁷¹, и испорченные отношения ни для кого не оставались секретом. И не боялся ли Антон Иванович упреков в сведениях личных счетов на страницах «Очерков», попытавшись, правда, избежать таких упреков довольно неудачным способом? (Мы еще увидим, как в менее принципиальном случае он прибегнет к простому умолчанию.)

Этот мелкий эпизод интересен не только тем, что побуждает задуматься о мотивах и принципах, которыми руководствовался Деникин-историк; деталь, в книгах множества других авторов проходившая незамеченной — замена фамилии инициалом, — в случае Деникина привлекает особое внимание, и это само по себе становится его характеристикой: значит, действительно честен и прям был этот человек, если для моральных укоров ему враждебно настроенные критики вынуждены использовать детали, столь незначительные?

* * *

Нельзя, впрочем, умолчать, что Деникин подвергался критике и как историк, видевший свою задачу шире, чем простой пересказ собственных впечатлений. Мякотин, давая справедливую характеристику четвертому тому «Очерков»: «...Автор, как и в предыдущих томах своей книги, ставит свою тему очень широко. Он дает читателю не мемуары, не воспоминания только очевидца и участника

событий, а последовательное и связное изложение их, основанное и на личных воспоминаниях, и, в еще большей мере, — на значительном документальном материале. При этом он говорит не только о Добровольческой Армии, или, как она позднее стала называться, Вооруженных силах Юга России, но и о разнообразных явлениях русской и международной жизни, с которыми руководителям этой армии приходилось считаться, и вводит в свое повествование не только те области России, на которые распространялись действия Добровольческой Армии, но также и те, с которыми она не имела непосредственной связи», — в то же время по сути дела квалифицировал такой авторский подход как ошибочный: «За всем тем, книга эта является все-же не историей, а лишь попыткой истории. И больше того, — читая эту интересную и талантливую книгу, не раз приходится жалеть, что автор предпринял такую попытку, а не ограничился ролью откровенного мемуариста, хотя бы и вооруженного обильным документальным материалом, позволяющим ему подкреплять и иллюстрировать личные воспоминания. Приходится жалеть потому, что, пытаясь стать историком, автор порою лишает свою работу как раз того, что было бы особенно ценно в его мемуарах, и при этом все-же остается мемуаристом»⁷².

«Многие замечания ген[ерала] Деникина и жизненны, и правдивы. И тем не менее он совершает глубочайшую ошибку, понижаящую ценность его книги, пытаясь вместо как бы общественного отчета “самому себе и другим” давать исторический анализ событий, писать “Очерки”, а не воспоминания», — считает и Мельгунов: «Ген[ерал] Деникин [...] все же прежде всего военный стратег, полководец, которого судьба случайно сделала одним из руководителей политической жизни, не дав ему предварительно достаточной подготовки, и тем более исторической подготовки, необходимой каждому, кто пишет историю революции. И еще меньше он вооружен точностью фактов, когда говорит не о том, в чем непосредственно принимал участие»⁷³. Пока эти утверждения выглядят слишком обобщенными; конкретизируя их, оба рецензента обращают внимание прежде всего на недостаточную, по их мнению, критичность Деникина-историка по отношению к исполь-

зуемым им источникам, — но здесь и сама критика становится довольно уязвимой.

Прежде всего следует отметить, что уровень требуемой критичности, ее оправданность или неоправданность сами по себе являются понятиями во многом субъективными, и если достоверность свидетельства того или иного источника (его соответствие конкретным историческим фактам) часто может быть установлена довольно точно, то «удельный вес» источника или его автора, влияние, оказываемое ими на современников (пусть даже не по заслугам), степень, в какой историческое лицо становится выразителем взглядов и мнений какой-либо общественной или политической группировки, — принадлежат к области, где *все* суждения априорно имеют оценочный и, следовательно, намного более спорный характер.

Наряду с этим нельзя забывать, что как Мельгунов, так и Мякотин не только были дипломированными историками, но и занимали видное место на политической сцене, принадлежа к умеренно-«левому» крылу, и с этой точки зрения их собственные оценки не могут быть признаны академически-беспристрастными. Наряду с обоснованными замечаниями *историков* (например, мельгуновским: «Сам ген[ерал] Деникин неосторожной обмолвкой дал оружие в руки своих политических врагов, — он назвал армию, им предводительствуемую, армией классовой»⁷⁴; Антон Иванович скорее имел в виду образованные слои, служилые сословия как основной элемент Белого движения, особенно на первых его этапах, но допущенное им словоупотребление, резко отличаясь от принятого в «левых» кругах, действительно следует признать ошибочным — и стилистически, и по существу) в рецензиях звучат и упреки *политических оппонентов* (Мельгунов: «Прямолинейность создавала ген[ералу] Деникину врагов там, где у него могло быть содружество — он обострял отношения там, где политика требовала их смягчения»⁷⁵, — или обвинения Мякотина, будто Особое Совещание при Деникине приобретало «резко-правый крен»⁷⁶), — подобно тому, как различиями в убеждениях был явственно продиктован отзыв на «Очерки» видного социалиста-революционера В. В. Руднева: «Они заключают в себе не только личные воспоминания автора,

но и попытку осветить события революции с некоторой более общей точки зрения. Разрешены обе эти задачи далеко не с одинаковым успехом. Там, где автор передает лично им пережитое и непосредственно ему известное, «Очерки» представляют исключительный интерес; огромное знание среды, наряду с искренностью и прямоотой суждения, живое изложение, яркие и образные характеристики составляют бесспорные достоинства тех глав, которые посвящены течению революции в армии, на фронте. Напротив того, поверхностны, неоригинальны и неубедительны критические экскурсы Деникина в области политических и социальных отношений революционной эпохи; выдавая осведомленность из вторых рук, обнаруживая предвзятость и отсутствие исторической перспективы, они представляют интерес разве только для характеристики самого автора»; «[Деникин], оставаясь на поверхности явлений, стремится трагедию русской армии свести лишь к злему умыслу одних [—] «антигосударственных» и к бесхарактерности и малодушию других — «охранительных» элементов»⁷⁷.

Заметим, что критики подчас не формулировали своих претензий с достаточной четкостью, как будто противореча сами себе. Так, Мякотин в качестве примера того, как, «увлеченный ролью историка, автор порой не дает читателю как раз тех сведений, которые последний, казалось бы, вправе был ожидать от него», — обращается к описанию генералом «темных сторон» истории Белого движения и почему-то «ожидает от него» конкретных фактов и примеров: «...Говоря о черных страницах Добровольческой Армии — о практиковавшихся нередко ее частями грабежах, насилиях и погромах, о произволе и безобразии бесчисленных контр-разведок и «отрядов особого назначения», — он (Деникин. — А. К.) опять-таки не указывает достаточно конкретно, какие же меры принимались командованием армии по отношению ко всем этим явлениям»⁷⁸, — хотя в обязанности Главнокомандующего отнюдь не входило *личное* преследование конкретных преступников, о котором он мог бы впоследствии рассказать как *мемуарист*; очевидно, что Деникин затрагивает тему «грабежей и произвола», «контр-разведок и «отрядов особого

назначения» как *историк* именно в силу ее относительной удаленности от его собственного опыта военачальника, и кажется не менее очевидным, что обращение к этой теме Мякотина диктуется не столько заботой о жанровой однородности «Очерков Русской Смуты» или писательских достоинствах и недостатках их автора, сколько вообще собственным «демократическому» лагерю (к которому и принадлежит критик) повышенным интересом к действительным или мнимым «преступлениям военщины». Деникин, видимо, должен был это понимать (в одном из его писем встречаются характерные слова: «...обостренное внимание привлекают именно незажившие еще свои раны»⁷⁹); сам прямой и искренний, он ценил откровенность в других и умел уважать чужое мнение, и не случайно уже после рецензии Мельгунова и в «мельгуновском» журнале, в одном номере со статьей Мякотина, был опубликован и отрывок из готовившегося к печати пятого тома «Очерков Русской Смуты»⁸⁰.

Что же касается замечаний Мельгунова, то еще менее оправданным, чем «контр-разведывательные» претензии Мякотина, представляется нам его вопрос-упрек: «Автор, может быть, слишком уже детально останавливается на стратегических действиях, сопровождая их и отчетливыми картами-схемами (кстати, можно предположить, что карты чертил тоже Деникин собственноручно. — А. К.). Он придает этой стратегии в гражданской войне большое значение. Но не говорит ли здесь некоторое увлечение специалиста-техника?»⁸¹ Казалось бы, не переходя на роль историка, в которой он так не нравится Мельгунову, генерал и должен был писать исключительно о своем «генеральском» деле — ведении военных действий, которым он просто обязан был «придавать большое значение» (тем более «в гражданской войне»), ибо в противном случае был бы не генералом, а кем-то другим. Противоречие заключается в том, что Мельгунов как политик (и опять-таки «демократического» лагеря) считает, должно быть, определяющими в революционную эпоху не чисто военные, а другие, более расплывчатые факторы, вроде «народных настроений» или «поддержки общественности», и взгляды политика-демократа заставляют его попрекать военачаль-

ника недостаточным вниманием к этим факторам даже вопреки позиции историка-рецензента, столь же недовольного выступлением генерала в несвойственном ему амплуа историкографа.

К слову сказать, сам Антон Иванович на высказанное в частном письме замечание: «...Главы “похода”, описание “военных операций” не удовлетворят рядового, невоенного читателя. Эти главы однотонны, однообразны. Они были бы захватывающими, если бы говорили не о давно прошедшем, а о трепетном интересе настоящего. Они могут быть технически интересны для немногих, которые будут читать их, следя пальцем по карте. Но таких будет немного...»⁸² — откликнулся с пониманием: «...Техническое построение книги с изыянцем: военная часть не соответствует масштабу всего изложения, она разбухла (речь идет о третьем томе «Очерков». — А. К.). Мне предстояло или сделать так, как я сделал, или сократить стратегический очерк примерно до двух глав, а описание 2-го кубанского похода выпустить отдельной брошюрой...» — но объяснял, почему он все-таки «сделал так, как сделал»: «Он (поход. — А. К.) должен быть описан; если не напишу я, то этого или не сделают долго, или...» (в публикации обрыв фразы без указания, что так и в первоисточнике, но смысл деникинских слов в общем понятен)⁸³. Таким образом, налицо проявление *ответственности* Антона Ивановича за свой труд — и мы сегодня можем только благодарить его за это. Теми же соображениями ответственности было продиктовано и совмещение ролей историка и мемуариста: основной считая первую, Деникин пояснял: «Мемуарный характер некоторых глав, на мой взгляд, неслучаен. Повествовавший является одновременно деятелем. Многие деяния его — не касаюсь оценки: положительной или отрицательной — представляются исторически интересными. Как тут обойти их. Я уж и то стараюсь отвести, насколько могу, свою личность»⁸⁴.

Показательно также, что критики «слева» обнаружили непонимание ключевого для Антона Ивановича термина, вынесенного в заглавие книги, — «Смута»: «русская революция или, как предпочитает выражаться ген[ерал] Деникин, “русская смута”» (Мякотин)⁸⁵; «только объективный

анализ основных внутренних мотивов, двигавших в 1917 г. народными массами, способен внести обобщающий смысл, организовать в логическое единство пеструю грудю фактов, остающуюся без этого лишь хаосом, полным необъяснимых противоречий, бессмысленной «смуты» (Руднев)⁸⁶... На самом деле, такое словоупотребление — не погоня за внешним эффектом, литературной красотой, и даже не только указание на параллели со Смутным временем XVII века; понятие Смуты, помимо того, что оно намного шире понятия революции, представляется и более точным, поскольку отражает некую комплексную цельность произошедшей трагедии, без подразделения — и превыше подразделения! — на политическую, экономическую и проч. составляющие, и в конечном счете апеллирует к понятию о смуте *духовной* и *душевной*, в сущности и являющейся источником очевидных коллизий и катастроф. В некотором смысле, на своем языке пытался выразить это и Руднев, призывая к изучению «внутренних процессов в психике народа»⁸⁷, но подлинное значение и характер «процессов», конечно, не объяснимы партийной социологией и вряд ли открыты партийному (то есть по определению одностороннему, ущербному) сознанию, — и в выборе Деникиным не просто удачного, а наиболее адекватного событиям термина мы склонны видеть как раз превосходство его органического, цельного мирозерцания христианина и солдата, которое, должно быть, стало залогом и успеха Деникина-историка.

Об успехе действительно можно говорить: ведь вопреки подлинным или мнимым недочетам, неизбежным для живого человека, тем более участника описываемой им войны, тем более в труде такого объема и масштаба, — «Очерки Русской Смуты» остались до сих пор непревзойденными как с точки зрения «летописи», описания фактов, так и с точки зрения их систематизации и анализа: ни критики, ни почитатели, ни сторонники, ни оппоненты Деникина не создали подобных трудов (для сравнения упомянем, что «Российская контр-революция в 1917–1918 гг.» генерала Н. Н. Головина вторична и компилятивна, а сочинения П. Н. Милюкова в значительно большей степени, чем деникинские, несут печать политических взглядов

автора — пусть и подаваемых с мнимо-академическим, «профессорским» апломбом — и потребовали даже специальной ответной брошюры С. П. Мельгунова).

Сам Деникин, определяя задачу своих «Очерков», подчеркивал: «Вселенская правда нам недоступна. Есть только многогранные отражения ее», — и взволнованно писал: «Тем труднее положение современников, участников событий. Их мысленный взор застилает еще кровавая пелена; их душевное равновесие нарушено; в их сознании события более близкие, более волнующие невольно заслоняют своими преувеличенными, быть может, контурами факты и явления, отдаленные от фокуса их зрения. Их чувства глубже, страсти сильнее, восприятия элементарнее; они жили настоящим, воплощенным в плоть и кровь, — даже те, кто, став духовно выше среды и своего времени, проникали уже обостренным зрением за плотную завесу грядущего... Свидетельство современников, однако, весьма ценно. Не только установлением конкретных фактов, но даже субъективной формой их восприятия, дающей иногда ключ к разгадке многих сокровенных побуждений и действий людей, партий, общественных групп. Свидетельства эти — те кирпичи, из которых история возводит свое величественное здание»⁸⁸, — оценка, как видим, достаточно скромная, хотя автор ее безусловно знает цену своему труду; и более соответствующей действительности представляется нам характеристика, данная бывшим сотрудником Деникина (членом Особого Совещания) и его корреспондентом в годы написания «Очерков Русской Смуты», высказавшим, еще на этапе рукописи, и немало критических замечаний, — Н. И. Астровым:

«Может быть, в дальнейшем появится что-нибудь неожиданное и негаданное, но для настоящего времени нужно признать, что Очерки — это единственный основной и систематический материал по истории русской революции. План Очерков охватывает весь процесс и во времени, и в пространстве. [...]

Выполнение плана Очерков — объективно; хотя симпатии автора и его великие, непримиримые антипатии выступают иногда, может быть, с излишней подчеркну-

тостью, — подвижничество офицерства — теза — и все пороки общественности — антитеза.

Неведомый еще историк будущего при оценке этого страшного и психологически полного противоречий периода найдет в Очерках обильный материал и нити к пониманию явлений. В Очерках, кажется, не пропущено ни одно из сколько-нибудь значительных явлений революции.

Очерки — это капитальный исторический труд и государственное достояние. Фрагменты бывшей русской государственности должны были бы обеспечить продолжение труда (написано под впечатлением первой трети третьего тома книги. — А. К.) и дать возможность расширить его программу. Работа эта не должна быть в зависимости от спроса рынка и его покупательной способности. [...] Ее нужно обставить так, чтобы автор мог продолжать собирать и разрабатывать материалы»⁸⁹.

* * *

Последние пожелания, впрочем, так и остались пожеланиями — благими, но неосуществимыми. Целенаправленная поддержка Деникина-историка вряд ли могла быть реализована как в силу тяжелого финансового положения русской эмиграции в целом, включая и «фрагменты бывшей государственности», так и из-за того, что к наиболее дееспособным «фрагментам» следует отнести «право-центристскую» группировку, «ориентировавшуюся» на Главное Командование (Врангеля) и Великого Князя Николая Николаевича, а в ней у Антона Ивановича имелись не только критики, но и прямые недоброжелатели, если не ненавистники.

Достаточно обратиться хотя бы к оценке «Очерков Русской Смуты», вышедшей из-под пера И. А. Ильина — в определенном смысле слова «идеолога» Белой эмиграции — и сочетающей неприкрытую хулу со свойственными этому философу и публицисту возвышенными (чтобы не сказать высокопарными) оборотами. Рассматривая труд Деникина прежде всего через призму его конфликта с Врангелем, боготворивший последнего Ильин писал П. Б. Струве об авторе «Очерков»: «Злоба его, чисто личная, по отноше-

нию к Врангелю — привела его к написанию завистливо-нечестного, клеветнического и объективно-зловредного пасквиля. [...] Виноваты, конечно, мы: до тех пор замалчивали бездарности, грехи и вины Деникина, пока он не сочинил сам себе апологию, а Врангелю пасквиль. [...] Признаюсь, что для меня стоит вопрос (и не только для меня), надлежит ли еще подавать руку этому пережившему себя бывшему человеку (вопрос вполне риторический, поскольку о знакомстве и встречах Деникина и Ильина ничего не известно. — А. К.)»⁹⁰.

Еще категоричнее (впрочем, не естественно ли это?) высказывается Ильин в письме Врангелю: «...Деникинщина есть керенщина внутри белого движения»; «Белая борьба нуждалась в орлином глазе и крыле, а размер деникинской пернатости был, увы, иной. Воля вождя есть нечто совсем иное, чем дисциплина порядочного дивизионного командира, как бы сильно он ни уверовал в свое водительское дарование»; «Книгою личною, озлобленною, пристрастною и неправдивою — он выдал себе аттестат, который и станет его историческим паспортом. Документ “бывшего человека”; неудачника, не сумевшего превратить свою неудачу в источник познания; человека, не разглядевшего из своей мелкой и мнимой “правоты” своих немелких и немнимых слабостей. Адвокат собственного прошлого и завистливый зоил чужого будущего, он, по видимому, никогда не осязал душою того величия, которое присуще неоправдывающемуся историческому деятелю, и того отталкивающего впечатления, которое производит мемуарное очернение своих сотрудников. Мы доселе бережно обходили его падение, называя его “крушением дела”; он ныне сделал все для того, чтобы мы не сомневались в том, что крушение дела было обусловлено его личным падением. Пятый том [«Очерков»] не только завершил его работу, но поставил точку на нем самом. Смоется ли, сотрется ли она? Вряд ли... Эта книга писана плебеем, который не справился со своим рангом. Наделал дел; пледировал (по объяснению современного комментатора, «пледировать» — «судиться, вести тяжбу, защищать в суде». — А. К.) за свои дела; пытался свою малость свалить на кривизну других; вынес себе приговор»⁹¹.

Очевидно, впрочем, что не только объективной, но и просто сколько-нибудь взвешенной оценки деникинской и врангелевской позиций периода 1919–1920 годов трудно ожидать от человека, который на смерть Врангеля откликнулся буквально воплем отчаяния: «Ни ум, ни сердце, ни вера в Бога не принимают кончины Петра Николаевича... Впору возроптать!», требовал удостоверений, «что это не летаргический сон!!» и отсрочки похорон «до трупных пятен, до полной, объективной несомненности, что это настоящая смерть» («Подумайте только: в этом необычайном человеке все было необычайно. Это *особое* строение организма, души, инстинкта») ⁹², — а для людей, собиравшихся на панихиды помолиться Богу о душе новопреставленного Главнокомандующего, не нашел иных слов, кроме: «ходят призраки и даже не понимают, что без него они исторический прах и политический мусор» ⁹³; и не менее очевидно, что вряд ли был способен понять сдержанность и скромность Деникина Ильин, с фанатическим рвением искавший себе Вождя — объект для поклонения.

Надо сказать, что и Врангель, как мы видели, благородно помогший работе Антона Ивановича согласием на передачу ему необходимых материалов, в частной переписке позволял себе откровенные передергивания — например, отнесение «книг генерала Деникина» к числу «заведомо предвзято» освещавших... «Крымский период» Белого движения ⁹⁴, хотя в действительности этого периода (когда борьбу возглавлял Врангель) Деникин вообще не касается, — и прямые инсинуации: так, в письме Ильину барон «мимоходом» бросает: «Вы правы, генерал Деникин показал себя мелким заурядным “плебеем”». Недаром покойный генерал Алексеев как-то выразился, что “у него душа писаря”» ⁹⁵ (философ не преминул пустить сплетню дальше, в письме Струве предусмотрительно скрыв лишь ее источник — слишком уж пристрастного Врангеля: «Один почтенный генерал рассказывал мне, как М. В. Алексеев характеризовал Деникина: “у него душа штабного писаря”» ⁹⁶).

Не стоит специально задерживаться на том, верна ли такая характеристика для человека, который в дни Луцкого прорыва летом 1916-го, опасаясь приказа сверху — остановить наступление, конфиденциально запрашивал

своего доброжелателя в вышестоящем штабе: «Могу ли я считать, что связь между нами порвана?» ⁹⁷ — а весной 1919-го в критической обстановке использовал себя в качестве последнего резерва: «Нужно было поднять дух войск, как-никак, но длительное отступление не могло не сказаться, в этом направлении было сделано все, и сам генерал Деникин пошел в передовых цепях в атаку на [станцию] Торговую.

Офицеры просили его:

— Ваше превосходительство, уйдите. Здесь не ваше место.

Генерал остался.

А по фронту разлетелось:

— Сам генерал Деникин, как простой доброволец, идет с винтовкой в передовых цепях» ⁹⁸ (а 7/20 мая 1919 года Антон Иванович участвует во взятии железнодорожного моста под станицей Великокняжеской, находясь в рядах 3-й роты Лейб-Гвардии Финляндского полка ⁹⁹). Доблестная боевая работа генерала говорит сама за себя, и нам интересен скорее источник инсинуации, поскольку Врангель, прибывший в Добровольческую Армию сравнительно поздно — 25 августа (старого стиля) 1918 года, — не был принят тяжело больным генералом Алексеевым (Верховным Руководителем Армии), 29-го уехал на фронт ¹⁰⁰, а 25 сентября Алексеев скончался; правдоподобным кажется предположение, что злополучную фразу Врангель мог услышать (со ссылкой на Алексеева, достоверность которой сейчас уже вряд ли возможно проверить) от генерала А. М. Драгомирова, помощника Верховного Руководителя, в недалеком будущем — Председателя Особого Совещания и... безусловного доброжелателя Врангеля, который и в Добровольческую Армию-то отправился не в последнюю очередь по рекомендации Драгомирова ¹⁰¹. Если предположение верно, то это добавляет еще одну черту к облику Драгомирова, впоследствии «продвигавшего» Врангеля на пост Главнокомандующего и ставшего, пожалуй, наименее удачным примером «кадровой политики» Деникина... наряду с уже известным нам генералом Лукомским.

Правда, Лукомский, в эмиграции пользовавшийся расположением и доверием Великого Князя Николая Николаевича и бывший, следовательно, в 1920-е годы лицом

довольно влиятельным (Великий Князь скончался 5 января 1929 г.), — воспринял «Очерки» намного более благожелательно, отзыв же его о заключительном томе, данный в личном письме Деникину, можно характеризовать даже как хвалебный:

«Почти не отрываясь “проглотил” пятый том Очерков Русской Смуты.

Вновь переживал все пережитое — и славное, и тяжелое.

Трудно было Вам описывать период, охваченный пятым томом, оставаясь объективным, но он вылился в труд не только исключительно интересный, но именно объективный. Это чувствуется на протяжении всей книги, создавая полное убеждение, что все Вами излагаемое и документально подтвержденное — лишено “субъективной” окраски.

“Недоговоренности” в некоторых местах являются именно следствием стремления не дать своего объяснения, которое могло бы показаться не объективным»¹⁰².

Из слов Лукомского можно даже сделать вывод, что «Очерки» повлияли на резкую перемену его мнения о Врангеле, хотя здесь можно и заподозрить некоторое лукавство автора письма, поскольку утверждение, будто он своевременно не был ознакомлен с вызывающим рапортом-памфлетом, направленным Врангелем Деникину и одновременно пушенным по рукам в копиях, — не выглядит правдоподобным:

«Вся работа барона Врангеля, изложенная в этой главе, мне стала известной **только теперь** — после прочтения ее в Вашей книге. [...]

Вы были совершенно правы, когда в одном из Ваших писем на мое имя в 1921 г. (в Ниццу) Вы мне написали: “разница в наших взглядах на ген[ерала] Врангеля происходит потому, что Вы его считаете порядочным человеком, а я его таковым считать не могу”.

С истинным обликом ген[ерала] Врангеля я ближе познакомился в 1922 г. (примечание Лукомского: «Как это ни странно, но только в 1922 г. я познакомился с содержанием его письма на Ваше имя, ответ на которое Вами приводится на стр[анице] 339 [пятого тома “Очерков”]»). — А. К.), находясь в Сербии, и за время работы при Великом

Князе Николае Николаевиче в прошлом и этом (1926. — А. К.) году... Теперь — я бы Вам не возражал»¹⁰³.

Все это, однако, говорилось по окончании работы Деникина, когда она полностью увидела свет, да и тогда соседствовало с многочисленными и красноречивыми пассажами, имевшими целью улучшить реноме самого Лукомского и отвести деникинскую критику в его адрес; когда же книга еще не была завершена, а ее автор, быть может, и вправду, как писал Астров, нуждался в поддержке своих усилий и в независимости от прихотей книжного рынка, — мнение Лукомского выглядело гораздо более негативным, причем в вопросах, которые могли приобрести определяющее значение для отнесения Антона Ивановича к «своему» лагерю или исключения из него. В качестве примера приведем здесь несколько таких вопросов, реконструировав по переписке генералов¹⁰⁴ их своеобразный заочный «диалог» (помимо всего прочего, он хорошо характеризует отношение Деникина-историка к замечаниям о его работе).

Лукомский: «На стр[анице] 17 (вып[уск] I [первого тома “Очерков”]) у Вас имеется определенный намек на возможность измены Императрицы. [...] Категорически утверждаю, что ген[ерал] Алексеев сказал не правду, говоря, что “при разборе бумаг Императрицы **нашли** и т. д.” (у Деникина рассказ Алексеева приводится так: «При разборе бумаг императрицы нашли у нее карту с подробным обозначением войск всего фронта, которая изготовлялась только в двух экземплярах — для меня и для государя. Это произвело на меня удручающее впечатление. Мало ли кто мог воспользоваться ею...»¹⁰⁵. — А. К.).

Дело обстояло так:

Когда Государь был в Ставке, то карты готовились в одном экземпляре; по ним делался ежедневный утренний доклад Государю.

В тех же случаях, когда Государь уезжал из Ставки в Царское Село, еженедельно составлялся 2-й экземпляр карт с обозначением фронта и занимающих участки войск и посылался Государю, дабы он мог по ним следить, получая ежедневно подробные сводки.

После отъезда (в ночь с 27 на 28 февр[аля] 1917 г.) Государя в Царское Село нами (Алексеев был Начальни-

ком Штаба Верховного Главнокомандующего — Императора Николая II, а Лукомский — Генерал-Квартирмейстером Штаба. — А. К.) был послан 28-го февр[аля] вечером в Царское Село Государю пакет с очередными сводками и **картами**.

Так как Государя в Царское Село не пропустили, и он 1-го Марта отправился в Псков, то, опасаясь, чтобы этот пакет не попал туда, куда не надо, из Ставки был командирован в Ц[арское] С[ело], через Петроград, особый офицер за этим пакетом.

Пакет оказался у Императрицы и был возвращен. Но он оказался вскрытым и вновь запечатанным личными печатями Императрицы.

Алексеев по этому случаю сказал мне приблизительно следующее:

“Как неосторожна Императрица, вскрывая все пакеты, адресуемые Государю.

Я, конечно, не допускаю и мысли относительно возможности проявления с ее стороны интереса с преступными целями, но подобное любопытство только дает пищу и повод [к] недопустимым разговорам об измене”.

Деникин: «Вы говорите, что у меня “определенный намек на возможность измены императрицы”. Откуда это? Что такой **слух** существовал, и ему верили в обществе и в армии — это всем известно. Я лично **тогда** тоже верил. **Теперь** не верю. И в своей книге называю его только “злосчастным слухом, не подтвержденным ни одним фактом и впоследствии опровергнутым” и т. д.¹⁰⁶ Своей фразой “мало ли кто мог воспользоваться ею” Алексеев намекал на окружение императрицы. Что касается изложения деталей, очевидно у Вас они точны. Факт вскрытия пакетов, следовательно, был. Для меня неясно одно: говорите Вы и Алексеев об **одном** факте или о **разных**. Не завалилась ли в Царском какая-нибудь карта из раньше посылавшихся. Ибо Алексеев упоминал об этом эпизоде не только весной [19]17 г. в разговоре со мной, но и в мае 1918 г. в Мечетинской».

Лукомский: «Государь никого не любил, разве только сына. В этом был трагизм его жизни — человека и правителя”¹⁰⁷.

Это, конечно, право каждого [—] делать свое заключение. Но думаю, что у Вас не может быть данных **к такому** заключению.

Что окружающих Государя не любил, а главное **никому не верил**, это верно.

Но что Государь не любил Россию — это не верно. Трагизм был именно в том, что Россию он искренно любил и готов был ради ее блага принести какие угодно жертвы, но не знал, **как** это сделать, метался во все стороны и, повторяю, никому из окружающих не верил».

Деникин: «Я сказал “никого”, а не “ничего”, и поэтому решительно не понимаю, с кем Вы спорите, говоря: “но что государь не любил Россию — это не верно”, — этого я и не говорил, и в любви государя к родине не сомневался и не сомневаюсь».

Лукомский: «Говоря о “полном безучастии Государя к вопросам высшей стратегии” и основываясь на прочитанной Вами записи суждений воен[ного] совета, собран[ного] в Ставке в конце 1916 г., Вы говорите, что эта записка создает впечатление... “о полном безучастии Верх[овного] Главнокомандующего”¹⁰⁸.

Как это не верно!

“Основываясь на записи”, надлежит иметь в виду, что заседания в Ставке происходили **по получении телеграмм] об убийстве Распутина**, и действительно, особенно на 2-м заседании, повидимому, все мысли Государя были в Цар[ском] Селе.

Если же Вам что-либо говорил о безразличном отношении Государя к вопро[сам] стратегии Алексеев, то он говорил неправду.

Конечно, Государь в вопросах стратегии ничего не понимал, но знал наизусть фронт так, как дай Бог, чтобы знали Алексеев, Вы и я — как нач[альни]ки штаба; Государь знал точно, где и какие корпуса занимают фронт, какие и где в резерве; знал по фамилиям почти всех старших нач[альни]ков; отлично помнил все детали боев и **очень** интересовался всеми предположениями, касающимися будущих операций.

Но, сознавая свою некомпетентность, предоставлял полную мощь своему нач[альни]ку штаба и на заседаниях

мог “произвести впечатление безучастного Верх[овного] Главнок[омандующего]” — вследствие своей чрезвычайной скромности, не рискуя давать какие-либо указания».

Деникин: «“Безучастие” и “интерес” — разные понятия. Государь мог интересоваться и даже отлично запомнить боевой состав и расположение фронта. Но как же мог принимать участие в разработке стратегического плана человек, который по Вашим же словам “в вопросах стратегии ничего не понимал”?»

Лукомский: «Оценка Алексеева! Образ для многих не ясный; для многих чуть не святой; для многих двуликий; для многих сложный — и честолюбивый до крайности, и в то-же время почти спартанец и крайне скромный; и умный — и узкий; громадной работоспособности, но не умеющий отличать главного от второстепенного...

Вряд ли можно давать такую оценку, как делаете Вы, по приводимому письму (Деникин, цитируя «растрогавшее» его письмо Алексеева, написанное, очевидно, в конце июля 1917 года, и в частности приводя такие слова: «Если бы Вам в чем-нибудь оказалась нужна моя помощь, мой труд, я готов приехать в Бердичев [Штаб Западного фронта], готов ехать в войска, к тому или другому командующему... Храни Вас Бог!» — делает вывод: «Вот уж подлинно человек, облик которого не изменяют ни высокое положение, ни превратности судьбы: весь — в скромной, бескорыстной работе для пользы родной земли»¹⁰⁹. — А. К.).

Я Вам напомню то, что я слышал после заседания в Ставке [Верховного] Главнок[омандующего] 18 июля 1917 г. (очевидно, речь идет о «совещании министров и главнокомандующих», в действительности состоявшемся 16 июля. — А. К.); я Вам об этом, насколько помню, рассказывал.

Когда закончилось заседание, Терещенко (министр иностранных дел. — А. К.) попросил меня что-то ему показать на карте. Из залы большинство вышло.

Говоря с Терещенко, я услышал голос ген[ерала] Алексева. Говорил он приблизительно следующее:

“Вот уже прошло три месяца, как я не у дел, а содержания мне никакого не назначили. Я человек семейный и неимущий; очень прошу ускорить назначение мне содержания. Кроме того, я хотел Вам сказать, что безделье в

такое время меня мучит; я буду крайне благодарен, если мне дадут какое-нибудь назначение; я готов на все...”

Я выглянул из-за карты и увидел, что ген[ерал] Алексей говорит с Керенским...

Лично на меня слова Алексева, обращенные к Керенскому, произвели тяжелое впечатление...

Вы объясняете его скромную роль на заседании главнок[омандующих] тем, что он был нездоров (Деникин пишет: «Генерал Алексей был нездоров, говорил кратко, охарактеризовав положение тыла и состояние запасных войск и гарнизонов, и подтвердил ряд высказанных мною положений»¹¹⁰. — А. К.).

Думаю, что это не совсем так; перед заседанием он мне сказал:

“Ну, уж отведу же я душу и скажу этим мерзавцам, истинным виновникам развала армии, всю правду!”

И, конечно, хотел сказать. Но после того, когда Керенский обрушился на Рузского (в то же время Лукомский не оспаривает утверждения «Очерков Русской Смуты» о том, что выступление Алексева *предшествовало* речи генерала Н. В. Рузского, вызвавшей бурную реакцию А. Ф. Керенского¹¹¹. — А. К.)... не хватило гражданского мужества.

А роль его во время революции?

Если действительно у него в Севастополе были обществ[енные] деятели, говорившие о предполагаемом перевороте, то начавшиеся в Петрограде события должны были его побудить определенно **заставить** Государя, с места, дать ответственное министерство и затем принять решительные меры для подавления “петроградского действия”.

И он это сделать **мог**, но... что-то ему помешало.

Вообще, повидимому, в исторической оценке личности М. В. Алексева мы с Вами не сойдемся...

Деникин: «Оценка Алексева. В ней мы, очевидно, не сойдемся. Факт, сообщенный Вами (об нем Вы мне раньше не говорили), произвел на меня тяжкое впечатление. Но, зная многих первостепенных деятелей революции, знакомясь теперь еще ближе с письменными следами их деятельности, видишь ясно, как мало людей соблюли “чистоту риз” даже среди тех, кто казались непогрешимыми. Я знаю хорошо и слабые, и положительные

стороны характера Алексеева и их не замалчиваю. Если, тем не менее, отношусь к памяти его тепло и сердечно, то это в силу искреннего убеждения. Ведь вот Вы, например, как защищаете память покойных государя и государыни даже от обвинений не предъявленных...

Вы говорите, что Алексеев 16 июля не сказал того, что следовало бы, потому что побоялся, услышав, как Керенский обрушился на Рузского... Это не верно. Кроме нездоровья, между прочим, была еще одна причина, о которой мне сказал Алексеев и о которой упоминаете и Вы (в «Воспоминаниях»): что я в своем подробном докладе исчерпал все его темы, и ему трудно было сказать что-нибудь новое. Но об этом я могу написать в частном письме, а никак не в своей книге (в этом — весь Деникин! — А. К.).

Вы упрекаете Алексеева за то, что он якобы мог сделать, но не сделал: заставить государя пойти на реформы и подавить «петроградское действие». Нет, не мог — по слабости своего характера и по неустойчивости государева характера. Наконец, Вы же сами пишете (стр[аницы] 22 и 23), что «подавить революцию силою оружия» нельзя было и... «это могло бы временно приостановить революцию, но она, конечно, вспыхнула бы с новой силой»¹¹² и т. д.

А кто мог, кто сделал? Кто даже из тех, которые, стоя на крайнем правом фланге русской общественности, и до революции, и теперь, на исходе ее, боготворят и идею, и династию?... Кто ударил пальцем о палец, чтобы хоть выручить несчастных людей из застенка и спасти их жизни? А ведь это было возможно и не так уж трудно»...

...Приведенный обмен репликами интересен не только своим содержанием и теми дополнениями, которые он дает к самым, быть может, спорным главам «Очерков Русской Смуты». В нем чрезвычайно рельефно предстают оба собеседника — осторожный Лукомский, даже защиту Императора выстраивающий как будто по принципу «не поздоровится от эдаких похвал» (Антон Иванович впоследствии напомним ему о небезупречности позиции, которую занимал Лукомский в февральские дни 1917 года: ведь тогда он выступал решительным сторонником отречения Государя, фактически предложив в качестве инструмента давления — угрозу безопасности Царской Семьи¹¹³), — и Дени-

кин, отнюдь не лишенный авторского самолюбия и не склонный безропотно пасовать перед критикой, но открытый для замечаний («я всегда признателен Вам за открытую критику моей книги и воспользуюсь ею, если придется возобновлять издание, как для исправления некоторых фактических ошибок, так и для уточнения тех мест, которые могут быть неправильно истолкованы»¹¹⁴), и — что очень важно! — почти всегда не приемлющий стремления собеседника читать между строк, искать скрытые намеки и додумывать за автора: на бой и на суд («выхожу на суд читателя, заранее готовый ко всякому злему глаголу»¹¹⁵) Деникин неизменно идет с открытым забралом.

«Я задержал несколько ответ, — пишет он Лукомскому, — в предположении, что Вы прочтете (возможно, имелось в виду «перечитаете». — А. К.) книгу на досуге и тогда, быть может, многое в ней покажется Вам в другом свете. Вы отнеслись к ней с большим интересом, что весьма приятно автору, и вместе с тем во многих случаях с большой страстностью. На мой взгляд — где слова и факты, там можно спорить; где вопрос касается мыслей и восприятия автором факта — там область догадок, весьма субъективная и скользкая. К фактам я относился весьма осторожно: много исторически важных и интересных не приводил только потому, что было маленькое сомнение (по смыслу — в подлинности факта или достоверности источника. — А. К.). И при таком отношении от ошибок трудно уберечься — Вы сами это знаете хорошо»¹¹⁶...

Так же будет подходить генерал Деникин и к следующим своим работам.

* * *

Причины, по которым Антон Иванович через несколько лет после завершения «Очерков Русской Смуты» снова обращается к активному литературному труду, сложно установить со всей определенностью, но правдоподобным выглядит предположение, что это было связано с известным разочарованием в общественно-политической и публицистической деятельности. Осенью 1926 года он приходит к выводу о наличии широкомасштабной советской

провокации против боевой организации генерала А. П. Кутепова¹¹⁷, и эта уверенность не только должна была повлиять на взаимоотношения двух старых соратников (Кутепов, по-видимому, обращался к Деникину за консультациями), но и в значительной степени сводила на нет работу Деникина в «одной интимной противобольшевистской организации», сплотившейся вокруг мельгуновского журнала «Борьба за Россию» (где сотрудничал и Антон Иванович), но далеко не ограничивавшейся литературными задачами и, по некоторым указаниям, причастной даже к планированию актов возмездия в отношении советских главарей¹¹⁸: теперь использование кутеповских каналов становилось немыслимым.

Трудно было найти и трибуну для публицистических выступлений — милюковская газета «Последние Новости» отталкивала Деникина пренебрежением к понятию «национальный» и «полупризнанием» Советской власти, а более «правое» «Возрождение» — тем, что иные из его авторов допускали уступки русской территории будущим союзникам в борьбе против большевизма¹¹⁹; кроме того, очевидно, существовали и противодействующие «подводные течения» — так, Ильин, выступая фактически против создания широкого фронта антисоветских сил, писал влиятельному сотруднику «Возрождения», бывшему члену Государственной Думы и участнику Первого Кубанского похода Добровольческой Армии Н. Н. Львову: «комбинация Струве—Рысс—Мельгунов—Деникин... — это будет уже не белая, а розовая комбинация...»¹²⁰ Поэтому вряд ли случайно, что Антон Иванович (как будто в ответ на сделанное семь лет назад замечание Руднева: «На палитре ген[ерала] Деникина нет ярких красок для характеристики порядков дореволюционной армии»¹²¹) вновь обращается к области, где его опыт мемуариста — участника событий сочетается с желанием дать пусть и не всеобъемлющую, но достаточно развернутую картину «дел давно минувших дней»... причем «давность» до некоторой степени подчеркивается самим заглавием — «Старая Армия», под которым два сборника деникинских очерков увидели свет в 1929 и 1931 годах.

Реакция на книги вновь оказалась неоднозначной. На их страницах как бы воскрес молодой офицер «Ночин»,

живо и критически воспринимавший недостатки современной ему армейской жизни, неустанный правдоискатель и обличитель, — и израненные души многих русских военных эмигрантов, нередко склонных воспринимать былое в ностальгически-приукрашенном виде, испытали чувство недоумения и даже неприязни к автору и его труду. Еще строже оказывались критики «с идеологией», считавшие правду, подчас горькую, о старой России и ее Армии — «несвоевременной» и вредной для поддержания боевого духа и воспитания эмигрантской молодежи. Показательно сравнение, которое провел в рецензии на вышедший в Париже в 1933 году роман А. И. Куприна «Юнкера» генерал П. Н. Краснов — недруг Деникина в годы Гражданской войны (несмотря на общую цель — борьбу против большевизма) и, как можно судить по его сочинениям, личный недоброжелатель Антона Ивановича (неприязнь, впрочем, была взаимной).

Восхищаясь «прелестным романом» Куприна — «...Роман “Юнкера” — песня, поэма в прозе, звучная, стройная песня о далекой нашей молодости, о прекрасной, покойной поре, о домовитой, крепкой в любви и привязанности, семейной, радушной, гостеприимной и патриархальной Москве», — Краснов, даже отмечая некоторые фактические неточности, утверждал: «Этот роман — история недавнего прошлого. Милого, спокойного прошлого, увы, ушедшего от нас; история такая точная, сильная, яркая, подробная, что может служить документом...» И на этом фоне суждение о книгах Деникина, в заключительных пассажах возвышающееся, пожалуй, до обличительного тона, звучит еще более уничтожающим: «В очерках ген[ерала] А. И. Деникина — “Старая Армия” — Русская армия в лице ее старших представителей изображена безотрадно черными штрихами. Но, читая эти очерки, поражаешься, как или не везло их автору, и он постоянно натывался на непорядки, хищения и гнусности, или по складу своего характера он умел и хотел подмечать, запоминать и изображать только теневые стороны, опуская светлое. Как же мог тот темный, мрачный армейский режим, какой отразился в “Старой Армии”, воспитать, обучить и одухотворить ту удивительную 4-ю стрелковую

дивизию — “железную” дивизию, которая дала первую славу ген[ералу] Деникину и его Георгиевский Крест (Антон Иванович заслужил во главе «Железных стрелков» IV-ю и III-ю степени Ордена Святого Георгия; кроме того, он был награжден Георгиевским Оружием и «Георгиевским Оружием, бриллиантами украшенным»¹²². — А. К.) и которая надолго снабдила его доблестнейшими его сотрудниками и победоносными начальниками славной Южной Добровольческой армии? Откуда же взялись те чудо-офицеры, перед которыми преклонился А. И. Деникин и которые положили и самое основание Добровольческой армии и святой белой идее? Ведь не все там была молодежь, созданная Временным Правительством, но основу ее положили старые офицеры: — Кутепов, Врангель, Марков, Дроздовский, Покровский, Эрдели, за Россию вступились Юденич, Колчак, Миллер, Родзянко, гр[аф] Пален, Арсеньев, Дитерихс и т. д., все представители “старой” армии, все выкованные в той “неприглядной действительности”, в которой было, пожалуй, много больше героизма и жертвенной любви к Родине, чем это теперь думают»¹²³.

Надо сказать, что «Юнкера» далеко не всеми оценивались столь восторженно, как Красновым, и другой эмигрантский автор (боевой офицер) считает нужным даже рассматривать книгу в связи с «рассказами из военной жизни Куприна, написанными им до революции», которые относят к категории «полных злобой», «клеветующих на военную среду», «марающих армию и рисующих военный быт в самых неприглядных и уродливых формах»: «Выгнанный судом чести из полка за пьяный скандал, Куприн мстил армии и одновременно искал популярности в редакциях левых изданий. После революции, очутившись в эмиграции, он осознал свою вину перед армией и, чтобы загладить и заставить забыть ее, он выпустил повесть “Юнкера”, в которой впал в другую крайность, изобразив жизнь юнкеров Александровского Военного Училища в таких суровых тонах, что его герои больше походили на институт, чем на настоящих юнкеров»¹²⁴. И тем неожиданнее звучит сопоставление (хотя и не отождествление) деникинской «Старой Армии» как раз с... самым известным

примером дореволюционного творчества Куприна — «Поединком», о котором в военной среде передавали крылатую фразу: «Выведенные в книге типы офицеров могут существовать в любой армии, но такого полка не было и нет в русской армии»¹²⁵ (ср. у Деникина: «...Если *каждый* тип в “Поединке” — живой, то такого собрания типов, такого полка в русской армии не было»¹²⁶).

Сопоставление «Старой Армии» с «Поединком» принадлежит никому иному, как хорошо знакомому нам генералу Лукомскому. В пояснительной записке, составленной в августе 1937 года в сопровождение подборки документов, которые Лукомский передавал на хранение в Русский Заграничный Исторический Архив в Праге (тетрадь «Переписка А. С. Лукомского с А. И. Деникиным»), он подробно изложил свои, да и не только свои впечатления о книге Антона Ивановича:

«У меня, к сожалению, не сохранилась копия с моего письма А. И. Деникину по поводу его книги “Старая Армия”.

Мое письмо, как видно по прилагаемому ответу (приложение № 12), сильно задело А. И. Деникина.

Без моего письма — ответное письмо в некоторых своих частях не ясно и не всегда видно, о чем идет речь.

Моя основная мысль такая: в каждом большом деле есть, во всяком сложном организме (как, напр[имер], армия) есть и светлые стороны, есть и темные стороны. Жизнь всегда будет являться сочетанием добра и зла, хорошего и дурного... Общая окраска, общий вывод зависит от того, чего больше: светлого или теневого...

Молодым офицером генер[ального] штаба я служил в штабе 12-й пех[отной] дивизии в Проскурове. Хорошо узнал жизнь захолустного, провинциального городка, гарнизонную жизнь в такой дыре войсковой части...

Куприн, написав свой “Поединок”, описал Проскуров и Днепровский полк, в котором он служил...

Никто не скажет, зная хорошо, как протекала жизнь в Проскурове, что Куприн нагнал. Но Куприн выдвинул главным образом теневые стороны и еще их несколько сгустил... Получилась талантливая гадость...

В книге “Старая Армия”, конечно, ген[ерал] Деникин не следует полностью примеру Куприна, но, считая необходимым быть честным, необходимым писать правду, выставляет слишком много теневых сторон, не оговаривая, что эти теневые стороны почти всегда стушевывались от выявления той-же жизнью светлых сторон.

Деникин пишет: “(Правду) по-моему (писать) нужно. Ибо славословить прошлое не только в его светлых сторонах, но и в грехах, преступно”.

Никто и не рекомендовал Деникину “славословить прошлое в грехах...”, но полезно относительно “правды” помнить известный рассказ об Императоре Вильгельме I, который, при составлении описания Франко-Прусской войны, дал указание: “Писать только правду, но не всю правду...”

Книга Деникина “Старая Армия” сильно огорчила старое офицерство. После всего пережитого прочитать произведение ген[ерала] Деникина, бывшего Главнокомандующего во время борьбы с большевиками, было тяжело.

Всем известно, что Деникин очень высоко ставит рядовое офицерство русской Армии и солдат, но ярко выявилось его всегда проявлявшееся оппозиционное отношение к верхам, к высшим штабам и ко всему привилегированному...

Я настолько задел А. И. Деникина, что [он] в п[ункте] 17 (ответного письма. — А. К.) напоминает мне, что мне “известные круги инкриминируют ‘бросание’ не ‘каменя’ даже, а увесистого булыжника в Государя в дни, предшествующие отречению...”

Он этим намекает на обвинение меня некоторыми отдельными лицами в том, что я, в разговоре по прямому проводу с ген[ералом] Даниловым, высказал, что, по моему мнению, кроме отречения Государя, ника[ко]го иного выхода нет (разговор был вовсе не так безобиден, о чем мы упоминали выше. — А. К.)...

В действительности же, как конечно знает Деникин, ника[ко]го значения это мое “мнение” не имело, ибо дальше ген[ерала] Данилова никуда и не пошло...

Прилагаю это письмо ген[ерала] Деникина, полагая, что оно для исторического очерка может иметь некоторое значение»¹²⁷.

Лукомский, на наш взгляд, преувеличил, когда утверждал, что без его пояснений ответное письмо Деникина от 31 мая 1929 года «в некоторых своих частях не ясно». Основной смысл читательских возражений вполне понятен из ответов на них Антона Ивановича, само же его письмо представляется исключительно ценным как своего рода комментарий к первому выпуску «Старой Армии», что и побуждает привести документ целиком, дополнив лишь отсылками к соответствующим страницам настоящего издания:

«Многоуважаемый Александр Сергеевич,

Перечитал внимательно Ваше письмо о книге “Старая Армия” и вынес впечатление еще большего недоумения от Вашего толкования того, что в ней изложено, и того, чего в ней нет. Я буду говорить о той лишь части письма, в которой высказаны Ваши личные взгляды. Тем более что в городе (очевидно, имеется в виду Париж, где с 1926 года жил Деникин с семьей. — А. К.) мне пришлось слышать некоторые суждения в тождественной редакции.

1) Вопрос о “свете” и “тнях” и их пропорциональности — чисто субъективный. Как Вы справедливо извоили заметить в разговоре со мною, — пользуясь нашим служебным опытом, мы могли бы нарисовать “теней” во сто крат больше. Да и в письме Вашем “теней” этих не мало... Дело, следовательно, в том, — нужно или не нужно писать правду. По-моему, нужно. Ибо славословить прошлое не только в его светлых сторонах, но и в грехах, преступно. Тем более в наше время, имея в виду перестройку в будущем русской армии. Наконец, один только 1-й том не дает еще цельного освещения...

2) Я написал (см. с. 95 настоящего издания. — А. К.): “за последнюю четверть века существования Императорской армии сменилось 8 лиц на посту военного министра, менялись часто и системы военного управления” (сноска А. И. Деникина: «Кстати: Сахаров убит не в должности военного министра, а после увольнения, в качестве генерал-адъютанта, командированного в район беспорядков». — А. К.)... И только. Ни осуждения, ни выводов. Голый факт. Вы, доказывая, что смены происходили или в силу

необходимости, или по причинам “не нормального порядка”, бросаете мне упрек: “Ведь это камень в Верховную власть”. Недоумеваю.

3) Я пишу о недоверии Сухомлинова к Поливанову (см. с. 97. — А. К.). Вы уточняете: сначала доверие, потом сомнение, но использование, наконец — недоверие и увольнение. Не прекословлю.

4) Разговор между Родзянко и Сухомлиновым Вы считаете выдумкой последнего... Я упомянул об этом эпизоде (см. с. 97. — А. К.), так как мне о нем говорили и Сухомлинов, и Родзянко. Разговор происходил, конечно, не в зале заседаний, а в кулуарах, почему Вы и могли не знать о нем.

5) По поводу Генерального Штаба суждение Ваше мне не понятно. Вы пишете: “Но справедливость требовала бы отметить, что Палицын был заменен Сухомлиновым... лишь с целью безболезненно провести реформу ген[ерального] штаба”; что “Мышлаевский убрал Сухомлиновым... за, якобы, интриги против военного министра...”; что “Гернгросс был совершенно не подготовлен к должности нач[альника] ген[ерального] штаба”... При чем тут “справедливость”? Характеристики начальников Генерального Штаба не входили в мои задачи. Всего не напишешь. Я указал лишь, что за период [19]05—14 гг. сменилось 6 начальников и что эти смены “отразились весьма отрицательно” на работе Генерального Штаба (см. с. 97. — А. К.). А если бы привести эти и многие другие Ваши характеристики, не показался ли бы Вам и собеседникам Вашим фон очерков еще более темным?

6) Срок пребывания в Военном Совете (см. с. 98. — А. К.) установлен был не 5-летний, а 4-летний (Высоч[айшее] повел[ение] 10—12 [10 декабря] — [19]06).

7) Относительно отношений Зарубаева — Крымова (см. с. 101. — А. К.) Вы не противоречите, прибавляя только детали, усугубляющие обстановку.

8) “Отзыв Куропаткина о беспокойных людях слишком преувеличен”, — говорите Вы. “Можно привести ряд примеров выдвижения и характерных беспокойных людей”... Я и привожу эти примеры, указывая на Гурко, Скобелева, Драгомирова (см. с. 104—105. — А. К.).

Что касается лично меня, то вопрос о моих отношениях с ген[ералом] Сандецким получил неожиданный оборот. Ваш собеседник пространно повествует о том, как Сандецкий к автору “Армейских заметок” проявил “не только корректность, но и честность”. Вы лично дважды возвращаетесь к этому вопросу, повторяя, что все-таки “Сандецкий (меня) не съел, а съесть мог легко”... В чем тут дело? Нужно ли было в благодарность за то, что не съел, обелить его темные деяния?

Но и основание Ваше более чем шатко. Я, в качестве автора “Старой Армии”, — только бытописатель. Притом стараюсь не занимать читателя своею личностью более того, чем это необходимо для характеристики быта. А дополнить очерк о Сандецком я мог бы многим. Как, к примеру, помощник нач[альника] штаба Казанского округа, ген[ерал] Иоозефович, дал поручение трем старшим адъютантам отделений “порыться в делах хоть за все три года, но откопать погрешности Деникина”... И как из этого ничего не вышло. Как ген[ерал] Сандецкий, согласившись гласно с выдающейся аттестацией, данной полковнику Деникину аттестационным собранием, негласно в заключительной графе, в качестве командующего войсками, написал неудостоеение “ввиду плохо произведенной рекогносцировки маневренного района”. Причем рекогносцировку эту мне никто никогда не поручал и я ее не производил... Вероятно, “съесть” было не так легко, если для этого нужно было прибегать к таким приемам.

Я об этом не счел нужным писать.

9) Что Куропаткин вообще не отличался гражданским мужеством, я хорошо знаю; и в книге своей привел тому пример в эпизоде с Гриппенбергом (см. с. 113. — А. К.). Но когда военный министр рискует принять на себя командование на маневрах, — в этом, именно в этом, факте есть бесспорное проявление гражданского мужества. Тут “бить наверняка” трудно. Что Куропаткин лично действовал слабо и успехом Южной группы обязан исключительно своему штабу, этому я охотно верю. Но этого вопроса я ведь вообще не касался. У меня написано довольно осторожно: из официальной оценки маневра “можно было понять, что успех оказался на стороне Южан” (см. с. 111. — А. К.).

10) Вы пишете: “Ваше выражение (говоря об отношениях командного состава к Царствующему дому) ‘в силу атавизма’ покоробит многих, смотрящих на этот вопрос с иной точки зрения”. Не следует вырывать одно определение из четырех. У меня сказано: “В силу своего высокого и более независимого положения, в силу атавизма, традиций и пиетета, с которым относилось большинство командного состава к царствующему дому, ему (вел[ико]м кн[язю] Н[иколаю] Н[иколаевичу]) легче было держать в своих руках бразды верховного командования” (см. с. 115. — А. К.). Полагаю, что предпосылки исчерпывают точки зрения... Вообще же того читателя, который не понимает слова “атавизм”, оно не покоробит; а того, который понимает, что атавизм — это мировоззрение, унаследованное веками от предков, — тем более не обидит (словоупотребление действительно может показаться спорным, однако прибегал к нему в подобном контексте не только Деникин — как в «Старой Армии», так и в других своих книгах¹²⁸; скажем, Великий Князь Димитрий Павлович в интервью, относящемся к началу весны 1921 года, говорил: «Я, конечно, монархист, если можно так выразиться, монархист по атавизму»¹²⁹. — А. К.).

11) Я пишу, что дислокация по трущобам “вызывалась нередко своеобразным пониманием государственной экономии” (см. с. 127 — А. К.). Вы опровергаете этот общеизвестный факт. Достаточно вспомнить пресловутые “штабы” Варшавского и Виленского округов, носившие громкие исторические названия и построенные среди чистого поля... И после Японской войны не мало было случаев, когда по дислокации пунктом квартирования полка числился город, как например Саратов, а фактически новые казармы построены были в 6 верстах за городом, создавая тяжкие условия жизни для семей офицеров и сверхсрочных. (Поездки детей в учебные заведения и т. д.). И делалось это для того, чтобы сэкономить 3–4 десятка тысяч руб[лей] при покупке дальнего участка земли.

12) Вы пишете: “из Вашего описания выносятся тяжкое впечатление, что отношения между офицерами и солдатами были очень печальны”. “Хотя на стр[анице] 47 Вы и делаете оговорку, что было, и гораздо чаще, другое”...

Оговорку! Нужно или не знать, или невнимательно относиться к моим писаниям, чтобы не видеть, с каким признанием и любовью я всегда относился и отношусь к русскому офицеру. Даже тогда, когда касаюсь черных страниц армии, в том числе и некоторых больных сторон взаимоотношений офицеров к солдатам (так у А. И. Деникина. — А. К.). Этим чувством пронизана и последняя моя книга. И “оговорок”, в которых указывается на положительные стороны этих отношений, в ней много. (Стр[аницы] 33, 35, 39, 47, 48, 50, 136...) Вы говорите — “общая картина, особенно по сравнению с армиями других государств, не верна”. Разве параллели между русской армией — с одной стороны, и германской и австрийской — с другой, приведенные мною на стр[аницах] 48–50, не достаточно убедительны? (В настоящем издании перечисленные Деникиным страницы — 117, 119, 122, 130–132, 210. — А. К.).

13) Относительно “собачьих сравнений” (см. с. 129. — А. К.) с Вами согласен. Об этом можно было не упоминать.

14) Вы передаете историю “истории” турецкой войны в общем так же, как и я, но находите мое изложение “неверным”. Главным образом потому, что в первоначальном тексте истории “многие факты изложены были с пристрастием” и что второе издание затянулось “не из желания комиссии тянуть из-за ‘синекуры’, а из трудности сказать правду и никого не обидеть”... Хороша история!.. О “пристрастии” не могу судить — первого текста не читал. Но если история войны писалась 34 года двумя поколениями офицеров ген[ерального] штаба, то это не дело, а синекура. Что касается обвинения комиссии в “желании тянуть” работу, то этого Вы у меня найти не могли. У меня написано: “причины такой странной медлительности обнаружились наконец”. И далее идет ссылка на обиды видных участников войны, т. е. на то, что утверждает и Вы (см. с. 135–136. — А. К.).

15) Я оцениваю IV[-ый] том Куропаткина как “носящий до известной степени характер самооправдания” (см. с. 136. — А. К.); Вы же говорите, что в нем “много подтасованных фактов, заведомо ложно освещавших события”... Справедлива ли такая резкость? Точно так-же — нужна ли

была ббольшая резкость по адресу Баскакова (см. с. 139. — А. К.), и почему в этом именно случае моя “мягкость выражения” предосудительна? Особливо принимая во внимание, что он поступил когда-то со мной не хорошо, и я совсем не желаю “сводить счеты”.

16) Я считаю, что академический режим обращал нас в школьников (см. с. 146. — А. К.)... Вы объясняете это “военными традициями (может быть и глупыми!), привитыми офицерской массе кадетскими корпусами, юнкерскими и военными училищами”. По-Вашему, мы сами приносили с собой психологию школьников, и поэтому и отношение начальства к слушателям академии, как к “школьникам”, имеет свои объяснения и оправдания. Не могу согласиться. Ничего подобного не наблюдал. То обстоятельство, что около 70% академистов было чуждо кадетской психологии (вышедшие из гражд[анских] учеб[ных] заведений), что до Академии слушатели жили 3, 5, а то и 10 лет самостоятельной жизнью, служит подтверждением противного. **Академия** обращала офицеров в школьников, а они, протестуя в душе, подчинялись, однако, такому режиму.

17) Я описал академический инцидент и разочарование капитана Деникина в правде воли монаршей (см. с. 153—165. — А. К.)... Вы считаете, что после личного моего опыта правления Югом “следовало оговорить, что по обстановке было бы и трудно ожидать от Царя благоприятного решения. С одной стороны совершенно неизвестный Государю штабс-капитан, а с другой стороны — доклад военного министра...” Вы, конечно, могли просмотреть имеющуюся у меня фразу: “В практические результаты этого шага (подача жалобы) я не очень верил: слишком неравны были шансы в этой тяжбе армейского штабс-капитана с военным министром”.

Дальше — хуже. Вы пишете: “Впечатление создается, что Вы и ныне бросаете камень в Государя...”

И этот “камень” в Вашем письме фигурирует четыре раза. Имеется еще и несколько “камешков”... Видите ли, Александр Сергеевич, читать надо без предвзятости. Вам в особенности это должно быть понятно, потому что именно Вам известные круги инкриминируют “бросание” не “камня”

даже, а увесистого булыжника в Государя — в дни, предшествующие отречению...

18) “Вы недостаточно оттенили, что Казанский округ был округом исключительным”... Я написал: “этот эпизод, невозможный в других округах и переносящий нас скорее в эпоху Крымской кампании” (см. с. 189. — А. К.) и т. д. ... Не достаточно?

19) Вы подтверждаете, что “назначение Сандецкого, конечно, ничем оправдано быть не может...” Но и тут не обошлось без “камешка”: Если не Сандецкий, то вообще **суровый** начальник был там нужен, и “за это упрекать правительство или Царя, конечно, нельзя”. Кто-же упрекал **за это**?

20) Вопрос о резолюциях Государя в дни первой смуты (см. с. 213. — А. К.) Вы осложнили так, что понять ничего нельзя. Ведь дело просто: единственная опубликованная в то время резолюция вызывала впечатление о непротивлении Государя революции, и это было неверно; ибо другие резолюции, наоборот, требовали решительного ее подавления. Голые факты — без оценки и комментариев. Но Вы и здесь сочли нужным заподозрить осуждение и выступить на защиту: “Я считаю, что первая резолюция именно характеризует взгляд и позицию (?) Царя, а другие — в **пожарное** время, когда надо было тушить, а не заниматься маниловщиной, вполне понятны и вполне правильны, не давая основания и права обвинять Государя в кровожадности, как это делалось нашими левыми кругами”. Между первым и вторым Вашим положением нет согласования. Кроме того, возникает ряд недоуменных вопросов. “Взгляд” (теория) и “позиция” (практика) по отношению к усмирению революции — понятия разные. 26 дек[абря] 1905 г., когда положена была первая резолюция, был ведь тоже “пожар”... Последующие резолюции “понятны и правильны”, а первая? Вряд ли ныне, кроме большевиков, кто-либо обвиняет Государя в кровожадности.

Вы дважды, лично от себя и словами своего собеседника, напоминаете мне о моем собственном опыте командования и управления...

Я помню его хорошо и писал о нем много, не утаивая черных страниц... Но никак не могу согласиться, что не-

удача главнокомандующего лишает его возможности иметь суждение о нестроениях военных вообще; что неудача министра лишает его права критиковать нестроения политические вообще.

А хвалить не препятствуют?

21) Я писал: “Армия устояла. Она переболела сама и, оправившись, подавила первую революцию — мерами подчас весьма жестокими”. И далее: “Экспедиции генералов Меллер-Закомельского и Ренненкампа полны трагизма и окутаны кровавой **легендой**...” (см. с. 214. — А. К.) Какое основание имеете Вы делать из этих слов вывод, что так, мол, именно представляли события революционные круги, и тем самым как бы сопричисляете к ним автора “Старой Армии”?

Вас смутило слово “трагизм”?

По этому вопросу существуют две точки зрения (см. стр[аницу] 144 “Стар[ой] Арм[ии]”). Одна — офицер, который “твёрдо исполнил свой долг, открыв огонь по революционной толпе, но испытывал при этом тяжёлые душевные переживания”. И другая — Бонч-Бруевича, который смеялся над такими сантиментами. В толпе он видел только “нравственных уродов с искажёнными лицами, кровавыми теньями в испуганном воображении” (см. с. 217. — А. К.). В этих восприятиях не две политики, а две морали.

22) Об “несравненно лучших”, по-Вашему, чем в других ведомствах, условиях жизни армейского офицера не стоит спорить (очевидно, вопрос затронут в связи с очерком «Армия и первая революция»; см. с. 218–219 настоящего издания. — А. К.). Оттого, вероятно, в 1907 году комплект офицеров возрос до 70%?.. И комиссия при Совете государственной обороны установила “повальное бегство офицерства” вследствие “вопиющей материальной необеспеченности его” и “беспросветного служебного движения”...

23) Вы пишете, что Устав о воинской повинности разрабатывался и был проведен в течение двух лет. Непонятно. Мне известно, что изменение Устава было предуказано свыше в 1907 году, вслед за уменьшением сроков службы; что Государственная дума не только не признавала должного успеха работы по созданию Устава, но реши-

ла отказывать в ежегодном увеличении контингента новобранцев, пока не будет проведен новый Устав; что, наконец, Устав был утвержден лишь в 1912 году.

“Вы глубоко ошибаетесь, — говорите Вы. [—] Работа (в воен[ном] ведом[стве]) кипела...” Понятие относительное. Если Японская война окончилась в [19]05 году, а такие важные реформы, как Устав о воинской повинности был проведен (так у А. И. Деникина. — А. К.) в [19]12 году, Положение о полевом управлении [войск в военное время] — в [19]14 году, а реорганизация войскового хозяйства (комис[сия] [генерала] Водара) так и не прошла до конца, то впечатления спешности не получается (см. с. 221. — А. К.). Другое дело — трудности и препятствия.

24) В вопросе о “кружке генерального штаба” (см. с. 224. — А. К.) я основывался на свидетельстве Гучкова и Сухомлинова. Вы вносите новые данные, которыми я воспользуюсь при переиздании книги.

25) “Ваше же заключение не верно”. Такими словами Вы заканчиваете письмо. Кратко, решительно, но не убедительно.

Уважающий Вас

А. Деникин¹³⁰

Итак, еще раз четко сформулировано кредо Деникина-историка, Деникина-писателя, Деникина-военачальника... и — прежде всего и превыше всего, поскольку этим объединяются все перечисленные жизненные роли — Деникина-человека: *говорить правду* — и оваянную славой, и отравленную горечью. В сущности, именно здесь причина и непонимания, и критических замечаний, и неприятия, в основе своей, пожалуй, рождавшегося инстинктивно, *до* всякой мотивировки, — со стороны «оппонентов»: лукавого Лукомского, с его принципом «писать правду, но не всю правду» (и вопросом, заданным Антону Ивановичу в период работы над собственными мемуарами: «Описывая начало Доб[ровольческой] Ар[мии], я очень колебался, коснуться ли, или нет, трений между Ал[екс]еевым и Корниловым. Но свидетелей было слишком много, не исключая того же историка Милюкова; все равно опишут. Решил осторожно, но коснуться. Как Ваше мне-

ние?»¹³¹ — вопросом, который для Деникина просто не мог бы возникнуть!), — и увлекающегося Краснова, о первом знакомстве с которым, тогда еще военным корреспондентом газеты «Русский Инвалид», направляющимся на театр боевых действий в Маньчжурию, Деникин вспоминал через много лет:

«Статьи Краснова были талантливы, но обладали одним свойством: каждый раз, когда жизненная правда приносилась в жертву “ведомственным” интересам и фантазии, Краснов, несколько конфузясь, прерывал на минуту чтение:

— Здесь, извините, господа, поэтический вымысел — для большего впечатления...»¹³²

Различие во взглядах на то, *что и как* нужно запечатлевать для истории, помешало Краснову и увидеть, если угодно, «положительных героев» «Старой Армии» — незаметных строевых офицеров, тех, кто через несколько лет, когда описанный Деникиным период сменится страдой Мировой войны, совершит геройские подвиги и станет затем под знамена Белого движения, и тех офицеров старшего поколения, кто воспитывал будущих героев, несмотря ни на какие трудности быта, ошибки государственной политики и прочие «теневые стороны». Только предвзятостью можно объяснить, что Краснов не разглядел, как Деникин воздаст должное (а подчас и отзывается с нескрываемой симпатией) Мищенке и Мевесу, Завацкому и Драгомирову, Великим Князьям Николаю Николаевичу и Сергию Михайловичу, тем безмянным полковникам, которые вместе с ним «майн-ридовским» рейдом прорвались через всю страну, охваченную безумием 1905 года... В каком-то смысле «положительным героем» книги можно считать и... ее автора (вспомним пушкинское: «В комедии “Горе от ума” кто умное действующее лицо? ответ: Грибоедов»¹³³, — хотя все, что мы знаем об Антоне Ивановиче, не допускает и предположения, что он сам ощущал себя таким «геро-ем») — с любовью к правде сочетающего и любовь к Армии — не абстрактному, отвлеченному понятию, а к живым людям с их достоинствами и недостатками.

Эта же любовь проявилась и в книге, вышедшей годом ранее, о которой мы пока умалчивали, поскольку на

общем фоне биографии Деникина она с первого взгляда кажется несколько неожиданной, — в сборнике рассказов «Офицеры».

* * *

«По-видимому, случайной стороной деятельности виднейшего из участников белого движения» было названо появление беллетристических произведений Деникина в редакционном предисловии «левой» эмигрантской газеты «День», перепечатавшей фрагмент одного из рассказов (Деникин упорно продолжает именовать их «очерками»), «не подвергая эту книгу художественной оценке», хотя и отмечая «цельность примиряющего чувства и психологической выдержанности»¹³⁴, которые как будто должны быть отнесены к разряду художественных удач автора. В целом критическая интонация приведенной характеристики, пожалуй, не выглядит неожиданной именно потому, что неожиданным стало для многих само обращение генерала к беллетристике: ряд военачальников, первым из которых, конечно, следует по праву считать автора многочисленных увлекательных романов Краснова, уже составил себе имя в художественной литературе (Н. В. Шинкаренко — «Н. Белогорский», Г. В. Гончаренко — «Юрий Галич»...), выступая в печати более или менее успешно, но в любом случае успев завоевать своих читателей и поклонников; выступление же в роли молодого беллетриста — заслуженного генерала Деникина и впрямь могло вызвать удивление.

Еще сильнее оно должно было быть у тех, кто составил бы представление о литературном стиле и способностях Антона Ивановича по цитированной уже нами книге Василевского-Не-Буквы, опубликованной за четыре года до этого и содержащей критический разбор первых двух томов «Очерков Русской Смуты», причем критику нельзя назвать иначе, как уничтожающей. «Генерал А. И. Деникин — хороший оратор. Речи его, приведенные на страницах книги, несколько театральны, но яркие, образны и убедительны», — признает Не-Буква, чтобы немедленно обрушиться на автора «Очерков»: «Но писатель А. И. Деникин — плохой. Книга его написана тускло, без таланта и без умения. Материал расположен бессистемно, книга

загромождена длиннотами и повторениями. Чтобы разобраться в материале, приходится расчленять беспорядочно связанное и соединять разбросанное»; «Книга А. И. Деникина — раньше всего, изумительно бестемпераментная книга. У автора нет лица. Никак не определить, что любит, что ненавидит, какому Богу молится этот человек»; «У автора нет вкуса к деталям, он не чувствует, что именно здесь, в этих маленьких штришках гораздо больше, чем во всех его рассуждениях, отражается подлинная жизнь высоко интересной эпохи, подлинный аромат, настоящая музыка революции (заметим в скобках, что вряд ли что-либо было в действительности так чуждо Деникину, как эта претенциозная «музыка революции», явно заимствованная из бесстыдно-демагогической статьи А. А. Блока. — А. К.). Автор предпочитает отдавать свое внимание длинным и тусклым рассуждениям, и отдельные детали, “изюминки”, приходится лишь разыскивать, вылавливать в разных местах многотомной книги»¹³⁵. Основываясь на таких отзывах, их «героя» еще можно представить в роли мемуариста или историка (хотя результат и в этом случае должен был быть удручающим), но уж пробовать силы в художественной литературе и тем более публиковать плоды своего вдохновения ему не следовало бы ни в коем случае.

К счастью, все цитированное неправда, — и суждения Не-Буквы оставляют выбор лишь между двумя возможными их первопричинами: абсолютной глухотой как литературного критика или предельной степенью ангажированности, рабским усердием в зарабатывании себе «возвращения» из кратковременной эмиграции (в том же году, когда в Берлине вышел его антиденикинский памфлет, Василевский переехал в СССР). На самом деле, уже в «Очерках Русской Смуты» непредвзятый взгляд сразу же различит и индивидуальность стиля, и его эмоциональность, и склонность подмечать незначительные подробности, характерные реплики, и — не притянутую искусственно, но вполне органичную для автора — потребность подытоживать подробное изложение событий или свои рассуждения лаконичным и запоминающимся выводом, ярким образом, энергичной завершающей фразой... Что же касается рассказов Деникина, — предоставим судить об их литера-

турных достоинствах литературоведам, а прежде всего — читателям, но при любых оценках нельзя отрицать, что «Офицеры» — не беллетризованная публицистика, а именно художественное произведение, что написана книга уверенной рукой, что ее автор умеет создавать достоверные и жизненные, лишенные ходульности образы, вызывать сочувствие к своим героям, что и такие важные показатели стиля, как способность построить живой диалог, охарактеризовать действующих лиц одной-двумя репликами, также присущи Деникину-беллетристу. Более того, его обращение, а вернее — *возвращение* к уже испробованной беллетристической форме для внимательного наблюдателя отнюдь не было странным, коль скоро даже в первый том «Очерков» Антон Иванович включил (глава XXV) фрагмент, снабженный авторским примечанием: «Я облек картину армейского быта в форму рассказа. Но всякий малейший эпизод, в нем приведенный, есть реальный факт, взятый из жизни»¹³⁶, — и полностью вошедший под заглавием «Пролог» в сборник «Офицеры»¹³⁷.

Надо сказать, что помимо незначительной стилистической правки Деникин внес в этот рассказ и изменения, которые стоит отметить. Так, он заменил фамилию солдата-комитетчика, одного из тех, кто разваливал Армию в 1917 году, и едва ли не агента немцев, с «Соловейчик» на «Нейман» (и соответственно убрал реплику старого фельдфебеля: «А будет то, что Соловейчики над нами царствовать будут, а мы у них на положении, значит, скота бессловесного, — вот что будет, ваше благородие!..»); претерпели корректировку и центральные фигуры повествования — поручик Альбов и капитан Буравин, причем первый в результате потерял некоторые индивидуальные черты, второй же приобрел новые, резко изменившие его облик.

Автор снял упоминание, что Альбов «задолго до войны», студентом, «увлекался народничеством» — «бывал и в деревне, и на заводе, и находил “настоящие” слова, всем доступные и понятные»; но здесь нет какого-либо предубеждения против офицеров военного времени с былыми «передовыми» взглядами (таков поручик Ковтун из рассказа «Враги»): Альбов, «лишившись прошлого», стал образом более собирательным, а его слова, обращенные к

революционизированной солдатне — «...Мы, которые вместе с вами вот уже четвертый год войны несем тяжелый крест — мы стали вашими врагами?! Почему? Потому ли, что мы не *посылали* вас в бой, а *вели за собою*, усеяв офицерскими трупами весь путь, пройденный полком? Потому ли, что из старых офицеров не осталось в полку ни одного не искалеченного?» — приобрели, быть может, большую силу. Деникин подчеркнул в Альбове «непредрешенные» черты, — «...Право, я и сам теперь не знаю толком, — что будет лучше, целесообразнее после этакой встряски...» (монархия или республика), — и, напротив, конкретизировал образ Буравина, который вместо немного расплывчатого: «Ну да, я чту полковое знамя и ненавижу их красные тряпки. Я приемлю революцию. Но для меня Россия бесконечно дороже революции. Все эти комитеты, митинги, всю ту наносную дрянь, которую развели в армии, я органически не могу воспринять и переварить», — теперь исповедует свой символ веры гораздо решительнее: «А для меня вот нет сомнений... Да, я предан своему Государю, и никогда из меня не выйдет республиканца. Я чту полковое знамя и ненавижу их красные тряпки. Я не приемлю революции — как бы это сказать — ни разумом, ни нутром» (естественно, с тем же заключением о «комитетах, митингах» и прочей «наносной дряни»). Очевидно, Деникин почувствовал необходимость («нужно писать правду») подчеркнуть в одном из героев непреклонные монархические идеалы, выбрав для этого из всех персонажей офицера, беззаветно преданного даже не *службе*, а *служению* («Восемь лет служу, нет ни семьи, ни кола, ни двора. Все — в полку, в родном полку. Два раза искалечили; не долечился, прилетел в полк...»), вытаскивавшего своих раненых солдат из-под огня, а в минуту революционного развала в одиночку «каждую ночь» идущего на разведку и гибнущего от чужой ли, «своей» ли пули.

Впрочем, наблюдения над авторской правкой «Пролога» увели нас в сторону от вопроса, что же заставило Деникина, после создания капитального исторического труда и в преддверии исторических же по сути очерков «Старой Армии», облечь свои мысли в беллетристическую форму? Полное проникновение в тайны авторского вдохновения,

разумеется, невозможно, — но, думается, причины следует искать в живом, непосредственном мировосприятии Антона Ивановича, как мы уже не раз отмечали, в гораздо большей степени уделявшего внимание конкретным людям с их взаимоотношениями, чем отвлеченным «идеологическим» понятиям и рассуждениям. Знаменательное обстоятельство: во фразе из приведенного нами выше письма Лукомскому — «Нужно или не знать, или невнимательно относиться к моим писаниям, чтобы не видеть, с каким признанием и любовью я всегда относился и отношусь к русскому офицеру» — первоначально стояло «к офицерству», но Деникин исправил, и в этом исправлении, как в капле воды, отразился весь. Объектом любви и признания для него является не абстрактное, обобщенное и в сущности безликое понятие, а — по отдельности и в совокупности — те живые подвижники русского воинства, к которым весной 1917 года обращался он со страстной речью:

«Вы — бесчисленное число раз стоявшие перед лицом смерти! Вы — бестрепетно шедшие впереди своих солдат на густые ряды неприятельской проволоки, под редкий гул родной артиллерии, изменнически лишенной снарядов! Вы — скрепя сердце, но не падая духом бросавшие последнюю горсть земли в могилу павшего сына, брата, друга!

Вы ли теперь дрогнете?

Нет!

Слабые — поднимите головы. Сильные — передайте вашу решимость, ваш порыв, ваше желание работать для счастья Родины, перелейте их в поредевшие ряды наших товарищей на фронте. Вы не одни: с вами все, что есть честного, мыслящего, все, что остановилось на грани упраздняемого ныне здравого смысла. [...]

Пусть же сквозь эти стены услышат мой призыв и строители новой государственной жизни (обращение в первую очередь ко Временному Правительству. — А. К.):

Берегите офицера! Ибо от века и донныне он стоит верно и бессменно на страже русской государственности. Сменить его может только смерть»¹³⁸.

И сохранившееся со дня этого горячего призыва воодушевление, в сочетании с природной наблюдательностью и острым умом (соратник Деникина по Мировой

войне вспоминает: «В товарищеском кругу он был центром собрания... так как подмечал в жизни самое существенное, верное и интересное, и многое умел представить в юмористической форме»¹³⁹), сделали, на наш взгляд, вполне справедливым отзыв одной из эмигрантских газет о сборнике «Офицеры»: «Если будущие историки, стратеги и политики откажут А. Деникину в признании за ним дарований крупного военного вождя, то литературные критики охотно примут в лоно безусловно талантливых писателей»¹⁴⁰.

Но, помимо всего этого, Антон Иванович в «Офицерах» загадал и загадку для историков, имеющую непосредственный интерес с точки зрения восстановления подлинной картины Гражданской войны. Речь идет о рассказе «Исповедь», в котором бывший генерал, находясь на советской службе, подводит «свою» армию под поражение и погибает, отравленный по завуалированному приказу Троцкого, не желающего известиями об «измене командарма» деморализовать красноармейцев и дать оружие своим политическим недоброжелателям. «Грешен... против Бога... и... и... людей... Каюсь... во всем... Но... но... в одном... не грешен... *Им* служил... только для... вреда... Во всем... с первого... дня... всегда... как мог... [...] Зла... не помню... никому... но *им*... за Россию... *им* не могу... ни... ни... когда...» — исповедуется умирающий генерал¹⁴¹, и невольно возникает вопрос, существовал ли в действительности такой человек и о ком думал автор, создавая этот образ?

В самом деле, в отличие от рядовых офицеров, чьи судьбы, при всей их индивидуальности, довольно похожи одна на другую, герой «Исповеди» находится в ситуации уникальной, и кажется правдоподобным, что Деникин, который, как мы знаем, «всякий малейший эпизод» старался «брать из жизни» (в этом, пожалуй, он все-таки «недостаточно беллетрист»), использовал в своем рассказе какие-то реальные события. Намек на них — но опять-таки не более чем намек — находим и в «Очерках Русской Смуты», где генерал говорит об офицерах старой армии, ставших советскими «военспецами»: «От своих единомышленников, занимавших видные посты в стане большеви-

ков, мы решительно не видели настолько реальной помощи, чтобы она могла оправдать их жертву и окупить приносимый самим фактом их советской службы вред. За 2 1/2 года борьбы на Юге России я знаю лишь один случай умышленного срыва крупной операции большевиков, серьезно угрожавшей моим армиям. Это сделал человек с высоким сознанием долга и незаурядным мужеством; поплатился за это жизнью. Я не хочу сейчас называть его имя...»¹⁴²

Формулировка «мои армии», если только не считать ее оговоркой (для чего, впрочем, нет никаких оснований), отсылает к 1919 году, а упоминание о «срыве крупной операции» — как нам кажется, к августу–сентябрю, когда (по советской терминологии) «августовское контрнаступление Южного фронта», имевшее целью остановить победное продвижение Вооруженных Сил Юга России, разгромить Добровольческую, Донскую и Кавказскую Армии и выходом к Новочеркасску и Ростову-на-Дону расчленить контролировавшуюся русскими войсками территорию, — потерпело сокрушительное поражение. Правда, месяцем-двумя ранее красные тоже весьма болезненно отреагировали на свои неудачи, обрушив репрессии на старший командный состав из «военспецов», включая Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики И. И. Вацетиса и Начальника Полевого Штаба Реввоенсовета Республики Ф. В. Костяева¹⁴³, а про арестованного Начальника Оперативного управления Всероссийского Главного Штаба, бывшего генерала С. А. Кузнецова, заключенные Бутырской тюрьмы, где он недолго содержался, даже рассказывали, будто «генерал Деникин прислал Ленину требование ничего не предпринимать» против него, угрожая, что «за его смерть большевицкие тузы ответят своими головами» (впрочем, это не спасло Кузнецова от чекистской расправы)¹⁴⁴; но обстоятельства судьбы последнего слишком сильно отличаются от изображенных в «Исповеди», а Вацетис с Костяевым вообще отделались непродолжительным тюремным заключением. Возвращаясь же к сорванному «августовскому контрнаступлению», обратим внимание на еще одну знаменательную оговорку «Очерков Русской Смуты»: осуществлять операцию с советской стороны должны были на балашовском и воронежском направлениях «ударные

группы: на первом [—] Шорина из 10[-й] и 9[-й] армий, силою в 50 тыс[яч], на втором — генерала (! — А. К.) Селивачева — из 8-й, 13-й и левобережной части 14-й армии, силою до 40 тыс[яч]»¹⁴⁵.

Абсолютизировать эту оговорку (или «проговорку») и считать ее прямым намеком вряд ли стоит — Деникин неоднократно упоминал старые чины своих противников, и на тех же страницах мы видим «полковника Каменева», «генерала Егорьева», «полковника Егорова», — но противопоставление двух командующих мощными войсковыми группами (В. И. Шорин тоже был кадровым офицером, полковником) все-таки невольно привлекает внимание к генералу Селивачеву.

В. И. Селивачев должен по праву быть отнесен к числу лучших боевых генералов Российской Императорской Армии. «Замечательный человек и выдающийся военачальник»; «умный, строгий взгляд его карих глаз, живость характера, горячая преданность военному делу, настоящий “feu sacré” (“священный огонь”) и большая требовательность к своим подчиненным делали его выдающимся военным учителем», — вспоминал младший соратник Селивачева¹⁴⁶. Отличившись еще на Японской войне, на Мировой он заслужил Орден Святого Георгия IV-й степени и Георгиевское Оружие, в летних боях 1917 года одержал одну из немногих побед той несчастливой «революционной» кампании (в «битве у Зборов»), а накануне так называемого «выступления генерала Корнилова» был среди тех, кто поддерживал «корниловскую программу» (установление сильной государственной власти, милитаризация военной промышленности и железных дорог, решительная борьба против большевиков). «Прямой, храбрый и честный солдат, который был в большой немилости у комитетов», — характеризует его Деникин в «Очерках Русской Смуты»¹⁴⁷, — и неудивительно, что, не сыграв какой-либо действительной роли в «корниловские дни» августа 1917-го, генерал Селивачев был все же арестован солдатней за отправку телеграммы о моральной поддержке Корнилова¹⁴⁸. «Вины» за ним не нашла тогда даже революционная власть, и Селивачева вскоре выпустили на свободу, но Антон Иванович — один из самых активных «корнилов-

цев» — должен был сохранить уважение к своему товарищу по заключению.

В Красную Армию Селивачев поступил достаточно поздно — в декабре 1918 года, первоначально занимая относительно «мирную» должность в «Комиссии по исследованию и использованию опыта войны 1914–1918 годов» (прибежище для «буржуазных специалистов», не желавших участвовать в Гражданской войне), но в августе 1919-го был назначен помощником Командующего Южным фронтом и получил под начало группу войск из девяти стрелковых дивизий, одной кавалерийской бригады и сил Воронежского укрепленного района общей численностью, по советским данным, свыше 54 000 штыков и шашек при 268 орудиях и 1 381 пулемете¹⁴⁹ (как видим, сведения Деникина *преуменьшают* ее силу); даже советская историография признает, что группа Селивачева превосходила противостоящие ей войска по численности штыков и шашек — в 1,8 раза, орудий — в 3,9 раза, пулеметов — в 6,6 раза¹⁵⁰.

Красные имели все предпосылки к тому, чтобы смять ударную группировку Добровольческой Армии, и вклинились в ее расположение (говорить о «прорыве фронта» применительно к Гражданской войне все-таки довольно трудно), но... «группа В. И. Селивачева стала уклоняться на юго-запад, что привело к нарушению взаимодействия с Особой группой В. И. Шорина и создало опасность нанесения противником ударов по открытым флангам обеих групп»¹⁵¹ («военный обзор», опубликованный в одном из южных журналов осенью 1919 года, говорил об этих действиях Селивачева: «По всем данным, ближайшей целью этой группы [красных] был захват Харькова, причем по совершенно неизвестным причинам их наступление стало развиваться на Волчанск и Белгород»¹⁵²; ср. в «Исповеди»: «Еще недавно, не более недели тому назад, операция прорыва белого фронта началась так блестяще, и острый, точно режущий клин, прочерченный на большой стратегической карте, висевшей в оперативном отделении, впиался все глубже и глубже к югу, в расположение белых. Только полсотни верст отделяло победоносные красные полки от важного южного центра, когда командарм неожиданно для своего штаба свернул армию на запад»; «ар-

мия, производя перемену направления, сама открыла белым свои сообщения и тыл, по которому ударили белые бронепоезда и кубанская конница. Роли переменились, будто по сигналу: Н-ая красная армия повернула на север и в паническом бегстве искала спасения»; «синие стрелки, изображавшие направления колонн белых — прямые, острые, — словно разрывали паутину фронта, выпрямляли опустившийся было к югу клин и вонзались глубоко в расположение красных», — с выводом: «Операция окончательно и безнадежно погублена»¹⁵³).

«В течение второй половины августа (Деникин употребляет старый календарный стиль, советские авторы — новый. — А. К.) под нашими ударами, оставляя пленных и орудия, Воронежская группа Селивачева уходила на северо-восток. Окончательное ее окружение не состоялось только благодаря пассивности левого крыла (3-го корпуса) Донской армии», — пишет Деникин в «Очерках Русской Смуты»¹⁵⁴, и советские авторы, естественно, смягчая краски, также вынуждены признать: «...Группа Селивачева в середине сентября перешла к обороне на позициях, с которых 15 августа начала контрнаступление»¹⁵⁵.

Звучащие в книгах Деникина намеки, очевидно, отражали внутреннюю уверенность Антона Ивановича, о которой современный эмигрантский историк Н. Н. Рутыч-Рутченко пишет (к сожалению, не указывая источник своих сведений): «Генерал Деникин считал, что его (Селивачева. — А. К.) отравили, подозревая в сочувствии к белым и в измене»¹⁵⁶. Скорее всего, мы никогда уже не узнаем, каковы были основания для таких умозаключений: они непосредственно связаны с проблемой инфильтрации советских штабов белогвардейскими разведчиками, а положительные свидетельства на этот счет по понятным причинам должны были не только засекречиваться (причем обеими сторонами), но и попросту не подлежать длительному хранению. С другой стороны, дополнительный свет на «дело Селивачева», как отмечает Рутыч, проливают письма Ленина, обеспокоенного срывом «августовского контрнаступления».

«Связи с Селивачевым не установили, надзора за ним не установили, — выговаривал Председатель Совнаркома

члену РВСР С. И. Гусеву, — вопреки *давнему и прямому* требованию Цека (ЦК РКП (б). — А. К.).

В итоге и с Мамонтовым застой, и у Селивачева застой (вместо обещанных ребячьими рисуночками «побед» со дня на день — помните, эти рисуночки Вы мне показывали? и я сказал: о противнике забыли!!).

Если Селивачев сбежит или его начдивы (начальники дивизий. — А. К.) изменят, виноват будет РВСР, ибо он спал и успокаивал, а дела не делал. Надо лучших, *энергичнейших* комиссаров послать на юг, а не сонных тетерь»¹⁵⁷.

В тот же день и на ту же тему Ленин пишет Председателю РВСР Троцкому и членам РВС Южного фронта Л. П. Серебрякову и М. М. Лашевичу:

«Политбюро Цека считает абсолютно недопустимым, что Селивачев остается до сих пор без особого надзора вопреки решению Цека. Настаиваем на установлении связи хотя бы аэропланом и на посылке к нему Серебрякова во что бы то ни стало и немедленно, комиссаром при Селивачеве. Поведение начдивов в районе вторичного прорыва крайне подозрительно. Примите героические меры предотвращения.

Политбюро поручает т[оварищу] Сталину переговорить с Главкомом и поставить ему на вид недостаточность его мер по установлению связи с Селивачевым и по предотвращению подозрительной небрежности, если не измены, в районе вторичного прорыва...»¹⁵⁸

«...На объединенном заседании Политбюро и Оргбюро ЦК РКП (б) было решено командировку Л. П. Серебрякова к В. И. Селивачеву отменить», — указывают, правда, советские комментаторы¹⁵⁹, как будто снимая напряженность, которой проникнуты письма Ленина, но умалчивая при этом о примечательном обстоятельстве: письма были написаны 3/16 сентября 1919 года, решение об «отмене командировки» принято 5/18-го, а 4/17 сентября Селивачев... скончался, по официальной версии «от тифа»¹⁶⁰, и командировка утратила свою актуальность. Не менее примечательно, что из процитированного можно сделать заключение: Ленин не был осведомлен о болезни командующего группой, а ведь болезнь в какой-то мере могла стать и оправданием фронтовых неудач, и уточнением личной роли

в них Селивачева (руководить войсками в тифу должно быть несколько затруднительно), и — что могло в первую очередь затрагивать ленинских адресатов — была бы помощью «нерадивым» реввоенсоветчикам, обвиненным в плохом надзоре за подозрительным «военспецом» («установление связи» с тифознобольным вряд ли облегчило бы положение на фронте).

С другой стороны, смерть генерала оказалась как нельзя более кстати для Троцкого и его сотрудников, помимо названных в «Исповеди» причин, в силу еще одного обстоятельства, которое Деникин, даже зная по газетам о развернувшейся в 1920-е годы «фракционной борьбе», «оппозициях» и проч. внутри большевицкого лагеря, скорее всего, недооценивал: в условиях непрекращающейся грызни реввоенсоветчики могли опасаться, что раскрытие подрывной деятельности столь высокопоставленного военачальника будет угрожать их собственному положению, — особенно когда в непосредственной близости к ожидаемой ревизии появилась фигура Сталина — постоянного недруга Председателя РВСР.

Итак, налицо совершенно определенные подозрения большевицкой верхушки по адресу именно Селивачева (а не, скажем, Шорина или командования фронтом, где тоже хватало «военспецов»), и, в случае, если бы они оказались справедливыми, — крайняя желательность для Реввоенсоветов фронта и Республики оборвать нити возможного расследования, причем скоростная смерть генерала выглядит одним из самых удобных выходов (концы в воду). Налицо также параллели в развитии операций реальной и «литературной», описанной Деникиным, насколько известно, *только* в рассказе «Исповедь»; а ведь если «августовское контрнаступление» было сорвано сознательно, Главнокомандующий Вооруженными Силами Юга России должен был иметь об этом точную информацию (в отличие от «отравления», которое, как кажется, следует отнести скорее к разряду версий и подозрений), поскольку такой срыв мог бы стать возможным лишь при эффективном взаимодействии белой агентуры с соответствующими органами деникинской ставки. И рассказ из сборника «Офицеры» представляется таким образом не-

маловажным источником для реконструкции — пусть и предположительной — одного из эпизодов войны, который при ближайшем рассмотрении выглядит намного более сложным, чем с первого взгляда.

* * *

Судьбы деникинских героев всегда трагичны, и это вполне понятно: слишком грозна была катастрофа, разрушившая великую державу, выбросившая уцелевших в боях за пределы родной земли и настигавшая даже на чужбине, — а Антон Иванович не имел склонности, подобно генералу Краснову, изобретать новые, теперь уже фантастические катаклизмы (роман «За чертополохом»), уповать на граничащие со сверхъестественным технические новшества («Подвиг») или воображать себе партизанско-повстанческие армии, из приграничных областейдвигающиеся на Москву и Петербург («Белая Свитка»). Могла сказываться и обстановка — ко времени выхода в свет «Офицеров», как мы уже упоминали, получил огласку ряд большевистских провокаций, направленных против эмиграции, особенно ее наиболее непримиримой части, проповедовавшей «активизм» — вооруженную борьбу против коммунистического режима; так что не случаен посвященный одной из таких провокаций заключительный рассказ сборника... но не случайны и завершающие его слова, которые звучат из уст «униженного и оскорбленного» — и все же, во всех тяготах и лишениях беженского существования — сохранившего русскую душу офицера: «Проклятые! Оплели, испоганили... Но не будет! Не сломите! Мы устоим, вы — сгинете...»¹⁶¹ И эта святая непримиримость к Советской власти оставалась одним из лейтмотивов эмигрантских лет генерала Деникина, о чем сегодня нередко забывают, вытесняя или даже подменяя ее другим, не менее важным и проистекающим из того же горячего патриотического чувства лейтмотивом — шепетильностью в средствах и в выборе возможных союзников.

«...Нужно знать, например, и кто союзники? Идут ли они лишь свергать советское правительство или завоевывать и грабить Россию!.. Ибо тогда нас встретила бы страна

как изменников, а не как освободителей...» — размышляет вслух один из героев книги Деникина, полковник Стебель¹⁶² (упомянем кстати, что «стебель» — это еще и деталь винтовочного затвора, так что фамилию можно считать «говорящей»), и о том же через пять с лишним лет, в 1934 году, рассуждает и сам автор в письме Лукомскому по поводу лекций о положении в мире, которые Антон Иванович начал читать для эмигрантской публики и которые вызывали заметный резонанс:

«То обстоятельство, которое Вы подметили, что я “особенно резко и ярко — по Вашим словам — подчеркиваю опасное отношение к России Германии и Японии” — есть результат не импульсивности, а необходимости: слишком резко и ярко проявилось пораженчество среди эмиграции, постыдное подхалимство в отношении Гитлера, который считает русских — “навозом”; то-же и в отношении японцев, которые никогда ведь серьезно не говорили о своем бескорыстии относительно русского Дальнего Востока... Необходимо побороть эту упадочную психологию, роняющую эмиграцию и в глазах подсоветских национальных элементов (какая агитация идет там на этой почве!), и в глазах иностранцев.

А “разговаривать”, конечно, можно со всеми, не преступая границ, отдающих спасение от порабощения. Другое дело, — насколько такие разговоры будут авторитетны... Конечно, в эмиграции нет вовсе авторитетного учреждения — для переговоров международного характера (я не касаюсь узкой сферы защиты беженских интересов, где наш комитет действует успешно). И пока жизнь не создаст его, никакого толку не будет. [...]

...Есть толчок и толчок (Лукомский писал о «толчке извне», с которого могло бы начаться падение Советской власти. — А. К.). От одного не поздоровится большевикам, от другого — России. Очевидно, Вы, как и я, допускаете только первый. А в данный момент такой возможности не видеть. *В этом наше горе* (выделенную курсивом фразу Деникин приписал от руки к уже завершённому и перепечатанному на машинке письму. — А. К.)»¹⁶³.

Приведенные строки очень важны, поскольку они конкретизируют позицию, занятую Деникиным по вопро-

сам «внешнеполитическим». Помимо хорошо известного «оборончества» старого генерала, речь для него, как видим, идет о необходимости всей патриотически мыслящей эмиграции объединиться на почве антибольшевизма для общего представительства на международной арене. Можно считать спорным вопрос, был бы и в этом случае услышан голос единой и сплоченной русской эмиграции или нет, но вряд ли подлежит сомнению, что разрозненные выступления не имели серьезных шансов на сочувствие влиятельных фигур «мировой политики». К сожалению, объединения не произошло, а Вторая Мировая война, во многом ставшая следствием глухоты «великих держав» к предостережениям, доносившимся со стороны русских изгнанников, нанесла новый тяжелый удар по Русскому Зарубежью.

Не миновал он и Деникина. Полные лишений годы в оккупированной нацистами Франции, несбывшиеся надежды на пробуждение русского народа и на национальный переворот после победы над Германией, трагедия сотен тысяч русских, выданных «западными союзниками» на расправу большевикам или страдающих в лагерях «Ди-Пи» (displaced persons — перемещенных лиц), усилившееся советское влияние в послевоенной Европе... все это не могло не отражаться на нем: «во Франции стало душно», — скажет генерал в декабре 1945 года, объясняя свой переезд в США тем, «что русские газеты выходят там (в Париже. — А. К.) под “прямым или косвенным советским контролем” и что, следовательно, ему, Деникину, там закрыта возможность высказывать свои взгляды в печати»¹⁶⁴. Лишение голоса было слишком болезненным, чтобы его можно было спокойно перенести.

«Всю жизнь я работал и работаю на пользу русского дела — когда-то оружием, ныне словом и пером — совершенно открыто»¹⁶⁵, — говорит он; и последние годы жизни Антона Ивановича были наполнены чрезвычайно интенсивным литературным трудом, поглощавшим его последние силы. Плодов этого труда ему уже не суждено было увидеть: рукопись, озаглавленная Деникиным «Моя жизнь», вышла в свет посмертно... и под заголовком, гораздо более точным — «Путь русского офицера»¹⁶⁶.

«Воспоминания [...] обрываются на полуслове, — представлял книгу в предисловии от издательства известный юрист и социолог, профессор Н. С. Тимашев. — Но то, что написано, представляет выдающийся интерес. Написаны они опытным писателем. Уже когда генерал писал свои “Очерки Русской Смуты”, он был далеко не новичком на литературном поприще. С молодых лет он принимал участие в русской военной журналистике, посвящая живые и смелые очерки русскому военному быту в мирное время, а впоследствии и боевым эпизодам, в которых ему довелось участвовать». Характеризуя автора и его произведение, Тимашев утверждал, что, «как это часто бывает, повесть о детстве и юношестве удалась генералу Деникину лучше всего. В дальнейшем, с погружением личности автора в дело, которому он, по призванию и свободному выбору, посвятил свою жизнь, она (личность. — А. К.) отступает на задний план», — но и последующим страницам автор предисловия не отказывает в выдающихся достоинствах, причем не только с точки зрения насыщенности их информацией.

«...Те страницы воспоминаний, которые воспроизводят боевые эпизоды русско-японской и германской войн, привлекут особое внимание читателя», — считает Тимашев, давая им, быть может, наивысшую оценку, какую только может дать военной литературе сугубо штатский человек: «Описание военных действий часто утомляет, потому что эти действия всегда хаотичны, а неумелое описание хаоса не оставляет в уме ничего, кроме хаоса. Но талантливый военный писатель находит путеводную нить; и вот хаос получает смысл, и увлеченный рассказом читатель испытывает особое наслаждение от проникновения в то, что казалось сокровенным и недоступным. Таким умением в высокой мере владеет генерал Деникин»¹⁶⁷. «Не одними нами, старыми военными, встречена эта книга с радостью и гордостью, — писал в рецензии на «Путь русского офицера» генерал М. М. Георгиевич. — Покорила она сердца и многих бывших “оппозиционеров”, штатских интеллигентов, сумевших с годами “прозреть” и честно отрешиться от партийного наваждения и воздать должное пусть, может быть, и отсталому, но державшемуся Правды ста-

рому строю» («одним из этих “оппозиционеров” написано и предисловие к книге», — отмечал генерал)¹⁶⁸.

Возвращаясь к содержанию воспоминаний, следует заметить, что до конца не ясен вопрос, где автор планировал поставить точку. Вдова Антона Ивановича, трогательным посвящением которой он сопровождал первые главы, начатые еще в 1944 году, впоследствии утверждала: «Заключить эту свою работу он предполагал так, чтобы “Очерки Русской Смуты” являлись ее естественным продолжением, осветив, таким образом, эпоху жизни России от 1870-х до 1920-х годов»¹⁶⁹. О том же пишет и профессор Тимашев: «В книге, предлагаемой вниманию читателя, он не найдет повести о гражданской войне: смерть остановила перо автора, когда он приступил к описанию одного из славнейших эпизодов русской военной истории, брусиловского наступления 1916 г. События с 1917 по 1920 гг. описаны генералом Деникиным в хорошо известном пятитомном труде “Очерки Русской Смуты”. Еще несколько глав, и автор кончил бы там, где он начал свои Очерки», — хотя и считает («вероятно»), что Антон Иванович «пошел бы и дальше и рассказал бы и о долгих годах, проведенных им в эмиграции»¹⁷⁰ (возможно, Тимашев знал о готовившейся Деникиным книге «Вторая мировая война, Россия и зарубежье», неоконченная рукопись которой так и не была опубликована и хранится в Америке вместе с некоторыми другими материалами деникинского архива¹⁷¹).

Если принять точку зрения, что воспоминания Деникина не продвинулись бы далее начала Русской Смуты, оставшийся разрыв действительно кажется незначительным, более того, в некотором смысле его можно даже считать заполненным, пусть не в развернутой, а сжатой, конспективной форме: «Путь русского офицера» обрывается накануне весенне-летней кампании 1916 года телеграммой генерала Алексева о тяжелом положении союзников и необходимости немедленного наступления (и старый офицер-Добровolec, полковник С. А. Мацылев, даже обращал внимание на это обстоятельство как на знаменательное — «как бы символизируя верность России принятым на себя перед союзниками обязательствам, часто в ущерб собственным интересам, недописанная глава кончается словами...»¹⁷²);

но еще в 1931 году, к пятидесятилетию прорыва австрийского фронта под Луцком, Антон Иванович опубликовал в парижской газете «Русский Инвалид» очерк «Железная дивизия в Луцком прорыве», который и можно считать связующим звеном между двумя большими работами¹⁷³.

Однако в тексте «Пути русского офицера» есть и указание на то, что Деникин намеревался распространить свои воспоминания на период Гражданской войны. Рассказывая о мимолетном знакомстве, в бытность свою молодым офицером, с корнетом А. С. Карницким и о встрече с ним — уже генералом — в 1919 году, когда Карницкий прибыл на Юг России как «посланец нового Польского государства», мемуарист утверждает, что донесения польского представителя внесли лепту «в предательство Вооруженных сил Юга России Пилсудским («Начальник государства» и фактический руководитель польской армии. — А. К.), заключившим тогда тайно от меня и союзных западных держав соглашение с большевиками», — и делает специальное примечание: «Об этом — будет впереди»¹⁷⁴. Основываясь на нем, можно с сожалением предположить, что смерть генерала Деникина лишила историю новых глав его последней книги, в которых события Смуты, вероятно, подавались бы с позиций более личных, чем в «Очерках»...

А писать о близких или даже об одних и тех же событиях, не повторяясь, Антон Иванович умел — чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить «Старую Армию» и «Путь русского офицера». Быть может, старый воин торопился, чувствуя, что жизнь его подходит к концу, или был ограничен в объеме будущей книги условиями, поставленными издателями, но в более поздние воспоминания, несмотря на ряд текстуальных совпадений, не вошел ряд эпизодов, украшающих страницы «Старой Армии» (таким образом, для нас сохраняется самостоятельная ценность *обеих* книг); в свою очередь, «Путь» представляет собою повествование систематическое и наложенное на более широкую картину жизни России, — не говоря уже о его «детских» и «отроческих» главах, написанных исключительно талантливо, с неподражаемым юмором и теплотой. В сороковые годы Деникин, кроме того, назвал полностью некоторые фамилии, скрытые в «Старой Ар-

мии» за инициалами, что позволяет сегодня восстановить их при переиздании.

Последняя книга генерала, как и предыдущие, конечно, не была неуязвима для критики, и не случайно в редакционной заметке журнала «Возрождение» (можно предположить, что она принадлежала перу редактора — С. П. Мельгунова) упомянуто, что в «Пути русского офицера» встречаются ошибки: «Ант[он] Ив[анович] и в прежних своих работах не всегда отличался точностью, когда говорил о людях чуждого ему политического мира. Во многих своих суждениях А[нтон] И[ванович] остался под влиянием дореволюционных легенд, — напр[имер], о роли Распутина, о ген[ерале] Сухомлинове, о деле Мясоедова»¹⁷⁵, — но по-прежнему заблуждения Деникина никогда не были продиктованы ни лукавством, ни «политическими» соображениями, ни «поэтическим вымыслом»: проницательный или ошибающийся, он неизменно оставался верен себе и той искренности, которая всегда составляла одну из важнейших черт Деникина-писателя.

* * *

Отнимая последние силы старого генерала, — его последний литературный труд, должно быть, составлял и отраду его последних дней, принося, как некогда «Очерки Русской Смуты», «некоторое забвение от тяжелых переживаний». Обстановка конца 1940-х годов отнюдь не располагала к оптимизму, а по-прежнему чуждый успокоенности и деятельный характер Антона Ивановича, конечно, не давал ему оставаться безучастным к тому тяжелому положению, в котором находилась эмиграция, и к продолжающейся трагедии поработенной России. «Тяжелая безысходная драма горячего патриота, не видевшего никакого просвета впереди, — характеризовал состояние его души генерал Георгиевич. — Ибо, как человек деловой и трезвый, он не мог стать соглашателем-эволюционистом и спокойно ждать, пока дела “там”, за железным занавесом, уладятся “сами собой”... И преждевременно сгорал, отображая живую совесть Великой честной России»¹⁷⁶. Осознавая служением ей любую свою работу,

генерал и умер, как часовой на посту, смены с которого быть не могло.

«Горестно сознавать, что в этот ответственный момент нашего исторического бытия, когда нужно найти и выковать формулу для единства мысли и действия, мы больше не услышим проникновенной речи Антона Ивановича Деникина», — сетовал его критик и почитатель, соратник и друг Мельгунов¹⁷⁷, воспринимая эту утрату в контексте сиюминутных задач, стоящих перед эмиграцией, и продолжения ее политической борьбы, которой так и не было суждено завершиться победой. А бывший подчиненный Деникина по борьбе с оружием в руках (хотя, скорее всего, в межвоенные годы не разделявший его позицию), генерал Георгиевич, оценивая последнюю книгу старого Главнокомандующего, подчеркнул то непреходящее, что запечатлел Деникин для русского читателя любого поколения не только на страницах «Пути русского офицера», но и во всех своих *честных книгах*:

«Он ушел от нас, оставив нам свое незапятнанное имя и свои воспоминания — правдивые страницы славного Русского прошлого. Читая их, невольно преображаешься духом, отрываешься от пошлой действительности и начинаешь чувствовать себя тоже человеком — сыном Великой Родины»¹⁷⁸.

А. С. Кручинин

Примечания

¹ Деникин А. И. *Путь русского офицера*. Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 1953. С. 177.

² Кискевич Е. М. Генерал Алексеев в походе // *Донская Волна*. Еженедельник истории, литературы и сатиры. Ростов-на-Дону, 1918. № 22, 11 ноября [старого стиля]. С. 8.

³ Деникин А. И. *Путь русского офицера*. С. 270.

⁴ Дубовской А. Непонятый. (Генерал А. И. Деникин) // *Донская Волна*. 1918. № 1, 10 июня [старого стиля]. С. 13.

⁵ Грей М. *Мой отец генерал Деникин*. М.: «Парад», 2003. С. 47.

⁶ Трамбицкий Ю. А. Генерал-лейтенант А. И. Деникин // *Исторические портреты*. Л. Г. Корнилов, А. И. Деникин, П. Н. Врангель... М.: «АСТ»; «Астрель», 2003. (Белое движение). С. 166.

⁷ Деникин А. И. *Путь русского офицера*. С. 115–117, 269; *Его же*. *Старая Армия*. [Вып. I]. Париж: издание книжного дела «Родник», 1929. С. 37–38, 124.

⁸ Деникин А. И. *Путь русского офицера*. С. 96.

⁹ Письмо А. И. Деникина Н. И. Астрову от 1 декабря 1924 года // *Россия антибольшевистская*. Из белогвардейских и эмигрантских архивов. М., 1995. С. 328.

¹⁰ Письмо Ф. А. Келлера А. И. Деникину от 20 июля [старого стиля] 1918 года. — Государственный Архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. Р-5827, оп. 1, д. 53, л. 1. Автограф.

¹¹ Трубецкой Е. Н. Из путевых заметок беженца // *Архив Русской Революции*, издаваемый И. В. Гессеном. [Т.] XVIII. Берлин: [издательство «Слово»], 1926. С. 149.

¹² Деникин А. И. *Путь русского офицера*. С. 212, 215.

¹³ Милютин Д. А. Старческие размышления о современном положении военного дела в России // *Русско-японская война, 1904–1905: Взгляд через столетие*. М.: М. А. Колеров; издательство «Три квадрата», 2004. С. 597–598.

¹⁴ Арапов Д. Ю. Д. А. Милютин об итогах русско-японской войны 1904–1905 гг. и задачах дальневосточной политики России // *Там же*. С. 594.

¹⁵ Деникин А. И. *Путь русского офицера*. С. 294.

¹⁶ Цит. по: Полторацкий Н. П. П. Б. Струве как политический мыслитель. [London (Canada)]: «Заря», [1981]. С. 43.

¹⁷ Там же. С. 44.

¹⁸ Цит. по: там же. С. 30.

¹⁹ Цит. по: там же. С. 30–31.

²⁰ Ген[ерал] А. И. Деникин о Православной Церкви // *Церковные Ведомости*, издаваемые при Временном Высшем Церковном Управлении на Юго-Востоке России. Официальный отдел. Таганрог, 1919. № 2–3, 1 октября [старого стиля]. С. 31.

²¹ Приказ Главнокомандующего Вооруженными Силами Юга России 13 июня [старого стиля] 1919 года № 1226. — Российский Государственный Военный Архив (РГВА). Ф. 39540, оп. 1, д. 132, л. 177. Типографский экземпляр.

²² Деникин А. И. *Путь русского офицера*. С. 96.

²³ Меньшиков М. О. *Письма к русской нации*. М., 1999. (Пути русского имперского сознания). С. 58.

²⁴ Там же.

²⁵ Деникин А. И. *Путь русского офицера*. С. 286.

²⁶ Деникин А. И. *Старая Армия*. [Вып. I]. С. 148.

²⁷ Там же. С. 145.

²⁸ Меньшиков М. О. *Указ. соч.* С. 61.

²⁹ Там же. С. 63.

³⁰ См. там же. С. 78–83.

³¹ Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769–1920. Биобиблиографический справочник. М.: издательство «Русский Мир», 2004. С. 366, 769.

³² Деникин А. И. Очерки Русской Смуты. Т. IV. Вооруженные силы Юга России. Берлин: книгоиздательство «Слово», 1925. С. 90.

³³ Деникин А. И. Путь русского офицера. С. 72–73.

³⁴ Деникин А. И. Очерки Русской Смуты. Т. I. Крушение власти и армии. Февраль — Сентябрь 1917. Вып. II. Paris: J. Povolozky & Cie, [1921]. С. 79.

³⁵ Там же. Вып. I. С. 5.

³⁶ Василевский И. М. (Не-Буква). Ген[ерал] А. И. Деникин и его мемуары. Берлин: Акционерное Общество «Накануне», 1924. С. 8, 15.

³⁷ Краснов П. Н. На внутреннем фронте // Архив Русской Революции. [Т.] I. [1921]. С. 176.

³⁸ Цит. по: Грей М. Указ. соч. С. 253. К сожалению, есть основания считать, что ряд текстов в русском издании этой книги дан в обратном переводе с французского и, таким образом, не является аутентичным.

³⁹ Лехович Д. В. Белые против красных. Судьба генерала Антона Деникина. [М.]: «Воскресенье», [1992]. С. 287.

⁴⁰ Письмо А. С. Лукомского А. И. Деникину от 6 марта 1921 года. — ГА РФ. Ф. Р-5829, оп. 1, д. 7, л. 44 об. Подлинник.

⁴¹ Составленный А. С. Лукомским конспект его письма А. И. Деникину от 6 ноября 1921 года. — Там же. Л. 45. Подлинник.

⁴² Лехович Д. В. Указ. соч. С. 287–288.

⁴³ Цит. по: Карпенко С. В. Судьба «Записок» генерала Врангеля // Новый Журнал. Кн. 207. Нью-Йорк, 1997. С. 216.

⁴⁴ Цит. по: Лехович Д. В. Указ. соч. С. 284.

⁴⁵ См. там же.

⁴⁶ Там же. С. 280.

⁴⁷ Письмо А. И. Деникина А. С. Лукомскому от 24 ноября 1921 года. — ГА РФ. Ф. Р-5829, оп. 1, д. 7, л. 37.

⁴⁸ То же, от 3 октября 1927 года (датируется по почтовому штемпелю). — Там же. Л. 64.

⁴⁹ Цит. по: Дайнес В. О. Предисловие // Деникин А. И. Поход на Москву («Очерки русской смуты»). М.: Военное Издательство, 1989. С. 8.

⁵⁰ Деникин А. И. Очерки Русской Смуты. Т. I. Вып. I. С. 23.

⁵¹ Из дневника генерала М. В. Алексеева // Русский Исторический Архив. Сб. I. Прага: издание Русского Заграничного Исторического Архива, 1929. С. 23, 33–34, 46.

⁵² Брусилов А. А. Мои воспоминания. Посмертное издание. М.; Лг.: Государственное Издательство; Отдел военной литературы, 1929. С. 235 (Приложение 2).

⁵³ Деникин А. И. Очерки Русской Смуты. Т. I. Вып. I. С. 11.

⁵⁴ Брусилов А. А. Указ. соч. С. 236.

⁵⁵ Деникин А. И. Очерки Русской Смуты. Т. II. Борьба Генерала Корнилова. Август 1917 г. — Апрель 1918 г. Paris: J. Povolozky & Cie, [1922]. С. 198.

⁵⁶ Ильин И. А. Встречи и беседы // Ильин И. А. Собрание сочинений: Письма. Мемуары (1939–1954). М.: «Русская Книга», 1999. С. 330, 348–349.

⁵⁷ Нестерович-Берг М. А. В борьбе с большевиками. Воспоминания. Париж, 1931. С. 101.

⁵⁸ Деникин А. И. Очерки Русской Смуты. Т. II. С. 198.

⁵⁹ Брусилов А. А. Указ. соч. С. 231–232, 235, 237.

⁶⁰ Г. О. [Рецензия на первый том «Очерков Русской Смуты»] // Историк и современник. Историко-литературный сборник. [Т.] II. Берлин: [издательство «О. Дьякова и К^о»], 1922. С. 270.

⁶¹ Мякотин В. А. Четвертый том «Очерков» ген[ерала] Деникина // Голос Минувшего на чужой стороне. Журнал истории и истории литературы. № 4 / XVII. Париж: издание Товарищества «Н. П. Карбасников», 1926. С. 288.

⁶² Мельгунов С. П. Очерки генерала Деникина // На чужой стороне. Историко-литературные сборники. [Сб.] V. Берлин: «Ватага»; Прага: «Пламя», 1924. С. 307.

⁶³ Чернов В. М. «Подполье» и «надполье» в подготовке корниловского движения. (По поводу «Очерков русской смуты» ген[ерала] Деникина) // Воля России. Журнал политики и культуры. Прага, 1923. № 4, 1 марта. С. 26.

⁶⁴ Деникин А. И. Очерки Русской Смуты. Т. II. С. 31.

⁶⁵ Чернов В. М. Указ. соч. С. 26.

⁶⁶ Деникин А. И. Очерки Русской Смуты. Т. II. С. 65.

⁶⁷ Василевский И. М. (Не-Буква). Указ. соч. С. 139.

⁶⁸ Письмо В. А. Маклакова П. Н. Милюкову от 24 января 1923 года. — Цит. по: Катков Г. М. Дело Корнилова. 2-е изд., исправленное. М.: «Русский путь», 2002. (Исследования Новейшей Русской Истории; 5). С. 169.

⁶⁹ Казанович Б. И. Поездка из Добровольческой армии в «Красную Москву». Май — июль 1918 года // Архив Русской Революции. [Т.] VII. 1922. С. 186.

⁷⁰ Письмо А. И. Деникина Н. И. Астрову от 21 октября 1923 года // Россия антибольшевистская. С. 300.

⁷¹ Махров П. С. В Белой армии генерала Деникина. Записки начальника штаба Главнокомандующего Вооруженными Силами

Юга России. СПб.: издательство «Logos», 1994. (Историческая серия. XIX–XX век). С. 195.

⁷² Мякотин В. А. Указ. соч. С. 284–285.

⁷³ Мельгунов С. П. Очерки генерала Деникина. С. 301–302.

⁷⁴ Там же. С. 300.

⁷⁵ Там же. С. 305.

⁷⁶ Мякотин В. А. Указ. соч. С. 288.

⁷⁷ Руднев В. В. Армия и революция. [Рецензия на первый том «Очерков Русской Смуты»] // Современные Записки. Общественно-политический и литературный журнал. [Кн.] IX. Париж, 1922. С. 315, 316, 322.

⁷⁸ Мякотин В. А. Указ. соч. С. 286.

⁷⁹ Письмо А. И. Деникина Н. И. Астрову от 1 декабря 1924 года // Россия антибольшевистская. С. 328.

⁸⁰ Деникин А. И. Польша и Добровольческая Армия // Голос Минувшего на чужой стороне. № 4 / XVII. С. 175–187.

⁸¹ Мельгунов С. П. Очерки генерала Деникина. С. 305.

⁸² Письмо Н. И. Астрова А. И. Деникину от 9 октября 1923 года // Россия антибольшевистская. С. 298.

⁸³ Письмо А. И. Деникина Н. И. Астрову от 21 октября 1923 года // Там же. С. 301.

⁸⁴ Там же.

⁸⁵ Мякотин В. А. Указ. соч. С. 284.

⁸⁶ Руднев В. В. Указ. соч. С. 322.

⁸⁷ Там же. С. 317.

⁸⁸ Деникин А. И. Очерки Русской Смуты. Т. III. Белое движение и борьба добровольческой армии. Май — октябрь 1918 года. Берлин: книгоиздательство «Слово», 1924. С. 5.

⁸⁹ Письмо Н. И. Астрова А. И. Деникину от 15 августа 1923 года // Россия антибольшевистская. С. 285–286.

⁹⁰ Письмо И. А. Ильина П. Б. Струве от 18 марта 1927 года // Ильин И. А. Собрание сочинений: Дневник. Письма. Документы (1903–1938). С. 190–191.

⁹¹ То же, П. Н. Врангелю от 22 февраля 1927 года // Там же. С. 244–245.

⁹² То же, Н. М. Котляревскому от 25 апреля 1928 года // Там же. С. 257–258.

⁹³ То же, О. М. Врангель от 27 апреля 1928 года // Там же. С. 258.

⁹⁴ Письмо П. Н. Врангеля И. А. Ильину от 7 марта 1928 года // Там же. С. 256.

⁹⁵ То же, от 25 февраля 1927 года // Там же. С. 247.

⁹⁶ Письмо И. А. Ильина П. Б. Струве от 18 марта 1927 года // Там же. С. 191.

⁹⁷ Деникин А. И. Железная дивизия в Луцком прорыве. 1916–1931 // Русский Инвалид. Военно-научная и литературная газета. № 20. Париж, 7 июля 1931. С. 5.

⁹⁸ Марков Б. По Манычу и Салу. На путях к Царицыну // Донская Волна. 1919. № 22–24 (50–52), 16 июня [старого стиля]. С. 15.

⁹⁹ Ходнев Д. И. Лейб-Гвардии Финляндский полк в Великой и Гражданской войне (1914–1920 гг.). Белград, 1932. С. 41.

¹⁰⁰ Врангель П. Н. Записки. (Ноябрь 1916 г. — Ноябрь 1920 г.). Ч. I // Белое Дело. Летопись Белой Борьбы. [Кн.] V. [Берлин]: книгоиздательство «Медный Всадник», [1928]. С. 69, 71, 72.

¹⁰¹ Там же. С. 68.

¹⁰² Письмо А. С. Лукомского А. И. Деникину от 10 декабря 1926 года. — ГА РФ. Ф. Р-5829, оп. 1, д. 7, л. 51. Черновой автограф.

¹⁰³ Там же. Лл. 56–58.

¹⁰⁴ Письмо А. С. Лукомского А. И. Деникину от 6 ноября 1921 года. — ГА РФ. Ф. Р-5829, оп. 1, д. 7, лл. 46 и об., 46а об., 47 и об., 48 об., 49 и об., 50. Черновой автограф; ответное письмо А. И. Деникина от 24 ноября 1921 года. — Там же. Лл. 32, 33, 34, 35. Подлинник.

¹⁰⁵ Деникин А. И. Очерки Русской Смуты. Т. I. Вып. I. С. 17.

¹⁰⁶ Там же. С. 18.

¹⁰⁷ Там же. С. 35.

¹⁰⁸ Там же.

¹⁰⁹ Там же. Вып. II. С. 199.

¹¹⁰ Там же. С. 187.

¹¹¹ Там же.

¹¹² См.: Лукомский А. С. Из воспоминаний // Архив Русской Революции. [Т.] II. 1921. С. 22–23.

¹¹³ См. запись переговоров по прямому проводу Генерал-Квартирмейстера Штаба Верховного Главнокомандующего с Начальником Штаба Северного фронта от 2 марта 1917 года // Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев, документы. 2-е изд. М.: издательство «Красная Газета», 1927. С. 236.

¹¹⁴ Письмо А. И. Деникина А. С. Лукомскому от 24 ноября 1921 года. — ГА РФ. Ф. Р-5829, оп. 1, д. 7, л. 35.

¹¹⁵ То же, Н. И. Астрову от 21 октября 1923 года // Россия антибольшевистская. С. 301.

¹¹⁶ То же, А. С. Лукомскому от 24 ноября 1921 года. — Л. 32.

¹¹⁷ Лехович Д. В. Указ. соч. С. 300.

¹¹⁸ Там же. С. 306–307; Грей М. Указ. соч. С. 261.

¹¹⁹ См.: Грей М. Указ. соч. С. 258.

¹²⁰ Письмо И. А. Ильина Н. Н. Львову от 15 декабря 1927 года // Ильин И. А. Собрание сочинений: Дневник. Письма. Документы. С. 327.

- ¹²¹ Руднев В. В. Указ. соч. С. 323.
- ¹²² Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. С. 491.
- ¹²³ Гр. А. Д. [Краснов П. Н.]. Литературные заметки // Русский Инвалид. № 51. 22 января 1933. С. 7–8.
- ¹²⁴ Марков А. Л. Военный писатель В. Н. Биркин // Военная Быль. Издание Обще-Кадетского Объединения. № 18. Париж, май 1956. С. 22.
- ¹²⁵ Мацылев С. А. Путь русского офицера // Возрождение. Литературно-политические тетради. Тетрадь XXXI. Paris, Январь — Февраль 1954. С. 183.
- ¹²⁶ Деникин А. И. Старая Армия. [Вып. I]. С. 128–129.
- ¹²⁷ Тетрадь «Переписка А. С. Лукомского с А. И. Деникиным». — ГА РФ. Ф. Р-5829, оп. 1, д. 7, лл. 88–91. Автограф.
- ¹²⁸ Ср.: Деникин А. И. Очерки Русской Смуты. Т. I. Вып. II. С. 221; его же. Путь русского офицера. С. 289.
- ¹²⁹ Миронов М. Беседа с вел[иким] князем Дмитрием Павловичем // Последние Новости. Paris, 1921. № 275, 13 марта. С. 3.
- ¹³⁰ Письмо А. И. Деникина А. С. Лукомскому от 31 мая 1929 года. — ГА РФ. Ф. Р-5829, оп. 1, д. 7, лл. 65–73. Подлинник.
- ¹³¹ Письмо А. С. Лукомского А. И. Деникину от 6 марта 1921 года. — Там же. Л. 44 и об. Автограф.
- ¹³² Деникин А. И. Путь русского офицера. С. 150.
- ¹³³ Письмо А. С. Пушкина А. А. Бестужеву, без даты (конец января 1825 года) // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. 4-е издание. Т. X. Письма. Лг.: издательство «Наука», 1979. С. 97 (письмо № 109).
- ¹³⁴ Цит. по: Лехович Д. В. Указ. соч. С. 296.
- ¹³⁵ Василевский И. М. (Не-Буква). Указ. соч. С. 21, 79–80.
- ¹³⁶ Деникин А. И. Очерки Русской Смуты. Т. I. Вып. II. С. 91–104.
- ¹³⁷ Деникин А. И. Офицеры. Очерки. Париж: [издательство «Родник»], 1928. С. 7–25.
- ¹³⁸ Деникин А. И. Очерки Русской Смуты. Т. I. Вып. II. С. 113–114.
- ¹³⁹ Цит. по: Лехович Д. В. Указ. соч. С. 51.
- ¹⁴⁰ Цит. по: там же. С. 296.
- ¹⁴¹ Деникин А. И. Офицеры. С. 54.
- ¹⁴² Деникин А. И. Очерки Русской Смуты. Т. III. С. 145.
- ¹⁴³ Тинченко Я. Ю. Голгофа русского офицерства в СССР. 1930–1931 годы. М.: [Московский Общественный Научный Фонд], 2000. (Монографии; 10). С. 68–69.
- ¹⁴⁴ Клементьев В. В. В большевицкой Москве (1918–1920). М.: «Русский путь», 1998. (Всероссийская Мемуарная Библиотека. Серия «Наше недавнее»; 3). С. 363.
- ¹⁴⁵ Деникин А. И. Очерки Русской Смуты. Т. V. Вооруженные силы Юга России. [Берлин]: книгоиздательство «Медный Всадник», [1926]. С. 119.
- ¹⁴⁶ Архипов М. Н. Воспоминания о первой мировой войне // Военная Быль. № 90. Март 1968. С. 21–22.
- ¹⁴⁷ Деникин А. И. Очерки Русской Смуты. Т. I. Вып. II. С. 203.
- ¹⁴⁸ Там же. С. 223.
- ¹⁴⁹ Группа В. И. Селивачева // Гражданская война и военная интервенция в СССР (sic! — А. К.). Энциклопедия. М.: «Советская Энциклопедия», 1983. С. 159–160; Августовское контрнаступление Южного фронта 1919 // Там же. С. 18.
- ¹⁵⁰ Там же.
- ¹⁵¹ Гражданская война в СССР (sic! — А. К.). Т. 2. Решающие победы Красной Армии. Крах империалистической интервенции. (Март 1919 г. — октябрь 1922 г.). М.: Военное Издательство, 1986. С. 160.
- ¹⁵² Н. Б. Военный обзор // Церковные Ведомости. 1919. № 2–3, 1 октября [старого стиля]. С. 27.
- ¹⁵³ Деникин А. И. Офицеры. С. 40, 42, 44.
- ¹⁵⁴ Деникин А. И. Очерки Русской Смуты. Т. V. С. 120.
- ¹⁵⁵ Гражданская война в СССР. Т. 2. С. 161.
- ¹⁵⁶ [Рутыч Н. Н.]. Биографический справочник // Махров П. С. Указ. соч. С. 251.
- ¹⁵⁷ Письмо В. И. Ленина С. И. Гусеву от 16 сентября [нового стиля] 1919 года // Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. Т. 51. Письма. Июль 1919 — ноябрь 1920. М.: Издательство политической литературы, 1965. С. 50.
- ¹⁵⁸ То же, Л. Д. Троцкому, Л. П. Серебрякову, М. М. Лашевичу от 16 сентября [нового стиля] // Там же. С. 51.
- ¹⁵⁹ Там же. С. 385 (комментарий).
- ¹⁶⁰ Селивачев В. И. // Гражданская война и военная интервенция в СССР. С. 532.
- ¹⁶¹ Деникин А. И. Офицеры. С. 140.
- ¹⁶² Там же. С. 125–126.
- ¹⁶³ Письмо А. И. Деникина А. С. Лукомскому от 14 февраля 1934 года. — ГА РФ. Ф. Р-5829, оп. 1, д. 7, л. 74 и об.
- ¹⁶⁴ Лехович Д. В. Указ. соч. С. 352–353.
- ¹⁶⁵ Цит. по: там же. С. 354.
- ¹⁶⁶ См. там же. С. 336.
- ¹⁶⁷ Тимашев Н. С. Предисловие // Деникин А. И. Путь русского офицера. С. 8, 12.

¹⁶⁸ *Георгиевич М. М.* Честная книга. (Посмертные воспоминания генерала Деникина. Изд[ательство] имени Чехова) // Военная Быль. № 10. Июль 1954. С. 19.

¹⁶⁹ *Деникина К. В.* [Послесловие] // *Деникин А. И.* Путь русского офицера. С. 382.

¹⁷⁰ *Тимашев Н. С.* Указ. соч. С. 7.

¹⁷¹ *Лехович Д. В.* Указ. соч. С. 360–361.

¹⁷² *Мацылев С. А.* Путь русского офицера. С. 184.

¹⁷³ *Деникин А. И.* Железная дивизия в Луцком прорыве. 1916–1931 // Русский Инвалид. № 20. 1931. С. 2–5.

¹⁷⁴ *Деникин А. И.* Путь русского офицера. С. 85.

¹⁷⁵ Редакционное примечание к: *Мацылев С. А.* Указ. соч. С. 185.

¹⁷⁶ *Георгиевич М. М.* Указ. соч. С. 20.

¹⁷⁷ *Мельгунов С. П.* Гражданский подвиг А. И. Деникина. (К пятилетию со дня кончины) // Возрождение. Тетрадь XXV. Январь — Февраль 1953. С. 169.

¹⁷⁸ *Георгиевич М. М.* Указ. соч. С. 20.

СТАРАЯ АРМИЯ



Генералъ А. ДЕНИКИНЪ

СТАРАЯ АРМІЯ

ПАРИЖЪ

ИЗДАНИЕ КНИЖНАГО ДВЛА «РОДНИКЪ»

LIBRAIRIE «LA SOURCE», 106, RUE DE LA TOUR, PARIS

1 9 2 9

ТОМ ПЕРВЫЙ

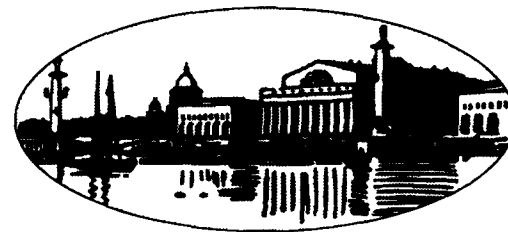
ОТ АВТОРА

В последнюю четверть века на общем фоне русской жизни армия занимала положение своеобразное и обособленное.

Потому ли, что однородно дворянский некогда корпус офицеров, находившийся в тесном сродстве с правившим классом и старой интеллигенцией, уступил место офицерству демократизованному, не имевшему уже достаточно корней в этих слоях... Потому ли, что, прогрессируя в организации и технике, армия по природе своей и по прочности военных традиций являлась все же институтом консервативным, и новая интеллигенция, оппозиционная к государственному строю и власти, высокомерно относилась к военному мундиру... — во всяком случае это отчуждение общественности от армии являлось крупной ошибкой, дорого обошедшейся стране.

Взаимоотношения четырех лагерей определились отчетливо во время пролога к русской трагедии, в 1905—1907 гг., когда социалистическая демократия сооружала баррикады при сочувствии либеральной, а военная демократия (это наименование соответствует и армии, набранной по всеобщей воинской повинности и всесловному офицерскому корпусу) разрушала эти баррикады при сочувствии консервативных и реакционных элементов страны. «Потемкин», Кронштадт, Севастополь, буйство запасных Маньчжурского фронта и т. д., при всей серьезности этих первых раскатов грома перед грозой, были все же только эпизодами.

По тем или другим причинам русское общество мало знало и мало интересовалось своей армией. А между тем полуторамиллионная военная среда, помимо своеобразного колоритного быта, представляла немалый интерес и с точки зрения общественно-государственной. Такие вопросы, как национальное и политическое воспитание военнослужащих, взаимоотношения офицера с солдатом, интеллектуальное их развитие и вообще все то, чем живет и дышит армия — трех-четырёхлетняя школа, пропускающая через свои ряды почти все физически годное мужское население, предопределяли во многом пути не только армии, но и страны.



УПРАВЛЕНИЕ И КОМАНДОВАНИЕ

За последнюю четверть века существования Императорской армии сменилось 8 лиц на посту военного министра, менялись часто и системы военного управления. Централизованная вначале власть в руках военного министра, облеченного доверием монарха и от его имени издающего Высочайшие повеления, мало-помалу расплывалась между многими лицами и учреждениями. И ко времени реформ, последовавших за неудачной японской войной, существовала уже система многоголовая, лишенная единства идеи и выполнения. Наряду с военным министром стояли самостоятельные органы: Совет государственной обороны, Высшая аттестационная комиссия, Генеральный штаб и пять генерал-инспекторов — всех родов оружия и военно-учебных заведений. Последние должности, за немногими исключениями, занимались лицами Императорской фамилии, что еще более укрепляло независимость этих постов и делало их фактически безответственными.

На почве столкновения ведомственных интересов происходили часто большие трения в явный ущерб делу. Военная печать не раз подымала голос против разделения власти; военные министры также боролись с этим явлением, но весьма осторожно, опасаясь придворной интриги и своего падения.

Учрежденный в 1905 г. Совет государственной обороны имел целью «объединение управлений армии и флота и согласование всех ведомств, соприкасающихся с работами по государственной обороне». Теоретически такое согласование в деле подготовки к борьбе за существование всей нации, — в деле, обнимающем область не только воору-

женных сил, но и дипломатию, финансы, торговлю, промышленность, сообщения и снабжения, казалось бы вполне логично. На практике оно встречает серьезнейшие затруднения, и нигде в полной мере не разрешено. В русской практике Совет государственной обороны явился только средостением между верховной властью, Советом министров и высшими правительственными учреждениями, вторгаясь зачастую в компетенцию последних и создавая большие трения.

Самостоятельные генерал-инспекторы вызывали отрицательное к себе отношение не только со стороны министерства, но и на местах. Командующие войсками округов, подведомственные военному министру, но непосредственно подчиненные государю, весьма ревниво относились к вмешательству инспекторов в свою компетенцию. На почве расхождения во взглядах в деле образования войск происходили столкновения между министром, командующим и инспекторами; случались они и в области личных отношений. Особенно не любил постороннего вмешательства командующий войсками Киевского округа М. И. Драгомиров, который принимал проверявших его войска лиц с плохо скрытой иронией. Рассказывают, как однажды, во время смотра генерал-инспектора кавалерии, у М. И. сорвалась одна из «драгомировских» летучих фраз, имевших свойство с необыкновенной быстротой распространяться по армии:

— Ох, уж эти мне *лошадиные* генералы!..

Фраза была услышана или «доложена», и за обедом произошел разговор:

— Так как же, Ваше Высокопревосходительство, относительно лошадиных генералов?

— Эх, Ваше-ство, все мы перед Господом Богом скоты, — ответил Драгомиров.

Конечно, оппозиция направлена была, главным образом, не против учреждений, призванных разрабатывать и проводить в жизнь известные специальные знания, а против чрезмерных прав инспекторов. Тем более что в числе последних были и лица, имевшие большие заслуги. Так, вел. кн. Николай Николаевич поставил рационально обучение кавалерии, заменив манеж и плац-парад настоящей рабо-

той в поле. Вел. кн. Сергей Михайлович, оставивший по себе дурную память негласным руководством Главным артиллерийским управлением, — в качестве генерал-инспектора артиллерии был на высоте своего положения; ему во многом обязана русская артиллерия, стоявшая в мировую войну по искусству ведения стрельбы и боя выше своих противников — не только австрийцев, но и германцев.

Ко времени великой войны военная власть почти во всех отношениях была объединена вновь в руках военного министра. Достигнуто это было — редкий случай — совокупными усилиями трех взаимно враждебных сил: самого министра Сухомлинова, относившегося с полным недоверием к своему помощнику Поливанову и враждебно к Думе; генерала Поливанова, находившегося в скрытой оппозиции к министру, и, наконец, Думы, в глазах которой Поливанов пользовался авторитетом, а Сухомлинов... Однажды перед заседанием Комиссии государственной обороны, Родзянко обратился к нему:

— Уходите, уходите!.. Вы для нас — красное сукно: как только вы приезжаете, дела ваши проваливаются.

Наравне с другими учреждениями, военному министру в 1908 г. был подчинен и Генеральный штаб, который за три года до того был выделен в самостоятельное учреждение и в лице своего главы непосредственно подчинен государю. За время своего девятилетнего обособленного состояния (1905–1914)* наше Управление Генерального штаба переменило шесть начальников, что отразилось весьма отрицательно на его работе.

Кроме личной инициативы министров и закулисных влияний, пропадающих в большинстве случаев для истории, на высшее направление военных дел имели влияние многочисленные ведомственные комиссии, расцветшие пышно со времен Ванновского и, в меньшей мере, — анкеты, нисходившие иногда до полков и вызывавшие чаще всего простую отписку, так как никто в армейских захолустьях не верил, что «Петербург послушается нашего голося». И в самой ничтожной степени влиял безгласный и

* До 1905 г. Генеральный штаб составлял лишь часть Главного штаба.

безличный Военный Совет, состоявший из заслуженных старых генералов, долженствовавших внести в мероприятия свой жизненный и служебный опыт.

Военный министр делал представления о назначении и увольнении членов Военного Совета, чем создавалась их полная зависимость от министра. И Высочайше утвержденные положения Военного Совета являлись чистой фикцией. Вопросы предreshались в канцелярии военного министерства, а на заседаниях даже докладчик (начальник канцелярии министра) «обыкновенно несдержанно относился к членам Совета», не говоря уже о самом военном министре, который, председательствуя на заседании, позволял себе как-то оборвать инакомыслящих, стукнув по столу кулаком и крикнув на весь зал:

— Так будет!

Когда член Совета ген. Скугаревский поведал в печати о таких порядках, появилось объяснение другого члена Совета, ген. Фролова, который, оправдывая своих коллег в отсутствии гражданского мужества, писал: «если члены Военного Совета не оставили после происшедшего зал совета, то только потому, что, проникнутые разумным пониманием дисциплины и порядка, они не пожелали дать пагубный пример армии».

В конце 1906 г. «в целях своевременного обновления личного состава Военного Совета» повелено было, после присутствования в Совете в течение четырех лет увольнять обязательно генералов со службы. Но печать тления Совет сохранил до конца своего существования, не поборов пустившей в нем глубокие корни традиции оппортунизма. Придет революция, принесет с собою перемену богов и «законотворчество самой свободной армии в мире», и Военный Совет, верный себе, вынесет постановление:

«Военный совет считает своим долгом засвидетельствовать полную свою солидарность с теми энергичными мерами, которые Временное правительство принимает в отношении реформ вооруженных сил, соответственно новому укладу жизни в государстве и армии, в убеждении, что эти реформы наилучшим образом будут способствовать скорейшей победе нашего оружия».

Не только в военном мире вообще, но и в самом корпусе русского Генерального штаба до последних дней существования Императорской армии не установился точный и однообразный взгляд на его предназначение. Военная печать, в особенности в период между 1905—1914 гг., занималась много этим вопросом, высказывая самые разноречивые взгляды. Одни видели в офицерах Генерального штаба работников и руководителей в области государственной обороны и научно-технической подготовки войны, другие — полководческие кадры... Одни считали надлежащим для них местом служения кабинет военного ученого, другие — штаб, третьи — строй.

Тем временем Генеральный штаб давал из своей среды российских военных министров (последние семь), комплектовал и штабы, и в значительном числе командные должности. Так, после японской войны около 25% должностей полковых командиров было занято офицерами Генерального штаба. На высших должностях это соотношение было еще резче: в 1912 г. офицеры Генерального штаба занимали 62% корпусов, 68% пех. дивизий и 77% дивизий кавалерийских... Такое же соотношение сохранилось и к началу великой войны. Во время войны во главе командования стояло подавляющее число лиц, вышедших из Генерального штаба. Из шести лиц, возглавлявших вооруженные силы России, только двое были не академики: император Николай* и Брусилов**. Из 22 лиц, разновременно занимавших пост главнокомандующего фронтом, только двое (Иванов и Брусилов) — не Генерального штаба... Если к этому прибавить закулисное командование войсковыми соединениями многих начальников штабов, то станет очевидным, что русский Генеральный штаб несет на своих плечах преимущественную ответственность за ведение кампании.

* Государю, в бытность его наследником, читали лекции по военному делу лучшие профессора: Леер, Драгомиров, Пузыревский, Лобко, Кюи и др.

** Я не принимаю в расчет г. Керенского: шестым считаю Духонина.

Необходимо, однако, оговориться: разносторонность деятельности офицеров Генерального штаба создана была исторически и не их «засилием», а требованиями жизни и, в частности, — уровнем военного образования командного состава. Не секрет, что в эпоху великих реформ, при реорганизации армии, Милютину пришлось считаться с преобладанием в составе генералитета людей доблестных, но малосведущих. И, не имея возможности немедленной их замены, он завел при старших генералах начальников штабов. Эта мера должна была иметь лишь временный характер. Годы шли, число ученых офицеров росло неизменно, и к 1892 г. русский генералитет почти на половину (45%) состоял из лиц, прошедших одну из четырех военных академий; под рубрикой «общее образование получил дома, а военное на службе» — оставалось уже только 6%. Тем не менее в бытовом своем значении «подкрепление» строевых начальников сохранилось до последних дней. Создалось то положение, которое так метко охарактеризовал ген. М. И. Драгомиров в одном из своих своеобразных поучений офицерам академического выпуска:

— Если у тебя начальник — голова, исполняй приказание в точности. Если же начальник — ж..., выслушай почитительно, но сделай по-своему; однако и виду не подавай, что идея твоя, а не его.

Закон давал точное определение взаимоотношений командира и его начальника штаба — всегда несколько теоретично и устарело. А жизнь слагала их по-своему, в зависимости от интеллектуальных данных обоих, от соотношения знания и воли. Взаимоотношения эти имели всегда несколько интимный и для широкой публики неясный характер. Оттого в оценках полководцев не только современниками, но и историей, происходили недоразумения.

Распределение ролей слагалось весьма разнообразно. Так, главнокомандующий маньчжурскими армиями ген. Куропаткин в своем лице, совмещал и командование, и штабначальство, вмешиваясь в детали штабной работы. Положение ген. Сахарова при нем было поэтому весьма щекотливым.

Таким же характером отличался в деле управления ген. М. В. Алексеев — необыкновенно трудолюбивый, самоот-

верженный работник, человек государственного ума, обладавший, однако, одним крупным недостатком — всю жизнь и на всех постах делал работу не только за себя, но и за подчиненных.

Преемник Куропаткина в должности главнокомандующего, ген. Линевиц не обладал стратегическими познаниями и в преклонном возрасте представлял фигуру добродушную и не серьезную («папаша»). Войсками при нем правил всецело начальник штаба, вернее даже генерал-квартирмейстер... Но Петербург относился к ген. Линевицу весьма милостиво. И только растерянность его в дни первой революции при захвате власти на маньчжурской линии забастовочным комитетом и знаменитое заседание этого комитета в салон-вагоне главнокомандующего — изменили отношение: в январе 1906 г. Линевиц был уволен от командования остававшимися в Маньчжурии войсками; его ждала другая еще царская немилость: предположено было, как говорили, снять с него генерал-адъютантские вензеля... Мне рассказывал Крымов (тогда подполковник) со слов Куропаткина, что последний, прибыв в Петербург ранее Линевица, на Высочайшей аудиенции заступился за него:

— Ваше Величество, простите старика! Ведь он не отличает революции от эволюции...

Тем не менее в глазах широких кругов общества имя ген. Линевица, как полководца, было окружено ореолом. Был даже такой эпизод. Полтора года спустя после войны «Новое Время», проповедуя идею реванша, писало о необходимости послать на Дальний Восток 300 тысяч войска... а, главное, энергичного и знаменитого генерала, одно имя которого вернуло бы потерянную надежду на успех. Таковой газета считала ген. Линевица и требовала для него фельдмаршальского жезла...

Из японской войны вынес высокую боевую репутацию ген. Зарубаев, ставший затем генерал-инспектором пехоты. Немногим, вероятно, известно, что своим успехом он обязан был немало состоявшему при нем молодому тогда подполковнику Ген. штаба Крымову...

Генералы И. В. Гурко и М. И. Драгомиров, внося в дело командования свою яркую индивидуальность, предоставляли своим начальникам штабов свободу в круге их прямой

деятельности. В свое время, Гурко создал высокую и притом заслуженную репутацию Варшавскому военному округу (конец 80-х — начало 90-х годов). Фельдмаршал ушел на покой в 1894 г., и после него во главе войск стоял ряд генералов, назначавшихся только по соображениям внутренней политики, так как командование в Польше соединено было с генерал-губернаторством. Таковы были гр. Шувалов, св. кн. Имеретинский, Чертков. Они и не пытались даже принимать фактическое участие в управлении войсками. Варшавский округ тем не менее продолжал стоять на должной высоте: войска жили старыми традициями, а правил ими безраздельно состоявший в своей должности бессменно в течение десяти лет «гуркинский» начальник штаба Пузыревский. «Его светлость полагает»... или «Командующий войсками приказал»... — это было лишь официальным штампом на бумагах, иногда весьма важных, не восходивших к докладу выше кабинета Пузыревского.

Впрочем, св. кн. Имеретинский в начале своего командования сделал попытку освободиться от опеки Пузыревского... Поводом послужил инцидент на одном обеде, данном в честь вновь назначенного командующего. Когда кто-то из присутствовавших предложил тост за успех кн. Имеретинского на новом поприще, г-жа Куропаткина — дама экстравагантная, довольно громко обратилась к князю:

— Э, что там говорить! Приедете в Варшаву и попадете в руки Пузыревского, как другие...

Князь покраснел и ничего не ответил.

Так, по крайней мере, объясняли в штабе первые непривычные для нас шаги нового командующего. На докладе своего начальника штаба он был сух и не удовлетворился подсказанным ему готовым решением:

— Я хочу знать историю вопроса.

— Слушаю!

На другой день во дворец понесли груды дел, из которых Пузыревский читал пространные выдержки в течение нескольких часового доклада командующему, знакомя его с «историей вопросов» и повергая его в безысходную тоску. Кн. Имеретинский терпел такое истязание около недели и наконец сдался: по-прежнему из кабинета ген. Пузы-

ревского стали выходить приказания и заключения со штампованным введением: «Его светлость полагает»... «Командующий войсками приказал»...

Во время мировой войны, после галицийских побед, большою популярностью в обществе пользовались имена генералов Н. И. Иванова и Брусилова, командовавших последовательно армиями Юго-Западного фронта... И тогда в боевой практике, и теперь — на страницах военно-научных трудов приводились и приводятся соображения, распоряжения, директивы ген. Иванова, двигавшие десятки корпусов к победе или неудаче. Распоряжения, в которых он, по совести говоря, весьма мало повинен. Слишком парадоксально звучала бы подмена имени главнокомандующего именами последовательно бывших у него начальников штаба, генералов М. В. Алексева и Владимира Драгомира — фактических водителей юго-западных армий.

В известной зависимости от своих штабов находился и ген. Брусилов, но ему нельзя отказать и в личной инициативе, и в самостоятельности многих решений.

4-я стрелковая дивизия (железная), которою я командовал в течение первых двух лет войны, входила разновременно в состав *четырнадцати* корпусов и имела дело с 17-ю корпусными командирами, получив от Брусилова почетное прозвище «пожарной команды». Обыкновенно после каждой операции Брусилов выводил дивизию в свой резерв — с тем чтобы через несколько дней бросить ее в самое пекло боя, где случалась неустойка... Свидетельствую по совести, что из 17 корпусных командиров я имел дело не более чем с половиной. Прочих в командном отношении заменяли начальники штабов, не раз даже у командиров — Генерального штаба...

Наконец, верховное командование... Независимо от легальных титулов русская стратегия мировой войны, в верховном ее направлении, знает хорошо двух руководителей: генерал-квартирмейстера Ставки ген. Юрия Данилова — в первый период войны и начальника штаба Государя ген. Алексева — во второй. Стратегия Ставки была в первом случае часто, во втором всегда их *личной* стратегией, и они волей-неволей несут историческую ответственность за ее направление, успехи и неудачи.

Было бы ошибочно предполагать, что отмеченное явление произрастало только на русской почве. Такое идеальное соотношение сил, какое было в сотрудничестве Наполеона и Бертье — его начальника штаба, — встречается в военной истории весьма не часто. Так, победоносную кампанию 1870—1871 гг. вел единолично генерал, впоследствии фельдмаршал, Мольтке, а вовсе не официальный глава союзных немецких армий Вильгельм I. Последний покорно следовал указаниям своего начальника штаба и только в нужных случаях авторитетом своего королевского (тогда) сана приводил в повиновение союзных принцев-военачальников. Такова же, как известно, была «подставная» роль императора Вильгельма II в последнюю войну. Во вторую половину войны она стала особенно сложной: во главе вооруженных сил Тройственного союза стоял официальный главнокомандующий — Вильгельм, неофициальный Гинденбург и фактический, как долго принято было думать, Людендорф. Но в свете последних разоблачений дезавуируется и создавшаяся репутация Людендорфа выдвижением на первый план и вовсе маленьких пружин штабного аппарата, двигавших событиями.

* * *

Ген. Куропаткин в своих «Итогах» несчастной японской войны писал о командном составе:

«Люди с сильным характером, люди самостоятельные, к сожалению, в России не выдвигались вперед, а преследовались; в мирное время они для многих начальников казались *беспокойными*. В результате такие люди часто оставляли службу. Наоборот, люди бесхарактерные, без убеждений, но покладистые, всегда готовые во всем соглашаться с мнением своих начальников, выдвигались вперед».

Конечно, не одно военное ведомство, но и весь бюрократический аппарат государства в большей или меньшей степени страдал этим грехом. Только последствия были неравноценны, ибо на войне за это расплачиваются лишней кровью. Ген. Куропаткин имел достаточное основание для своего пессимизма на примере старшего генералитета маньчжурских армий, на редкость неудачного. Но и в

прежнее время люди «беспокойные» с немалым трудом пробивались к командным высотам сквозь фамусовско-молчалинское окружение. Так, вознесенный более почтением армии, народа и общества, нежели признанием военных сфер, выдвинулся Белый генерал — Скобелев. Другой достойный его современник ген. Черняев остался в тени. Покоритель Ташкента жил в отставке, в обидном бездействии, на скудную пенсию, на которую, вдобавок, накладывал руку контроль по нелепым, чисто формальным поводам. И Черняев с горечью рапортовал: «Сохраню себе в утешение неоспоримое право считать, что покорение к подножию русского престола обширного и богатого края сделано мною не только дешево, но отчасти и на собственный счет»*.

Пробились крутой, своенравный, независимый Гурко и творец новой школы воспитания и обучения солдата и войск — Драгомиров, хотя последний, в особенности, всю свою жизнь вел борьбу и с людьми, и с идеями. «Я авторитета не искал, — говорил Драгомиров под конец своей жизни, — а авторитет сам ко мне пришел, невзирая на то, что я громадному большинству был неприятен и имел на своей стороне только очень ограниченное меньшинство».

Любопытна карьера еще одного «беспокойного», ген. Пузыревского. Блестящий профессор академии, автор премированного Академией наук труда, преподаватель истории военного искусства наследнику — будущему императору Николаю II, участник русско-турецкой войны, он, как мы знаем, фактически правил Варшавским округом при ряде преемников Гурко. Человек острого слова, тонкой иронии и автор беспощадных характеристик, он имел много врагов на верхах и потому, вероятно, повышения не получал; не был привлечен и к участию в японской войне. Когда с уходом Драгомирова освободился Киевский округ, государь наметил туда Пузыревского; но Драгомиров, имевший с ним личные счеты и боявшийся, что Пузыревский начнет ломать «драгомировские порядки», при прощании упросил государя изменить свое решение...

* Два года черняевских походов обошлись казне в ничтожную сумму — 280 тыс. руб.

Через некоторое время Пузыревскому предложен был официально Омский округ. Высокий пост (генерал-губернаторство), огромное содержание, но войск в Западной Сибири почти не было, и делать там Пузыревскому по существу было нечего. Не теряя надежды на назначение в Варшаву и несколько обиженный, он ответил: «Если службу мою на Западном фронте Его Величество считает более не удобной, то я согласен». Пузыревский принимал уже официально поздравления; в Варшавском округе, где я служил в то время, готовились ему торжественные проводы, как вдруг вскоре в «Русском Инвалиде» мы прочли... о назначении в Сибирь другого лица... Очевидно, «влияния» пересилили...

В конце концов, в бурные годы, предшествовавшие первой революции, Пузыревскому предложили портфель министра... народного просвещения. Он имел благоразумие отказаться и нашел «умиротворение» в спокойном кресле члена Государственного Совета, после чего вскоре умер.

Обстоятельства назначения на пост командующего Маньчжурской армией ген. Куропаткина общеизвестны; менее известны в широких кругах обстоятельства его замены...

После мукденского поражения вопрос о непригодности Куропаткина на посту главнокомандующего стал окончательно на очередь, и государь наметил преемником ему ген. Драгомирова. Последний жил на покое, в Коңотопе, в своем хуторе; был слаб — ноги плохо слушались; но головой и пером работал по-прежнему. Военный министр Сахаров в конце февраля прислал с фельдъегерем письмо Драгомирову, предупреждая о предстоящем предложении ему командования; советовал подумать — может ли он, по состоянию здоровья, принять этот пост. По свидетельству зятя Драгомирова, А. С. Лукомского, М. И. был очень обрадован, «преобразился весь, почувствовав прилив сил и бодрости». Вскоре последовал вызов в Петербург; ген. Драгомиров прибыл туда и ждал приглашения во дворец. Но три дня его не вызывали. М. И. нервничал, предчувствуя перемену настроений государя. Наконец получено было приглашение, но... для участия в совещании по поводу

избрания главнокомандующего*. Совещание наметило ген. Линевица (28 февраля), который 4 марта и вступил в главнокомандование.

Этот эпизод повлиял угнетающе на ген. Драгомирова, к чему присоединилось еще одно обстоятельство, связанное с бывшим совещанием... С подозрительной быстротой — дня через три-четыре после него — в австрийской газете «Neue Freie Presse» появился вымышленный, но несомненно инспирированный русскими недругами Драгомирова отчет о совещании, в котором М. И-чу приписывались крайне оскорбительные заявления по адресу русского народа и армии: «разбойники и грабители»... «нужны нагайки»... и т. д. Статья была перепечатана русскими газетами, и по ее поводу конотопский отшельник был засыпан негодующими и груборугательными письмами. Горячо протестуя против навета, Драгомиров писал по адресу своих врагов:

«...Благоприятеля на меня с удовольствием плетут всякий вздор. Это потому, что я многим не нравлюсь. На мое несчастье, я, подобно древней Кассандре, часто говорил неприятные истины, вроде того, что предприятие, с виду заманчивое, успеха не сулит; что скрытая ловко бездарность для меня была явной тогда, когда о ней большинство еще не подозревало».

Трудно сказать, как отразилось бы на маньчжурских делах назначение тогда ген. Драгомирова и что успел бы он сделать, принимая во внимание, что с июля месяца М. И. не покидал уже кресла, а 15 октября скончался.

Если легче разбираться в способностях и продвигать людей во время войны, то *предназначения* на высокие командные посты сопряжены с большими трудностями и часто ошибками. Тем более, что характер и способности, проявляемые человеком в мирное время, зачастую совершенно не соответствуют таковым в обстановке боевой. Достаточно вспомнить блестящую и вполне заслуженную мирную репутацию ген. Эверта, далеко не оправдавшуюся на посту главнокомандующего Западным фронтом... И скром-

* В совещании под личным председательством государя участвовали вел. князь Алексей Александрович и Николай Николаевич; генералы Драгомиров, гр. Воронцов-Дашков, Сухомлинов, Фредерикс, Рооп и Комаров.

ную, совершенно незаметную в мирное время фигуру ген. Кондратенки, ставшего душой обороны Порт-Артура...

Назначения на высокие командные посты перед великою войною были тщательно взвешены и намечены заранее мобилизационными планами. И тем не менее, из десяти старших начальников первого состава (главнокомандующие и командующие) половина была впоследствии смещена.

* * *

Японская война, в числе прочих откровений, привела нас к сознанию, что командному составу необходимо *учиться*. Забвение этого правила и было одной из причин зависимости многих начальников от своих штабов.

До войны начальник, начиная с должности командира полка, мог пребывать спокойно с тем «научным» багажом, который был вынесен им когда-то из военного или юнкерского училища; мог не следить вовсе за прогрессом военной науки, и никому в голову не приходило поинтересоваться его познаниями. Какая-либо проверка почиталась бы оскорбительной... Общее состояние части и отчасти только управление ею на маневрах давали критерий к оценке начальника. Последнее, впрочем, весьма относительно: при неизбежной условности маневренных действий и нашем всеобщем благодушии на маневрах можно было делать сколько угодно и безнаказанно самых грубых ошибок; неодобрительный отзыв в описании больших маневров, доходившем до частей через несколько месяцев, терял свою остроту. Резкое решительное осуждение на месте, с «последствиями» для невежд мне лично приходилось слышать только из уст Гурко и вел. кн. Николая Николаевича (ген.-инсп. кавалерии); так же, говорили, относился к делу Драгомиров. В послегуркинский и последрагомировский период в Варшавском и Киевском округах к маневрам стали относиться вновь с полным благодушием. Да что говорить о репутации маневренной, когда провал на войне всегда являлся препятствием к продолжению службы на высоких постах. Так, во время великой войны дана была «перезэкзаменовка» генералу Куропаткину, который стал главнокомандующим Северным фронтом — весьма

кратковременно и конфузно... Ген. Орлов, профессор академии, зарекомендовал себя отрицательно в китайском походе, в японскую войну вновь командовал дивизией, потерпел крупную неудачу и был отрешен от командования; тем не менее, в великую войну мы видим его на посту командира корпуса, с которого он также был смещен — на этот раз окончательно — за неумелое руководство войсками, пребывание далеко от района их действий и вымышленные донесения... Ген. Девит (младший), последовательно отрешаемый, переменил за время войны одну кавалерийскую и три пехотных дивизии, пока наконец не успокоился в немецком плену...

Нужно, однако, признать, что вопрос этот гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. И прошлая боевая репутация не всегда гарантирует от ошибок... Я назову несколько имен, выдвинутых японской войной и пользовавшихся известностью и признанием в военной среде и в обществе: генералы Мищенко, Самсонов, Ренненкамф, Иванов (Н. И.), Лечицкий, Леш, Кашталинский... Все они получили высокие посты во время великой войны. Самсонов трагически погиб в самом начале, а из остальных только один Лечицкий до конца сохранил свой авторитет, прочие были разновременно сменены.

Какие причины вызвали подобное явление? Десять ли лишних лет, утяжеливших бремя жизни, более широкий масштаб операций или тот предел в служебной иерархии, который судьба определяет иногда людям, даже бесспорно талантливым?..

Так или иначе, после японской войны заставили учиться и старший командный состав. Весною 1906 г. впервые появилось по высочайшему повелению распоряжение военного министра: «Командующим войсками установить соответствующие занятия высшего командного состава, начиная с командиров частей до командиров корпусов включительно, направленные к развитию военных познаний». Это новшество вызвало на верхах раздражение: ворчали старики, видя в нем поругание седины и подрыв авторитетов... Но дело пошло понемногу, хотя первое время не без трений и даже курьезов. Так, в Казанском округе командующий войсками ген. Сандецкий вызвал непосред-

ственно подчиненных ему начальников резервных бригад в Казань, засадил их в помещение штаба округа и раздал каждому по задаче — военные люди посмеются — на бивак, меры охранения, оборону и т. д., вне связи и общей обстановки. То есть — элементарные упражнения *юнкеров* в прикладной тактике. При этом заставил собственноручно чертить кроки, схемы и прочие приложения. Некоторые генералы не на шутку обиделись, другие смиренно выполняли.

Занятия со старшим командным составом заключались нормально в двухсторонних военных играх на планах и в поле. Многократно участвуя в подобных занятиях в Варшавском и Киевском округах, а также в устраивавшихся Главным управлением Ген. штаба, я вынес убеждение в их большой пользе. Не говоря уже о широком масштабе и поучительности большинства этих занятий, они давали участникам возможность присмотреться друг к другу, изучать вероятные театры войны и способствовали добровольному или принудительному отсеиванию невежд.

Как туго входила в сознание высоких чинов идея необходимости учиться, свидетельствует эпизод, относящийся к 1911 г., то есть пять лет спустя после японской войны и за три года до мировой... По инициативе Сухомлинова была организована в Зимнем дворце военная игра с участием вызванных для этой цели командующих войсками. Предполагалось, что будет она вестись в присутствии государя, который лично принимал участие, в качестве будущего Верховного главнокомандующего, в предварительном составлении первоначальных директив. Но такой публичный экзамен не всем пришелся по душе, и, по настоянию некоторых лиц, за час до начала распоряжением государя игра была отменена... Сухомлинов, поставленный в неловкое положение, подал в отставку. Отставка не была принята, а игра, для соблюдения престижа военного министра, была заменена совещанием командующих под его председательством — по текущим военным вопросам. Только в 1914 г., перед самой войной, уже не в Петербурге, а в Киеве, Главному управлению Ген. штаба удалось провести широко и поучительно военную игру, участниками которой являлись будущие главнокомандующий и команду-

ющие армиями, а в основание приняты были фактические планы, как наши, так и (предполагаемые или известные) наших будущих противников.

Чем выше пост начальника, тем осторожнее и ревнивей относился он обыкновенно к своему престижу. В этом отношении немалое гражданское мужество проявил Куропаткин в бытность свою военным министром, рискнув взять на себя командование одной из сторон (южной — киевской) на Курских маневрах; противной стороной (северной) командовал тогда вел. кн. Сергей Александрович — московский командующий. Положение руководителей и посредников было очень деликатным, а официальная оценка весьма осторожной... Но все же легко было понять, что успех оказался на стороне Южан.

Более осторожным был ген. Пузыревский, который, командуя временно «для ценза» корпусом в том же Варшавском округе, начальником штаба которого он состоял, для больших маневров разделил свой корпус подивизионно на обе стороны, предпочитая лично роль посредника...

Вообще, в силу вековой традиции и в забвение суворовских заветов, на высоких постах можно было *учить*, но *учиться* считалось зазорным. И за долгую мою службу не так уж много случалось встречать людей, серьезно и искренно стремившихся к знанию. Передо мною встает образ скромного и обаятельного начальника, командовавшего в начале 90-х годов 15-м корпусом, ген. Столетова. В течение всего Рембертовского сбора он приезжал верхом из Варшавы на каждую стрельбу своих артиллерийских бригад, которую руководил составивший себе большое имя начальник артиллерии корпуса Постовский. Приезжал — в качестве прилежного и внимательного *ученика*. И это обстоятельство в наших глазах не только не уронило его престижа как начальника, но, наоборот, заставило проникнуться к нему большим еще уважением.

* * *

Характерными чертами нашего старшего генералитета являлись недостаток дисциплины в области соподчиненных отношений или слишком явная подчас рознь. Каче-

ства эти давали себя знать во время войны в особенности, когда личный пример начальника имеет исключительно важное значение и когда грани между проявлением инициативы и послушанием не всегда ясны.

Известна та рознь, которая раздирала военные сферы во время китайской войны (боксерское восстание). Когда приамурское начальство, ведавшее операциями в Северной Маньчжурии, враждовало с квантунским, которому подчинены были отряды в Южной; когда на юге шло острое соревнование между генералами Волковым и Церпицким, а на севере генералы Ренненкампф, Орлов и другие со своими отрядами летали по краю за славой, избегая подчинения друг другу и приамурскому начальству... Оценка свыше действий последних двух была неодинакова: удачник (Ренненкампф) был награжден двумя степенями Георгия, а неудачника (Орлова) постигла временная опала.

История японской войны полна примерами непослушания и трений на верхах армии. Куропаткин в «Итогах войны» приводит длинный ряд случаев неисполнения его приказов генералами Грипенбергом, Бильдерлингом, Случевским и многими другими. Опубликование «Итогов» произвело в свое время большое впечатление не только у нас, но и среди наших недавних противников. Газета «Times» поместила интервью своего токийского корреспондента, данное ему генералом Оку, который отказался поверить в подлинность появившихся в печати выдержек из книги Куропаткина на том основании, что «никакой военачальник не допустил бы такого неповиновения подчиненных, не удалив их от должности».

Наиболее шумела история с ген. Грипенбергом. Под Сандепу, как известно, Грипенберг проиграл сражение, понеся большие потери. Куропаткин обвинял в неудаче его лично, а Грипенберг доказывал, что, связанный по рукам вмешательством главнокомандующего в детали исполнения, он был лишен возможности управлять своими войсками. После сражения Грипенберг телеграммой, посланной, минуя Ставку, на имя военного министра, просил об освобождении его от командования армией. Осведомленный об этом Куропаткин приказал задержать телеграмму и в течение суток письмами и телеграммами — то

угрожающими, то дружественными («Я Вас люблю, уважаю и верю в Ваш талант») старался предотвратить уход Грипенберга. Судя по позднейшей оценке Грипенберга Куропаткиным, лестное обращение последнего вряд ли было искренним. Скорее всего, главнокомандующий опасался, что жалобы Грипенберга пошатнут его и без того непрочное тогда положение. Всесильные петербургские влияния, по словам Куропаткина, в значительной степени парализовали его право и возможность подбора командного состава.

Интересно, что русская общественность — и военная, и гражданская — не придавала большого значения *мотивам* происшедшей громкой распри, но отнеслась с единодушным осуждением к самому *факту* ее. И когда, после смещения Куропаткина, Грипенберг возбудил вновь ходатайство о назначении его в действующую армию, военный министр ответил: «Общественное мнение так возбуждено против Вас, что возвращение Ваше в Маньчжурию неудобно...» В защиту Грипенберга попытался выступить в печати ген. Драгомиров, но встретил дружный отпор и получил много угрожающих и бранных писем. М. И. цитировал в своей статье одно из них, начинавшееся словами: «Ах, ты старая, серая скотина! Как ты смеешь защищать бегущих с поля сражения!...»

Резкая и взаимная враждебность существовала между двумя начальниками конницы маньчжурских армий — П. И. Мищенко и Ренненкампом — основанная главным образом на раздражавшей обеих оценке друг друга. Их отряды стояли на противоположных флангах фронта и соприкосновения не имели. Но перед Мукденским сражением, ввиду ранения Мищенки и предположенного набега Западной конницы, во главе ее был поставлен Ренненкампф. Приехал, бегло осмотрел войска и нашел их — заведомо пристрастно — в «прескверном состоянии»... Можно себе представить мучения Мищенки, которого рана приковывала к постели в далеком Мукдене!.. Впрочем, Ренненкампф пробыл в Западном отряде лишь несколько дней и был спешно отозван обратно: армия Кавамуры бешеными атаками потеснила Восточный отряд; начиналась великая и роковая эпопея Мукденского сражения, на темном фоне

которой отряд Ренненкампа — один из немногих — стяжал заслуженную славу.

Тяжелые отношения сложились между Мищенкой и командующим 2-й армией, ген. бар. Каульбарсом, которому был подчинен отряд Мищенки. Оба были людьми благородными, и, казалось бы, существенных причин для таких отношений не могло быть. Но самолюбивый и самостоятельный Мищенко, известный тогда уже не только армии, но и России, не мог простить новым и малознакомым с маньчжурской обстановкой людям (три армии были сформированы лишь в конце первого года войны) резкого и наставительного тона сношений. Началась нервная, изводящая переписка. Не раз взбешенный П. И. клал такие резолюции, что большого труда стоило кн. Вадбольскому (начальник штаба отряда) или мне (начальник штаба дивизии, одно время начальник штаба отряда) облечь их в терпимые формы... Однажды отряду приказано было произвести усиленную рекогносцировку, которая, по нашему убеждению, прошла блестяще и обошлась сравнительно не дорого. Вдруг из штаба армии получается телеграмма приблизительно такого содержания: «Я посылаю вас разведать, а не терять людей...» Значительно смягченный ответ гласил: «Усиленная разведка достигается боем, а в бою потери неизбежны». Вместе с тем выведенный из себя П. И. послал частное письмо главнокомандующему о невозможности дальнейшей службы с генералом Каульбарсом. Вероятно, Ставка дала некоторые указания Каульбарсу, так как вскоре последовал вызов к нему ген. Мищенки «по важному делу». Вернувшись, П. И. сказал нам неопределенно:

— Никакого дела не было — вызывали, знаете ли, мириться.

Я привожу лишь те эпизоды, которые приходят на память. Но непослушание и рознь были не эпизодом, а явлением бытовым.

Во время великой войны взаимоотношения, наверху по крайней мере, сложились более нормально. То обстоятельство, что во главе вооруженных сил России был поставлен вел. кн. Николай Николаевич, помимо личных его качеств, являлось объективно фактом положительным. В силу своего высокого и более независимого положения,

в силу атавизма традиций и пиетета, с которым относилось большинство командного состава к Царствующему Дому, ему легче было держать в своих руках бразды верховного командования. Хотя и при этих условиях плелись вокруг Ставки интриги, но, если бы на месте вел. князя был, как одно время предполагалось, Сухомлинов, Ставка с первых же дней обратилась бы в арену небывалой борьбы честолюбий, соревнования, личных интересов, — испытывая давление и с фронта, и с тыла, и из Петербурга, и из Царского Села.

Конечно, идеалом является совмещение верховного командования и правления в лице главы государства... Но для этого нужно не только наличие знаний и таланта (может ведь быть хороший начальник штаба...), а прежде всего счастья. У Шекспира говорится: «Всякая неудача будет виною полководца, хотя бы он и сделал все, что в силах человека...»

А неудачи на поле сражения колеблют троны и низвергают династии.



НАЧАЛЬНИКИ И ПОДЧИНЕННЫЕ

Существовавший в начале 90-х годов командный состав, начиная от полкового командира и выше, воспитан был по преимуществу в традициях крепостного права. В позднейшие годы преобладание начальников этого типа естественным образом падало, уступая место новым людям и новым веяниям. Ушло время, овеванное романтическим блеском славы и веселья и вместе с тем, омраченное свистом розги и шпицрутена. Не отдельные люди создают быт армии, как и быт народа, а общие условия жизни страны. Но влияние личности в военном быту огромно, и оно проводит нередко глубокие борозды в быт массы — светлые или темные, тем более глубокие, чем выше положение и власть человека. И в самый расцвет крепостного права, в суровое время, когда жизнь «холопа» ценилась в копейку, появился полководец Суворов — отец командир — простой, доступный и рачительный о своем воинстве, сроднившийся с ним и им боготворимый. А через полвека появится другой полководец — герой Эривани, Эрзерума и Варшавы — кн. Паскевич, прославленный, но не любимый подчиненными, обоготворявший себя и только себе приписывавший заслуги побед, презиравший все, ниже стоящее. В одном из своих многочисленных писем к нему — увещаний — император Николай I, высоко ценивший боевые заслуги Паскевича, говорил: «Не надо угнетать и быть несправедливым... Прощать — великодушно; притеснять же без причины — неблагородно... Да украсит Вас и последняя слава — скромность. Воздайте Богу и оставьте Нам славить Вас и дела Ваши...»

Два антипода: Паскевич и великий французский полководец XVII столетия Тюренн, который говорил: «Мы победили» или «Я был разбит».

В сумерки царствования Александра Благословенного, в разгар аракеевских поселений, удушавших жизнь своею нелепостью и жестокостью, было ведь немало молодежи — идеалистов-гуманистов — в столь печально и исторически нецелесообразно закончивших свою деятельность «Северном» и «Южном» союзах. Были такие и в старшем поколении. Один из них, гр. М. С. Воронцов, за полвека до эмансипации, в качестве начальника дивизии, своим приказом ограничил применение в отношении солдат телесных наказаний на том основании, что: «...Солдат, который еще никогда наказан не был, гораздо способнее к чувствам амбиции, достойным настоящего воина и истинного сына отечества, и скорее можно ожидать от него хорошей службы и примера другим». Полная антитеза излюбленной поговорке николаевских времен: «За битого двух небитых дают».

То, что проводилось долгое время усилиями отдельных лиц, получило наконец санкцию закона в годы великих реформ императора Александра II. Военные реформы, связанные с именем ген. Милютина (впоследствии фельдмаршала), в общей системе преобразования армии, заложили в ее жизнь и быт начала законности и человечности. В частности, Высочайшим повелением 1863 г. были уничтожены оскорбляющие человеческое достоинство телесные наказания* «...чтобы явить новый пример отеческой заботливости о благосостоянии армии и флота и в видах возвышения нравственного духа нижних чинов».

Последнее полу столетие перед мировой войной и прошло в борьбе этих начал с прочно сложившимся старым патриархальным бытом, причудливо сочетавшим законность и самодурство, отеческое попечение и неуважение к чело-

* Телесные наказания остались для «штрафованных» по суду. В 1905 г. в войсках они были отменены окончательно. Но во время мировой войны введены опять с 1915 г. на том основании, что во время войны всякое наказание, сопряженное с уходом из рядов, являлось только поощрением, а праволишения не оказывали воздействия.

веческому достоинству, сентиментализм и «в зубы!» — солдатские, конечно... Во времена милютинского либерализма борьба шла довольно успешно, приведя к результатам, поистине изумительным. Статистика военно-судебного производства показывала, что между 1871 и 1879 гг. число заключенных в военно-исправительных и дисциплинарных частях уменьшилось в 3 $\frac{1}{2}$ раза; число рецидивистов за десятилетие с 1869 по 1879 год уменьшилось более чем в 27 раз*. Но позднее, под влиянием затруднений, сопряженных с краткими сроками службы, боязни революционного брожения в казарме и распространенного убеждения, что при неразвитости нашего простолюдина иначе, как мерами сурового воздействия, хорошего солдата из него не сделаешь, — борьба затихала. И опять законность и человечность проводилась не в порядке *общей* системы и властного указания свыше, а по инициативе частных начальников.

В числе лиц, потрудившихся на этой заросшей чертополохом почве, наибольшая заслуга принадлежит М. И. Драгомирову. Сорок лет и с академической кафедры, и в качестве начальника дивизии, потом командующего Киевским округом, и словом и делом проводил он взгляд, что век муштры и плац-парада, бездушной дисциплины и механизированного строя прошел безвозвратно... Что важнейший элемент на войне есть *человек*, с духовным обликом которого нужно считаться... Что успех на войне зависит от сознательности и воспитания солдата в духе бесстрашия, инициативы и уверенности в себе, в том, что «с ним на службе поступают по правде, а не по капризу или раздражению...» Что «нужно, наконец, решиться жить по закону»... «Господа офицеры! — поучал Драгомиров. — Приложите все ваше усердие к воспитанию солдата в духе истинной воинской дисциплины, вежливости и сдержанности; тогда не нужны будут несообразные с почетным званием солдата ограничения, тогда звание солдата делается почетным в действительной жизни».

В 1889 г. раздался властный окрик Драгомирова по округу:

«В некоторых частях дерутся!..»

* Исследование историка Семевского.

А через шестнадцать лет упорной борьбы с этим злом — и не безуспешной — уходя со сцены, он в своих «Делах и делишках» писал все же с горечью:

Дело не в том, как говорят солдату — «ты» или «вы», а в том, что солдат водят оборванцами и не прекращается «мордобой»... «Как не приходит в голову этим господам, что их морда слеплена из той же самой глины, что и солдатская, и что если солдат об этом догадается, то не хорошо будет».

Нужно, однако, сказать, что ко времени мировой войны рукоприкладство, как система, было изжито безусловно. Это было уже не показной чертой быта, а изнанкой его, не характерным явлением, а уродством. Оно не чванилось открыто своим озорством и безнаказанностью, а таилось под спудом, встречая не только законное преследование, но и общественное осуждение.

Многочисленные противники Драгомирова ставили ему в вину, что, «популярничая с солдатами, он был резок и груб с начальниками», что «нельзя вести воспитание солдата через голову офицера»... Талантливый военный писатель Г. Елчанинов («Егор Егоров»), служивший одно время в Киевском округе, в таких резких чертах характеризовал армейскую жизнь: «...культивируется неуважение к офицеру и уверенность в его якобы преднамеренной незаботливости о меньшей братии. «Душа солдата»... «Солдатское сердце»... «Кланяюсь в ноги»... «Мы недостойны их, господа!»... — вот наш современный культ. И рядом с этим хамство и скверное обращение с офицерами, грубость, бессердечие, произвол...»

Возможно, что М. И. Драгомиров и его последователи отдавали преимущественное внимание борьбе с большим злом, заслонявшим в их глазах меньшее.

В огромном калейдоскопе военных начальников, которых или о которых я знал за первую четверть века службы, выделяется один — исключительною требовательностью, но вместе с тем и исключительным уважением к офицерскому званию. Это был командир XX корпуса ген. Мевес, умерший за три года перед японской войной. Человек высокой честности, прямой, суровый, он стремился провести и поддержать в офицерской среде рыцарское понятие об ее предназначении и моральном облике. Едва

ли не единственный из крупных начальников, он не допускал столь излюбленного и в сущности позорного способа воздействия, не применявшегося в отношении служилых людей прочих ведомств, — ареста офицера. В этом наказании он видел «высшую обиду личности, обиду званию нашему». Мевес признавал только внушение и выговор начальника и воздействие полковых товарищей. «Если же эти меры не действуют, — офицер не годен, и его нужно удалить».

Любопытно, что в суровые времена русского средневековья суровый царь-воин Петр Великий наказывал армию: «Всех офицеров без воинского суда не арестовывать, кроме изменных дел; а за малые вины наказывать штрафами».

Быть может, М. И. Драгомиров чувствовал некий изъян в своей системе, когда писал на смерть Мевеса:

«Не только сам Ты службу по чести и правде правил, но умел налаживать на оную и других; не одних солдат, но и г.г. офицеров. Ты понимал, что они не только Твои товарищи, но и подчиненные, и что воспитывать их в служебном долге много нужнее, нежели солдат. Солоно им иногда от Тебя приходилось, но в конце концов награждали Тебя они признательностью нелицемерною».

* * *

Для образного определения «духа законов» я приведу одну из моих «Армейских заметок», относящуюся к 1910 г.

В китайском «Наставлении для обращения с подчиненными» останавливают на себе внимание несколько указаний, которые я приведу в извлечении:

«Каждый начальник должен *любить* подчиненного и заботиться об его благосостоянии».

«Подчиненному нужны внимательное за ним наблюдение, правильное довольствие, ласковое обращение и соответствующая работа».

«*Грубое*, а тем более жестокое обращение с подчиненным воспрещается».

«Первая забота начальника, которому поручен подчиненный, в особенности начинающий, — победить робость его и

приобрести его *доверие*. Достигается это вернее всего твердым, но неизменно ласковым обращением».

«Начальник должен знать *характер* своего подчиненного и сообразно с этим поступать с ним. При грубом обращении с подчиненным он становится злым, пугливым, недоверчивым и будет лишь бояться начальника; между тем, как даже строптивый и злой человек исправляется при твердом, но терпеливом и ласковом с ним обращении».

Не правда ли, в этих положениях видно большое знание... лошадиной психологии. Да, лошадиной. Потому что — простите — я пошутил: никакого такого китайского наставления нет, а все изложенное я выписал буквально из русского «Наставления для ухода за лошадью», заменив лишь, где следовало, слово «лошадь» словом «подчиненный». Пришлось прибегнуть к лошадиной психологии вот по какому оригинальному поводу...

Командир одного из полков нашей дивизии поступил с подчиненным не... вежливо. Чуть было не обмолвился: хотел сказать «не ласково», упустив, что такое сентиментальное обращение требуется лишь в отношении лошадей... Проще говоря — выругался. Не в такой, однако, степени, чтобы подлежать ответственности по суду. Начальник дивизии, человек весьма корректный, пожелав поставить это обстоятельство на вид командиру полка, приказал мне заготовить предписание «со ссылкой на статью закона».

Вот тут-то и вышло недоразумение. Перебрали все законы и уставы: устав внутренней службы, дисциплинарный, книги V, VII, XXII Свода — нигде не сказано, что начальнику надлежит быть с подчиненным вежливым. Правда, о «примере безупречного поведения» вскользь говорится. Об «отеческом попечении» — тоже... Но все это не то. Ведь отцу сына, например, не возбраняется обзывать «дураком»...

Так и не нашел. В уставах, предусматривающих мельчайшие подробности военного обихода и взаимоотношений, нет такого требования, чтобы быть вежливым в отношении военных людей. Вот разве только *применительно*... к «Наставлению для ухода за лошадью»...

* * *

Характер взаимоотношений между начальниками и подчиненными имеет особенно серьезное, иногда решающее значение во время войны.

Был доступен и заботился о подчиненных Куропаткин. Оттого, вероятно, несмотря на тяжкие неудачи,

оставил о себе в народе добрую память. И в годы великой смуты жил покойно в своем псковском селе Шешурине, в своем доме, сохранив до смерти библиотеку, архив и большой исторической ценности дневники.

Ренненкампф* смотрел на людской элемент своих частей как на орудие боя и личной славы. Но его личная лихость и храбрость привлекали к нему сердца подчиненных. По мере повышения и, следовательно, удаления от массы, это обаяние падало.

Нужно заметить, что близость и знакомство войск со старшими начальниками достигается, главным образом, во время войны. В мирное время последним нужно обладать большою индивидуальностью, чтобы их знали в низах армии; обыкновенно начальник выше начальника дивизии или инспектора артиллерии для младшего офицерства и солдат бывал чем-то астральным, и оценка его составлялась весьма поверхностно — больше по интуиции или по суждениям старших. Вспоминаю свои молодые годы, трех при мне сменившихся командиров корпуса (15-го) — Столетова, Гурчина и Крюкова. Первого любили, второго боялись, к третьему относились иронически. Вот все, что сохранилось от их силуэтов на экране памяти.

Совершенно исключительным обаянием среди подчиненных пользовался во время японской войны ген. П. И. Мищенко**. Человек большой храбрости, добрый, вспыльчивый и доверчивый. Любил офицеров и казаков сердечно, заботился о них и берег их. Каждый в отряде мог быть уверен, что Мищенко не даст его в обиду, что и на походе и на биваке он лично наблюдает за надежным охранением, что если потребуются особенное упорство в бою и будут серьезные потери, — то, значит, иначе нельзя было. Но что при этом сам Мищенко не посылает, а ведет, и будет тут же, в жестоком огне, деля со своими войсками все тяготы их жизни. Внутренне горячий и внешне медлительно-спокойный в бою — он одним своим видом внушал спокойствие дрогнувшим частям. Помню рассказ стрелка

* В японскую войну командовал Забайкальской казачьей дивизией, потом — корпусом.

** Командовал Урало-Забайкальской казачьей дивизией, потом — конным корпусом.

одного из сибирских полков, присланных на подкрепление к Мишенке, об их первом знакомстве. Шел горячий бой, огонь губительный, патроны почти расстреляны; уже некоторые стрелки отбивают атаки японцев... камнями.

— Не было никакой возможности держаться. И конечно, все бы отошли. Но как тут уйти, когда в самой цепи присел ген. Мищенко, молчит и только поглядывает — не на противника, а на нас. Так до конца и просидел, пока японцы не отошли...

Больше всего он ценил в военном человеке храбрость. За это качество многое прощалось, иногда даже хозяйственные злоупотребления. Вызовет к себе виновного, разнесет вдребезги и отпустит. Будто оправдывается потом перед нами:

— Знаю, что плут. Да уж очень, знаете ли, доблестный офицер...

Вне службы, за общей штабной трапезой или в гостях у полков он вносил радушие, приветливость и полную непринужденность, сдерживаемую только любовью и уважением к присутствующему начальнику.

Популярность ген. Мищенко, в связи с успехами его отряда (кроме неудачного Инкоусского набега), распространилась далеко за пределами его. И началось к нам паломничество. Приезжали офицеры из России под предлогом кратковременного отпуска и затем оставались в отряде. Бежали из других частей действующей армии офицеры и солдаты, в особенности в томительный период бездействия на Сипингайских позициях, когда только на флангах, и в особенности у нас — на правом, шли еще бои. Приходили без всяких документов, иногда с неясным формуляром и со сбивчивыми показаниями. Мищенко встречал приходивших с напускной угрюмостью, но в конце концов принимал всех. Случались иногда ошибки: обнаружен был, например, офицер, разыскивающийся властями по уголовному делу, даже несколько беглых каторжников... Но в массе это был элемент прекрасный, истинно боевой.

К лету 1905 г., в результате такого своеобразного «дезертирства» — в частях Урало-Забайкальской дивизии оказалось незаконного состава — офицеров десятки, солдат

сотни. И не одной только пылкой молодежи: были и штаб-офицеры, и пожилые запасные солдаты. Обеспокоенный возможностью контрольных начетов, я доложил цифровые итоги ген. Мищенко.

— Что ж, знаете ли, надо покаяться.

Донесли в штаб армии. К удивлению, ответ получился вполне благоприятный: командующий армией (ген. бар. Каульбарс), учитывая хорошие побуждения «дезертиров», и чтобы не угашать духа, не только оставил их в отряде, но даже разрешил принимать приходящих и впредь под тем, однако, условием, чтобы это разрешение отнюдь не разглашалось и не вызвало массового паломничества в отряд.

* * *

И вот, после такой «Запорожской Сечи», мне пришлось попасть уже во время перемирия в разительно несходную обстановку — в штаб 8-го корпуса, которым командовал известный в военном мире ген. Скугаревский.

Образованный, знающий, прямой, честный и по-своему справедливый, он тем не менее пользовался давнишней и широкой известностью как тяжелый начальник, беспокойный подчиненный и невыносимый человек. Получил он назначение недавно перед тем, после окончания военных действий, но в корпусе успели уже его возненавидеть. Скугаревский знал закон, устав и... их исполнителей. Все остальное его не интересовало: человеческая душа, индивидуальность, внутренние побуждения того или иного поступка, наконец, авторитет и заслуги подчиненного — все это было безразличным. Он как будто специально выискивал нарушения устава — важные и самые мелкие — и карал неукоснительно как начальника дивизии, так и рядового. За важное нарушение караульной службы или хозяйственный беспорядок и за «недовернутый каблук», за пропущенный пункт в смотровом приказе начальника артиллерии и за неуставную длину шерсти на папаче... В обстановке не оконченной еще войны, после расстройств и потрясений, вызванных Мукденским погромом и в преддверии новых потрясений первой революции — этот ригоризм был особенно тягостен.

Скугаревский знал хорошо, как к нему относятся войска и по той атмосфере страха и отчужденности, которая сопутствовала его объездам, и по рассказам близких ему лиц. Но не придавал этому значения:

— Они не понимают, что я только исполняю свой долг.

Я ехал из штаба армии в корпус в вагоне, битком набитом офицерами. Разговор между ними шел почти исключительно на злобу дня — о новом корпусном командире. Меня поразило то единодушное возмущение, с которым относились к нему; иногда прорывалось бранное слово... Тут же, в вагоне сидела средних лет сестра милосердия. Она как-то менялась в лице, потом, заплакав, выбежала на площадку. В вагоне водворилось недоумение и конфузливое молчание... Сестра милосердия оказалась женою ген. Скугаревского.

В корпусном штабе царило особенно тягостное настроение, в особенности во время общего с корпусным командиром обеда, участие в котором было обязательно для всех чинов штаба; кто не являлся, должен был представлять письменный доклад о причине отсутствия... По установившемуся этикету только тот, с кем беседовал командир корпуса, мог говорить полным голосом; прочие беседовали вполголоса. За столом было тоскливо, пища не шла в горло. Выговоры сыпались и за обедом. В первый же день приезда мне пришлось услышать непривычный разговор. Один штабс-капитан, беседуя вполголоса с соседом, обронил фразу:

— Не знаю, генерал приказал...

Скугаревский услышал.

— Это не вежливо. Вы — невоспитанный человек. Надо было сказать — «его превосходительство приказал» или — «командир корпуса приказал».

Однажды капитан Ген. штаба Т[олкушкин] (ныне генерал), во время обеда доведенный до истерики разносом командира корпуса, выскочил из фанзы, и из-за стены ее слышно было, как кто-то его успокаивал, а он кричал:

— Пустите, я убью его!

Ни один мускул не дрогнул в лице Скугаревского. Он продолжал начатый посторонний разговор.

Как-то раз командир корпуса обратился ко мне:

— Отчего вы, полковник, никогда не поделитесь с нами своими боевыми впечатлениями? Вы были в таком интересном отряде... Скажите, что из себя представляет генерал Мищенко?

— Слушаю.

И начал:

— Есть начальник и начальник. За одним пойдут, за другим не пойдут... Один...

И провел параллель между Скугаревским — конечно не называя его — и Мищенко. Скугаревский прослушал совершенно покойно, даже с видимым интересом, и в заключение поблагодарил меня «за интересный доклад».

Жизнь в штабе, однако, была слишком неприятной, и я, воспользовавшись демобилизацией и последствиями травматического повреждения ноги, уехал в Россию с тем, чтобы больше не возвращаться в корпус. Для характеристики Скугаревского и его незлопамятности могу добавить, что через три года, когда он стал во главе Комитета по образованию войск, он просил министерство о привлечении в Комитет меня.

И еще один, быть может неожиданный, штрих: Скугаревский, кажется, единственный из старших начальников долго и горячо ратовал в печати за обращение к солдату на «вы», ведя по этому вопросу острую полемику с Драгомировым, который также горячо протестовал: дело не в форме обращения, а в существе. Само по себе «ты» вовсе не обидно, писал Драгомиров. Ведь «весь наш народ, где он не испорчен воздействием городского пролетариата или попечительным воздействием земских начальников, получивших благодаря государственной мудрости гр. Д. А. Толстого, завидное право поголовной порки и требования снятия шапок и величания «ваше высокородие» — весь такой народ говорит не только друг другу «ты», но и всем начальникам, не исключая и высших. Богу говорят «ты», царю говорят «ты»...

* * *

Солдатский быт носил более или менее однообразные черты повсеместно; офицерский же отличался большим разнообразием. Во флоте, в гвардии, в армии жили по-

разному. Отличалась жизнь и в зависимости от рода оружия. В столицах, в больших городах вообще, офицерство приобщалось так или иначе к общественной жизни, к культурным запросам. Но как беспросветно, как бессодержательно и засасывающе текла жизнь из года в год во множестве таких географических пунктов, которые не на всякой карте сыщешь: в захолустьях Западного края, в разных «штабах» — военных поселках, построенных среди чистого поля и носивших обычно громкие исторические имена, в окраинных трущобах, в медвежьих углах далекой Сибири и т. д. Сколько молодых жизней калечилось там зря, сколько талантливых людей опускалось, спивалось, и сколько могильных холмов выросло за оградой кладбищ, покрывая ушедших самовольно из жизни. И далеко не всегда стратегическая необходимость или наличие удобных условий обучения оправдывали дислокацию по трущобам — а нередко своеобразное понимание государственной экономии.

Духовные запросы офицерской среды вообще не привлекали должного внимания власти; что уж и говорить о солдатской. Недостаточно было обращено внимания и на ту трещину в отношениях между офицером и солдатом, которую, как это выяснилось с особой силой на всенародном экзамене, таил замкнутый в себе военный быт.

Начиналась она с первых же шагов службы. Военная школа в этом отношении не помогала офицеру. Давая профессиональные знания и воспитывая юношей в сознании долга и дисциплины, она не знакомила их нимало с тем живым материалом, с которым предстояло тесное общение их, которым они должны были управлять; не давала хотя бы самых элементарных начал педагогики и военной психологии выпускным офицерам — будущим учителям и воспитателям солдатской массы. И военная, и общая печать поднимали неоднократно вопрос о необходимости для молодых людей, перед выпуском в офицеры, практического прохождения службы в войсках, но тщетно. И молодые офицеры на первых порах производили иной раз комическое впечатление своей неопытностью, подрывая в глазах солдата престиж начальника.

Устав наш был краток: он требовал от начальника «отечески пешихся о нуждах подчиненных и не оставлять проступ-

ков их без взыскания. Практика начальствующих лиц сводилась чаще всего не к воспитанию и поучению, а к проверке, имевшей формальный и подчас довольно курьезный характер. Так, обилие наложенных взысканий создавало нередко начальнику репутацию человека твердой воли, умеющего повелевать. Так, следующему штабс-капитану, знавшему вдоль и поперек чинов своего взвода, приходилось перед смотром зубрить по записке трафаретные сведения: какой губернии и уезда каждый солдат взвода, каков состав его семьи, имеется ли у него и сколько денег на сберегательной книжке, когда получил последнее письмо из дому и т. д. Командир 10-го корпуса Случевский завел в своих войсках «жизнеописания молодых солдат до поступления их в часть», которые должны были составлять или сами новобранцы (!), или под их диктовку полуграмотные дядьки. Этот курьезный материал должен был служить для вящего ознакомления ротного начальства с новобранцами... Впрочем, последовавший вскоре приказ Драгомирова пресек «жизнеописания»: «...Не надо заставлять солдат потеть над литературными упражнениями. Кроме вреда, ничего не выйдет. Готовьте — солдат, а не литераторов».

В войсках Гренадерского корпуса (Московск. округ), потом во всем Казанском округе после первой революции генералом Сандецким были введены и вовсе своеобразные способы «изучения» солдатского быта: агенты охраны, под видом новобранцев, получивших отсрочку призыва, с подложными свидетельствами воинских начальников, поступали в войсковые части и вели там наблюдение за настроением солдат, старались обнаружить тайные сообщества и революционную литературу; не раз, без сомнения, они провоцировали людей и события. Нужно сказать, что строевые начальники и офицерство отнеслись с единодушным осуждением к этому явлению, когда оно обнаружилось.

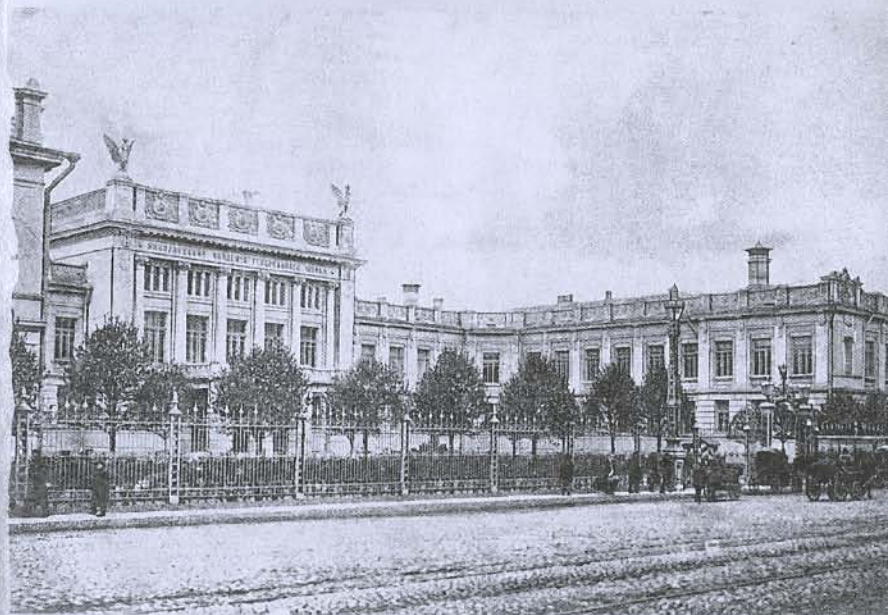
Как всегда и во всем, лучшая школа — жизнь. Она и учила взаимному пониманию и нормальному общению, но путем ряда ошибок и ложных шагов. Научила многих, но далеко не всех. И в жизни казармы переплетались близость и отчуждение.

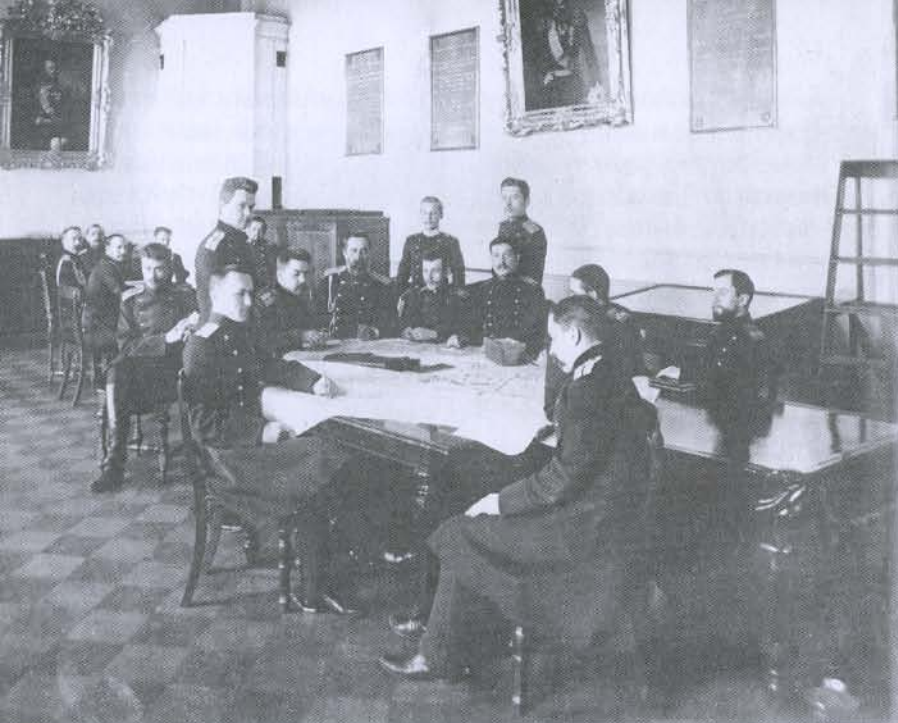
В казарме новобранцы до одури зазубривали военные сентенции: «Солдат есть имя общее и знаменитое»... «Сол-



Молодой офицер Антон Деникин.

Николаевская Академия Генерального штаба —
кузница кадров Российской армии.

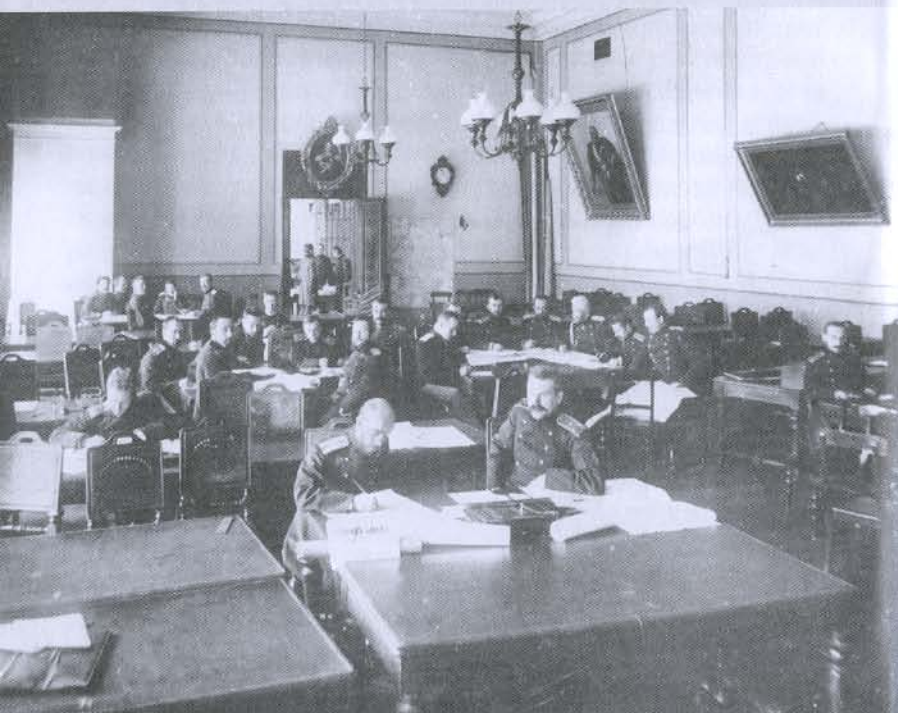




Слушатели Академии на занятиях и в библиотеке.



Подготовка к экзамену и проведение экзамена в Академии.





Арка Главного Штаба в Петербурге (одного из высших управляющих учреждений Российской армии).



В 1905 г. А. И. Деникин произведен в полковники.

В 1916 г. А. И. Деникин принял командование над 8-м армейским корпусом.



Генерал М. И. Драгомиров, один из выдающихся русских военачальников конца XIX в. — начала XX в.



Генерал А. С. Лукомский, соратник А. И. Деникина по Белому движению.





Генералы и штаб-офицеры гвардейской артиллерии. 1900 г.

Офицеры и члены их семей у здания офицерского собрания. 1907 г.



Молодые русские офицеры накануне Первой мировой войны.

Тем, кто вернется с фронтов Великой войны, вскоре придется воевать за Родину в рядах Белого движения.





А. И. Деникин на заседании Георгиевской думы, рассматривавшей вопросы о соответствии представлений к наградам статуту Ордена Св. Георгия.

Главнокомандующий Вооруженными Силами на юге России А. И. Деникин и члены Особого Совещания при Главнокомандующем (слева направо: сидят — И. П. Романовский, А. И. Деникин, К. Н. Соколов; стоят — Н. И. Астров, Н. В. Савич). Таганрог, 1919 г.



датом называется и первый генерал, и последний рядовой...» А жизнь глумилась над прописями. Мундир солдата — защитника отечества — никогда не был в почете. Во многих гарнизонах для солдат устанавливались несуразные ограничения, вроде воспрещения ходить по «солнечной» стороне людных улиц; петербургский комендант просил градоначальника разрешить нижним чинам, вопреки существовавшим правилам, не *переходить* вагоны трамвая к выходу на переднюю площадку, «...ввиду неудобства встречи с офицерами и нахождения их в одном помещении»... И т. д.

Но не только устав и обычай ставили солдату в повседневной жизни ненужные ограничения, а и общественность. Люди не военные, говорившие «вы» босяку, считали себя вправе обращаться на «ты» к солдату. Не анекдоты, а подлинные факты — надписи над входом в некоторые публичные места: «собакам и нижним чинам вход строго воспрещается»...

И вспомнил же солдат в 17-м году «собачьи» сравнения! Вспомнил так, что в течение многих месяцев по лицу страны общественные места стали неудобопосещаемы, улицы непроходимыми, дороги непроезжими.

Итак, в отношениях между офицерами и солдатами была трещина... Но когда ей, *и только ей*, многие склонны приписывать крушение русской армии, такой вывод слишком поспешен и необоснован.

Грубость, ругня, самодурство, заушение — да, все это бывало в казарменном быту. Но ведь было, и гораздо чаще, другое: сердечное попечение, заботливость о нуждах солдата, близость, простота и доступность. Война сближала офицера с солдатом в особенности. Равенство перед смертью, вернее даже первенство перед лицом ее — так как процент потерь в офицерском составе всегда был выше, чем в солдатском, — не могло не оказать морального влияния. Так было и в японскую, и в мировую войну.

Долгие месяцы после заключения мира томились в Маньчжурии наши корпуса, отрезанные от Родины забастовками и восстаниями, засыпаемые харбинскими прокла-

мациями. Томились безропотно, не выходя из повиновения своим начальникам.

В японском плену находился раненый капитан Каспийского полка Лебедев. Японские врачи нашли, что можно спасти ему ногу от ампутации, прирастив пласт живого человеческого мяса с кожей... *Двадцать* солдат, из числа находившихся в лазарете, предложили свои услуги... Выбор пал на стрелка 13-го Восточно-Сибирского полка Ивана Канатова, который дал вырезать у себя без хлороформа кусок мяса... Этот эпизод проник в японскую печать и произвел в стране большое впечатление.

Ведь даже *такое* бывало на фоне дружного сожительства в походах и боях, в тисках неприятельского плена...

А рядом с этим — буйный поток солдатских эшелонов по великому Сибирскому пути, рядом с этим — кровавые дни Кронштадта, Севастополя, Свеаборга... — первые грозы, первые страницы офицерского синодика...

Во время мировой войны каждая войсковая часть знала сотни примеров самопожертвования за други своя. Бывало не раз, что из-под неприятельских проволочных заграждений ползком вытаскивали своих раненых — солдат офицера, офицер солдата... Там — в тесной совместной жизни, там — в мокрых и грязных окопах, под свист пуль и вой снарядов, на грани между жизнью и смертью — выковывалось истинное боевое братство.

...Чтобы с первыми громами революции потонуть в пучинах братоненавистничества и братоубийства.

* * *

Быть может, в армиях наших врагов, в армиях «более культурных» народов отношения между офицером и солдатом были лучше, гуманнее, сердечнее, и это обстоятельство дало им моральный перевес над нами?

Отнюдь!

В германской армии царствовали исключительная жестокость и грубость. Офицер обращался к солдату не на «ты», а с презрительным «ег». Общественная совесть Германии возмущалась многочисленными случаями, выплывавшими из тины «маленьких гарнизонов», где выбивали

зубы, разрывали барабанные перепонки, заставляли в наказание есть солому или слизывать языком пыль с сапог. В течение одного, например, 1909 г. вынесено было 583 приговора военных судов по делам о жестоком обращении начальников с нижними чинами... Сам император вынужден был неоднократно отдавать приказы о необходимости изменить обращение с солдатами...

В австрийской армии существовали дисциплинарные взыскания, налагавшиеся без суда, властью начальника: *подвешивание* — когда нижнего чина со связанными и скрюченными назад руками привязывали к столбу так, что он мог касаться земли только кончиками больших пальцев ног; в таком положении, обыкновенно в обморочном состоянии, человека держали в течение нескольких часов... *Заковывание в кандалы*, при котором, человеку короткой цепью прикручивали правую руку к левой ноге и в согнутом таким образом положении выдерживали *шесть* часов... Только в 1903 г. «дарована» была австрийской армии «высочайшая милость», продолжительность этих наказаний ограничена была двумя часами, и от них освободили унтер-офицеров...

Далеко нам было до такой «культуры»!

Странно было бы при таких условиях полагать, что распорядки и взаимоотношения в стане наших врагов изменятся во время войны. Для нас не были секретом «черные страницы» германской и австрийской армий. Но только теперь, в свете опубликованных документов, они раскрываются в полной мере. Мы знаем приказ Гинденбурга (18.IX.1916) о «непрерывно возрастающем числе устных и письменных жалоб на обращение офицеров с солдатами в действующей армии — о физических насилиях, словесных оскорблениях и самых грубых ругательствах»... Имперский военный министр фон Штейн в своем циркуляре (3.VI.1917) писал: «Бесконечное множество жалоб на разительный контраст между роскошной жизнью офицеров и лишениями, которые претерпевают солдаты... Сеется подозрение, будто все лучшее отдается офицерам за счет солдат...» Анкета, произведенная командиром 8-го герм. корпуса, говорила уже не о «подозрениях»... «На всех собраниях слышатся жалобы на дурное обращение командиров с солда-

тами... Везде рассказывают — и вполне основательно — о злоупотреблениях в снабжении войск, уменьшении солдатского пайка за счет офицерского...» И. т. д., и т. д.

Покойный М. И. Драгомиров рассказывал:

«Русский офицер, шедший с прусским, умилился автоматической точностью отдания чести прусским солдатом. Прусский офицер на это заметил:

— Да, он так же точно отдал бы мне честь и тогда, если бы я лежал без чувств; но и не подумал бы подать мне помощь...»

А ведь русский дореволюционный солдат подал бы непременно...

* * *

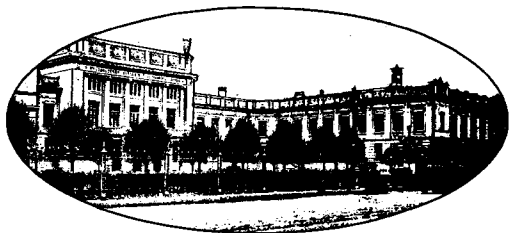
Австрийская армия — представительница лоскутной государственности — с первым веянием революции разложилась сразу и окончательно. Русская — раскачивалась в течение года, то втыкая штыки в землю, то делая слабые и разрозненные попытки сопротивления. Немецкая — сильно поколебалась, воспрняв от русской «революционную дисциплину», но скоро одумалась. Видеть во всех этих явлениях только лишь следствие военных систем не приходится. Истоки этих явлений заложены глубоко — в недрах жизни и в духовном облике народов.

Но для меня не представляет сомнений, что в ряду многообразных причин, приведших в 1917 г. к полному разрыву между солдатом и офицером, самой серьезной является одна... Наша казарма не восполняла огромный пробел гражданской школы: она не делала ничего или почти ничего для познания солдатом своей Родины и своих сыновних обязанностей в отношении ее; не воспитывала в чувстве здорового патриотизма и даже накануне войны не разъясняла ее смысла. «Прикажут — пойдем» — эта формула бессознательного, безоговорочного повиновения господствовала еще, пока власть стояла крепко; когда же власть пошатнулась, то ясного военной массе стимула для самопожертвования не оказалось. И в результате — инстинкт самосохранения заглушил все другие чувства, все моральные побуждения.

Между тем офицерство в массе своей осталось верным долгу перед Родиной, и никакие пороки и прегрешения его не заслонят этого факта перед лицом истории. Офицерство звало солдата на бой и на смерть; революционная демократия, к которой в 1917 г. перешло временно влияние на солдатскую среду, — влияние, но не власть — внесла поправку: «поскольку — постольку»; и, наконец, большевики посмеялись над Родиной, над патриотизмом, над подвигом и призывали воткнуть штыки в землю и разойтись по домам.

Солдат послушался большевиков.

Почему? Не нужно ли отнести большую часть вины солдата на тех, кто мог и должен был воспитать в нем национальное самосознание: на государство, общество, школу, казарму, печать и литературу?



В ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ

I

То разногласие, которое существовало во взглядах на служебную роль офицеров Генерального штаба, отражалось и на предназначении Николаевской Академии Генерального штаба. До девяностых годов Академия служила исключительно для комплектования корпуса Ген. штаба, а в 1893 г. получила, кроме того, задачу «развития высшего образования среди офицеров армии». Через несколько лет, впрочем, вернулись к прежней системе — с тем чтобы в 1909 г. вновь поставить Академии двойственную цель — давать офицеров «для нужд строевых частей и для комплектования Генерального штаба».

В конце пятидесятых годов почти одновременно появились на горизонте русской военной науки два светила, два молодых профессора Академии, приобретшие впоследствии мировую известность — Леер и Драгомиров. Первый — в области стратегии и философии войны, второй — в области прикладной тактики, воспитания и образования войск. Теория и практика, синтез и анализ — они, совсем разные люди по складу мышления, взаимно дополняли друга друга. И тогда уже их влияние было велико, возросши еще более в годы, когда они стояли во главе Академии: Драгомиров — в 1878–1889 гг. и Леер — в 1889–1899 гг. Под их влиянием воспитывалось несколько поколений Генерального штаба, и без преувеличения можно сказать, что их идеи воплощались на полях сражений в трех кампаниях: турецкой, японской и мировой. В 1905 г., по случаю юбилея ген. Драгомирова, Академия приветствовала

его многоговорящей телеграммой: «Ура вождю русской военной мысли за целое столетие...»

Значение Академии и ее духовных руководителей в развитии русской военной науки будет яснее, если вспомнить, что в XIX столетии она не была в почете, что военная литература влачила жалкое существование, и академическая кафедра и профессорские труды были почти единственными проводниками в армию высших военных знаний. Только в 1897 г. по частной инициативе возникло «Общество ревнителей военных знаний», при котором впоследствии основан был «отдел военной психологии». Общество организовало доклады на животрепещущие темы, издавало сборник своих трудов и устраивало экскурсии. Но круг его участников был невелик, функционировало оно главным образом в столице, так как провинциальных отделов открывалось мало — как заявляли руководители — «по причине несочувствия высшего начальства...».

В каком порожищем русле протекала русская военная мысль, свидетельствуют два интересных эпизода.

Как это ни странно, русская военная наука более *тридцати* лет спустя после турецкой войны 1877/78 гг. не имела документальной истории. В недрах Главного штаба издавна существовала комиссия по составлению истории войны; должности в ней, как выгодные синекуры, переходили от отца к сыну; конца работы не предвиделось. Причины такой странной медлительности обнаружились наконец... В 1896 или 1897 г. подполковнику Мартынову (Е. И.), по желанию государя, поручено было на основании материалов комиссии прочесть стратегический очерк кампании в присутствии старейшего генералитета — с целью выяснения: «возможно ли появление в печати истории войны при жизни видных ее участников».

Слушателям Академии разрешено было присутствовать на этих сообщениях, состоявшихся в одной из академических аудиторий. На меня они произвели большое впечатление — ярким изображением из рук вон плохого, подчас, управления войсками. Должно быть, сильно задета была высокосановная часть аудитории (присутствовал и бывший командующий на Кавказском театре войны вел. кн. Михаил Николаевич), так как перед одним из докладов Мар-

тынов счел необходимым обратиться к присутствовавшим с такими словами:

— Мне сообщили, что многие из начальников, участников минувшей кампании, выражают крайнее неудовольствие по поводу моих сообщений. Я покорнейше прошу этих лиц высказаться. Каждое слово свое я готов подтвердить документами, зачастую собственноручными тех лиц, которые выражали претензии.

Не отозвался никто. Но, видимо, вопрос, поставленный выше, разрешился отрицательно, так как выпуск истории был похоронен еще на несколько лет.

Меры сокрытия истины о войне этим не ограничивались. Так, вышли «Воспоминания о войне 77–78 гг.» ординарца главнокомандующего Дунайской армией — В. М. Вонлярлярского, но... в продажу не поступили. Записки ген. Зотова, б. начальника штаба при короле Карле Румынском, начали было выходить в 1886 г., но затем были воспрещены к печати и увидели свет только в 1907 г. на столбцах «Русской Старины»... И т. д.

Второй эпизод относится к событиям позднейшим. Как известно, ген. Куропаткин при помощи своего штаба составил четырехтомное описание русско-японской войны, которое было окончено и напечатано им уже в 1906 г. Особый интерес представлял 4-й том отчета*, в котором подводились итоги и разбирались причины неудачи для нас кампании. Нося до известной степени характер самооправдания, труд этот все же давал обильный объективный материал и представлял большой интерес.

О существовании этого труда все знали, но в свет он не появлялся. Военное ведомство, оберегая некоторые репутации, категорически воспротивилось его опубликованию. Главное управление Ген. штаба на столбцах «Русского Инвалида» объявило, что труд Куропаткина является «секретным отчетом» и, кроме того, «он не может быть назван документальным». Между автором и управлением возгорелась на эту тему полемика. Тем временем на всех иностранных языках начали появляться выдержки из книг Куропаткина, а газета «Голос Москвы» приступила к пе-

чатанию 4-го тома, под видом перевода с английского (американ. изд.). Так более двух лет шла борьба, пока с книг Куропаткина не был снят запрет.

Справедливость побуждает, однако, отметить, что наряду с этим официальная военно-историческая комиссия во главе с ген. Вас. И. Гурко в очень короткий срок — в 3 года — собрала материалы, обработала и выпустила во всеобщее пользование объективное описание русско-японской войны.

Я приведу историческую справку, как свидетельство того, что не только у нас боялись истории... После победоносной кампании 1870–1871 гг. императору Вильгельму I доложили, что «целыми возами» поступает следственный материал о крупных хозяйственных злоупотреблениях армий и тыла... Вильгельм сказал:

— История должна знать, что германцы провели кампанию во всех отношениях блестяще.

И повелел сжечь все обличительные акты... вместе с возами.

* * *

Академия в мое время, т. е. в конце девяностых годов, переживала серьезный кризис.

До 1899 г., как я уже говорил, во главе Академии стоял генерал Леер, пользовавшийся заслуженной европейской известностью. Его учение о вечных неизменных основах военного искусства, одинаково присущих эпохам Цезаря, Ганнибала, Наполеона и современной, лежало в основе всего академического образования и проводилось последовательно и педантично со всех военных кафедр. Но постепенно и незаметно неподвижность мудрых догм из области идей переходила в сферу их практического воплощения... Старился учитель — Лееру было тогда около 80 лет, старились способы, приемы военного искусства, насаждавшиеся Академией, отставали от жизни.

«Вооруженные народы» сменили регулярные армии, и это обстоятельство предвещало резкие перемены в будущей тактике масс... Бурно врывалась в старые схемы новая, не испытанная еще данная — скорострельная артил-

* В составлении его принял участие подполк. Крымов.

лерия... Давала трещины идея современного учения о крепостной обороне страны... Вне академических стен шла жизнь и работа; повременная печать в горячих спорах искала истины... Но все это движение находило недостаточный отклик в Академии, застывшей в строгом и важном покое. Достаточно сказать, что в разгар научной полемики вокруг вопроса о новой полевой артиллерии профессор тактики Орлов в течение двух лет читал одну пехоту, слегка коснувшись кавалерии и не удосуживаясь вовсе прочесть отдел артиллерийской тактики. И к экзаменам слушателям рекомендовалось готовиться по прекрасным в свое время, но совершенно устаревшим лекциям бывшего некогда профессором Академии — ген. Гудима-Левковича.

Мимо внимания Академии прошли начавшиеся в иностранной, особенно французской, литературе искания в девственной до того области — военной психологии. Наконец, то техническое дело, для которого готовилось большинство слушателей Академии, было также в загоне: курс «Службы Генерального штаба» был введен много времени спустя, только в 1911 г. и открыт профессором Головиным. Нас — будущих руководителей тактического образования офицеров армии — не знакомили с методами занятий в войсках. Не знакомили, хотя бы в общих чертах, со «вторым потентатом» — флотом, с которым предстояли в будущих войнах совместные действия.

В то же время теоретический курс Академии был очень велик и перегружен общеобразовательными предметами, один перечень которых производит внушительное впечатление: языки, история с основами международного права (проф. Форстен), геология (проф. Иностранцев), психология (проф. А. И. Введенский), славистика (проф. Ламанский), государственное право (проф. Свешников), высшая геодезия (проф. Штубендорф), астрономия и сферическая геометрия (проф. Шаренгорст). Все эти общеобразовательные курсы, совместно с военными, были едва посильны для обыкновенных способностей человеческих, так как по соображениям государственной экономии их втиснули по времени в *двухгодичный* срок.

Былые столпы Академии поумерли или порасходились. И в профессорском составе своем в мое время она пере-

живала кризис. Так, читали еще серьезные ученые — Редигер, Алексеев, Мышлаевский. Умный, но ленивый Золотарев, из огромного курса статистики и исследования будущих театров войны успевавший прочитывать только один третьестепенный финляндский театр... Заурядный Баскаков, на долю которого пришлось знакомить нас с бессмертными образцами наполеоновского искусства... Колюбакин, построивший изучение русско-турецкой войны на Кавказском фронте на «геометрических основаниях» и читавший так невразумительно, что побывавший однажды на его лекции ген. Леер заставил его прочесть нам ту же лекцию вторично... Назначенный профессором по воле императора Александра III, большой труженик Гейсман*, читавший весьма посредственно тактику массовых армий. Труды его подвергались неизменно суровой критике. И после появления в печати уничижающей оценки он осведомлялся у курсовых старост:

— Скажите, эта статья не отразилась на моем авторитете среди слушателей?

Облик Академии, как храма военной науки, потускнел.

Извне шел напор на Академию. Ворчал старик М. И. Драгомиров; едко критиковал профессорские труды Пузыревский; шумно выступал *enfant terrible* профессуры, подполковник Мартынов**; волновались молодые силы...

В профессорском мире лишь немногие искали новых путей. Одни застыли в ортодоксальной вере в «свою» истину, для других — тьмы истин был дороже... хлеб насущный. Действительно, борьба за существование наложила заметную печать на храм науки. И немало смущало слушателей такое, например, обстоятельство: когда профессор Михневич, «привывший трепетно из рук всеми чтимого учителя (Леера) кафедру стратегии» — так говорил он на вступительной лекции — вразрез со взглядами последнего вводил свои новшества, он предостерегал аудиторию:

* Обратил на себя внимание государя патриотической статьей «От Берлина и Вены к Петербургу и Москве и обратно». Статья была отповедью бахвальному немецкому автору, укрывшемуся под псевдонимом «Сарматикус».

** Был короткое время преподавателем по кафедре древнего военного искусства.

— Но если на экзамене будет присутствовать начальник Академии (Леер), прошу вас проводить прежний взгляд на этот вопрос.

И проводили.

* * *

Мытарства готовящихся в Академию начинались с экзаменов при окружных штабах. Просеивание этих контингентов выражалось такими приблизительными цифрами: держало экзамен при округах 1500 офицеров; в Академию на экзамены являлось 400—550; поступало 140—150; на дополнительный курс (3-й) переходило 100; причислялось к Генеральному штабу 50. То есть, другими словами, от отсеивания оставалось всего 3,3%.

В старые годы, сообразно с сословно-кастовым составом офицерского корпуса, и в Академию шли по преимуществу дворяне по происхождению и кадеты — по среднему образованию. Прочие — составляли единицы. Начавшаяся после милютинских реформ демократизация офицерского состава далеко не сразу отразилась на академических выпусках. Только с 90-х годов соотношение в сословно-образовательном цензе стало меняться быстрее и резче, выражаясь для последних двух нормальных академических приемов и выпуска следующими характерными цифрами:

В 1912 г., из числа державших экзамен в Академию, окончивших кадетские корпуса было 30% и гражданские учебные заведения — 70%. В 1913 г. первых было 26% и вторых — 74%. В оба года приема — число вышедших из юнкерских училищ превышало число окончивших военные училища.

Выпуск из Академии в 1913 г. дал 89 офицеров. Из них кадетов было 38,2%, окончивших гражданские учеб. зав. — 61,8; по военному образованию — окончивших военные училища — 60,7%, а юнкерские — 39,3; по родам оружия: пехотинцев 56,2%, артиллеристов 18%, кавалеристов 13,5% и инженерных войск 12,3%. В общем числе — армейцев 80,9% и гвардейцев 19,1%. Потомственных дворян было уже только 48%.

В этом заключительном цифровом отчете, помимо общей тенденции демократизации и, если можно так выразиться, огражданствления академических выпусков, обращает на себя внимание еще одно явление: непропорциональное, в сравнении с общим соотношением численности их в армии, преобладание чинов специальных родов оружия и гвардии. Если первое обстоятельство можно отнести всецело к более солидному среднему образованию, то второе зависело во многом и от академических традиций, в силу которых от поступления и до выпуска гвардия пользовалась довольно явным благоволением академического начальства и профессуры.

В Академию разрешалось поступать по истечении трех лет офицерской службы, и это было для большинства нормальным сроком. Шли, конечно, более честолюбивые или любознательные, имевшие благие намерения и достаточную волю, чтобы побороть инерцию армейской жизни, не слишком располагавшей к серьезному самообразованию. При таком естественном отборе тем более странным и неожиданным для общества явилось откровение Главного управления Ген. штаба, опубликованное в 1907 г. и вызванное тревогой за судьбы высшей военной школы, ввиду того, что «с каждым годом уровень умственного развития аспирантов постепенно и неуклонно понижается... Отзыв об офицерах, державших экзамен в Академию, составленный на основании письменных работ их, был поистине удручающий:

«1) Очень слабая грамотность, грубые орфографические ошибки.

2) Слабое общее развитие. Плохой стиль. Отсутствие ясности мышления и недисциплинированность ума.

3) Крайне слабые знания в области истории, географии. Недостаточное литературное образование. Совершенно детская оценка исторических событий.

4) Крайне слабое общее развитие и низкий уровень общего образования. Не знали: что такое власть исполнительная и что — законодательная; какая разница между однопалатным и двухпалатным парламентом и т. д.».

Недочеты эти свидетельствовали, конечно, о серьезном кризисе, который переживала в девяностых и девяностых годах *вся русская средняя школа*, и отнюдь не могут

быть поставлены в особливую вину ни военному обществу, ни военному ведомству. В особенности роковым образом на русском офицерстве в дни революции отразилось то поразительное неведение, которое проявляло оно в вопросах социально-политических. «Армия — вне политики» — эта верная по существу формула исключает ведь только *активную* политику, но не должна обезоруживать людей, поставленных во главе мятущегося «народа в шинелях», лишая их элементарных познаний для уразумения свершающегося.

Все эти обстоятельства создавали затруднительное положение для Академии, требуя, с одной стороны, беспощадного отсеивания, с другой — вызывая колебания в установлении академических программ. В общем, в 90-х годах Академия стремилась повысить уровень общего образования своих слушателей введением соответствующих курсов, а в девяностых — изменила систему: повысила приемные требования, побуждая офицерскую молодежь к самообразованию.

Я учился в Академии на переломе.

* * *

Приемный экзамен в Академию был страдной порой. Помимо лихорадочного зубрежа дома и бессонных ночей, приходилось высидывать на экзаменах чужих отделений, чтобы ознакомиться с требованиями, приемами, «пунктиками» экзаменаторов, так как при бешеном конкурсе многое зависело от простой случайности. Офицеры, даже пожилые, превращались на время в школьников, с их психологией, приемами, с их ощущениями страха и радости.

Вот — экзамен по математике. Профессора Цингер и Шарнгорст — астрономы, не от мира сего — по существу люди добрые, но сухие и суровые на вид. По какому-то случаю опоздали на 2—3 часа. В аудитории — нервное томление. Шарнгорст, видимо, заметил, потому что с чем-то вроде улыбки обращается к пожилому сотнику Гулыге:

— Что, заждались?

— Так точно, Ваше Пр-ство. Теперь отвечать страшнее будет...

— Полно-те, сотник, вы на войне были, как это вы можете бояться экзамена?

— На настоящей войне не бывал, а с разбойниками на Кавказе перестреливался часто. Так здесь гораздо страшнее, чем там...

Шарнгорст спрашивает теорию, а Цингер задает только задачи. Важно к кому попасть, в зависимости от индивидуальных способностей. А вызывают в алфавитном порядке.

— Поручик А.!

Его нет — бежал. Очередь идти к Цингеру, а А. слаб «по задачам». Курсовой штаб-офицер вызывает следующего:

— Поручик Б.!

Через несколько минут возвращается А.

— Вы меня звали, г. полковник?

Билеты берут, обыкновенно, до их истощения. Поэтому некоторые офицеры норовят исчезнуть на время и появляются в аудитории, когда на столе 2—3 билета, и не трудно наскоро повторить их содержание. Представьте себе разочарование офицера, когда ассистент по рассеянности или, может быть, вспомнив свое прошлое, мешает раньше времени всю колоду билетов...

Вот экзамен по географии России у профессора Золотарева. Стоят у немой карты хмурый артиллерийский штабс-капитан и пехотный поручик. Штабс-капитан держит экзамен второй раз и знает, что Золотарев спрашивает исключительно по курсу; не взглянул даже на свой билет. Поручик не осведомлен об этом. Достались ему северные губернии, он знает их назубок, весело и беспечно поглядывает по сторонам. Подошла очередь...

— На севере России раскинулись беспредельные...

— Какой состав населения Минской губернии и чем оно по преимуществу занимается?

Поручик упал с облаков и не мог ответить.

— Какое значение Среднеазиатской железной дороги?

Поручик молчит — растерянный от неожиданности. Ему кажется, что знает он предмет отлично, но экзаменатор придирается. «Не дают ходу простым армейцам...»

— Может быть, вы знаете, по крайней мере, где расположен Киев?

Поручик покраснел. «Очевидно профессор издевается...» Поднял было дрожащую руку с указкой к карте, но раздумал — опустил.

— От дальнейшего экзамена я отказываюсь.

Провал. Горькое чувство на душе от «людской несправедливости», уносимое далеко — в забытый Богом при-вислянский «штаб» или кавказское «урочище», разбитые надежды, иногда изломанная жизнь.

Рядом экзаменует по всеобщей географии ген. Сологуб — картавящий и тонный. Чтобы попасть ему в тон, совсем юный поручик из провинции извивается и усиленно звякает шпорами. Подпоручик никак не может назвать пункт на немой карте, в котором тогда происходили какие-то волновавшие мир события...

— Как это вы не знаете? Вы газеты читаете?

Подвох. Газеты он почитывает, но, может быть, во время экзаменов это считается легкомысленным... Бог его знает, этого профессора, к чему он ведет... Подпоручик мнется.

— Никак нет, Ваше-ство.

— Напрасно, поручик, каждый интеллигентный человек должен интересоваться такими событиями.

Подпоручик, видимо, завял окончательно.

Страшен профессор истории Форстен. Серьезный ученый, он морщится и нервничает — не может никак снизить до уровня элементарных руководств, которыми нас начинали в средней школе. И среди плавного и последовательного текущего рассказа «по Иловайскому» огорошивает вопросом:

— Укажите общие черты в характере революционных движений в странах Европы в первой половине XIX века...

К столу подходит поручик Г. — человек «черноземного типа», с медно-красной бородой; за ним с места упрочилось прозвище — «голос из провинции». Перекрестился незаметно прежде, чем взять билет... Царствование Генриха IV он знает отлично; громко и уверенно докладывает. Рассказал, между прочим, про толстого вельможу, которого король за какую то провинность, учтиво разговаривая, заставил бегать с собой по саду...

— Ах, пожалуйста, оставьте анекдоты...

Г. сердится — профессор прерывает нить его мыслей. Дальше... Упомянул о Париже, который «стоит обедни»...

— Я же вас просил оставить анекдоты...

Г. изведен совсем. Серdito глядя из-под нависших бровей, глухим басом бросает:

— И про «курицу» не надо?

— Да, пожалуйста, и про курицу не говорите.

Вспоминаешь эти сценки академической жизни с двойным чувством — с улыбкой и с грустью: какие иногда мелочи выбивали из колеи человеческую жизнь и сколько тех людей, что приходят на память, погибло в страшные годы войны и революции...

* * *

В двадцатых числах сентября кончались экзамены, и определенное число выдержавших и попавших в конкурс офицеров получало записки с приглашением явиться в Академию «для занятия ситуацией». Этим нудным делом нас занимали недели полторы, пока не налаживались систематические лекции. Традиционная записка, дававшая косвенно ответ на волновавший всех вопрос — попал или нет? — в жизни офицеров была большим событием, открывая широкие перспективы одним и закрывая наглухо дорогу — на время или навсегда — другим. Оттого в эти дни можно было видеть в погребках Соловьева, Перетца, у Лейнерта и в других подобающих местах немало офицерской молодежи, возбужденной, горячо беседующей и звонко чокающейся — одни на радостях, другие с горя...

Материальное положение академистов в мое время было весьма плачевно. Нормально офицер получал в месяц содержания 81 рубль. Если принять во внимание обязательные вычеты в заемный капитал своей части и Академии и ежемесячный вычет «благотелю» — портному Хазановичу, шившему нам обмундирование в рассрочку, то на жизнь оставалось не более 50 руб. — для Петербурга очень мало. И если холостые сводили кое-как концы с концами, то семейные положительно бедствовали. Три академических года для них и для жен, обыкновенно разделявших учебную страду со своими мужьями, помогая им перепиской, статистическими подсчетами и т. п., были для многих настоящим подвижничеством.

Не удовлетворяла многих и обстановка моральная.

Взаимоотношения слушателей с профессурой были чисто формальными. Мы любили, ценили одних и не любили

или относились скептически к другим. Но все они составляли какой-то неведомый нам мир и почти никогда не спускались в недра нашей жизни, с ее недоумениями и пытливыми запросами, наваянными широко раскрывающимися горизонтами знания... Наш выборный курсовой староста, сотник Гулыга, вел с ними переговоры по вопросам чисто техническим, как, например, о составлении конспектов лекций, но дальше этого общение шло редко. Только летом, во время кратких полевых поездок, по традиции устанавливались между академистами и их руководителями более близкие и в общечеловеческом, и в педагогическом смысле отношения. Бывали тогда и общие пирушки, развязывавшие языки и совлекавшие футляры...

Эту официальность отношений подметил человек со стороны, профессор психологии А. И. Введенский. На его лекциях аудитория всегда бывала переполненной; в течение всего 1897 г. регулярно посещали их и начальник Академии (Леер), и административный персонал. Лекции привлекали большое внимание. Но когда однажды в знакомом доме Введенского спросили — доволен ли он своим преподаванием в Академии, он ответил:

— Как вам сказать... Я не могу пожаловаться на недостаток внимания со стороны моих слушателей. Но я не привык к такому отношению: когда кончишь лекцию, никто не подойдет, не задаст вопроса, не поспорит, как это бывает в других высших заведениях. По-видимому, тема не захватывает их, не волнует...

Профессор психологии на сей раз ошибся: и захватывала, и волновала, но таковы уже были академические традиции.

Переступая порог Академии, мы из офицеров обращались в школьников, о самолюбии которых и об офицерском достоинстве новое начальство заботилось мало. Но офицеры терпели — из чувства дисциплины или самосохранения. Некоторые, впрочем, горячие натуры срывались. Академический эпос называл даже имена академистов, вызывавших на дуэль своих руководителей.

До дуэли, однако, дело не доходило, кончалось обыкновенно извинением руководителя. Так было в инциденте с полковником Дедюлиным (впоследствии дворцовый ко-

мендант), оскорбившим штабс-ротмистра Краснокутского... Несколько иначе окончилось другое дело... Был в Академии один из штаб-офицеров, заведующих обучающимися, полковник Ш. Старик, впадавший в детство, оставляемый на службе с благотворительной целью. Он ведал, кроме того, библиотекой и даже допускался к руководству практическими занятиями по тактике, что в его группе приводило к большим курьезам. Сдавал ему однажды офицер книгу — зачитанную, с поврежденным переплетом. Ш., швырнув ее на стол, прошамкал:

— Только подлец может так обращаться с книгой!

Оскорбленный офицер вызвал Ш. на дуэль. На другой день ген. Леер вызвал к себе академиста и, поклонившись ему в пояс, сказал:

— Простите старика — я за него прошу у вас прощения...

Помните мне одна личная обида... Экзамен по истории военного искусства при переходе на второй курс. Ответил у Гейсмана, перешел к Баскакову. Досталось Ваграмское сражение.

— Начните с положения сторон ровно в 12 часов.

Как я ни подходил к событиям, момент не удовлетворял Баскакова, и он раздраженно повторял:

— Ровно в 12 часов.

Наконец, глядя, как всегда, бесстрастно-презрительно, как-то поверх собеседника, он сказал:

— Быть может, вам еще с час подумать нужно?

— Совершенно излишне, господин полковник.

По окончании экзамена комиссия совещалась очень долго, около часу. Томление... Наконец выходит Гейсман со списком, читает баллы... Фамилия моя и поручика Иванова не упомянуты почему-то в очередь... Гейсман продолжает:

— Кроме того, комиссия имела суждение относительно поручиков Деникина и Иванова и решила обоим прибавить по $\frac{1}{2}$ балла. Таким образом поручику Иванову поставлено 7, а поручику Деникину 6 $\frac{1}{2}$.

Оценка — дело совести, но такая «прибавка» — это было злым издевательством: переводный балл — 7. Я покраснел и доложил:

— Покорнейше благодарю комиссию за щедрость.

Итак, провал. Отчаяние и поиски выхода: отставка, перевод в Заамурский округ, инструктором в Персию... В конце концов — наиболее благоразумное решение: через три месяца держал экзамен вновь на первый курс, выдержал хорошо и окончил Академию... можно бы сказать благополучно, если бы не эпизод, о котором речь впереди.

Угнетал и развращал академическую жизнь свирепствовавший с первого и до последнего дня конкурс. Он портил отношения между товарищами, учил кривым путем и приспособляемости. На почве его выросло такое явление, как «заказ тем» (диссертаций). Появилась особая профессия «содействователей» — из офицеров Ген. штаба и окончивших Академию; некоторые приезжали даже из провинции в столицу на гастроли в страдную пору дополнительного курса... Нередко в академическом почтовом ящике можно было найти открытки с совсем недвусмысленными предложениями «помощи». В «Новом Времени» печаталось объявление: «Офицер, успешно окончивший Академию и причисленный к Генеральному штабу, содействует при подготовке в Академию и при прохождении курса в ней». Следовал точный адрес. Так как список разбираемых по жребию тем редко освежался, и из года в год попадались одни и те же, то и они служили предметом торга. Помню, года через два после окончания Академии, уже будучи в бригаде, я получил телеграмму от незнакомого мне штабс-ротмистра М. с предложением купить мою первую тему. Ответил: «Покупать-продавать темы считаю безнравственным. Вредить вам не желаю. Переписку уничтожил».

В одном из позднейших выпусков случился характерный эпизод...

После экзамена курсовой штаб-офицер, собрав колоду билетов, случайно обнаружил один лишний; два билета помечены были одним и тем же номером. Признали, что один из билетов «подброшен». Проверили список — по роковому билету экзаменовались два офицера — один гвардейский кавалерист, другой — стрелок из отдаленного округа. Первый получил 12, второй 9. Кто из двух?..

Случай этот, происшедший впервые в жизни Академии, взволновал и слушателей, и начальство. Конферен-

ция долго обсуждала, как быть, и вынесла «Соломонов» приговор: второго отчислить, первого оставить, но сбавить пять баллов...

Тайна унесена в могилу.

* * *

Но хуже всего влияние конкурса сказывалось на работе научной мысли академистов. Случаи твердой защиты своих убеждений на докладах тем, в особенности в период смены Леера Сухотиным, бывали редки. Находились и такие люди, которые в этот период готовили свои доклады под двумя различными углами зрения: «под Леера» — для профессоров-ассистентов и «под Сухотина» — на случай присутствия на докладе нового начальника Академии. Появление последнего в аудитории в середине такого доклада вызывало смятение и требовало необыкновенного жонглерства словом и блуда мысли.

Остается еще коснуться политического облика слушателей Академии... В мое время в Академии, как и вообще в армии, не видно было интереса к политике и тем более к активной политической работе. По крайней мере, мне не приходилось слышать о существовании в Академии политических кружков или об участии слушателей ее в конспиративных организациях. Не бывало на эти темы и собраний с академическим начальством. Впрочем, за долго до нашего выпуска (1885), когда несколько офицеров из войск попались в революционной деятельности и были привезены в Петропавловскую крепость, тогдашний начальник Академии ген. Драгомиров, беседуя по этому поводу со слушателями, сказал им*:

— Я с вами говорю как с людьми, обязанными иметь свои собственные убеждения. Вы можете поступать в какие угодно политические партии. Но прежде, чем поступить, снимите мундир. Нельзя одновременно служить своему царю и его врагам.

Этой традиции, без сомнения, придерживались и позднейшие поколения академистов. До революции корпус Ге-

* Со слов ген. Ухач-Огоровича.

нерального штаба был довольно крепко спаян и, вопреки ходячим обвинениям справа, вполне лоялен к власти. Но академический режим, по-видимому, повлиял в другом... Всем своим укладом Академия не могла воспитывать в своих питомцах сильной воли и твердого характера. Эти качества, придавленные школой, могли коваться только вне ее стен, в горниле жизни. Академия того времени приучала к перекрашиванию в защитные цвета. И не это ли обстоятельство сыграло известную роль в весьма пестром распределении офицеров Генерального штаба по всем фронтам гражданской войны, по всем станам, и в особенности в легком восприятии многими большевицкой власти.

II

В конце 90-х годов в Академии назревал кризис и в области офицерского быта.

В 1893 г. осуществлена была идея превращения Академии — *специальной школы Генерального штаба* — в *военный университет*. Число мест в Академии было увеличено более чем вдвое. После *двухлетнего основного* курса часть обучавшихся, имевших высший балл по конкурсу, в числе, отвечающем потребности в данном году в офицерах Генерального штаба, поступала на «*дополнительный курс*». Занятия на нем длились с осени до весны и заключались в разработке и защите трех «тем» (диссертаций). Все офицеры, окончившие *дополнительный курс*, поступали в корпус Генерального штаба. Остальные, получив академический знак и некоторые служебные преимущества*, должны были возвращаться в строй, чтобы, по мысли законодателя, повысить этим общий уровень военного образования в войсках и служить в них проводниками новейших требований военного искусства. Невозможность завершить образование благодаря совершенно случайной данной — цифр вакансий — вскоре была признана нецелесообразной, и с 1897 г. установлено было законом правило, что *все* офицеры, окончившие *двухлетний курс* Академии по первому

* На офицеров специальных войск эти преимущества не распространялись.

разряду*, переходят автоматически на *дополнительный курс*. А отбор в Генеральный штаб производится по конкурсу уже после окончания полного курса наук.

Таким образом, офицеры, вышедшие из Академии, разделялись на две бытовых, далеко не равноправных группы: в одну входили «*причисленные к Генеральному штабу*», в другую — все остальные — как окончившие только *двухлетний курс*, так и те, что успешно прошли *полный трехлетний курс* Академии и случайно только не попали в число избранных.

Жизнь разрушила расчеты законодателя: из «*военного университета*» ничего не вышло. Все условия военного быта складывались, к сожалению, так, что для непривилегированного офицерства иначе, как через узкие ворота «*Генерального штаба*», выйти на широкую дорогу армейской карьеры в мирное время было почти невозможно. И академики второй категории, перенесшие все непомерные тяготы академических лет, физические лишения и не раз моральные испытания — чувствовали себя у разбитого корыта. Многие из них в нормальных условиях предпочли бы с радостью службу в строю штабной работе. Но теперь они возвращались в строй с подавленной психикой, с печатью неудачника в глазах строевой массы и с подорванным авторитетом даже в сфере положительных, несомненных знаний, вынесенных из Академии. А впереди их ждало беспросветное будущее армейского офицера...

Насколько угнетала людей такая перспектива, можно видеть из такого факта. Весною 1897 г., перед окончанием второго курса, несколько офицеров, имея высокий средний балл (около 10,40), но, по их предположениям, недостаточный для конкурсного перехода на *дополнительный курс***, отказались от *последнего экзамена*. Этот шаг влек за собою отчисление их от Академии и вместе с тем предоставлял право поступить *наново, по экзамену и по конкурсу на первый курс****. Такую тяжелую ношу они взвалили на свои

* Для первого разряда требовался средний балл — 10.

** Результаты выяснялись только осенью.

*** Оставление на второй год на том или другом курсе по закону не допускалось.

плечи... Можно себе представить отчаяние этих людей, когда через два-три месяца несправедливый закон был отменен и на дополнительный курс стали переводить всех их сверстников, удовлетворяющих правам первого разряда, т. е. имеющих средний балл — 10!..

Между тем из строя началось повальное бегство академистов. Уходили вовсе со службы, переходили в военно-учебные заведения, в интендантство, в пограничную стражу и в другие учреждения, не имеющие прямого или даже никакого касательства к военному искусству, но где были лучшие материальные условия, а главное — моральные: там эти лица пользовались признанием и более быстрым продвижением по службе.

Армейцы уходили из своих частей добровольно, гвардейцы — вынужденно. Гвардейские части не допускали в свои ряды тех из своих сослуживцев, которые, окончив одну из академий, награждались «за отличные успехи в науках» следующим чином и, таким образом, имели несчастье обогнать своих сверстников по полку...

Традиция довлела над законом и даже над властью самодержца... В 1898 г. возник вопрос о возвращении в один из гвардейских полков награжденного чином штабс-капитана Г. и решен был полком отрицательно. Эпизод этот вызвал шум и дошел до Государя. На общем академическом приеме Государь, беседуя с Г., выразил ему пожелание... как-нибудь устроиться... Еще более громкая история на подобной же почве произошла позднее в одной из гвардейских артиллерийских бригад. Проявления нетерпимости в отношении вернувшихся в бригаду академистов были так резки, что вызвали высочайшее вмешательство и серьезные кары не только по отношению начальствующих лиц, но даже всей части. И тем не менее, как самый закон, так и ниспровергающая его традиция остались в полной нерушимости...

* * *

Военный министр ген. Куропаткин решил произвести перемены в Академии. Генерал Леер был уволен на покой с званием члена Военного совета. Начальником Академии

был назначен бывший профессор и личный друг Куропаткина ген. Сухотин. Назначение это оказалось неудачным.

Я не буду углубляться в специальный круг научной академической жизни. Скажу лишь, что в сущности мало что переменялось. По характеру своему человек властный и грубый, ген. Сухотин внес только в академическую жизнь сумбурное начало. Понося гласно и резко и самого Леера, и его школу, Сухотин заменял некоторые его основные положения своими, подчас весьма спорными, стремясь проводить их в умы профессоров и слушателей в порядке властного начальнического распоряжения...

Неправильное понимание верной идеи об «единой военной доктрине» приводило к еще большему обезличиванию и выхолащиванию всего индивидуального, яркого, к стрижке под гребенку, под одно лекало слов, мысли и воли. Сухотин громил «прежнюю схоластику и рутину», но не приблизил преподавание к жизни. Ломал, но не строил.

В академический быт, как никогда, вошли грубость в служебном обиходе, произвол и нетерпимость к инакомыслящим. Особенно тяжело приходилось «лееровскому выпуску» — офицерам, оканчивавшим дополнительный курс уже при Сухотине. Они были опорочены *a priori* и огулом, и появление нового начальника Академии на защите «темы» грозило им часто не только поношением, но и провалом.

Но приходилось терпеть всем — профессуре и обучавшимся.

Весной 1899 г. последний «лееровский выпуск» окончил курс при Сухотине. На основании свода военных постановлений были составлены и вывешены списки окончивших курс по старшинству баллов*. Около 50 офицеров, среди которых был и я — тогда штабс-капитан артиллерии — предназначались в корпус Генерального штаба; остальным, также около пятидесяти, предстояло вернуться в свои части.

* Окончательным был средний балл из двух: 1) среднего по главным предметам двухлетнего курса и 2) среднего за три «темы» дополнительного курса. Вакансии по военным округам офицеры разбирали по старшинству своему в списке.

Канцелярия Академии особыми повестками пригласила офицеров, удостоенных причисления, в одну из аудиторий; там курсовой штаб-офицер от имени начальника Академии и своего поздравил нас с причислением, после чего начались практические занятия по службе Генерального штаба, длившиеся две недели.

Мы ликвидировали свои дела, связанные с Петербургом, и готовились к отъезду в ближайшие дни.

Но вот, однажды, придя в Академию, мы были поражены новостью: список офицеров, подлежащих назначению в Генеральный штаб, был снят, и на место его вывешен другой, на совершенно иных началах, чем было установлено в законе. Подсчет окончательного балла был сделан, как средний из *четырёх* элементов: среднего за двухлетний академический курс и каждого в отдельности балла за три «темы»*. Благодаря этому, в списке произошла полная перетасовка, а несколько офицеров, помещенных ранее в список, попали под черту, лишившись права, и были заменены другими.

Вся Академия волновалась. Я лично удержался в новом списке, но на душе было неспокойно: какие еще неожиданности готовит нам ни с чем не считающаяся воля начальника Академии...

Предчувствие оправдалось. Прошло еще несколько дней, и второй список был также снят. При новом подсчете старшинства был введен отдельным пятым коэффициентом — балл за полевые поездки**. Новый *третий* список, новая перетасовка и новые жертвы — лишённые прав, попавшие за черту офицеры...

Новый коэффициент имел довольно сомнительную ценность... Полевые поездки совершались в конце второго года обучения, завершая теоретическое образование. В судьбе некоторых офицеров балл за поездки, как последний, являлся решающим, определяя возможность для них попасть на дополнительный курс. По традиции, на про-

* По закону «темы» входили в общую оценку коэффициентом $\frac{1}{2}$, по новому распоряжению — коэффициентом $\frac{3}{4}$.

** Практические занятия по тактике в поле, под руководством профессоров и офицеров Генерального штаба.

щальном обеде, партия, если в ее рядах был офицер, у которого не хватало «дробей» для обязательного среднего балла (10), обращалась коллективно к руководителю поездки с просьбой о повышении оценки этого офицера. Просьба почти всегда удовлетворялась, и такому офицеру ставился высший балл, на академическом жаргоне, носивший название «благотворительного».

При просмотре третьего списка оказалось, что четыре офицера, получивших некогда такой благотворительный балл (12), попали в число избранных, и столько же состоявших в законном списке было лишено прав. В числе последних значилась и моя фамилия*.

Офицерам, попавшим в этот список, предоставлено было разобрать уже вакансии по округам. Но прошло еще несколько дней, и академическое начальство объявило новое распоряжение: спохватились, что балл за полевые поездки, кроме значения пятого коэффициента, входил уже раз как составная часть в средний балл за двухлетний курс. Изъяли его оттуда, вновь пересоставили и объявили новый *четвертый* список. В этот список, оказавшийся окончательным, не вошел я и еще три офицера, лишённые таким образом права на поступление в Генеральный штаб.

* * *

Кулуары и буфет Академии, где собирались выпускные, представляли в те дни зрелище необычное. Истомленные работой, с издерганными нервами, неуверенные в завтрашнем дне, они взволнованно и хмуро обсуждали стрясшуюся над нами беду. Слухи — один другого тревожнее и нелепее — передавались из уст в уста. Злая воля играла нашей судьбою, смеялась и над законом, и над человеческим достоинством. Впервые, вероятно, в этих стенах вспыхнуло чувство широкого протеста.

Вскоре было установлено нами документально, что вводимые новеллы исходят лично от начальника Академии ген. Сухотина, помимо конференции и без ведома Глав-

* За полевые поездки у меня был в нормальном порядке балл — 11.

ного штаба, которому в то время была подчинена Академия. Пользуясь своей близостью к военному министру, ген. Сухотин ездил к нему запросто, отвозил доклады об «академических реформах» и привозил их обратно с надписью «согласен». Последние свои мероприятия начальник Академии мотивировал необходимостью — в оценке успеха обучения дать преимущественное значение практическим знаниям над теоретическими.

Несколько раз сходились мы — четверо выброшенных за борт, чтобы обсудить свое положение. Шаги, предпринятые нами, у академического начальства встречены были пренебрежительно. Один из четырех пытался попасть на субботний прием просителей к военному министру, но не был к нему допущен, ввиду неимения разрешения от своего (академического) начальства... Другой, будучи знаком лично с начальником канцелярии военного министра, заслуженным профессором Академии, генералом Редигером, явился к нему и доложил обстоятельства нашего дела. Редигер знал уже все, отнесся к нам весьма сочувственно, но помочь не мог:

— Ни я, ни начальник Главного штаба ничего сделать не можем. Это осиное гнездо опутало совсем военного министра. Я изнервничался, болен и уезжаю в отпуск.

На мой взгляд, оставалось только одно — прибегнуть к способу законному и предусмотренному дисциплинарным уставом: к жалобе. Так как нарушение закона и наших прав совершено было по резолюции военного министра, то жалобу надлежало подать на него — его прямому начальнику, т. е. Государю Императору. Предложил товарищам по несчастью прибегнуть к этой мере — уклонились. Пришлось действовать одному.

Я написал жалобу на Высочайшее имя...

В военном быту, проникнутом насквозь идеей подчинения, такое восхождение к вершинам иерархической лестницы являлось фактом совершенно исключительным. И, признаюсь, не без волнения опускал я конверт с жалобой в ящик, подвешенный к внушительному зданию на Марининской площади, занимаемому «канцелярией прошений на Высочайшее имя подаваемых»... В практические результаты этого шага я не очень верил: слишком неравны были

шансы в этой тяжбе армейского штабс-капитана с военным министром... Притом же смушал меня немало прошлогодний случай со штабс-капитаном Г. во время представления Государю... Но примириться с произволом я не мог.

Дисциплинарный устав требовал о подании письменной жалобы на высшую власть докладывать ближайшему начальству. И я в тот же день явился Сухотину.

— Ваше Превосходительство, позвольте вам доложить, что, ввиду незаконной разборки вакансий, мною подана жалоба...

Сухотин смерил меня взглядом с ног до головы и с иронией спросил:

— На кого же вы жалуетесь?

— Государю Императору на военного министра, так как мои права нарушены по его резолюции.

Такая постановка вопроса была, по-видимому, неожиданна для начальника Академии. Лицо его потемнело, и тон стал менее презрителен.

— Хорошо, подайте рапорт. Я доложу военному министру и, если он разрешит, тогда подавайте жалобу.

— Я не испрашиваю разрешения, Ваше Превосходительство, а докладываю, что мною уже подана жалоба.

— Во всяком случае подайте об этом рапорт.

Сухотин резко оборвал последнюю фразу, повернулся и вышел.

* * *

Итак, жребий брошен.

Эпизод этот произвел впечатление не в одной только Академии, но и в высших военных бюрократических кругах Петербурга. Главный штаб, канцелярия военного министра и профессура смотрели на него, по-видимому, как на одно из средств для борьбы с начальником Академии. Такой «скандал», казалось, не мог пройти для него бесследно... Борьба шла наверху, а судьба маленького офицера вклинилась в нее невольно и случайно, подвергаясь тем бо́льшим ударам со стороны всемогущей власти. Многие, впрочем, лица относились к пострадавшим академистам вовсе не из личных побуждений, просто по-человечески.

Начались мои мытарства.

Не проходило дня, чтобы не требовали меня в Академию на допрос, чинимый в пристрастной и резкой форме. Казалось, что вызывали меня нарочно на какое-нибудь неосторожное слово или действие, чтобы отчислить от Академии и тем покончить со всей неприятной историей. Ведь на «строгость взыскания» по уставу жаловаться было нельзя...

Я переживал нравственные мучения, но старался всемерно держать себя в руках. Предъявляемые мне обвинения были в сущности курьезны: 1) неисполнение приказа начальника Академии — испросить разрешение (?) военного министра на подачу на него жалобы и 2) обременение Высочайших особ *просьбами*, воспрещенное каким-то циркуляром Главного штаба*. О ложности жалобы, впрочем, не говорили ни разу.

Нетрудно было опровергнуть эти обвинения. Очевидно, люди, воспитанные в традициях вседержавия сверху и беспрекословного подчинения снизу, не могли усвоить мысли, что «устав и порядки» писаны про всех: не только про маленьких людей — какого-нибудь ротного командира, занимающегося «рукоприкладством» и задерживающего солдатские денежные письма, но и про военных сановников... Спрашивать разрешение у того, на кого жалуешься, не мог требовать никакой закон. Такое требование отзывалось сильно старой, неумирающей щедринской былью.

Тем не менее допросы и передпросы, веденные обыкновенно штаб-офицером, заведующим дополнительным курсом, полк. Мошным, продолжались.

Военный министр, узнав о принесенной жалобе, приказал собрать академическую конференцию и обсудить на ней этот вопрос. Заседание было секретным. Помню, с каким тревожным нетерпением ожидали офицеры, когда раскроется дверь конференц-залы... Вышли наконец. Я стеснялся обратиться с вопросом к кому-нибудь из профессоров, чтобы не подвести их общением с «бунтарем»... Но профессор Золотарев, бывший раньше правителем дел Академии, увидел меня и, широко улыбаясь, обратился ко мне:

* В циркуляре говорилось о «просьбах», а не о «жалобах».

— На чем порешили — не могу вам сказать — секрет. Догадайтесь сами.

Сомнений не было. Конференция, как оказалось, постановила, что «оценка знаний выпускных, введенная начальником Академии, в отношении уже окончивших курс незаконна и несправедлива, в отношении же будущих выпусков — нежелательна».

В ближайший день получаю вновь записку — прибыть в Академию. Приглашены были и три моих товарища по несчастью. Встретил нас полковник Мошнин и заявил:

— Ну, господа, поздравляю вас: военный министр согласен дать вам вакансии в Генеральный штаб. Только вы, штабс-капитан, возьмете немедленно обратно свою жалобу, и все вы, господа, подадите ходатайства, этак, знаете, пожалостливее. В таком роде: *прав, мол, мы не имеем никаких, но*, принимая во внимание потраченные годы и понесенные труды, просим начальнической милости...

Полковник был небольшой психолог в своем нарочитом подобострастии. Или, может быть, наоборот: знал хорошо, что делает, добиваясь собственноручного нашего заявления, устанавливающего «заведомую ложность» жалобы... Тогда я не разбирался в его мотивах — не до того было. Кровь приступила к голове...

— Я милости не прошу. Добиваюсь только того, что мне принадлежит по праву.

— В таком случае нам с вами разговаривать не о чем. Предупреждаю вас, что вы кончите плохо. Пойдемте, господа.

Широко расставив руки и придерживая за талию трех моих товарищей, повел их наверх, в пустую аудиторию; дал бумагу и усадил за стол. Написали.

Но таким путем вопрос не мог быть, очевидно, ликвидирован... Приближенные ген. Сухотина, «желая замаять скандал», посоветовали ему: есть человек в Академии, пользующийся большим уважением среди офицеров — полковник Столица*. Только он мог бы повлиять на Деникина... Приглашенный к начальнику Академии, Столица наотрез отказался от поручения:

* Один из штаб-офицеров, заведовавших обучающимися.

— Я считаю Деникина правым и никогда не позволю себе дать ему такой совет.

Вскоре полковник Столица ушел из Академии.

После разговора с Мошным стало еще тяжелее на душе и еще более усилились притеснения начальства. Полковник Мошнин не упускал случая, чтобы в беседах со слушателями Академии не осведомить их:

— Да, кстати, дело Деникина предрешено: он будет исключен со службы.

Нужно было, по-видимому, запугать меня или оставить вообразимую «крамолу».

Какая уж там крамола. Я видел искреннее сочувствие в своих товарищах по Академии на каждом шагу. Оно не проявлялось в активных формах, но, тем не менее до известной степени поддерживало меня морально. Большого я и не хотел. Бывали, впрочем, и такие случаи: подойдет ко мне в вестибюле Академии офицер, крепко пожмет руку, взглянет, точно извиняясь, и, не вступая в разговор, спешно уходит... Только в малой столовой собрания «Армии и Флота» или в подвальчике Соловьева, что на углу Морской, где собирались нередко в те свободные дни слушатели Академии, развязывались языки и раскрывались сердца. Там кипело негодование против академического режима, и слышались горячие и полные возмущения речи.

* * *

Надо было умерить усердие академического начальства, и я решил пойти на прием в канцелярию прошений — попросить об ускорении запроса военному министру. Я рассчитывал, что после этого дело перейдет в другую инстанцию, и меня перестанут терзать.

В приемной было много народа, преимущественно вдов и отставных служилых людей — с печатью горя и нужды; людей, прибежавших в это последнее убежище в поисках правды человеческой, заглушенной правдой иль кривдой официальной... Среди них был какой-то артиллерийский капитан; он нервно беседовал о чем-то с дежурным чиновником, повергнув того в смущение; потом подсел ко мне. Его блуждающие глаза и бессвязная речь обличали

ясно душевнобольного. Близко пригнувшись, он взволнованным шепотом рассказывал о том, что является обладателем важной государственной тайны; высокопоставленные лица — он называл имена — знают это и всячески стараются выпытать ее; преследуют, мучают его. Но теперь он все доведет до Царя... Я чувствовал себя неловко и с облегчением простился со своим собеседником, когда пришла моя очередь. Пригласили в кабинет директора канцелярии*. Меня удивила обстановка приема: Х. стоял сбоку, у одного из концов длинного письменного стола, мне указал на противоположный; в полуотворенной двери виднелась фигура курьера, следящего за каждым моим движением; Х. стал задавать мне какие-то осторожные и очень странные вопросы... Одно из двух: или меня приняли за того странного артиллерийского капитана, или вообще — за офицера, дерзнувшего принести жалобу на военного министра, смотрят как на сумасшедшего. Я решил объяснить:

— Простите, Ваше Превосходительство, но мне кажется, здесь происходит недоразумение. На приеме у вас сегодня два артиллериста — один, по-видимому, ненормальный, другой здоровый. Так вот перед вами — нормальный.

Х. рассмеялся, сел в свое кресло и усадил меня; дверь закрылась, и курьер исчез.

Выслушав внимательно мой рассказ, Х. высказал предположение, что, по-видимому, закон нарушен, чтобы протащить в Генеральный штаб каких-нибудь маменькиных сынков. Я отрицал решительно: четыре офицера, неожиданно попавшие в список, сами чувствовали смущение немалое. Все дело, по моему, было в капризе и произволе начальника Академии. Впрочем, возможно, что я тогда ошибался: среди слушателей Академии впоследствии создалось убеждение, что вся недостойная игра со списками затеяна была для того, чтобы «протащить» в Генеральный штаб одного близкого к Сухотину штабс-ротмистра...

— Чем же я могу помочь вам?

* Должности и фамилии принимавшего меня лица точно не помню. Назову его Х.

— Я прошу только об одном: сделайте, как можно скорее, запрос военному министру.

— Обычно у нас это довольно длительная процедура, но я обещаю вам в течение ближайших двух-трех дней исполнить вашу просьбу.

Надо было обеспечить себя и в другом направлении: исключают из Генерального штаба; но я — артиллерист, и вряд ли возможно исключение вовсе со службы без вины, если воспротивится этому артиллерийское ведомство. Явился к генералу Альтфатеру, помощнику генерал-фельдцейхмейстера. Он уверил меня, что в рядах артиллерии я могу оставаться во всяком случае. Обещал доложить генерал-фельдцейхмейстеру, великому князю Михаилу Николаевичу.

— Я одного только боюсь, — говорил он, — что вы недостаточно осведомлены. Плохо верится, чтобы военный министр сделал такую оплошность. В государственной практике бывает нередко, что, в случаях спешности, министр спрашивает Высочайшее повеление на изменение закона, а потом уже задним числом проводит его в установленном порядке...

Очень странным показался мне такой путь, но в данном деле — я знал точно — «повеления» не было; была лишь «резолуция» военного министра.

Запрос Главноуправляющего канцелярией прошений военному министру возымел действие. Академия оставила меня в покое, зачислив «за Главным штабом». Для производства расследования моего «преступления» назначен был пользовавшийся в Генеральном штабе большим уважением ген. Мальцев. Его отношение к делу было спокойным и доброжелательным. И среди других чинов Главного штаба я встретил весьма внимательное отношение и поэтому был в общем хорошо осведомлен о закулисных перипетиях моего дела. Я узнал, например, что ген. Мальцев в докладе своем стал твердо на ту точку зрения, что выпуск из Академии произведен незаконно и что в действиях моих нет состава преступления... Что к составлению ответа Главноуправляющему привлечены юрисконсульты Главного штаба и военного министерства, но работа их подвигается плохо. И военный министр будто бы порвал уже два проекта составленного ими ответа, указав раздражительно:

— И в этой редакции сквозит между строк, будто я не прав...

Так шла неделя за неделей... Давно уже прошел обычный срок для выпуска из военных академий; исчерпана была смета, и прекращена выдача академистам добавочного жалованья и квартирных денег по Петербургу. Многие офицеры испытывали квартирные и денежные затруднения, в особенности семейные. Начальники других академий настойчиво добивались у генерала Сухотина, когда же наконец разрешится инцидент, задерживающий представление выпускных офицеров четырех академий Государю Императору...

Наконец ответ из военного министерства Главноуправляющему был составлен и послан; испрошен был день Высочайшего приема; состоялся Высочайший приказ о производстве выпускных офицеров «за отличные успехи в науках» в следующие чины. В приказе этом я, к большому моему удивлению, нашел и свою фамилию.

По установившемуся обычаю, за день или за два до представления Государю, в одной из академических зал выпускные офицеры представлялись военному министру. Около ста человек выпускных построились полукругом; ген. Куропаткин обходил нас, здороваясь, и с каждым имел краткий разговор. Подойдя ко мне, он вдохнул глубоко и прерывающимся голосом сказал:

— А с вами, капитан, мне говорить трудно. Скажу только одно: вы сделали такой шаг, который не одобряют все ваши товарищи.

Я не ответил ничего.

Военный министр был плохо осведомлен. Он не знал, с каким трогательным вниманием относились офицеры к опальному капитану; не знал, что в том году в первый раз состоялся общий обед выпускных, на котором в резких и бурных формах вылился протест против академического режима и нового начальства — в застольных речах и в демонстративной посылке приветствий старому начальнику Академии, ген. Лееру и профессору Золотареву. Общие беды сплотили выпуск 1899 г.

Я переживал свою обиду одиноко. Молчал и ждал.

* * *

Особый поезд был подан для выпускных офицеров четырех академий и начальствующих лиц. Еще на вокзале я несколько раз ловил на себе испытывающие и враждебные взгляды академического начальства. Со мной они не заговаривали, но на лицах их явно видно было большое беспокойство: не вышло бы какого-нибудь «скандала» на чинном, торжественном традиционном приеме...

Во дворце нас построили в одну линию вдоль анфилады зал — по последнему *не законному* списку старшинства. По прибытии военного министра и после разговора его с Сухотиным, полк. Мошнин подошел к нам, извлек из рядов ниже меня стоявших трех товарищей по несчастью и переставил их выше — в число поступающих в Генеральный штаб. Отделил нас интервалом в два шага... Я оказался на правом фланге шеренги офицеров, не удостоенных причисления.

Все ясно.

Ген. Альтфатер, как оказалось, исполнил свое обещание. Присутствовавший во дворце вел. князь Михаил Николаевич, беседуя со мной перед приемом, сказал, что он доложил Государю во всех подробностях мое дело...

Ждали долго. Наконец по рядам раздалась тихая команда: — Господа офицеры!

Вытянулся и замер дворцовый арап, стоявший у двери, откуда ожидалось появление Императора. Генерал Куропаткин, стоявший против нее, склонил низко голову...

Вошел Государь. По природе своей человек застенчивый, он, вероятно, испытывал немалое смущение во время такого большого приема — нескольких сот офицеров, каждому из которых предстояло задать несколько вопросов, сказать что-нибудь приветливое... Это чувствовалось по его добрым, словно тоскующим глазам, по томительным паузам в разговоре, и по нервному подергиванию аксельбантом.

Подошел наконец ко мне. Я почувствовал на себе со стороны чьи-то тяжелые, давящие взоры... Скользнул взглядом: Куропаткин, Сухотин, Мошнин — все смотрели на меня сумрачно и тревожно...

Я назвал свой чин и фамилию. Раздался голос Государя:

— Ну, а вы как думаете устроиться?

— Не знаю. Жду решения Вашего Императорского Величества.

Государь повернулся вполоборота и вопросительно взглянул на военного министра. Генерал Куропаткин низко наклонился и доложил:

— Этот офицер, Ваше Императорское Величество, не причислен к Генеральному штабу *за характер*.

Государь повернулся опять ко мне, нервно обдернул аксельбант и задал еще два вопроса: долго ли я на службе и где расположена моя бригада. Приветливо кивнул и пошел дальше...

Я видел, как просветлели лица моего начальства. Это было так заметно, что вызвало улыбки у некоторых из близ стоявших чинов свиты... Но мне не было смешно: от разговора, столь долго, столь мучительножданного, остался тяжелый осадок на душе и разочарование... в «правде воли монаршей»...

Вероятно, военный министр испытывал некоторые угрызения совести, потому что, как мне потом передавали в Главном штабе, он в тот же день, вернувшись после приема в Петербург, вызвал к телефону юрисконсульта и приказал ему найти справку в законе: «Имеет ли право он, военный министр, не устаивать причисления к Генеральному штабу офицера, конференцией Академии удостоенного». Юрисконсульт облек свой ответ в уклончивую форму: «Прямого указания на это в законе не имеется».

* * *

Мне предстояло отбыть лагерный сбор в одном из штабов Варшавского военного округа и затем вернуться в свою 2-ю артиллерийскую бригаду, квартировавшую в городе Беле Седлецкой губ. Но Варшавский штаб, возглавленный в то время генералом Пузыревским, проявил к моей судьбе большое участие. Генерал Пузыревский оставил меня после летних сборов на вакантной должности Генерального штаба в округе и, переслав в Петербург лестные аттес-

тации, возбудил ходатайство о зачислении меня в Генеральный штаб. Ответа не получалось. Ходатайства были повторены еще дважды, в том числе официальным письмом Пузыревского военному министру. По-видимому, такая настойчивость сильно раздражала генерала Куропаткина, так как, вопреки установившемуся обычаю, он не ответил непосредственно Пузыревскому, а по приказанию его Главный штаб сообщил окружному: «Военный министр воспретил возбуждать какое бы то ни было ходатайство о капитане Деникине»...

Через некоторое время пришел ответ и от канцелярии прошений: «По докладу такого-то числа *военным министром* (!) вашей жалобы, Его Императорское Величество повелеть соизволил — оставить ее без последствий...»

Тем не менее на судьбу обойденных офицеров обращено было внимание: вскоре состоялось распоряжение по военному ведомству, в силу которого *всем* офицерам, когда-либо окончившим успешно дополнительный курс Академии, независимо от балла, предоставлено было перейти в Генеральный штаб. Всем, кроме одного...

Больше ждать было нечего и неоткуда. Начальство Варшавского штаба уговаривало меня оставаться в прикомандировании. Но я тяготился своим неопределенным положением, не хотел больше жить иллюзиями и плавать между двумя берегами, не пристав к Генеральному штабу и отставая от строя.

Весною 1900 г. я вернулся и свою бригаду, где в должности старшего офицера батареи прослужил полтора года. За это время привязался к бригаде еще больше и примирился со своей участью. Воспоминания об академическом эпизоде мало-помалу теряли свою остроту, и только где-то глубоко засела крепко неотвязчивая мысль: каким непреходимым чертополохом поросли пути к правде...

И вот, однажды, в хмурый осенний вечер, располагавший к уединению и думам, написал я частное письмо «Алексею Николаевичу Куропаткину». Начиналось оно так:

«А с вами мне говорить трудно». С такими словами обратились ко мне Вы, Ваше Превосходительство, когда-то на приеме офицеров выпускного курса Академии. И мне было трудно говорить с Вами. Но с тех пор прошло

два года, страсти улеглись, сердце поуспокоилось, и я могу теперь спокойно рассказать Вам всю правду о том, что было...»

Затем вкратце изложил известную уже читателю академическую историю. Ответа не ждал — захотелось просто отвести душу. Ответа и не было...

Прошло несколько месяцев. В канун нового 1902 г. я получил неожиданно от товарищей своих из Варшавы телеграмму, адресованную «причисленному к Генеральному штабу капитану Деникину», с сердечным поздравлением... Нужно ли говорить, что встреча нового года в этот раз была отпразднована с исключительным подъемом.

Через несколько дней я уезжал из Белы в Варшаву с чувством большого морального удовлетворения, хоть и грустно было расставаться с родной бригадой.

Из Петербурга мне сообщили впоследствии, как все это произошло. Военный министр был в отъезде, в Туркестане, в то время, когда я писал ему. Вернувшись в столицу, он тотчас же отправил мое письмо на заключение в Академию. Сухотин в то время получил уже другое назначение и уехал. Частное совещание или конференция Академии признала содержание письма вполне отвечающим действительности. И военный министр на первой же аудиенции, «выразив сожаление о том, что поступил несправедливо», испросил Высочайшее повеление на причисление меня к Генеральному штабу.

Но где-то в недрах канцелярий или штабов сохранилась еще какая-то маленькая вредящая пружинка: приказ Генеральному штабу пришел из Петербурга в Варшаву только через месяц после выпуска его...

* * *

В дальнейшем раз еще в жизни мне пришлось встретиться с бывшим военным министром.

Во время русско-японской кампании генерал Куропаткин — тогда командующий Маньчжурской армией — по случаю открытия движения конно-железной дороги приехал в Восточный район. Почетный караул был от войск нашего отряда, и на правом фланге его стояло начальство. Начальник отряда представил меня — я был начальником

штаба дивизии, в чине подполковника — командующему армией. Ген. Куропаткин крепко и несколько раз пожал мне руку:

— Как же, давно знакомы, хорошо знакомы...

За завтраком, к которому, в числе других, был приглашен и я, командующий был весьма любезен, расспрашивал о моей службе, но старого не вспоминал.

* * *

Мне пришлось, вероятно, труднее в Академии, чем другим. Но не это обстоятельство наложило пером моим тени на академическую жизнь. Они существовали в действительности и мною отнюдь не сгущены. После японской кампании тогдашний начальник Академии ген. Михневич организовал анкету среди офицеров Генерального штаба — участников войны: какою оказалась на войне наша академическая подготовка, в чем ее положительные и отрицательные стороны. Я ответил подробно и от сердца. Позднее, ознакомившись с общим отчетом об анкете, я убедился, что многие участники ее разделяли мои взгляды на постановку дела в Академии.

После всего мною сказанного, быть может, странным покажется то обстоятельство, что я вынес тем не менее из стен Академии Генерального штаба чувство искренней признательности к нашей alma mater, невзирая на все сцены мытарства, все ее недочеты; загромождая нередко курсы несущественным и ненужным, отставая подчас от жизни в прикладном искусстве, она все же расширяла неизмеримо кругозор слушателей, внедряла в них основные начала военной науки, давала метод к изучению, критерий — словом вооружала весьма серьезно тех, кто хотел продолжать работать и учиться в жизни.

Ибо главный учитель — все-таки жизнь.



В КАЗАНСКОМ ОКРУГЕ

Нигде значение отдельной личности не может быть так велико, как в армии. Военная история знает немало примеров, как молодые войска — весьма невысокой боевой пригодности — в руках настоящих начальников становились скоро первоклассными; и как другие войска, раз получив прочную закалку, сохраняли отменные боевые качества при самых неблагоприятных условиях. Достаточно вспомнить, как долго войска Варшавского округа жили традициями генерала Гурко; или историю 48-й пехотной дивизии, которая из второразрядной части в руках Корнилова буквально в 2–3 недели обратилась в первоклассную боевую дивизию.

В течение трех лет мне пришлось быть свидетелем такого единоличного влияния, но в обратном отражении: командование войсками Казанского военного округа генералом Сандецким наложило печать моральной подавленности на жизнь округа на многие годы.

Карьера ген. Сандецкого не совсем обычна. Офицер Ген. штаба, не слишком преуспевавший по службе, в 1904 г. он был начальником 34 пех. дивизии, стоявшей в Екатеринославе. Первая революция, отозвавшаяся крупными беспорядками и в этом городе, выдвинула ген. Сандецкого, который, действуя быстро и решительно, подавил восстание. В 1906 г. мы видим его уже на посту командира Гренадерского корпуса в Москве...

К этому времени все Поволжье пылало. Край находился на военном положении, и не только все войска округа, но и мобилизованные второочередные казачьи части, и регулярная конница, прибывшая с западной границы, несли

военно-полицейскую службу для усмирения повсеместно вспыхивавших беспорядков. Командовавший в то время войсками Казанского округа ген. Карас — человек мягкий и добрый — избегал крутых мер и явно не справлялся с делом усмирения. Не раз он посылал в Петербург по телеграфу ходатайства о смягчении приговоров военных судов, — приговоров, определявших смертную казнь и подлежащих... его конфирмации. Так как к тому же телеграммы эти не зашифровывались, председатель Совета министров Столыпин усмотрел в действиях Караса малодушие и желание перенести одиум казней на него или на государя. Караса уволили; назначили неожиданно для всех Сандецкого.

Сандецкий наложил свои тяжелые руки — одну на революционные элементы Поволжья, другую — на законопослушное воинство.

В первом же годовом Всеподданнейшем отчете нового командующего проведена была параллель: в то время как ген. Карас за весь год утвердил столько-то смертных приговоров (единицы), он, ген. Сандецкий, за несколько месяцев утвердил столько-то (сотни). Штрих — характерный: принятие мер жестоких бывает иногда не только правом, но и долгом; похвалиться же этим не всякий станет.

* * *

В начале 1907 г. я был назначен на службу в Саратов — начальником штаба 57-й резервной бригады*.

Жизнь в Казанском округе была тогда на переломе: уходило старое — покойное, патриархальное и врывалось уже новое — беспокойное, ищущее новых форм и содержания, всколыхнувшееся после тяжелого урока только что отзвучавшей войны.

Еще живы были воспоминания о недавнем прошлом — так непохожем на жизнь столичного и пограничных округов и носившем в себе мало элементов воинственности, суровой школы и даже просто военной выправки. Тишь да

* Резервная бригада состояла из четырех полков двухбатальонного состава. В 57-ю входил еще резервный батальон, стоявший в Астрахани.

гладь... Командиры — рачительные хозяева, словно добрые помещики в своих усадьбах. Мать-командирши, принимавшие совместно с супругами участие в назначениях, смещениях чинов полка, ссорившие, мирившие, женившие, крестившие в подведомственных им военных семьях... Ну, право, не умерли еще к началу XX века некоторые черты из жизни оренбургской крепостцы, описанной в «Капитанской дочке». Только модернизированные по времени и измененные в масштабе.

Незадолго до моего прибытия ушли в отставку два полковых командира. Один из них в качестве подсобного занятия содержал... бюро похоронных процессий. Полковые лошади возили покойников; факельщиками ходили по наряду солдаты, одетые в траурные одежды — чинно, мерным шагом, в ногу; фельдфебель нестроевой роты — впереди, в позументах, с жезлом... Другой командир поблизости от казарм построил собственный домик. И каменщики, и плотники, и штукатуры — свои. Чего проще: прервал недельки на три-четыре полковые занятия, налег всем миром и готово...

Хотя закон о предельном возрасте военнослужащих, введенный незадолго до японской войны, был тогда временно приостановлен, но старых служаков, выслуживших пенсионные сроки, увольняли беспощадно, и это обстоятельство вызывало горькие обиды. При мне уходил один командир. Полк провожал его, как водится, хлебом-солью, подарком. Были гости и начальство. Говорились традиционные речи. Старик расчувствовался; встал и со слезою в голосе излил обиду...

Он ли не старался, не вкладывал всю душу в службу в течение сорока лет! Он ли не полон еще сил и здоровья, невзирая на свои шестьдесят! А начальство выбросило его за старостью... А полк! Каким он принял его и каким сдает!.. Старик вынул из кармана дрожащими от волнения руками записку и стал читать, поминутно смахивая предательские слезы, длинный перечень числа мундиров, штанов и прочих предметов «вещевого довольствия», которые он скопил для полка за время своего командования... Послесловие сорокалетней работы! В этом, полагал он, по-видимому, наибольшую свою заслугу и гордость.

И жаль мне стало старика, жаль человеческой жизни, так нелепо суженной, втиснутой в стены цейхгауза.

Занятия в поле до японской войны шли в полках по старинке — на строго определенных местах, по раз заведенному трафарету. Ближайшим начальством для резервных бригад, без промежуточных инстанций, был командующий войсками. Когда предместник Караса ген. Мещеринов приезжал в Саратов, — это было большое событие. Задолго до назначенного дня штаб бригады с батальонными адъютантами и учебными командами выходили в поле и колышками обозначали расположение каждой роты, всякое передвижение. Потом по колышкам долго ходили полки, готовясь к «маневру», который они должны были воспроизвести в присутствии командующего.

И сколько труда, времени и даже природной сметки расходовалось на эту «игру в солдатики»! Безобидную — если бы за нее не пришлось расплачиваться на маньчжурских полях...

Иногда Мещеринов не останавливался в Саратове, проезжая дальше, вниз по Волге. Тогда полки выстраивались вдоль берега. И когда пароход проходил мимо, с него махали платочком — от линии фарватера не было слышно голоса — а войска отвечали: «Здравья желаем, Ваше-ств-о-о-о!» И потом раскатистым «Ур-а-а!» провожали уходящий пароход.

В такую-то тихую заводь ударили громы войны: две или три бригады Казанского округа, развернутые в дивизии, двинуты были в Маньчжурию. Дрались там доблестно, но не искусно.

По окончании войны в округ вернулось немало людей с боевым опытом, появились новые командиры, новые веяния, и закипела работа. Округ проснулся.

В это самое время в Казань прибыл человек, топнул в запальчивости ногой и громко, на весь округ крикнул:

— Не потерплю!

* * *

Еще задолго до приезда к нам, в Саратов, нового командующего распространились слухи об его необыкновенной суровости. Из Казани, Пензы, Уфы писали о грубых

разносах, отрешениях, смещениях, взысканиях, накладываемых командующим во время смотров. Из соседней бригады прислали и «вопросник» — перечень, заключавший около 50–60 вопросов, задававшихся им. Перечень свидетельствовал о малом интересе командующего к чисто боевому делу — самому ему, между прочим, воевать не приходилось. Все больше — из гарнизонной и внутренней службы. Вопросы, в большинстве, представляли из себя загадочные головоломки. А так как сам командующий их не разъяснял, то становились они «жупелом» и «металлом», лишив покоя полковых и ротных командиров.

Вскоре выяснилось, что ген. Сандецкий читает все приказы, отдаваемые не только по бригадам, но и по полкам. И требует в них подробных отчетов, разборов, наставлений, особенно в смотровых. Начальнику Саратовской местной бригады объявлен был выговор за краткость смотрового приказа, обличавшую, по мнению командующего, необстоятельность смотра; велено было «без расходов для казны» объехать части вторично и отдать новый приказ... Генерал обиделся, приказание исполнил, но, вернувшись, подал в отставку.

И пошел писать округ!

Поток бумаги хлынул на головы оглушенных чинов округа, поучая, наставляя, распекая, не оставляя ни одной области службы, иногда даже жизни, — не разъясненной, допускающей самодеятельность и инициативу. Чего только не писали, не регламентировали! Командир Балашовского полка, например, в приказе рекомендовал нижним чинам, для упражнения в мерном беге и «для развития дыхания», передвигаться в пределах лагеря не иначе, как «бегом» — по уставу, и при этом громко говорить:

— Я — рядовой славного Балашовского полка...

Передвижение таким порядком... на «заднюю линейку» могло угрожать катастрофой... Нужно заметить, что приказ этот в жизнь не прошел — не в силу отмены свыше, а вследствие насмешек соседей и пассивного сопротивления чинов полка.

Другой поток — отчетов, сводок, статистических таблиц, вплоть до кривой нарастания припека в хлебопекар-

нях, до среднего числа верст, пройденных полковым разведчиком в поле... — направлялся в штаб округа.

«Бумага» вконец подменила дело. Она стала предметом соревнования и средством служебного выдвижения. Так, новый начальник Саратовской местной бригады чувствовал себя героем, когда его приказ о весенних смотрах, побив все рекорды, перевалил за сто страниц... Трудно сказать, как мог справляться ген. Сандецкий со всем этим материалом, но очень часто приказы и отчеты возвращались к нам с собственноручными его пометками и... с карами против тех, что показывали «меньшую резвость»...

Я дал себе труд подсчитать для одной из своих статей в журнале, как выражается эта графомания в полках Саратовского гарнизона. Цифры оказались умопомрачительными. Канцелярия «боевой части» — полка, в составе всего 900 человек, в среднем в год принимала 7 600 входящих бумаг, выпускала 8 600 исходящих, изводила 150 стоп бумаги и 4 ведра чернил.

В округе нашелся начальник бригады (54 рез.), генерал Шилейко, участник японской войны, пользовавшийся отличной боевой репутацией, который не хотел мириться с таким положением. Выведенный из себя напоминанием о представлении какого-то отчета, он ответил штабу округа: составление подобных отчетов для частей не выполнимо; до настоящего времени они *сочинялись* штабами по совершенно произвольным данным, с его ведома, чтобы не подводить понапрасну под кару его подчиненных; ему известно, что такая система практикуется и во всех прочих бригадах; как поступать впредь?

Штаб округа не ответил.

Выяснилось также, что командующий войсками недоволен «слабостью» начальников... Много приказов, в которых объявлялось о дисциплинарных взысканиях, возвращалось с собственноручными, всегда одинаковыми его пометками: «В наложении взыскания проявлена слабость. Усилить. Учту при аттестации».

И началось утеснение.

Многие начальники, конечно, сохраняли свое достоинство и справедливость. Но немало было и таких, что на спинах подчиненных строили свою карьеру. Посыпались

взыскания как из рога изобилия. Походя, за дело и без дела, вне зависимости от степени вины, с одной лишь оглядкой — что скажут в Казани?

А Казань или подозрительно молчала, или сыпала резолюциями:

«Проявлена слабость... Не потерплю... Учту...»

* * *

Назначен был наконец день смотра командующим — Саратовского гарнизона. Много было волнения и страха.

Приехал, посмотрел — разнес, погрозил и уехал. Навел на всех панику. Особенно досталось двум штаб-офицерам, бывшим членами военного суда в только что закончившейся выездной сессии*. Командующий собрал офицеров гарнизона и в их присутствии разносил штаб-офицеров: кричал, топал ногами и заявил, что никогда не удостоит их назначения полковыми командирами... за проявленное попустительство.

Дело заключалось в следующем:

В одном из полков, при обыске, в сундучке какого-то ефрейтора найдена была прокламация. Суд, приняв во внимание, что листок только хранился, а не распространялся, и другие смягчающие обстоятельства, зачел ефрейтору десять месяцев предварительного заключения и, лишив его ефрейторского звания, выпустил на свободу...

Вечером в штабе бригады штаб-офицеры изливали свое горе и недоумение:

— Пропали тридцать лет службы..

— Куда же девать «судейскую совесть»?..

— А судебная тайна... Быть может, я-то именно и требовал каторги, да остался в меньшинстве... Почему он знает?..

К чести нашего рядового офицерства, надо сказать, что такое давление на судебную совесть не имело результатов. Приговоры по многим политическим делам в Саратове, на которых мне пришлось присутствовать, обличали

* Упрощенного состава: военный судья — председатель и два члена от войск — для дел по преступлениям политическим, совершаемым и военными, и гражданскими лицами. Край был на военном положении. Мера эта была введена по 87-й статье.

твердость и справедливость в членах военных судов. Наряду с приговорами суровыми, я помню, например, явно раздутое и на шумевшее дело о «Камышинской республике», по которому все обвиняемые, после блестящей защиты Зарудного, были оправданы... в явный ущерб карьере членов суда. Мне хорошо известно, что не столько таланту В. Маклакова, защищавшего известного с.-р. Минора, сколько совестливости судей — двух штаб-офицеров — последний обязан сравнительно легким наказанием, которое ему было вынесено судом... Смутило судей то обстоятельство, что налицо были одни косвенные улики... Конечно, в обоих случаях не могло быть ни сочувствия, ни послабления, одно лишь чувство судейского долга. В первом процессе судьи верно отгадали сущность дела, во втором — ошиблись: Минор, как известно, стоял действительно во главе крупной боевой организации юго-востока России...

Армейские будни заволокло тяжелыми тучами. Тусклая жизнь военной среды окончательно замкнулась в порочном круге, очерченном произволом и самодурством. Люди жили, работали, стараясь пробить себе дорогу, и все время чувствовали, как некий рок, одна сакраментальная фраза — «Не устаиваю» — может в любой момент перевернуть вверх дном все их надежды. Рок — потому что разил он всегда неожиданно, без видимых оснований и обыкновенно без объяснения, потому что борьба с ним была почти безнадежна: выше Казани был только Петербург, но в представительной армейской офицерства Петербург был далеким и недоступным, а в понимании солдата — чем-то астральным.

Суждения командующего войсками о своих подчиненных основывались на составлявшихся в штабе округа «мерзавках», материалом для которых служили: приказы и служебная переписка, случайные газетные заметки и доносы. В каждом почти крупном военном центре округа имелось лицо из состава военнослужащих, на обязанности которого лежало «осведомление» командующего. В Саратове эту роль играл некто полковник Вейс, почти совершенно открыто. Он обратил на себя внимание ген. Сандецкого, будучи начальником Казанского военного госпиталя, где Вейс завел суровую дисциплину и занятия для больных: словесные для слабых и строевые для выздоравливающих.

Однажды Вейс перестарался: больной во время строевых занятий скоропостижно умер. Вейса, с производством в полковники «за отличие», перевели в Саратов, где он стал батальонным командиром и вместе с тем «профостом». Его боялись и презирали в душе, но внешне многие оказывали ему знаки внимания.

Наибольший произвол царствовал в деле аттестаций*. В штаб бригады, после окончания аттестационной процедуры, являлось немало обиженных за советом и помощью. Я остановлюсь на трех-четырех примерах начальственного рассмотрения — более характерных.

Полковник Лесного полка Леонтьев аттестован был отлично на выдвижение. Перевелся в другой полк бригады, принял батальон, и на другой же день пришлось ему представлять этот батальон на смотр начальнику бригады. Батальон обучен был прескверно, о чем и отдано было в приказе. Ген. Сандецкий, прочитав приказ и не разобрав в чем дело, отменил аттестацию и объявил Леонтьеву «предостережение о неполном служебном соответствии». Характерно, что трепетавший перед Сандецким начальник бригады не осмелился написать командующему о его ошибке. И только в приезд последнего в Саратов рискнул доложить... Сандецкий ответил:

— Теперь уже аттестации в Главном штабе; отменять неловко; приму во внимание в будущем году.

Леонтьев так и уехал в том же году в другой округ с «волчьим билетом»...

Полковник Бобруйского полка Пляшкевич, отличнейший боевой офицер, был аттестован «вне очереди» на полк. В перечне его моральных качеств командир полка, между прочим, пометил: «пьет мало». Каково же было наше удив-

* На всех военнослужащих по закону составлялись аттестации прямыми начальниками и «аттестационными совещаниями». Мнение старшего начальника было решающим. Заключительная часть имела пять степеней: 1) достоин выдвижения вне очереди; 2) достоин выдвижения по старшинству; 3) пригоден к оставлению в должности; 4) подлежит предостережению о неполном служебном соответствии; 5) подлежит исключению.

«Предостережение» влекло за собой поражение права выдвижения в течение двух лет.

ление, когда через некоторое время пришло грозное предписание командующего, в котором объявлено было Пляшкевичу «предостережение» — «за то, что пьет», а начальнику бригады и командиру полка — выговор — за неправильное удостоверение. Тщетно было объяснение полкового командира, что он хотел подчеркнуть именно большую воздержанность Пляшкевича... Ген. Сандецкий ответил, что его не проведут: уж если полковой командир упомянул о питии, то, значит, Пляшкевич «пьет здорово».

Так и пропали два года службы...

Так как «бумага» играла судьбою людей, в официальной переписке приходилось мучительно взвешивать каждое слово. Из полковых канцелярий постоянно приходили ко мне за советом. Но ничто не спасало от печальных неожиданностей.

Капитану Балашовского полка Хвоцинскому в отличной аттестации написали, между прочим: «досуг посвящает самоусовершенствованию». Аттестация вернулась с резолюцией командующего: «объявить предостережение... за то, что свой досуг не посвящает роте». Не поверил своим глазам. Сходил в библиотеку, справился в академическом словаре: «Досуг — свободное от нужных дел время»...

Хвоцинский «бежал» в Варшавский округ.

Командующий был непогрешим. Официальные доклады и объяснения не действовали. Я описывал в своих «Армейских заметках»* в щедринском тоне особенно вопиющие случаи — помогало редко, но неизменно навлекало на автора скорпионы.

Был еще один способ, смягчавший иногда жестокое сердце командующего...

С одним штабс-капитаном Лесного полка случилось несчастье: он никогда не пил, но раз товарищ по полку напоил его и бросил одного на улице. В результате суд общества офицеров «товарища» наказал, а штабс-капитана простил, предоставив ему перевестись в другой гарнизон. Узнал об этом ген. Сандецкий. Немедленно последовало грозное предписание: исключить штабс-капитана со

службы в дисциплинарном порядке, а командиру полка и начальнику бригады объявлялся выговор. Объяснения повели лишь к новому, весьма обидному предписанию, в котором командующий выражал крайнее удивление, что эти начальники не имеют понятия об офицерском достоинстве и чести мундира...

Семья из четырех человек выбрасывалась на улицу — куда примут офицера, выгнанного со службы. Пришла в штаб жена штабс-капитана — в слезах. Я посоветовал ей:

— Есть еще одно средство... Поезжайте в Казань. Командующий, видите ли, не выносит женских слез. Постарайтесь попасть на прием — только запишитесь под чужой фамилией, иначе не пустят. А на приеме загните ему хорошую истерику...

Через несколько дней дама вернулась сияющая.

— Все устроилось. Генерал Сандецкий разрешил не увольнять мужа. Напишите, пожалуйста, в полк.

— А бумажку привезли?

— Нет. Велел передать на словах. «Я им наговорил неприятных вещей, так теперь писать неловко...»

— Ну, нет! Без документа такие дела не делаются.

Слезы.

— Что же мне теперь делать?

— Напишите ему, что не верят.

Через некоторое время пришла бумага из округа с решением не увольнять штабс-капитана. Взыскания, наложенные на начальников, однако, не были отменены.

Насколько подавлены и развращены были чины округа произволом командующего, можно судить по следующему эпизоду. Я, будучи уже командиром полка в Киевском округе, чтобы выручить достойного штаб-офицера Балашовского полка Попова, устроил перевод его к себе. К моему изумлению, из Саратова пришла на него скверная аттестация и одновременно пояснительное письмо командира Балашовского полка: «Если бы Вы знали, с какой скорбью я должен был написать подобную аттестацию... Она написана была под давлением предписания начальства. Одно считаю долгом Вам сказать — это общее сожаление всех офицеров по поводу ухода П[опова] из полка». И это сделал человек, не заинтересованный уже в

* В военном журнале «Разведчик». Об этом — в следующем очерке.

преуспевании по службе, так как через два-три месяца уходил в отставку по предельному возрасту.

Так и жили — месяцы, годы...

* * *

При такой нездоровой морально обстановке боевое обучение все же двигалось вперед — скорее в силу общего подъема, охватившего военную среду, после маньчжурской неудачи, и инициативы снизу, чем руководства из штаба округа.

Округ пытался организовать «большие маневры» — сфера более доступная его прямому руководству. Но это удавалось плохо, хотя бы в силу дислокации. На огромном пространстве от Казани до Астрахани и от Пензы до Уфы разбросано было пять резервных бригад*. Когда, ценою весьма крупных расходов и пройдя сотни верст водными, железными и грунтовыми путями, «стороны» сходились, они представляли из себя далеко не внушительную силу: не более полутора полка военного состава. «Большой маневр» длился дня два. Раз — окончился столкновением, другой раз — командующий, усмотрев хаотичность в картине боя, остановил маневр, несколько часов разводил войска по уставному порядку и, не преуспев в этом, выругал всех и дал «отбой».

Маневр заканчивался торжественным молебствием и парадом. На молебне старший благочинный произносил слово.

— Кого мы видим, братие, среди нас, кого привечаем? Доблестного вождя нашего — Суворову подобного!..

Ген. Сандецкий стоял недвижно, глядел сурово, и по лицу его нельзя было прочесть — приятна ли ему лесть благочинного. Присутствовавшие же, видимо, чувствовали некоторую неловкость. А в моей памяти вставали невольно картины доброй, такой еще живучей старины: широкая Волга, казенный пароходец, развивающийся платочек и доносящееся с берега:

* К 1911 г. резервные бригады были развернуты в дивизии, и в состав округа включено два корпуса.

— Здра... жела... ва... ство-о-о...

Знал ли Петербург, что делается в Казанском округе? Конечно. Из судных дел, жалоб, докладов, печати.... Знал и Государь. Сухомлинов писал впоследствии: «Несмотря на всю доброту, у Государя в конце концов лопнуло терпение, и Его Величество приказал мне изложить письменно, что он недоволен тем режимом, который установил в своем округе ген. Сандецкий... Я написал... Его Величество в одном месте смягчил редакцию...» Потом, когда военный министр собрался ехать в Поволжье, Государь приказал: «Скажите командующему от моего имени, что я его ревностную службу ценю, но ненужную грубость по отношению к подчиненным не одобряю».

Поволжье бродило, и наличие там во главе войск такого сурового начальника считалось, очевидно, необходимым.

По какому-то поводу собрались однажды в Пензе старшие начальники округа на совещание; председательствовал временно командующий войсками, начальник штаба округа ген. Светлов (Сандецкий лечился на курорте). После совещания начальник одной из бригад ген. Шилейко завел речь о том, что во главе округа стоит человек — заведомо ненормальный и что на них на всех лежит моральная ответственность, а на Светлове и служебная, за то, что они молчат, не доводя об этом до сведения Петербурга. Генералы, и в том числе Светлов, смешались, но не протестовали. Спустя некоторое время Шилейко послал военному министру подробный доклад о деятельности ген. Сандецкого, повторив то определение, которое он сделал на пензенском совещании и сославшись на согласие с ним всех участников его... Доклад этот был препровожден министром на заключение... ген. Сандецкого. Трепещущий Светлов понес переписку во дворец командующего вместе со своим прошением об отставке. Что было во дворце — неизвестно. Но в конечном результате Шилейко был уволен от службы; Светлов, против ожидания, остался...

Года через два мне пришлось встретиться в Житомире, в знакомом доме с Шилейко. За ужином вспомнилось старое...

— Расскажите, ваше превосходительство, как вы Сандецкого в помешательстве уличали...

Шилейко сердито посмотрел на меня и не стал рассказывать.

Оказалось, дело его приняло было тогда дурной оборот; в конце концов его отпустили с миром, с мундиром и пенсией, взяв только обещание не подвергать происшедшее огласке.

* * *

Начальник нашей бригады ген. П. был человек добрый, не боевой и очень боялся начальства. Писал огромные приказы — смотровые и хозяйственные, в меру пересыпая их карами, и предоставлял мне вопросы боевой подготовки войск. Побудить его оспорить невыполнимое распоряжение штаба округа или вступить за пострадавшего стоило больших усилий. Был такой случай. Генерал Сандецкий, прочитав приказ по Хвалынскому полку и спутав фамилии, посадил под арест одного штабс-капитана — не того, кого следовало. Начальник бригады вызвал к себе потерпевшего и стал его уговаривать:

— Потерпите, голубчик. Вы еще молоды, роту получать не скоро. А если подымать вопрос — ведь третий уже раз подряд такая оказия — так не вышло бы худо. Вы сами знаете, если рассердится командующий....

Штабс-капитан потерпел.

Сандецкий благоволил к ген. П. и отличил его — чином и лентой. Но вот однажды, во время «большого маневра», командующий приехал неожиданно в наш штаб и из беседы с П. убедился, что тот не в курсе отданных по бригаде распоряжений. Был весьма разочарован и сильно гневался. С того и началось... Дальше — хуже. Осенью состоялось бригадное аттестационное совещание, на котором «осведомитель», полковник Вейс единогласно признан был недостойным выдвижения на должность командира полка. Начальник бригады, скрепя сердце, утвердил аттестацию, но с тех пор потерял покой. А Вейс открыто, не стесняясь, потрясал объемистым пакетом, в котором лежал донос, и грозил:

— Я им покажу! Они меня вспомнят!

В конце года состоялось окружное совещание в Казани. Вернулся оттуда начальник бригады совершенно убитый.

— Ну, и разносил же меня командующий!.. Верите ли, бил по столу кулаком и кричал, как на мальчишку. По бумажке, написанной рукою Вейса, перечислял мои вины по сорока пунктам. Чего только там не было!.. «Начальник бригады, переезжая в лагерь, поставил свой рояль на хранение в цейхгауз Хвалынского полка»... Или: «Команды разведчиков оставались в лагере лишних две недели не столько для обучения, сколько для спокойствия задержавшейся там семьи начальника бригады». Или вот еще: «Когда в штабе бригады командиры полков доложили, что они не в состоянии выполнить распоряжение штаба округа, начальник бригады, обращаясь к начальнику штаба, сказал: «Мы попросим Антона Ивановича — он сумеет отписаться»... Теперь мое дело — табак.

Я был настолько подавлен всей этой пошлостью, что не нашел и слов утешения.

Через несколько дней пришло предписание командующего относительно Вейса: как смело совещание не удостоить выдвижения «вне очереди» штаб-офицера, которого он считает выдающимся и еще недавно произвел «за отличие» в полковники?! Командующий требовал созвать вновь совещание и пересмотреть резолюцию.

Такого насилия до тех пор мы еще не испытывали.

Вызвал я телеграммами командиров из Астрахани и Царицына; собралось нас семь человек. У некоторых вид был довольно растерянный, но тем не менее, все единогласно постановили — остаться при прежнем решении. Я составил мотивированную резолюцию о неподготовленности Вейса в строевом отношении и, по одобрении ее, стал вписывать в прежний аттестационный лист. Ген. П. выглядел очень скверно. Не дождавшись конца заседания, он ушел домой, приказав послать ему на подпись всю переписку.

А через час прибежал генеральский вестовой и доложил, что с начальником бригады случился удар.

* * *

Положение осложнялось еще тем, что замещать временно начальника бригады предстояло лицу совершенно анекдотическому — командовавшему Хвалынским полком

ген. Ф[евралеву]. Он служил ранее в Генеральном штабе, командовал полком, был уволен от службы и уже из отставки поступил к нам. Ему предоставили «дослужить» определенный срок для получения полной пенсии. Человек начитанный, далеко не глупый, Ф[евралев] обладал двумя недостатками: страдал запоем и болезненной потребностью врать. Врал всегда, по всякому поводу, без всякой нужды и совершенно безобидно.

— Нас шестеро братьев, и все живы-здоровы...

Через пять минут:

— А у меня — три брата, и, представьте себе, все умерли насильственной смертью....

В собрании за буфетной стойкой идет разговор о последнем циркуляре...

— Вовсе не так, надо понимать. Да вот, кстати, пишет мне Володька Сухомлинов — вчера получил письмо...

Все сановники у него «Сашки», «Володьки», со всеми он приятель и на «ты». Ф[евралев] вынимает из кармана измятое письмо и начинает читать. Из-за спины его раздаётся голос мрачного капитана:

— Совсем там, ваше превосходительство, не про циркуляр написано. И подпись — «Твоя Вера»...

— А вы зачем подсматриваете? Не хорошо, молодой человек, не хорошо....

О своей неудаче по службе во время японской войны Ф[евралев] рассказывал с циничной шуточкой:

— Получен был ночью приказ — моему полку атаковать деревню... А тут случилось так, что и я, и полк ханшином напились. Послали другой полк, который лег почти целиком. Мне бы, собственно, Георгия надо бы получить за спасение своего полка, а меня отрешили от командования....

Пил Ф[евралев] мертвую — дня по два, по три — не выходя обыкновенно из своей квартиры. Иногда, впрочем, показывался... Так офицеры-хвалынцы однажды утром были немало удивлены, увидев поваленной ограду вокруг своего лагерного собрания... Это — командир ночью, вызвав полковых плотников и сам вооружившись топором, снес всю ограду....

Все это вносило большой соблазн в жизнь бригады. Полное недоумение вызывало то обстоятельство, что гроз-

ный Сандецкий совершенно не реагировал на поступки Ф[евралева], хотя знал обо всем. Тем более что в Хвалынском полку служил Вейс...

Ко мне Ф[евралев] чувствовал расположение и даже почему-то побаивался меня. Это давало мне возможность умерять иногда его выходки. Перед приемом бригады Ф[евралевы]м я высказал ему сомнение в том, что его командование окончится благополучно. Ф[евралев] успокоил меня:

— Ноги моей в штабе не будет. И докладами не беспокойте. Присылайте бумаги на подпись, и больше никаких.

Такая «конституция» соблюдалась в течение нескольких недель.

* * *

На другой день после памятного совещания я послал аттестацию Вейса и всю переписку о нем в Казань. Получил строжайший выговор за представление бумаг, «не имеющих никакого значения без подписи начальника бригады». Штаб округа выразил даже сомнение — действительно ли содержание их было известно и одобрено генералом П. Я описал обстановку совещания и послал черновики с пометками и исправлениями П.

В Казани, видимо, всполошились. Это случилось уже после двух крупных пензенских историй... Петербург посматривал косо на то, что делается в Казанском округе, и положение командующего считалось непрочным. Вскоре приехал в Саратов помощник начальника штаба округа ген. Иозефович — для виду с каким-то служебным поручением, фактически — позондировать, как отразилась в жизни гарнизона новая история... Разузнавал об обстоятельствах болезни П. и о моих служебных взаимоотношениях с Ф[евралевым]. Зашел и ко мне...

— Вы не знаете — как это случилось, какая причина болезни генерала П.?

— Знаю, ваше превосходительство. После нравственного потрясения, пережитого начальником бригады на приеме у командующего войсками, его постиг удар.

— Как вы можете говорить подобные вещи?

— Это безусловная правда.

После этого эпизода Казань совершенно замолкла, как будто сгинула вовсе, не принимая никаких мер и предоставив нас всех собственной участи. Между тем положение все более усложнялось. Началось переформирование нашей бригады в дивизию с выключением одних частей и включением других, со сложным перераспределением имущества, вызывавшим столкновение интересов и требовавшим властного и авторитетного разрешения на месте.

А Казань молчит.

Ген. П. понемногу поправлялся; стал выходить на прогулку; но память не возвращалась, постоянно заговаривался. Одна только мысль сидела в нем твердо и совершенно сознательно: опасение, что при предстоящем переформировании его могут не оставить на должности. Поэтому меня и других, навешавших его, П. настойчиво уверял, что он здоров вполне и на днях собирается посетить полки. Я уговаривал его не делать этого и, на всякий случай, принял некоторые меры предосторожности... Но ничто не помогло: прибегает однажды ко мне дежурный писарь, незаметно сопровождавший генерала П. на прогулке, и докладывает, что генерал сел на извозчика и поехал в сторону казарм... Я бросился за ним в казармы и увидел в Балашовском полку такую сцену:

В помещении одной из рот выстроены молодые солдаты, собралось все начальство. Ген. П. уставился мутным стеклянным взглядом на белобрысого молодого солдата и молчит. Долго, мучительно. Гробовая тишина... Солдат перепуган, весь красный, со лба его падают крупные капли пота... Я обратился к генералу:

— Ваше превосходительство, не стоит вам так утруждать себя! Прикажите ротному командиру задавать вопросы, а вы слушаете.

Кивнул головой. Стало легче.

Отвел меня в сторону командир полка:

— Я уж не знал, что мне делать. Представьте себе — объясняет молодым солдатам, что наследник престола у нас — Петр Великий...

Кой-как закончили, и я увел генерала домой.

А Казань все молчит.

Стал я уговаривать П. поехать на минеральные воды. К удивлению моему, помнит, что все сроки пропущены. Я обещал устроить. Послал телеграмму в штаб округа: начальник бригады просит разрешения приехать в Казань — освидетельствоваться «на предмет отправления на Кавказскую группу»... В душе надеялся, что примут какие-либо меры... Разрешили; против ожидания назначили на второй курс, начинавшийся недели через три... И больше ничего.

Из Казани писали мне, что П. произвел на комиссию тяжелое впечатление: не мог даже вспомнить свое отчество и в каком роде оружия начал службу...

П. вернулся из Казани и, очевидно, под впечатлением благополучного исхода поездки, которой он очень опасался, отдал приказ о вступлении своем в командование бригадой... Я протелеграфировал об этом в Казань, но Казань хранила упорное молчание.

Надо было пережить как-нибудь еще три недели, до дня отъезда П. на воды. По-прежнему штаб отдавал распоряжения и приказы, заведомо для полков — от себя, хотя и скрепленные подписью П., как раньше Ф[евралев]. Опять П. стремился навешать полки, и больших усилий стоило, чтобы удержать его от этого... В отношении Саратова удалось. Но в больном еще мозгу засела практическая мысль о возможности использовать право поездки, с получением прогонных денег, в Царицын для весеннего смотра Бобруйского полка. Никакие уговоры не действовали. П. быстро собрался и с адъютантом, которому я успел дать некоторые указания, поехал по Волге в Царицын... Заместителем остался вновь ген. Ф[евралев].

В этот день Ф[евралев] был в «градусе», и это послужило причиной смутившего окончательно Саратовский гарнизон происшествя.

Присылает ко мне жена П. вестового — просит сейчас же приехать к ним. Застаю всю семью страшно напуганной и растерянной: оказывается, ворвался Ф[евралев], кричал, швырял стульями и, узнав, что П. уехал на пристань, разругал всех за то, что выпустили ненормального человека... Только что успел я несколько успокоить дам, прибегает другой вестовой — бригадного врача Вершинина — приглашают к ним... Там — та же история. Вершинин взволнован, дамы его в

слезах. Ф[евралев] и здесь произвел дебош, грозил предать бригадного врача суду за непринятие мер к изоляции душевнобольного... Сказал, что едет — догнать и арестовать П.

Я бросился за ним на пристань. Волна провожавших уже схлынула; на пристани было пусто; пароход еле белел вдали. Встретил знакомого офицера, который рассказал мне, что произошло.

Ф[евралев] подъехал на пролетке к пристани в тот момент, когда пароход отчаливал. На борту стоял начальник бригады с адъютантом. Ф[евралев] стал кричать, грозя послать телеграмму в Царицын о задержании генерала П.; потребовал вернуть пароход, но администрация не согласилась. Тогда Ф[евралев] сел в пролетку и заставил кучера по положому спуску съехать прямо в реку — вдогонку за пароходом... Сломалась оглобля; под смех и улюлюканье собравшейся толпы пролетку вытащили, кое-как перевязали оглоблю, и генерал уехал...

Я бросился на квартиру к Ф[евралеву]. Генерал был уже дома и, по-видимому, после холодной ванны, пришел в себя. Заперся в своей спальне и, несмотря на все мои убеждения, не откликнулся и не открыл двери. Несколько дней никуда не показывался....

А Казань знает и молчит...

Вернулся из Царицына ген. П. — смотр прошел без большого скандала. А через несколько дней уехал на воды. Началось опять фиктивное командование Ф[евралев]а, длившееся около трех недель, пока не приехал предназначенный на должность начальника разворачиваемой дивизии — ген. Болотов.

Насколько ген. Сандецкий был смущен саратовской историей и опасался ее огласки, можно судить по следующему эпизоду.

Летом того же года я получил полк в Киевском округе и распростился с Саратовом. По дороге меня нагнало письмо помощника начальника штаба Казанского округа следующего содержания: генералу П. предложено было подать в отставку по болезни, но он категорически отказался. Не могу ли я воздействовать на него, так как командующий войсками не желал бы принимать в отношении П. принудительных мер...

* * *

Этот эпизод, невозможный в других округах и переносящий нас скорее в эпоху Крымской кампании, имел место в 1910 г., т. е. за четыре года до мировой войны...

Мне остается упомянуть вкратце о дальнейшей судьбе некоторых лиц, упомянутых в этом очерке.

Генералы П. и Ф[евралев] под благовидным предлогом расформирования бригады уволены были в отставку, и вскоре оба умерли. Ф[евралев] несколько месяцев перед смертью пролежал в полном параличе.

Полковник Вейс, хоть и с опозданием, получил полк в том же Казанском округе и выступил с ним на войну. По отзыву сослуживцев тщательно избегал прямого участия в боях и очень скоро эвакуировался окончательно в тыл.

Дело об аттестации Вейса, в числе четырех наиболее вопиющих случаев нарушения закона, попало в отчет Главного штаба, представляемый военному министру. Это обстоятельство, как и все другие поступки ген. Сандецкого, не помешало ему оставаться на своем посту до 1912 г. «Переданная генералу Сандецкому Высочайшая воля, — говорит Сухомлинов, — на некоторое время дала возможность подчиненным его вздохнуть свободнее. Но скоро началась старая песня, так что пришлось ген. Сандецкого убрать и назначить членом Военного совета. Тем не менее во время мировой войны Сандецкий вновь был назначен командующим войсками того же Казанского округа. Вновь посыпались жалобы и понеслись стоны из запасных частей и военных лазаретов.... Потребовалось новое вмешательство Государя, новые внушения...

В мартовские дни Сандецкий был арестован Казанским гарнизоном. Керенский назначил над ним следствие по обвинению в многократном превышении власти, а большевики впоследствии убили его.



АРМИЯ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

В последнюю четверть века, как я уже говорил, армейская жизнь оставалась замкнутой, самодовлеющей, обойденной вниманием общественности. И офицерская и солдатская. Это последнее обстоятельство было странным, в особенности, принимая во внимание, что почти вся интеллигентная молодежь страны проходила через казарму в качестве «охотников» или «вольноопределяющихся». Между тем влияния этой интеллигенции на солдатскую среду решительно не замечалось. Должно быть, солдатская служба считалась только тяжелым и скучным этапом, казарма — тюрьмой, а народ в шинелях — не народом. Эта молодежь, в особенности не готовившаяся к офицерскому званию, в большинстве не сближалась с солдатской средой; да и во многих случаях такая изолированность входила в систему начальства, боявшегося принесения этим элементом «заразы» и смуты... В результате интеллигентский элемент не подымал несколько культурного уровня казармы, а в некоторых случаях действительно, вместо «прекрасного, доброго, вечного», способствовал посевам тех плевел, из которых впоследствии вырос «Приказ № 1».

Листовки подпольных организаций, проникавшие в казарму, в особенности после 1905 г., не встречали идейного противодействия. С ними военное начальство боролось обысками, карами и судом, обставляя всю процедуру таинственностью, разжигавшей лишь любопытство. Говорить же на эти темы в казарме считалось преступлением. Только в 1906 г. получено было в армии указание военного министра — разъяснить солдатам «содержание революционных требований и нелепость их выполнения, а равно

и учений крайних партий; невыгодность и неприменимость этих учений для общей массы населения, в особенности для крестьян; одновременно пояснить истинное значение Государственной Думы, манифеста 17 октября и объема дарованных населению новых гражданских и религиозных прав».

Однако мера эта, ввиду отсутствия элементарного политического образования в среде рядового офицерства, оказалась весьма трудно выполнимой.

В годы войн — японской и мировой — в обществе вспыхивал на время повышенный интерес к армии и ее жизни, появлялась большая родственная близость к ней — ведь почти не было семьи, которая не дала бы армии воина... Но в гражданской среде воспринималась больше внешняя, героическая сторона боевой страды, в преломлении сквозь призму патриотического подъема; или наоборот — изнанка жизни фронта и тыла как материал для революционной пропаганды. К тому же во время войны цензура свирепствовала особенно, так что печать перестала окончательно отображать правдоподобно военную повседневную жизнь.

Знакомство общественных кругов с армией возросло мало. По крайней мере, смутные дни 1917 г. служат наглядным тому доказательством: когда рушились стены, отделявшие официально армию от внешнего мира, сняты были запреты, обуздывавшие «слово», и оно разлилось мутными потоками по всему фронту — тогда выяснилось разительное незнакомство с военным укладом и либеральной, и социалистической демократии. Не злая воля только, но чаще именно это полное непонимание было причиной губительного бездействия или же губительных действий тех групп и лиц, которые еще держали тогда в своих руках остатки власти.

Я не говорю, конечно, о большевиках и других пораженцах, так как разрушение армии входило в их планы.

* * *

Военные органы, имевшие ограниченный круг читателей — почти исключительно среди офицерства, по разным причинам не могли осветить надлежаще духовные за-

просы армии и дать правдивую картину военной жизни. До японской войны их было немного — тех, что занимались вопросами службы и быта: «Русский Инвалид», «Военный сборник» (отчасти), «Разведчик» и два-три других, кратковременно появлявшихся органа — вот и все*. «Русский Инвалид» и «Разведчик» — первый казенный, второй частный орган — были наиболее распространенными и популярными среди военных.

«Русский Инвалид» — газета, появившаяся на свет в 1813 г., обладала некоторыми недостатками, присущими обычно официальной прессе. В капитальном вопросе об отсталости нашей армии вообще «Русский Инвалид» поддерживал ту точку зрения, что коренных реформ в ней не нужно, допуская целесообразность лишь некоторых улучшений... При этом авторы, болевшие душой за армию и будившие тревогу, почитались официальной газетой огульно «гасителями духа, веры в себя и в славное будущее русской армии»... Когда, например, частная печать подняла вопрос (1912) об опасном несоответствии у нас количества артиллерии в сравнении с армиями наших вероятных противников (96—120 орудий на корпус против 144 германских), то «Инвалид» успокаивал своих читателей, утверждая, что орудий у нас вполне достаточно и что перегрузка артиллерией отозвалась бы на маневренной способности корпуса... Статьями своего постоянного талантливого сотрудника П. Н. Краснова газета вызывала смущение в армейской среде восхвалением «дворянской армии «Войны и мира»» в противовес современной армии «разночинцев купринского «Поединка»»... Вызывало недоумение требование «аскетизма» от полунищих офицеров... Изображение — в годы возросшего стремления к истинному знанию — в качестве, положительного типа — невежественного командира пехотного полка, который рекомендует себя: «мое искусство — это искусство ать, два... Я — старый армейский трынчик и ремесло свое и люблю, и знаю...»

Газета за мою память меняла и редакторов, и, отчасти, направление. Бывала сухой или интересной, в особенности интересной в годы редактирования ее генералом

* Специальных и технических органов не считаю.

Поливановым (1899—1904). Но общий тон — официального благополучия — оставался неизменным.

«Русский Инвалид» долгие годы был газетой чисто военной. В конце 1890-х годов программа его была расширена, причем мотивы и цели военного министерства сказались ясно в приказе Главного штаба (1904), которым вменялось в заслугу редактору ген. Поливанову «помещение (в газете) таких сведений, которые позволяли бы военному читателю обходиться «Русским Инвалидом», не прибегая к выписке других газет»... В 1911 г. «Инвалид» принял вид газеты военно-общественной. Это обстоятельство вызвало неудовольствие в правых военных кругах, причем даже в факте помещения общих обзоров печати некоторые видели «вовлечение армии в политику». Либеральные круги, наоборот, боялись «политики казенной»... Опасения и тех, и других были мало обоснованы: в офицерских собраниях первую страницу «Инвалида» (назначения, награды, производства) прочитывали почти все, фельетон и статьи военного содержания — в последние годы многие; но чтобы по «Инвалиду» строилась политическая идеология офицерства, этого решительно не замечалось.

«Разведчик» пользовался большей свободой суждений и независимостью, с большей смелостью проводил идею необходимости широких реформ в армии; в пределах, допускавшихся военным министерством, касался чаще темных сторон военной жизни, печалей и нужд обездоленного условиями службы офицерства. Что же касается *солдатского быта*, то и «Разведчик», и «Инвалид» уделяли этому вопросу недостаточно внимания. Это было тем более ошибочно, что газеты, специально предназначавшиеся для народного и солдатского чтения («Досуг и дело», «Русское чтение», «Чтение для солдат» и др.), издавались весьма плохо, не отражали подлинной солдатской жизни и, не находя читателей, обременяли лишь ротные библиотеки. Также плоховата была издававшаяся Березовским «Солдатская библиотека» (до 400 книжек).

«Инвалид» был газетой консервативной, «Разведчик» — журналом прогрессивным. Между ними шли принципиальные споры, и не раз в разгаре полемики стороны надеялись друг друга галантными эпитетами, вроде: «Сладкопе-

вещ из «Инвалида»» или «подвывающий поручик из «Разведчика»».

Вся история возникновения и судьбы *первого частного* военного органа — «Разведчика», представляет большой интерес, отражая некоторые характерные черты в движении военной мысли и... опеки над нею.

В 1885 г. у отставного капитана Березовского, владельца военно-книжного дела, возникла мысль об издании военного журнала. Ее горячо поддержал М. И. Драгомиров, в то время — начальник Академии Ген. штаба, составивший Березовскому обстоятельную записку о необходимости такого издания. Несмотря на сочувствие делу и других видных представителей военной профессуры, вопрос этот в министерстве Ванновского долго не получал разрешения. «Самая мысль о необходимости для армии частного органа объявлена была ересью» — писал Березовский. Ему говорили: «Для офицеров имеется «Русский Инвалид», зачем им еще какая-то газета?..»

И вот, при всей настойчивости Березовского и высоких протекциях дело тянулось *шесть лет*. В 1886 г. без прямого разрешения Березовский выпустил нечто вроде журнала «под видом листка конторы и фирмы, но без права ставить номер». Через два года министерство разрешило заголовок («Разведчик»), но не разрешило... называться журналом и ставить номер... Последнее разрешено было только в 1890 г. Еще через год император Александр III подписался на журнал, и это обстоятельство дало наконец последнему легальное право на существование.

Тем не менее, несмотря на монаршее внимание и сотрудничество с самого основания «Разведчика» таких видных лиц, как Драгомиров, Леер, Войде, Газенкамф и др., журнал еле влачил существование, преодолевая с трудом препятствия сверху и инертность среды. «Не легко было, — писал Березовский, — проводить в жизнь общепризнанные истины о свободе слова и критики в той области, где все мы выросли и воспитаны в святости требований военной дисциплины. Насколько трудно было положение журнала в минувшие годы (писалось в 1910 г.), можно судить по тому, что, согласно действовавшему до последнего времени цензурному уставу, воспрещалось вообще обсуждение

какое бы то ни было вопросов, касающихся внутренней жизни и быта войск. К этим запретам надо еще присоединить специальную военную цензуру, которая брала под свой контроль содержание самых невинных статей чисто научного характера».

Не легко также давалось «завоевание военной литературой офицерской среды», с ее своеобразными традициями, где местами возникал даже вопрос — совместимо ли писательское дело с военным мундиром... В начале 90-х годов, наряду с «Разведчиком», появился военный журнал Кашкарова «Армейские вопросы». Несмотря на интересное содержание и весьма лестные отзывы о журнале печати, число подписчиков его не превышало 41-го, причем «только 8 заплатило»... Такая же участь постигла другой журнал «Досуги Марса», прогоревший на третьем номере. Березовский напрасно зывал к военному обществу о выписке единственного в то время военно-библиографического журнала «Вестовой», цена которому в год была... 30 копеек. Не выписывали. В военной печати горячо дебатировался одно время вопрос о таком равнодушии военного общества к военной литературе, сведясь в конце концов к знаменательному диалогу:

— Нет талантливых военных писателей...

— Если справедливо, что нет талантливых военных писателей, то не менее справедливо, что нет талантливых читателей.

«Разведчику» посчастливилось более, чем другим органам. В течение десяти лет, правда, журнал, имея подписчиков всего от 1 до 8 тысяч, приносил ежегодного убытка 10—18 тыс. руб. Но в 1896 г. поступила первая прибыль, и с тех пор журнал стал приобретать все большее распространение и популярность.

* * *

Вряд ли русская общественность была знакома хотя бы с таким выдающимся военным бытописателем, каким был М. И. Драгомиров — автор прекрасных очерков «Наполеон и Веллингтон», «Жанна д'Арк», военного разбора «Войны и мира» и множества статей с глубоким анализом военно-

бытовых вопросов. Его своеобразный язык, оригинальность мысли и тонкое понимание психологии война создали ему и в военной литературе такое же исключительное положение, как на кафедре и на командных постах. Его личный авторитет был велик настолько, что толкования его недоуменных вопросов службы и быта принимались зачастую в армии, как положения устава. Драгомиров пользовался большой популярностью и во Франции, где ценили его и переводили его труды; а редкие поездки его во Францию сопровождались исключительным вниманием французских военных кругов.

Много и талантливо писал Н. Бутовский, и его сочинения находили признание не только в русской военной среде, но и за границей, будучи переведены на французский, немецкий, испанский, сербский, болгарский, румынский языки. Много лет в «Русском Инвалиде» печатались статьи и рассказы П. Н. Краснова — интересные, но, по мнению частной военной печати, избалованные в авторе большее знание столичной и гвардейской жизни, нежели армейской. Военная жизнь азиатских окраин описывалась Лагофетом. Армейские будни находили отражение в талантливых шаржах Егора Егорова (псевдоним капитана артил. Г. Елчанинова). Писал под псевдонимом «Остап Бондаренко» легкие эскизы бывший военный министр Сухомлинов... Если к этому перечню прибавить десяток имен менее известных, то им исчерпывается состав бытописателей военной жизни на протяжении почти четверти века.

Еще менее, чем с военными авторами, общество знакомо было с теми условиями, в которых протекала их деятельность. А были они весьма не легки. Помимо общих цензурных ограничений, в военном быту чрезвычайно широко понималось «обнаружение сведений, вверенных по службе», замыкая уста самые благонамеренные. При этом с 1908 г. военное министерство, введя ряд стеснений для военнослужащих, причастных к печати, потребовало, чтобы лица, пишущие под псевдонимом, сообщали его своему ближайшему начальнику. Начальство по большей части относилось к «балующим пером» с большим предубеждением. Общая тенденция — не выносить сор из избы — получила чрезвычайно распространительное толкование; запретное облекалось в почтенные покровы соблюдения «военного секрета» или

недопустимости подрыва авторитетов. Под запретом находились суждения не о лицах только — это было бы в военной обстановке понятно, — но даже о системах обучения, организации и, конечно, об изнанке жизни и быта.

Помню случай в Варшавском округе еще в период командования им ген. Гурко. В то время в армии шел большой спор о пользе или вреде зимних маневров *с ночлегом в поле*. В Варшавском и еще в каком-то округе такие маневры практиковались, в других — пользы их не признавали. Почему-то Гурко, проводивший вообще здравую систему обучения, в этом вопросе, проявлял упорство необычайное. Между тем солдат, в снабжение которых не входили тогда ни полушубки, ни теплые белье, такие ночи, проведенные в полотняных палатках, не приучали к перенесению холода и к приемам согревания, как того ожидало начальство, а только калечили.

Подпоручик 8 арт. бригады Бочаров поместил в «Разведчике» статью, в которой описывал один такой маневр. Рассказ был бесхитростный, без всякой тенденции, но изображавший бестолочь, свирепый мороз, вьюгу, самочувствие людей, продрогших до костей, обмороженных и набивших потом лазареты. В результате — громовый приказ по округу, доказывавший пользу зимних ночлегов в поле и вред критики; наложение на Бочарова взыскания — 20 суток ареста и лишение его права держать экзамен в Академию. С трудом спасся Бочаров переводом в соседний округ, где не практиковались ночлеги в поле на зимних маневрах.

В армии читались с большой охотой рассказы Егора Егорова, в которых он описывал уродливые стороны военного быта, преимущественно артиллерии... Но не многие читатели знали, на скольких гауптвахтах пришлось пересидеть автору, и сколько военных округов пришлось ему переменить. И только заступничество генерал-инспектора артиллерии, вел. кн. Сергея Михайловича, который любил читать рассказы Егора Егорова, спасали последнего от горших еще бед.

Установившегося, впрочем, взгляда на роль военной печати на верхах не было. Что допускалось одними начальниками, то преследовалось другими. Так, когда начальник Генерального штаба Палицын, в связи с журнальной работой полк. Залесского, решил удалить его со службы,

начальник штаба Варшавского округа, в котором служил Залесский, ген. Самсонов отстоял его: донес в Петербург, что впредь будет лично цензором статей Залесского. Ему же предоставил писать без просмотра, «по совести», выразив лишь надежду на его благоразумие...

* * *

Несколько слов *pro domo sua*¹.

В течение многих лет я печатал статьи в «Разведчике» под общим заголовком «Армейские заметки», под псевдонимом «И. Ночин»; статьи — на тему из военного быта и службы. Применяя в рискованных случаях шедринский стиль изложения, не испытывал гнета — ни цензурного, ни начальственного — со стороны Петербурга. Никогда статьи мои не подвергались урезкам, и только одна — против срытия крепостей передового театра не увидела света ввиду личного запрещения Сухомлинова, с которым Березовский предварительно посоветовался. Это было тем более странным, что среди бытовых тем встречались и рискованные, задевавшие всесильные петербургские учреждения.

Помню один эпизод... В Саратове, после чьих-то проводов, я попал в кружок военных врачей гарнизона, с которыми был близко знаком, читая им тактику. Обильные возлияния развязали языки. Меня не стеснялись, и я услышал удивительные вещи: все наперерыв рассказывали о том, какими путями, через кого и за какую плату можно получить высшую должность по военно-санитарному ведомству. Создавалось впечатление, что это — не просто эпизоды, а настоящее бытовое явление — сохранившаяся в неприкосновенности от времен стародавних традиции взятки и кумовства.

Когда мне вскоре пришлось поехать в Петербург, среди многих поручений сослуживцев была просьба одного врача — навести справку о его кандидатуре. Для этого я побывал в главном военно-санитарном управлении и пошел по тем путям, о которых рассказывали саратовские врачи. Ознакомился таким образом с почти легализиро-

ванными способами служебного выдвижения, из которых один, например, был прост до гениальности. Очередным кандидатам на должность из числа освободившихся вакансий предлагали такую трусобию Туркестанского округа, от которой большинство врачей отказывалось. По правилам — отказавшиеся исключались из очереди текущего года. Когда таким образом очередь доходила до мзодателя, ему предлагали одну из открывшихся хороших вакансий.

Беседовал и с первым звеном таинственной цепи — с почтенным швейцаром управления, направившим меня к такому «Ивану Ивановичу», который «хоть и мал чином, но все этакое знает и все может»...

Кончив свое, признаться, весьма тягостное хождение, я описал его в журнале под видом беседы в вагоне двух спутников — военного врача и офицера, возвращавшихся домой — к разбитому корыту: не хватило денег — у первого для удовлетворения «Иван Ивановича», у второго — на покупку сапог или олеографии в определенных магазинах... Это был условный прием: платить за эти предметы приходилось, говорили, рублей 400–800, смотря по рангу взыскемой должности, и отправлялись они в подарок некоему малому чину Главного штаба, который также «все мог». Мог, очевидно, переводить обратно в деньги сапоги и картины.

Не знаю, было ли тут простое совпадение или сыграла роль статья, но вскоре военный министр Сухомлинов назначил комиссию для обследования системы и порядка назначений в военно-санитарном ведомстве. Во главе ее был поставлен строевой гвардейский генерал Ваденшерн. Я познакомился с последним через несколько лет по совместной службе в 5-й дивизии и от него узнал, что комиссия приступила было к расследованию, нашла непорядки, но, не окончив работы, получила неожиданно приказание военного министра — расследование прекратить.

Но если центральные военные управления проявляли некоторую терпимость, то на местах, в провинции угнетение печати было явлением обычным. Я лично в Варшавском округе испытывал мало стеснения, в Киевском — вовсе не подвергался начальническому воздействию. Но время, проведенное в Казанском округе, где я прослужил четыре года (1907–1910), в моральном отношении было

¹ О своих делах (*лат.*). — *Прим. ред.*

самым тяжелым. Командование ген. Сандецкого, о котором я говорил в предыдущем очерке, внесло в военную жизнь сверху — самодурство, бездушный формализм, грубость и жестокость, снизу — страх и подавленность. Жизнь давала острые и больные темы; писал я тогда часто и подвергался со стороны командующего систематическому преследованию и всем мерам дисциплинарного воздействия. При этом мне *официально* ставилась в вину не журнальная работа, а какие-либо несущественные или не существовавшие служебные недочеты.

Командующий войсками был весьма чувствителен к тому, что писалось о жизни округа, опасаясь излишней огласки; тем более что людская молва и жалобы, сыпавшиеся со всех сторон, на установленный в Казанском округе режим, беспокоили Петербург.

Однажды на каком-то совещании ген. Сандецкий разразился громовой речью против офицерства:

— Наши офицеры — дрянь! Ничего не знают, ничего не хотят делать. Я буду гнать их вон без всякого милосердия, хотя бы пришлось остаться с одними унтерами. С последними дело пойдет лучше.

Командир полка, стоявшего в Пензе, полковник Рейнбот, вернувшись с совещания, собрал своих офицеров и нашел уместным передать им в осуждение и в назидание слова командующего.

Мне рассказывали потом, что в собрании после его речи наступило жуткое подавленное молчание. Забитое офицерство мучительно переживало незаслуженное оскорбление про себя. Только один штаб-офицер взволнованно обратился к Рейнботу:

— Господин полковник, неужели это правда? Неужели командующий войсками мог это сказать?..

— Да, я передаю буквально слова командующего.

На другой день один из офицеров полка, штабс-капитан Вернер отправил военному министру жалобу по поводу нанесенного *ему лично* отзывом командующего войсками оскорбления*. Вскоре приехал в Пензу генерал для

поручений при военном министре, произвел расследование и уехал. Штаб округа, в свою очередь, обрушился на полк угрозами, дознаниями, подозревая «крамолу»... Вокруг инцидента росло возбуждение, и шли толки по всему округу.

Я горячо заинтересовался этим делом и собирался откликнуться в печати очередной «заметкой», как вдруг получаю из Казани тяжеловесный пакет «секретно, в собственные руки». В нем заключался весь обильный материал по пензенскому делу и приказание командующего — отправиться в Пензу и произвести дознание по частному поводу: о штаб-офицере, реплика которого, приведенная выше, по мнению командующего, подрывала авторитет командира полка... недоверием к его словам... Назначение именно меня не вытекало совершенно из служебного моего положения, присланный материал не имел прямого отношения к делу штаб-офицера, а само «преступление» было до нелепости придуманным. Но придумано было не без остроумия: я был обезоружен, так как говорить в печати о пензенском деле, доверенном мне в служебном секретном порядке, я уже не имел права...

Я сделал единственное, что мог: доказал отсутствие преступления и дал о штаб-офицере самый лучший отзыв, которого он вполне заслуживал.

В результате всех расследований штаб-офицер и капитан Вернер были переведены военным министром в другие части, по их выбору, а ген. Сандецкий получил из министерства «в собственные руки» синий пакет, в котором, по догадке штабных, заключалась бумага с Высочайшим выговором. Догадка, как видно из предыдущего очерка, имела основание.

Однажды, уже незадолго до моего ухода из округа, одна из моих статей вызвала особенно серьезные осложнения. В ней я описывал полковую жизнь вообще и горькую долю армейского капитана, бьющегося в тенетах жизни и службы и не могущего никак выйти на дорогу. Рассказывал, как появился в его жизни маленький проблеск, в виде удачно сошедшего смотра, и как потом в смотровом

* Дисциплинарный устав не допускал жалоб коллективных или «за других».

приказе капитан прочел: «В роте полный порядок и чистота, но в кухне пел сверчок»*. За такой недосмотр последовало взыскание, а за взысканием — капитан сам запел сверчком и был свезен в лечебницу для душевнобольных...

Ген. Сандецкий был в отъезде, и начальник штаба округа ген. Светлов, после совещания со своим помощником и прокурором военно-окружного суда, решил привлечь меня к судебной ответственности. Доклад по этому поводу Светлов сделал тотчас же по возвращении Сандецкого и, к удивлению своему, услышал в ответ**:

— Читал и не нахожу ничего особенного.

Дело «о сверчке» было положено под сукно. Но тотчас же вслед за сим на меня посыпались подряд три дисциплинарных взыскания («выговоры»***), наложенные командующим за какие-то якобы мои упущения по службе...

Под конец моего пребывания в округе ген. Сандецкий, будучи в Саратове, после смотра, отозвал меня в сторону и сказал:

— Последнее время вы совсем перестали стесняться — так и жарите моими фразами. Ведь это вы пишете «Армейские заметки», я знаю...

— Так точно, ваше пр-ство.

— Что же, у меня — одна система управлять, у другой — другая. Я ничего не имею против критики. Но Главный штаб очень недоволен вами, полагая, что вы подрываете мой авторитет. Охота вам меня трогать?!

Я не ответил ничего.

Так прошло три года; репрессии чередовались с лестными оценками, и ген. Сандецкий так и не остановился на какой-либо определенной линии своего отношения ко мне, пока не состоялось назначение мое командиром полка в Киевский округ, перенесшее меня в обстановку более здоровую и нормальную.

* Факт.

** Друзья из штаба осведомляли меня.

*** Для лиц, пользовавшихся правами командира полка и выше, выговор являлся высшим взысканием. Арест налагался лишь по Высочайшему повелению.

Я остановился на этих эпизодах для характеристики тех неблагоприятных условий, в которых протекала журнальная работа военнослужащих. Служебная зависимость, с одной стороны, и требования воинской дисциплины — с другой, расплывчатость граней дозволенного — в служебном, моральном и корпоративном отношениях — все это стесняло свободу творчества и создавало не раз коллизии между долгом солдата и публициста. И все, вместе взятое, делало голос военной печати недостаточно влиятельным в вопросах устройства армии и военной жизни.

Нечего и говорить, что военная жизнь не находила яркого и даже просто правдивого отражения в общей литературе и повременной печати. После военных рассказов Л. Толстого, Гаршина, Щеглова, Немировича-Данченко, Крестовского — время от времени в журналах и сборниках появлялись более или менее ходульные повести из военной жизни — иногда, если хотите, талантливые — но они давали только отдельные эпизоды, отдельные кирпичики, и не нашлось зодчего, который мог бы построить из них здание — развернуть картину военного быта. Даже такой большой художник слова, как Чехов, в «Трех сестрах», например, коснувшись слегка жизни артиллерийской бригады, вывел лишь *по внешности* офицеров. И со сцены на нас глядела чужая жизнь переодетых в военные мундиры людей.

Собственно, за это последнее время только один «Поединок» Куприна дал более широкое изображение жизни «маленького гарнизона». Повесть эта встречена была в военной среде с огромным интересом, но вместе с тем и с большой горечью. Ибо, если *каждый* тип в «Поединке» — живой, то такого собрания типов, такого полка в русской армии не было. Такое же впечатление производили купринские «Кадеты» — повесть, написанная красочно, если хотите — правдиво, но отражающая почти одни только тени.

Гораздо более поверхностно, но так же мрачно касался вопроса Арцыбашев, в «Санине» в особенности... «...Лидия

Петровна на бульваре с офицерами гуляет... Как она — такая умная, развитая — проводит время с такими чугуннолобыми господами...»

Вторила меньшая писательская братия... «Красным смехом» смеялись Эрастов* и Будний** над людьми, побежденными на маньчжурских полях по своей, но еще больше по общественной вине... Подводил итоги в «Мире Божьем» (1906) П. Пильский: «Армия — каста... Узкий грошовый эгоизм, презрительное отчуждение, апатия к жизни... Без знания, ненависть и презиравя все постороннее, ревниво оберегая свои грошовые привилегии... Плесень, затхлость... Открытый публичный цинизм... Безделье, буйства...»

И в общем согласном хоре — словно удары тяжелого молота — философские тезисы яснополянского мыслителя: офицеры и солдаты — «убийцы»; «правительства со своими податями, солдатами, острогами, виселицами и обманщиками-жрецами, суть величайшие враги христианства»***.

Но не довольно ли?

Сменились поколения, щедринские майоры давно уже опочили, а лихие забияки Крестовского повыходили в отставку... Выросло новое поколение людей, обладавших менее блестящей внешностью и скромными требованиями жизни, но знающих, трудолюбивых, разделявших достоинства и недостатки русской интеллигенции. После японской войны и политический облик русского офицерства значительно изменился: в широких кругах его появилось, несомненно, пытливое и более сознательное отношение к событиям... Менее изменился облик солдата, но и между ним — отбывающим трех-четырёхлетнюю общеобязательную повинность, и прежним невольным профессионалом, 25-, 16-летним служакой, разница была огромная...

А трафарет остался тот же.

Тяжкая трудовая жизнь, служение родине, пороки — но и доблесть, будничная пошлость — но и высокое самозатверждение — все это находило отображение главным образом в кривом зеркале отечественной литературы. Литератур-

* Сборник «Знание»: «Отступление».

** «Побежденные».

*** «Письмо к фельдфебелю», «Солдатская памятка», «Не убий» и пр.

ная традиция требовала вообще, чтобы офицер был изображен глупцом, фатом, скандалистом; солдат — смешным и туповатым вахлаком.

Человека — проглядели.

В частности, не слишком преувеличивая, можно сказать, что представление общества о солдатском быте в значительной мере основывалось на знакомстве с комедией «Шельменко-денщик» и с шаржами талантливого рассказчика-юмориста Руденко. Да еще разве с «Графиней Эльвирой» — пьесой из репертуара «Вампуки», где изображена была уже не пародия, а апофеоз глупости на фоне казарменной жизни. Не без удивления поэтому мы прочли в то время в официальной газете («Русский Инвалид») восхваление этой пьесы, «возбуждающей здоровый смех»...

А быт — и офицерский и солдатский — оказался много сложнее...

Повременная печать до японской войны и первой революции относилась с большим равнодушием к вопросам существования армии и бурно реагировала только на случившиеся в военном мире скандалы. Прозвучал роковой выстрел полковника Сташевского, убившего редактора газеты «Русский Туркестан»... Просвистели плети генерала Ковалева, дико истязавшего доктора Забусова... Тяжелое время... Общество и печать волновались и негодовали, и эти справедливые чувства укрепляли сложившееся к армии отношение, заслоняли от посторонних глаз подлинное существо военной жизни. Разнузданность немногих офицеров обращалась в «преступления касты», эпизод обращался в «быт». Делу Ковалева писатель Короленко в «Русском Богатстве» посвятил *шесть* статей — обоснованных и горячих. Конечно, к делу необходимо было привлечь внимание и общества, и власти... Но если бы эта «совесть» радикальной интеллигенции, если бы он — Короленко — и другие хоть часть своего внимания, своего горения посвятили и другим сторонам военного быта, где далеко не все ведь было «безнадежно и мрачно»...

Равнодушие и предубеждение питались не только *незнанием*, но и идеями пацифизма и антимилитаризма, исходили от презрения радикальных и пренебрежения либеральных кругов ко всему комплексу явлений, носивших презрительную кличку «военщины», «солдатчины», но —

худо ли, хорошо ли — олицетворявших ведь собою элементы национальной обороны...

Помимо равнодушия общества и газетной травли, армия еще до первой революции наталкивалась на испытания более тяжкие: во время вспыхивавших местами беспорядков войска, исполняя свой долг и связанные строгими правилами применения оружия, подвергались не раз незаслуженным оскорблениям толпы. Бывали случаи, когда их засыпали камнями, поносили, а истеричные дамы плевали в лицо солдатам. И все это по большей части оставалось безнаказанным... 1902—1903 гг. полны случаями хулиганских нападений на офицеров, оскорблений их действием, даже в строю. Особенно большое впечатление в военной среде произвел случай с поручиком Кублицким, который, будучи оскорблен хулиганом, застрелился.

Офицерство не видело существенных мер ограждения своей чести и достоинства со стороны власти и возмущения хотя бы со стороны общества и общей печати. Только властный и авторитетный голос киевского командующего М. И. Драгомирова дал тогда прямой ответ на недоуменные вопросы взволнованного офицерства:

«... Страх ответственности в подобных случаях и на ум приходиться не должен. Теперь — не «тихо», а «благополучно» — ушло и вряд ли скоро вернется. Это нам нужно принимать в расчет совсем серьезно и по соответствию поступать. А мы — *мирные*, мы — *тихие*, когда кругом нас, ох! как не тихо. А что случится — мы поем и думаем, что не мы сами себя, а кто-то другой должен нас защищать...»

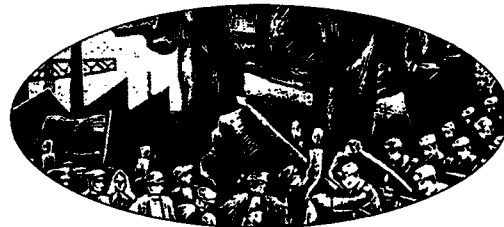
И рекомендовал скромность, полнейшую выдержку и... отточенную шашку.

О каких-то пределах добросердечия и непротивления вскоре заставил поразмыслить и эпизод в Радоме, когда революционная толпа напала на дежурную роту Могилевского полка. Рота изготавилась к стрельбе... Прибывший командир полка полковник Булатов остановил роту:

— Не смей стрелять! Вы видите, что тут женщины и дети!

Вышел к толпе сам, безоружный, и... был убит напопал мальчишкой-мастеровым...

Надвигалась гроза, это были первые зловещие раскаты грома...



АРМИЯ И ПЕРВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Первая революция приоткрыла покровы над безднами, которые собирались поглотить русскую жизнь. Прелюдия к грядущей катастрофе была во всех деталях сходна с ней, отличаясь лишь меньшим масштабом и меньшим размахом. Владивосток, Свеаборг, Кронштадт, Севастополь, урочище Дешлагар и проч. — видели почти одинаковые по обстановке кровавые сцены, столь памятные впоследствии по 1917 г. Словно чья-то невидимая рука направляла события и в центре, и на периферии, и вместе с тем словно одинаковы были те внутренние недуги, которые давали почву для восприятия пропаганды.

Я лично самое бурное время (ноябрь 1905 — январь 1906 г.) провел в поезде Сибирской жел. дороги, пробираясь по окончании войны из Маньчжурии в Петербург. Бесконечно долго, по целому ряду выставивших как грибы после дождя Иркутской, Читинской, Красноярской и др. «республик». Жил несколько недель среди эшелонов запасных, катившихся как саранча через Урал, по домам, наблюдал близко выплеснутое из берегов солдатское море. Тогда политические и социальные вопросы их мало интересовали. Они скептически относились к агитационным листовкам, к речам делегаций, высылаемых на вокзалы «республиканскими правительствами», и к поучениям революционно настроенных железнодорожных служащих, возвращавшихся в Европейскую Россию в двух вагонах нашего поезда. Единственным их лозунгом был клич — домой! Они восприняли «свободу», понимая ее как безналичие и безнаказанность. И виновником этого прежде всего был растерявшийся штаб Линевича, который, вместо того чтобы

организовать продовольственные пункты вдоль Сибирского пути и посылать запасных в сопровождении штатных вооруженных команд, отпускал их первоначально *одних*, выдавая в Харбине кормовые деньги на *весь путь*. Деньги пропивались тут же, на Харбинском вокзале, или на ближайших станциях, понемногу распродался солдатский скраб, а потом, когда ничего «рентабельного» больше не оставалось, голодные толпы громили вокзалы, буфеты, пристанционные поселки, грабили и убивали. Ко времени нашего проезда по всей дороге уже почти нигде нельзя было достать продовольствия, и мы жили только запасами, взятыми в Иркутске.

Психология толпы проявляла два несродных свойства: бунтарское дерзание и... страх.

Когда на переполненном Харбинском вокзале какие-то «делегации» с чрезвычайной наглостью вели сбор на «революционные цели», растерявшаяся публика, в том числе немало офицеров, давала. Но стоило кому-либо прикрикнуть: «Вон! Сволочь, дармоеды!» — как «делегация» поспешно и незаметно скрывалась... под насмешки толпы.

Пока наш почтовый № 3 поезд, набитый офицерами, солдатами и откомандированными железнодорожниками, пытался идти легально, по расписанию, мы делали не более 100—150 верст в сутки. Над нами куражились, издевались встречные эшелоны запасных; поезд не выпускали со станции, оскорбляли офицеров. Однажды мы проснулись на маленькой полуразрушенной станции, без буфета и без воды — на той же, где накануне заснули... Оказалось, что запасные проезжавшего эшелона, у которых испортился паровоз, захватили наш.

Только безнадежность заставила людей встряхнуться. Собрались четыре оказавшихся в поезде полковника, посчитались старшинством и старшего — командира одного из сибирских полков — объявили комендантом поезда. Назначен был караул на паровоз и дежурная часть, из офицеров и солдат, вооруженных собранными у офицеров револьверами; в каждом вагоне — старший. Наиболее энергичными оказались несколько офицеров Нежинского драгунского полка, которые по существу и вели все дело. Из доброхотных даяний пассажиров определили солдатам, находившимся в наряде,

по 60 коп. суточных, и охотников нашлось больше, чем нужно было. Только со стороны двух «революционных вагонов» железнодорожников эти мероприятия встретили протест, однако не очень энергичный.

От первого же эшелона, шедшего не по расписанию, отцепили паровоз, и с тех пор поезд наш пошел полным ходом. Сзади за нами гнались эшелоны, жаждавшие расправиться с нами; впереди нас поджидали другие, с целью преградить нам путь. Но в последнюю минуту, видя организованные и вооруженные команды, стихали. Только вслед нам, в окна летели камни и поленья... Начальники попутных станций, терроризованные угрожающими телеграммами от эшелонов, требовавших нашей остановки, не раз отказывались давать путевку или, вместе со всем служебным персоналом, скрывались в леса... В первом случае дежурный по поезду добывал путевку с револьвером в руках, во втором — поезд мчался без путевки. Бог хранил.

Близилось Рождество, всем хотелось попасть к праздникам домой. Но под Самарой нас остановили у семафора: частная забастовка машинистов, пути забиты, движение невозможно, и когда восстановится — неизвестно. К довершению горя сбежал из-под караула наш машинист... Каково же было наше изумление, когда из «революционных вагонов» пришла к коменданту депутация, предложившая использовать имевшихся среди пассажиров машинистов, но только, чтобы не быть в ответе перед товарищами, взять их силою... Снарядили конвой и вытащили за шиворот сопротивлявшихся для виду двух машинистов; дежурному по Самарской станции передано было по телефону, что через полчаса поезд пройдет полным ходом, не задерживаясь, через станцию; в случае несчастья — расстрел виновных.

Проехали благополучно. Я лично добрался до Петербурга в самый сочельник.

Я остановился на этом майн-ридовском — в модернизованном виде — эпизоде, потому что, на мой взгляд, он весьма показателен: как в дни первой революции небольшая горсть смелых людей могла пробиваться тысячи верст среди безвластия и враждебной им стихии попутных «республик» и озверелых толп.

Армия уцелела, и этим предопределен был исход первой революции. Огромное большинство частей остались верными власти, да и в частях бунтовавших настроение было далеко не всегда единодушным. Но наиболее разительным примером в то грозное время служили войска бывших маньчжурских армий, выброшенные за многие тысячи верст от родных очагов, томившиеся в ожидании в тесных, грязных, холодных землянках. О них писал один из участников войны и «сидения»*:

«Мир заключен... Тяжелое, обидное чувство напрасных мук, бесцельных жертв, недоведенного до конца дела... Всеми овладело одно чувство — домой, на родину, к семьям... Но о родине вести все более грозные и непонятные... Забастовщики отрезали армию от родины; изнуренная, истерзанная армия оставлена была без писем, без газет и каких-либо известий... Прекратилось движение по единственной связующей нити. Так пришла зима... Мрачные праздники Рождества Христова... Отчаяние закрадывалось в душу... Только завывания харбинских листов, свободно распространяемых среди армии, нарушали эту мрачную тишину. Эти листки с издевательством повергали ниц и оплевывали все то, во что армия верила, ради чего жила и страдала. Волнение во Владивостоке и Чите... Малейшая искра могла вызвать нелепый, бесцельный, но опасный взрыв...

Но офицерская среда, слившаяся с солдатами за время боев и проведенная так тесно, бок о бок с ними столько месяцев маньчжурского сидения, пользовалась достаточным влиянием и авторитетом, и это сыграло роль».

Я совершенно согласен с автором дневника: только офицерство в те годы спасло армию от разложения.

В большинстве восставших частей движение имело сумбурный характер, и также сумбурны были предъявляемые восставшими требования. Так, например, Самурский полк (урочище Дешлагар) потребовал от офицеров сдать оружие и... выдать знамя; ввиду отказа офицеров, коман-

дир полка, полковой священник и 3 офицера были убиты, 2 офицера ранены... Севский полк (Полтава) требовал выпуска арестованных из губернской тюрьмы и провозглашения «Полтавской республики»... Соседний Елецкий полк взбунтовался также (Полтава), но требовал только устранения полковых хозяйственных неурядиц и при этом громил евреев и оказавшихся в полку агитаторов... Кронштадтские матросы начали с «политических» требований, а окончили разгромом 75 магазинов, 68 лавок... Тем не менее во многих требованиях можно было уловить однообразные черты, принесенные извне и нашедшие отражение впоследствии, в приказе № 1. В этом отношении немалый интерес представляет «постановление» взбунтовавшегося 2-го гренадерского Ростовского полка, квартировавшего в Москве, составленное при участии центральных московских революционных организаций (с.-ров?):

«Общие требования»:

Отмена смертной казни.
Двухлетний срок службы.
Отмена формы вне службы.
Отмена военных судов и дисциплинарных взысканий.
Отмена принудительной присяги.
Освобождение семейств запасных от податей.
Избрание взводных и фельдфебелей самими солдатами.
Увеличение жалованья.

«Солдатские требования»:

Хорошее обращение.
Улучшение пищи и платья.
Устройство библиотеки.
Бесплатная пересылка солдатских писем.
Столовые приборы, постельное белье, подушки и одеяла.
Свобода собраний.
Свободное увольнение со двора.
Своевременная выдача солдатских писем».

Замечательно, что утром 2 декабря 1905 г., перед вручением требований, солдаты раздумали и, решив, что «общие

* Глинский С. Из записной книжки армейца.

требования ни к чему», предъявили только «солдатские». Но набранные в предшествовавшую ночь столбцы московских левых газет вышли с описанием вручения ростовцами требований полковому начальству и с полным их текстом...

* * *

Первые раскаты грома, как известно, вызвали протест власти: отсутствие решительных мер и прямых указаний местам, бездеятельность в отношении длящейся анархии на великом Сибирском пути, «правительство» Хрусталева-Носаря, наконец — вырванные у власти, не сумевшей вовремя и добровольно пойти навстречу чаяниям благоразумной части общества — новые основные законы... Растерялся во многих частях и командный состав, главным образом, на почве неумения сочетать новые начала государственного строя с войсковым обиходом.

Власть, придя в себя, первым делом для умиротворения армии озаботилась улучшением ее материального положения. Приказом 6 декабря 1905 г., приуроченным к государевым именинам, солдатам объявлена была высочайшая милость: увеличено жалованье (до 12 руб. в год), увеличена дача мяса и приварочный оклад, введено ежедневное чайное довольствие, снабжение одеялами и постельным бельем... Меры эти, проведенные после целого ряда требований мятежных частей и тотчас же после «Кронштадта», имели характер явной уступки. Требуя ежегодных добавочных кредитов в 37 млн руб., они вызвали протест со стороны гос. контролера и министра финансов, но вмешательство председателя Совета госуд. обороны, вел. кн. Николая Николаевича решило вопрос. Он поддержал представление военного министра, заявление, что «безопасность отечества как от внешних, так и от внутренних врагов может считаться обеспеченной только в том случае, если насущные потребности нижних чинов будут удовлетворены».

Вспоминается при этом одно из поучений Петра Великого: «Когда солдату оное не дается, что ему принадлежит, тогда может легко всякое зло из того произойти».

Интересно, что военное ведомство, вообще весьма скупое в отношении индивидуальных отпусков, учло чело-

веческую слабость и определило для войск, командируемых с целью предотвращения или прекращения беспорядков, суточные деньги, в размерах по тогдашним масштабам довольно больших — для солдата 30 коп. в день. И я был свидетелем, с какой охотой ходили в уезды роты Саратовского гарнизона и как ревниво относились они к соблюдению очереди...

Тем не менее агитация не прекращалась, не прекращались вспыхивающие то здесь, то там мятежи. Поднялось восстание в Москве, и для усмирения его войска местного гарнизона признаны были недостаточно надежными, потребовалось командирование Семеновцев из Петербурга... 26 декабря Совет министров представил государю доклад о необходимости суровых репрессий «против попыток пропаганды к нарушению обязанностей военной службы»... Государь, однако, не согласился, положив резолюцию: «Строгий внутренний порядок и попечительное отношение начальства к быту солдат — лучше всего оградят войска от проникновения пропаганды в казарменное расположение». По этой резолюции — *единственной*, ставшей в свое время достоянием гласности, можно было составить себе неправильное представление о позиции государя. Опубликованные в последнее время «всеподданнейшие доклады» за 1905 год говорят другое: в целом ряде резолюций встречается требование «проявления отдельными отрядами большей инициативы» и «применения к мятежникам и их единомышленникам самой решительной репрессии»; а на одном из докладов Витте (ноябрь 1905 г.) о том, что 162 подстрекателя-анархиста, с целью агитации, направлены на Китайскую ж. д., последовала резолюция совсем не двусмысленная: «Неужели (им) дадут возможность развращать армию. Их следовало бы всех повесить...»

На почве растерянности власти на местах выросло такое явление, не сродное вообще военной среде и до сих пор совершенно не освещенное, как организация тайных офицерских обществ — не для каких-либо политических целей, а для самозащиты. Такие общества существовали в нескольких гарнизонах, в том числе в Вильно и Ковно. Виленское общество, например, ввиду слухов о предстоявших террористических актах против высших военных на-

чальников, взяло на учет известных в городе революционных деятелей, предупредив их негласно о готовящемся возмездии... В Баку дело обстояло более просто и откровенно: общее собрание офицеров гарнизона постановило и опубликовало во всеобщее сведение: «В случае совершения убийства хоть одного офицера или солдата гарнизона, прежде всего являются ответственными, кроме преступников, руководители и агитаторы революционных организаций... Преступники пусть знают, что отныне их будут ловить и убивать... Мы не остановимся ни перед чем для восстановления и поддержания порядка».

Так террор вызывал ответный террор, самосуд — ответный самосуд.

Армия устояла. Она переболела сама и, оправившись, подавила первую революцию — мерами подчас весьма жестокими. Особенно — в Прибалтике (генералы Меллер-Закомельский и Орлов), в Москве (ген. Мин), по Сибирской линии... Экспедиции генералов Меллер-Закомельского и Ренненкампа, двигавшихся навстречу друг другу от Москвы до Харбина, полны трагизма и окутаны кровавой легендой. Но их методы усмирения были различны: если Меллер-Закомельский разговаривал больше языком пулеметов, то Ренненкамф применял чаще другие средства: высадит из поезда мятежный эшелон и заставит идти пешком по сибирскому морозу до следующей станции, где ожидает порожний состав...

* * *

С приближением первой революции и ослаблением цензурных стеснений, уста печати отверзлись — первым делом для борьбы с правительством, потом — для вящего поношения армии. Как говорило сухое правительственное сообщение, «печать полна статьями, колеблющими авторитет военной власти и могущими внушать населению враждебное отношение к отдельным войсковым частям». Такое же направление приняла газета «Военный Голос», издававшаяся в Петербурге в 1906 г. штабс-капитаном запаса Шнеуром (брат крыленковского нач. штаба). Представляя извращенное отражение армейских настроений, «Во-

енный Голос», отодвинув военные реформы на задний план, первое место отводил демагогии и широкому политиканству. Правительство, придя в себя, закрыло газету Шнеура, в связи с чем пострадало и несколько горячих голов — случайных сотрудников ее.

Армия мешала революции, и революционерам нужно было ее разложить. Армия высмеивалась в печати, на подмостках театров, на сходках, в заседаниях передовых собраний земств и городов, в гостиных. Выраставшие как грибы после дождя в дни первой революции кратковременные юмористические журналы — и текстом, и графикой — подвергали хуле военных и те понятия о долге, которые им внушались на службе. Этого модного направления не избегли и видные художники, как, например, Серов, дававший для революционных сатирических журналов злобные карикатуры на военную жизнь («Жупел» и др. журналы). Для поношения армии и подрыва в ней дисциплины была использована не раз и трибуна защитника, даже в военных судах...

Любопытно, что последнее обстоятельство, имевшее место неоднократно еще в царствование императора Александра III, вызвало его повеление — отменить в военных судах защиту вовсе... Однако высочайшая воля встретила твердое противодействие тогдашнего военного министра Ванновского, а запрошенные по этому поводу войсковые начальники, до полкового командира включительно, громадным большинством высказались за сохранение защиты с тем только, чтобы по преступлениям военным защита вручалась офицеру.

Офицерство, придавленное маньчжурскими неудачами и чувствуя хорошо свою долю вины в случившемся, тяжело переживало поход против него и армии. Отсутствие политического образования и привычки говорить на политические темы с солдатами ставило его в трудное положение. На почве непонимания сущности манифеста 17 октября и отсутствия авторитетных разъяснений происходили сцены иногда курьезные, иногда трагические по своим последствиям, в особенности там, где неумеренное крепостничество и рукоприкладство сменялись столь же неумеренным и неискренним панибратством и маниловщи-

ной. Печать не вносила ясности, наоборот, будила страсти и рознь. В либеральном лагере, в лагере русской интеллигенции, шел разброд и взаимное непонимание. В качестве яркого отражения их я приведу полемику между двумя типичнейшими интеллигентами, возгоревшуюся в 1906 г. на страницах «Русских Ведомостей». Между молодым подполковником Ген. штаба кн. А. М. Волконским — представителем либеральной военной молодежи, и одним из военных кадетских лидеров кн. П. Долгоруковым:

Долгоруков. ... Пока правительство и народ в лице его представителей представляют из себя как бы два враждебных лагеря; пока правительство упорствует и предпочитает, вопреки ясно выраженной воле народа, следовать советам кучки людей; пока не установилось полное соответствие между властью законодательной и исполнительной, до тех пор нельзя ожидать умиротворения России, до тех пор нельзя ожидать и от войска — сынов того же русского народа — чтобы оно было вполне безучастно в этой убийственной распре и слепым орудием в руках правительства...

... Неосуществимы и бесплодны потому пожелания... чтобы армия стояла вне политики и была беспартийной... Нельзя безнаказанно в течение многих лет противопоставлять солдата, сына народа, тому же народу... Надо спешить, чтобы окончательное, но неизбежное при теперешней тактике правительства вовлечение армии в политику не принесло бы страшные, не испытанные еще потрясения и без того измученной стране...

Волконский. Из обоих лагерей зовут армию к себе... К несчастью, и внутренние процессы, при разгаре страстей, не могут пройти безболезненно... Одни уже кричат о разгоне Думы, другие призывают армию к присяге... И вот, из оскорбляемых, оклеветанных рядов раздаются спокойные голоса: оставьте нас, нам нет дела до ваших партий; меняйте законы — это ваше дело. Мы же — люди присяги и «сегодняшнего закона». Оставьте нас. Ибо, если мы раз изменим присяге, то, конечно, никому из вас верными тоже не останемся... И тогда будет хаос, междоусобия и кровь.

Только на двух крайних флангах русской общественности понимали ясно друга друга и свои задачи: одни ценою какой угодно крови стремились к ниспровержению госу-

дарственного строя, другие ценою какой угодно крови старались раздавить революцию. Так, известный генерал Бонч-Бруевич (тогда подполковник), в то время примыкавший к Союзу Русского Народа, а впоследствии одним из первых поступивший в услужение большевикам, издевался над офицером, который твердо исполнил свой долг, открыв огонь по революционной толпе, но испытывал при этом тяжелые душевные переживания. Полно, говорил Бонч-Бруевич никаких «заблудших братьев» нет, а есть «ничтожная толпа нравственных уродов — шипящих, озлобленных, с искаженными лицами, с кровавыми тенями в иступленном воображении. Пора понять, что восстания и бунты укрощаются только действительным огнем пехоты, артиллерии и пулеметов.

* * *

Когда схлынула первая волна революционного угара, печать начала относиться серьезнее к армии. Между 1906—1912 гг. в газетах самого разнообразного направления — от «Речи» и «Русского Слова» до «Земщины» — начали появляться статьи по вопросам государственной обороны и военной жизни. Общая печать затрагивала такие специальные темы, как о срытии крепостей Передового театра или обороне Петербурга; о беспорядках во флоте, приведших к Цусиме, и о системе интендантских хищений; о подготовке командного состава и о предельном возрасте... В кадетской «Речи» можно было встретить тогда (1910) серьезную статью... об одежде и пище солдата. Между прочим, капитальный вопрос об упразднении крепостей поднят был впервые в общей печати — профессором Витмером в газете «Россия». Сам военный министр Сухомлинов прибегал к общей прессе для проведения в общество своих взглядов. Так, в «Биржевых Ведомостях» появлялись его статьи военно-политического характера, в том числе нашедшая (1914) — на тему: «Россия готова (!), Франция также должна быть готова»...

Правда, эта волна повышенного интереса к армии значительно схлынула уже к 1912 г., не взирая на занявшийся на Ближнем Востоке пожар... Но и за это время

общая печать — даже радикальная — не раз содействовала разрешению ряда таких вопросов, как о реорганизации флота, Военного Совета, о пересмотре академических программ, об упразднении безответственных инспектур и т. д. В 1912 г. появился сборник В. П. Рябушинского «Великая Россия», преследовавший специальную цель — борьбы с пацифизмом — этим «общественным злом... которое, ослабляя боевую силу нашей родины, нанесло бы сильный удар делу мира». Видные общественные и военные деятели призывали к «здоровому милитаризму» и пытались установить основы русской национальной политики и организации армии; П. Б. Струве выяснял тесное соотношение между экономическим строем страны и ее военной мощью...

Конечно, подход газет разного направления к военным реформам был различен. Если «Земщина», отождествляя себя облыжно с армейскими кругами, видела спасение страны и армии не в реформах, а «в разгоне арестантской Думы» и в «возвращение розги», то в «Призыве» (1906) даже описание беспорядков в захолустном военном лазарете сопровождалось обязательной сентенцией: «...и только тогда наступит в лазарете улучшение, когда весь отживший современный режим уступит место истинному народо-властию и дело подачи лекарственной помощи больным воинам возьмет в свои руки общество, в лице ее автономных учреждений...»

Но и те, и другие, и третьи («центр») проявляли сплошь да рядом глубокое и досадное неведение в области чисто военного быта, не исключая и так называемых «охранительных» органов. В 1907 г., например, когда обращено было наконец внимание на нищенское положение офицерства и дан был высочайший рескрипт на имя военного министра, преуказывавший прибавку им содержания, «Новое Время» пером Меншикова — циника и эпикурейца — писало по поводу рескрипта: «Прибавка не вызывает потребность. Военные люди должны довольствоваться лишь самым необходимым. Жизнь суровая, полная лишений служит лучшей школой военного духа. Роскошь (50 руб. в месяц младшему офицеру! — *Авт.*) и героизм несовместимы. По древнему, несколько забытому, по истинному взгляду на государственную службу, офицеры

должны служить даром, почерпая свою награду не в плате, а в чувстве долга и благородного призвания».

Любопытно, что идеализация кастового офицерства в противовес демократизованному находила место и на страницах официоза военного министерства, «Русского Инвалида», где П. Н. Краснов, оправдывая распоряжение Военно-учебного ведомства о назначении воспитателей кадетских корпусов исключительно из дворянского сословия, устами своего alter ego «генерала Бетрищева», скорбел о прошлом: «...В дворянине-офицере сидит больше смелости, больше решимости; он меньше боится ответственности. По самой природе своей спокон веков дворянин — слуга Государя и Отечества. В нем поэтому больше готовности служить не за страх, а за совесть. Благодаря обеспеченности чужим трудом, он менее или совсем не сребролюбив. Он мог развить в себе (поэтому) те деликатные качества рыцаря, которые в офицере необходимы...»

Можно себе представить, какой отклик находили такие откровения среди рядового офицерства, на 60% состоявшего из разночинцев, и на 90% — не имевшего никаких средств к существованию — своему и своей семье — кроме убогого казенного содержания.

Вообще, в последнюю четверть века русское офицерство считало себя заброшенным и забытым.

Было бы рискованным делать определенные выводы из приводимых ниже слов, но явление это показательное: у меня создалось впечатление, что в последние годы перед мировой войной в военных собраниях армейских частей падал интерес к «Новому Времени» и повышался — в отношении беспартийного радикального «Русского Слова», минувшая... «Речь», которая, как и вообще кадетская партия, в военной среде расположением не пользовалась.

* * *

Полоса безвременья вызвала в армейской среде государственно-опасное явление.

Недавнее прошлое японской войны держало многих в каком-то гипнозе, лишая веры в будущее. В нем, в этом прошлом, больно отраженные образы неудач, крушения

надежд и верований заслоняли собою и те эпизоды яркого проявления доблести и искусства, которые вкраплены были на темном фоне кампании. Отношение общества и печати поколебало еще более во многих офицерах веру в свое призвание и в моральный престиж своего служения. И начался «исход», приведший в 1907 г. к некомплекту в офицерском составе армии до 20%.

В «Особой подготовительной комиссии при Совете государственной обороны», работавшей в 1907 г. и состоявшей в большинстве из генералов старой школы*, обсуждались меры улучшения боевой подготовки армии и удовлетворения насущных ее потребностей, в том числе и офицерский вопрос. Комиссия установила «почти повальное бегство офицеров из строя», причем уходили, главным образом, наиболее развитые, наиболее способные и энергичные. Это печальное явление, отмеченное в свое время и военной печатью, прошло мимо внимания общественности, не вызвало в ней тревоги... Члены комиссии видели главную, некоторые исключительную причину этого явления в вопиющей материальной необеспеченности офицерства, отчасти в беспросветном служебном движении в главной массе офицеров армейской пехоты, где роту получали в среднем на 15–16-м году службы... Подполковник кн. Волконский, случайно допущенный на это собрание умудренных опытом и годами военных сановников, изложил и другие причины перелома в офицерской среде:

«Что важно и что не важно, определяют теперь прежде всего соображения политические... Действительно неотложны теперь лишь меры, могущие оградить армию от революционирования... Возможен ли бунт в армии? Пропаганда не прекратилась, а стала умнее. Здесь говорили — «офицеры преданы царю»... Морские офицеры были не менее преданны. Говорят: «морские бунты совпали с разгаром революции»... Но революция может вновь разгореться; аграрный вопрос может поставить армию перед таким искушением, которого не было во флоте. Офицерство волнуется... Кроме волнений, оставляющих след в официальных документах, есть течения друго-

* Генералы Иванов (Н. И.), Эверт, Газенкампф, Мышлаевский и др.

го рода: офицеры, преданные присяге, смущены происходящим в армии; иные подозревают верхи армии в тайном желании ее дезорганизовать. Такое недоверие к власти — тоже материал для революционного брожения, но уже справа... Вообще, непрерывное напряжение, травля газет, ответственность за каждую похищенную революционерами винтовку, недохват офицеров и бедность — истрепали нервы, т. е. создали ту почву, на которой вспыхивает революционное брожение, нередко даже наперекор убеждениям».

Но далеко не все сложили оружие. Наряду с «бегством» одних, яркая картина очевидной и угрожающей нашей отсталости для большинства послужили моральным толчком к пробуждению, в особенности среди молодежи. Никогда еще, вероятно, военная мысль не работала так интенсивно, как в годы, последовавшие после японской войны. О необходимости реорганизации армии говорили, писали, кричали. Усилилась потребность в самообразовании, и, сообразно с этим, значительно возрос интерес к военной литературе, вызвав появление целого ряда новых органов. Мне представляется, что, не будь урока японской кампании и последовавшего за ним подъема и лихорадочной работы, армия наша не выдержала бы и нескольких месяцев испытания мировой войны...

Тем временем военное ведомство частью приступило, частью наметило ряд реформ: омоложение и улучшение командного состава, организация кадров второочередных дивизий, усиление артиллерии и материального снабжения, новая дислокация, соответствовавшая планам сосредоточения на Западном фронте, и т. д. Но работа шла страшно медленным темпом. Новый устав о воинской повинности, например, разрабатывался в течение нескольких лет и вышел в 1912 г., далеко не оправдав ожиданий... Новое положение о полевом управлении войск было утверждено только с объявлением войны в 1914 г. ... Комиссии генералов Зарубаева (офицерский вопрос и прохождение службы), Бильдерлинга (одежда и снаряжение), Водара (реорганизация войскового хозяйства) ограничивались словопрениями и не давали ощутимых результатов. Некоторые мероприятия секретного характера и не могли стать достоянием армейских кругов. И хотя работа наверху все же

шла несомненно, получалось действительно впечатление застоя, будившего тревогу и вызывавшего нареkania. Поскольку тревога была обоснована, можно судить по тому, что в 1909 г. на совещании в Царском Селе, созданном Государем в связи с аннексией австрийцами Боснии и Герцеговины, военный министр Редигер имел мужество заявить, что армия наша совершенно не готова... То же говорит другое лицо, стоявшее весьма близко к центральному управлению, ген. Юрий Данилов, свидетельствующий, что в результате расстройств, причиненного японской войной и последовавшей ломкой, время с 1905 по 1910 год — «а может быть, и более продолжительное» — было «периодом нашей полной военной беспомощности».

В 1909 г. военный министр Сухомлинов сообщал старшим войсковым начальникам о существовании тайных офицерских организаций, поставивших себе якобы целью ускорить насильственными мерами «медленный и бессистемный ход реорганизации армии». Требовал принятия мер против этого явления. Можно сказать с уверенностью, что опасения министра были преувеличены: такие организации, чуждые тогдашнему духу и всей структуре армии, если и были, то не могли приобрести серьезного значения. Ближайшие годы показали, что даже в разгар общественного брожения и недовольства, в конце 1916 и начале 1917 г., «революция справа» — подготовка дворцового переворота, связываемого с именем генерала Крымова, захватила лишь очень небольшой круг офицерства...

Так же обстояло дело с левыми организациями. Собственно, после декабристов, поскольку мне известно, только в начале 80-х годов офицерство участвовало в более или менее значительном числе в заговоре и подготовке восстания (дело Рыкачева); позднее — прикосновенность их ограничивалась явлениями единичными. После революции принадлежность к нелегальным ранее партиям стояла выше всякого иного стажа и открывала дорогу к карьере, почестям, наградам*. Тайное стало явным. Оказалось при

* Несколько лиц, разжалованных и сосланных в царское время в Сибирь, было произведено Керенским «за выслугу лет» из подпоручиков прямо в подполковники.

этом, что социал-демократическое течение не имело почти вовсе последователей среди кадрового офицерства, а социалисты-революционеры были представлены в нем лицами весьма ограниченной численности и небольшого удельного веса в партии.

Корпус русских офицеров в целом, в особенности после 1905 г., относясь с большим вниманием, анализом, критикой, не раз с осуждением к некоторым явлениям военной и общегосударственной жизни, сохранил характер охранительно-государственной силы. В этом — его заслуга, в этом же — предопределение его трагической судьбы.

* * *

С 1908 г. интересы армии нашли весьма внимательное отношение со стороны Государственной Думы, вернее ее национального сектора. Согласно русским основным законам, вся решительно жизнедеятельность армии и флота направлялась верховной властью, а Думе предоставлялось лишь рассмотрение таких законопроектов, которые требовали новых денежных ассигнований*. Военное министерство ревниво оберегало от любознательности Думы сущность вносимых законодательных предположений, и на этой почве началась борьба, в результате которой Дума сумела добиться некоторого влияния на военные дела. В конце 1907 г. Дума приняла внесенное группой депутатов, во главе с Родзянкой, предложение образовать «Комиссию по государственной обороне», в составе 33 лиц. В своем объяснительном докладе Родзянко указывал, что проект не имеет в виду «каким бы то ни было образом касаться державных прав Верховного вождя», но что представителям народа необходимо иметь возможность обсудить всесторонне, «осведомившись через специалистов», такие, например, важные дела, как многомиллионные ассигнования на постройку флота и реорганизацию армии...

* В германской конституции § 4 устанавливал: «надзору со стороны парламента подлежат армия и флот». Статья 13-я австрийской конституции: «на обязанности парламента лежит установление системы государственной обороны»...

«Осведомление через специалистов» шло двумя путями: при посредстве официальных докладчиков военного ведомства и близким общением некоторых членов комиссии, в частности Гучкова, с кружком военных, по преимуществу офицеров Генерального штаба. Кружок этот не имел никаких политических целей, хотя участники его и носили в среде посвященных шутиливую кличку «младотурок». Лояльность членов кружка подтверждается хотя бы фактом вхождения в него Вас. И. Гурко — генерала старых военных традиций и консервативного образа мыслей. Они считали лишь необходимым подтолкнуть медленный ход реформ.

Тем не менее Сухомлинов относился к этой группе офицеров с большой подозрительностью, придавая ей преувеличенное значение. В течение 1909—1910 гг., с ведома Государя, он принял меры к распылению этого «соправительства», как он выражался, предоставив известным ему членам группы новые назначения вне Петербурга...

Думам 3—4-го созывов приходилось заниматься вопросами государственной обороны огромной важности при проведении так называемой «большой программы». И отношение к ним было всегда внимательное, а необходимые кредиты редко встречали препятствие; наоборот, сама Дума проявляла не раз инициативу в этом отношении. Сам Сухомлинов, обвиняя Думу, и в особенности депутатов Гучкова, Милюкова и Шингарева в «интригах», с целью устранения его лично с поста, признает, что «Государственная Дума отнеслась в полной мере сочувственно к дальнейшему усовершенствованию наших сил» и что «все (его) требования, поступавшие в Думу, разрешались без всякой задержки». И когда незадолго перед мировой войной (1912) с трибуны Государственной Думы особенно громко и тревожно раздавались предостережения о неготовности нашей армии, военное министерство выступило далее с официальным успокоительным разъяснением, что «нападки и крики отчаяния Государственной Думы лишены основания».

Удовлетворяя широко бюджетные потребности армии, Дума проявляла внимательное отношение и к офицерству, к его материальной необеспеченности и его моральным

запросам. Нападки на армию или такие эпизоды, как оскорбление армии с трибуны Гос. Думы депутатами Якобсоном или Зурабовым, были все же только эпизодами. И в души офицерства, не избалованного общественным вниманием, западали больше другие слова, другие речи. Когда Гучков говорил в Думе (1909): «Разве берегут, разве культивируют то чувство чести и личного достоинства, то честолюбие и самолюбие, на которых только и может строиться характер истинно военный»... — то слова эти, затрагивавшие интимное, болезненное, находили благодарный отклик... Случалось нередко, что и те мероприятия, которые проводились по инициативе военного ведомства, офицерство, мало разбиравшееся в порядке прохождения законов, относилось в актив Гос. Думы.

Таким образом, мало-помалу, невзирая на ненависть к Думе консервативного офицерства, по преимуществу старшего, которое видело в ней источник всех зол, а в повешении членов ее — спасение России, предубеждение к Думе в широких армейских кругах понемногу проходило. В ней многие видели одно из средств вывести армию на путь широких реформ и исцелить армейские язвы. Некоторые смотрели на задачи Думы шире, полагая, что только общий подъем народной жизни — культурный и экономический — может поднять надлежаще и военную мощь страны.

И потому в первые дни разразившейся над страной грозы не только одна, всеобщая растерянность или стадное чувство, но и указанные выше мотивы *привели офицерство в Таврический дворец.*

Обстоятельство — весьма показательное и важное, которое, к несчастью, не было надлежаще оценено и использовано властью, вышедшей из революции.

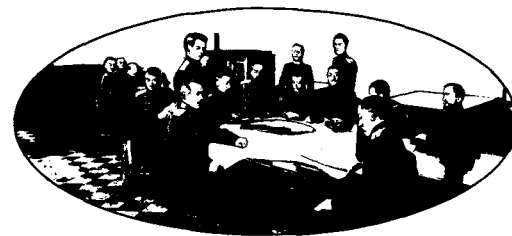
*Vanves,
Франция*

ТОМ ВТОРОЙ

Эта книга — второй том бытовых очерков из цикла «Старая армия».

Я не претендую на всестороннее исследование ее прошлой жизни. Мои очерки — только отражение виденного, слышанного и пережитого на протяжении 30 лет фактической службы в пяти военных округах, в трех кампаниях.

Пишу о светлом и о темном. Русская армия имеет довольно заслуг, чтобы не бояться обнаружения ее недочетов. Тем более — памятуя суворовское поучение: «Нужнее неприятное известие для преодоления, нежели приятное для утешения».



В ЮНКЕРСКОМ УЧИЛИЩЕ

I

В конце <18>80-х годов для комплектования армии офицерами существовали училища двух типов.

Военные училища, имевшие однородный состав по воспитанию и образованию, так как комплектовались они преимущественно юношами, окончившими кадетские корпуса. Они выпускали своих питомцев офицерами во все роды оружия, с одним или двумя годами старшинства в подпоручищем (корнетском) чине.

Юнкерские училища предназначались для молодых людей «со стороны» и открывали свои стены для вольноопределяющихся всех категорий и всех сословий. Огромное большинство поступавших не имело законченного среднего образования. Это обстоятельство придало училищам характер второсортности, питомцев их ограничивало в правах выпуска и в обществе создало им огульную репутацию «неудачников». Между тем в этой категории встречалось немало людей, избравших военную карьеру по призванию, способных и достойных. Множество юношей приводила в юнкерское училище классическая система образования, толстовско-деляновский режим и греко-латынь. В период с 1872 по 1890 год, например, из русских гимназий было исключено за малоуспешность от 63 до 79% первоначально поступивших учеников... Немалое число их шло в полки вольноопределяющимися, потом в юнкерские училища. Так как 6-й класс гимназии давал права I разряда по отбыванию воинской повинности, то на переходном экзамене из 6-го класса в 7-й обычно ставили удовлетворительный

балл малоуспевающим по древним языкам гимназистам — «под честным словом», что они оставят гимназию и поступят на военную службу...

Таким образом, классическая система, которая по мысли ее творца, министра народного просвещения графа Д. А. Толстого, должна была предохранять юношество от нигилизма и материалистических учений и, с другой стороны — преграждать или, по крайней мере, затруднять доступ в среднюю школу детей из низших общественных классов, приводила косвенно к результатам, министерством не предусмотренным: в течение нескольких десятков лет эта система питала юнкерские школы и офицерские корпуса элементом вовсе не плохим.

Из числа действительных неудачников в юнкерские училища поступали в довольно большом числе воспитанники четырехклассных военных школ — Ярославской и Вольской, которые имели в прежнее время характер исправительных заведений для кадет малоуспевавших (первая) и дурного поведения (вторая). Впоследствии эти школы были преобразованы в нормальные кадетские корпуса.

Наконец, в юнкерские училища поступало небольшое число сверхсрочных солдат — фельдфебелей и унтер-офицеров пехоты и артиллерии. Эти люди, обычно с огромным трудом добывавшиеся свидетельства 4-х классов, степенные, пожилые, представляли некоторый контраст с молодым населением училища и отличались вполне установившимся характером и большим трудолюбием.

До поступления в училище лица без законченного среднего образования должны были прослужить в войсках в течение года. Курс училища был двухлетний; программа — меньшая по объему, чем в военных.

Юнкерские училища выпускали своих питомцев в пехоту — *подпрапорщиками* и в кавалерию — *эскадрон-юнкерами*. Эти чины до производства в офицеры находились в довольно неопределенном бытовом и служебном положении от 3 месяцев до нескольких лет — в зависимости от успешности окончания училища, удостоения начальства и наличия вакансий. В одних полках их принимали в офицерскую среду всецело, в других — с известными ограничениями.

В <18>88 г. было создано училище третьего типа, с очень неуклюжим названием: «Московское юнкерское училище с военно-училищным курсом». Программа наук в нем была та же, что и в военных училищах, такие же права, и принимались туда только вольноопределяющиеся с законченным высшим или средним образованием; для первых был установлен одногодичный курс, для вторых — двухгодичный.

В <18>90 г. наплыв в Московское училище был столь велик, что не только штаты, но и стены его не могли вместить желающих. Военное ведомство открыло тогда «военно-училищные курсы» (двухгодичные) при Киевском пехотном юнкерском училище, а через два года и при Елисаветградском кавалерийском.

К <18>96 г. военно-училищные курсы дали армии 2 531 офицера, из которых 344 — с университетским образованием. Официальный отчет отмечал, что курсы «успели создать себе добрую репутацию в армии, где, по отзывам многих начальников частей, питомцы курсов ценились весьма высоко по их развитию, знанию службы и безупречному поведению».

Свое неуклюжее название училища эти носили в течение нескольких лет, пока их не переименовали в «военные». Но и тогда закон делал некоторое различие в их комплектовании: в старые училища принимались преимущественно дети дворян и служилого сословия; в Елисаветградское кавалерийское, кроме того, дети почетных граждан и купцов*; наконец, в Московское и Киевское — молодые люди всех сословий. Только с 1913 г. все военные училища стали всесословными.

В 80-х годах соотношение выпускаемых из военных и юнкерских училищ было 26% и 74%. В 90-х — оно изменилось значительно: военные училища стали выпускать 45% офицеров, тогда как юнкерские 55% — норма более даже благоприятная, чем существовавшая в то время во французской армии.

В 1901 г. юнкерские училища подверглись коренному преобразованию. В училищах нового типа, помимо более

* Эти категории через некоторые кадетские корпуса имели доступ в старые военные училища.

строгих условий приема, был введен трехлетний курс, дававший возможность не только пройти военные науки по полной программе военных училищ, но и закончить среднее образование. В 1903 г. произведены были последние подпрапорщики и эстандарт-юнкера, и эти звания упразднены. Юнкеров стали выпускать подпоручиками (корнетами). То обстоятельство, что военное ведомство могло предъявить повышенные образовательные требования к юнкерским училищам, служило показателем как повышения общего уровня образования в стране, так и некоторой перемены во взглядах общества на офицерское звание...

В первый же год явилось к экзаменам в юнкерские училища 3 615 молодых людей; в 1902 г. эта цифра возросла до 4 748. Юноши, окончившие средние учебные заведения, принимались без конкурса, после поверочного испытания по русскому языку; неокончившие — подвергались полному экзамену и жестокому конкурсу: в 1902 г. держало полный экзамен 3 200, выдержало 1 526 и поступило 740, т. е. 23% державших... Любопытно, что юноши этой второй категории, по свидетельству многих учебных советов, проходили курс училища успешнее, чем первой.

Доступ в офицерские питомники действительным неудачникам был, таким образом, уже закрыт.

С 1907 г. военное ведомство приступило к окончательной ликвидации юнкерских училищ, постепенно вводя в них военно-училищный курс. Реформа закончилась в 1911 г., когда все училища стали «военными».

С тех пор военные училища, если и не были вполне удовлетворены комплектуящим их контингентом, то не по квалификации его, а только по *качеству* познаний. И в этом отношении разделяли участь всех выших и специальных учебных заведений. Ибо в эти годы русская средняя школа претерпевала кризис. Большое собрание преподавателей столичных гимназий, созданное по инициативе попечителя Петербургского округа в 1907 г., констатировало «упадок грамотности среди учеников и умения владеть письменной и устной речью... Понижение общего уровня познаний и развития...» Причины этого явления педагоги видели «в отмене экзаменов, в тяжелом гнете родитель-

ских комитетов и в угрозах... в зависимости учителей и в заботе их о куске хлеба».

К этому перечню необходимо добавить общее падение школьной дисциплины — и сверху, и снизу — вызванное смутными годами первой революции. Обстоятельство, которого или вовсе не испытала, или преодолела военная школа.

* * *

«Шморгонские академии»* — так иронически назывались в военной среде дореформенные юнкерские училища — отошли в прошлое. Слово «шморговец» сохранило обидный смысл и поныне. Не только общественное мнение, но и законодательство ставило низко ценз юнкерского училища, не признавая даже за реформированными в 1901 и окончательно в 1907 г. училищами прав среднего учебного заведения. Так, офицеры, окончившие юнкерское училище, не допускались в военные академии (кроме Академии Ген. штаба) без предварительного экзамена за среднее учебное заведение; для вышедших в запас закрыт был ряд гражданских должностей и т. д. Только в 1909 г. — и то по частному поводу — Государственный Совет, обсуждая полномочия одного из своих членов по выбору, признал соответствие юнкерского училища среднему учебному заведению.

Но и дореформенные училища заслуживали большего внимания. Ведь в свое время — в середине 60-х годов — появление юнкерских училищ было большим прогрессом. Ибо до того времени только 25% офицеров выходило из старых кадетских корпусов, а остальные три четверти, не получая вовсе школьного военного образования, производились после весьма поверхностного, зачастую анекдотического экзамена, из прежнего звания «юнкеров» или из старых солдат. В формуляре многих офицеров значилось

* В Виленской губ. есть местечко Сморгонь, где в старое время существовало знаменитое заведение для дрессировки молодых медведей. Отсюда, вероятно, произошло название «Сморгонская» (или «Шморгонская») академия.

тогда: «общее образование получил дома, военное — на службе»...

Общество недооценило ту незаметную, но серьезную роль, которую сыграли старые юнкерские училища в переходную эпоху, последовавшую за великими реформами. Когда сменялся чисто дворянский облик офицерского корпуса всеобщим, шел отлив из его рядов, а третий элемент только еще укреплялся. К <18>90-м годам в пехоте было до 80% офицеров, выпущенных из юнкерских училищ. В 90-х годах в штаб-офицеры производилось таких лиц в пехоте 83—92%, в кавалерии — 73—88%. Даже перед великой войной их было более половины...

Офицеры этой категории предотвратили в свое время кризис, назревавший в русском офицерском корпусе. Многие из них трудом и характером пробивали себе путь и в Академию (7—12% выпускных), и к высшим военным постам и достойно провели четыре кампании. Известно, что генералы М. В. Алексеев, гр. Келлер, Лечицкий, Сиверс, Гернгрос, Стельницкий, Станкевич и многие др. вышли из юнкерских училищ старого типа.

II*

Поступив в 1890 г., после окончания реального училища, вольноопределяющимся в I стрелк. полк и прослужив в нем по собственному желанию четыре месяца**, я был командирован в Киевское юнкерское училище с военно-училищным курсом, только в том году открытым. Собралось нас там около 90 человек. Для классных занятий мы были распределены по трем отделениям, с особым составом преподавателей, а во всех прочих отношениях — размещения, довольствия и строевого обучения — нас слили с юнкерами «юнкерского курса». Большие преимущества наши по правам выпуска вызывали в них невольно ревни-

* В составлении этого и следующего очерков помог мне своими воспоминаниями полковник А. А. Иванов — мой одноклассник по училищу и товарищ по бригаде.

** Для поступления в училище требовалось только зачисление в полк.

вое чувство. Но тем не менее такое сожителство двух равноправных групп юнкеров длилось мирно до 1893 г., когда «юнкерский курс» в Киеве был упразднен вовсе, а оставшиеся слушатели его были переведены в Чугуевское юнкерское училище.

Старинное крепостное здание, со сводчатыми стенами-нишами, с окнами, обращенными на Печерск, и с амбразурами, глядящими в поле, к Днепру... Жизнь, замкнутая в четырех стенах, да еще в небольшом садике возле здания, за которым начинался запретный мир, доступный только в отпускные дни... Строгое и точное, по часам и минутам, расписание повседневного обихода... День и ночь, работа и досуг, даже интимные отправления — все на людях, под обстрелом десятков любопытных или равнодушных взоров... И только, когда утомонится шумный человеческий улей, притушат наполовину керосиновые лампы, и казематы заснут неровным сном, прерываемым чьим-то шепотом, чьим-то бредом, — чувствуешь себя до известной степени наедине с собой.

Для людей с воли — гимназистов, реалистов, студентов — было ново и непривычно это полусвободное существование. Только много времени спустя им становилась понятной необходимость известного ригоризма, самоограничения, внутренней дисциплины, без которых жизнь коллектива, в особенности военного, была бы не только тягостной для самих сочленов его, но прямо-таки невозможной.

Постепенно молодые юнкера привыкали к училищному режиму и привязывались к училищу. Но поначалу некоторые, послабее духом, приходили в уныние и, тоскливо слоняясь по неуютным казематам, раскаивались в выборе карьеры. В тихие ночи благоуханной южной весны в открытых амбразурах просиживали по целым часам мечтатели, в томительном созерцании поля, ночи и воли... пока тихое покашливание дневального не предупредит об обходе дежурного офицера. Бывали и такие «бродяги» в душе, которые, рискуя непременно исключением из училища за «самовольную отлучку», спускались на жгутах из простынь через амбразуру вниз, на пустырь. И уходили в поле, на берег Днепра. Бродили там часами и перед рассветом

условленным тихим свистом, при помощи дневального вызывали «соумышленников», подымавших их наверх.

Лично я не так уж тяготился юнкерским режимом. Все мои детские досуги проходили в близком общении со стрелками, драгунами и пограничниками, квартировавшими в 1870—1880 гг. в городе Влоцлавске. Гимнастический городок, манеж, стрельбище, полковые учения, купание лошадей в Висле — все это было полно неотразимого обаяния, увлекало и, вместе с рассказами отца — старого воина, задолго до поступления на службу вводило в своеобразный и красочный военный быт. Я шел по призванию.

Раз в неделю, по воскресеньям, юнкера пользовались отпуском, кроме наказанных и состоявших «в 3-м разряде по поведению». «Третий разряд» — особое штрафное положение. Кроме морального ущерба и служебных ограничений, оно грозило крупными неприятностями при выпуске: юнкер, не переведенный в высший разряд, выходил в полк в юнкерском звании, и только по истечении полугода полк мог возбуждать представление об его производстве. Юнкера I разряда по поведению и состоявшие в хоре певчих отпускались еще в четверг после занятий.

Лишение отпуска было весьма чувствительным наказанием. Оно накладывалось и за дурное поведение, и за неудовлетворительный балл. Только дни училищного праздника и удачных смотров приносили всеобщую амнистию. Впрочем, изредка юнкера ухитрялись ходить в город и самовольно, пользуясь слабостью или оплошностью дежурных офицеров.

В отпуску веселились по средствам и по вкусу. Ходили к родным и знакомым, гуляли до изнеможения по прекрасным киевским садам, ухаживали, влюблялись; стайками ходили в излюбленные кабачки и пивные, иногда в места похуже — на Ямки... К услугам немногих, впрочем, бесшабашных кутил была тут же, под боком, квартира училищного ламповщика Ивана, который устраивал пирושки *grix fixe* — по 3 рубля с персоны, включая и «прочие удовольствия».

По четвергам, когда времени было мало, любили захаживать в гостиницу соседней Киево-Печерской лавры, в палаты для «чистых богомольцев», где полно было народу

со всех концов Руси, где столбом стоял пар от чайников и смешивались в сплошном гуле певучий и окающий говорки. Туда же ходили мы на масленой — покушать блинов на экономических началах. Монастырские служки радушно встречали юнкеров; какой-то их старший, отец Евтихий, «в миру прапорщик запаса», как он рекомендовался, вел с нами бесконечные разговоры на военные темы. А иногда, придя в хорошее настроение, доставал из-под подрясника «незаконное приложение» к блинам, подливая в чайные кружки.

— Не влетело бы...

— Не сумлевайтесь! Я здесь — начальник, вроде как бы комендант.

Возвращались из отпуска — к вечерней переключке, а «отпущенные до поздних» — после окончания спектаклей. Опоздать — Боже сохрани! У городской Думы в отпускные дни дожидались два лихача — Антон и Филипп — из особой симпатии к юнкерам доставлявшие их «единым духом» на Печерск — в кредит, иногда долгосрочный — до самого выпуска. А у кого не было ни денег, ни кредита, тот летел к «Собачьему спуску» — тропе, что начиналась за женским институтом, и безлюдными местами выводила напрямик к училищу. Снимет пояс и шинель и мчится налегке во весь дух, чтобы обогнать часовую стрелку, приближающуюся к роковой черте... Минута в минуту! Одновременно с боем часов в приемной рапортует, задыхаясь, дежурному офицеру:

— Господин поручик, юнкер 1-й роты N является...

Самовольно отлучившиеся возвращались, конечно, тайком. Можно было — через помещение барабанщиков, но это стоило не менее двух рублей... Обыкновенно пробирались через классные комнаты, расположенные в нижнем этаже. Там вечером — тишина, юнкера готовятся к очередной репетиции. Осторожный стук в окно... «Соучастники» услышали: один становится на пост у стеклянных дверей, другой открывает окно, в которое летят штык, фуражка и шинель; их прячут под парты; вслед за ними прыгает в окно юнкер и тотчас же углубляется в книгу. Потом уж общими силами проносят в роту компрометирующие выходные предметы. Труднее всего с шинелью...

Юнкер одевает ее внакидку и с опаской идет в роту. На встречу, на несчастье, дежурный офицер.

— Вы почему в шинели?

— Что-то знобит, господин капитан.

Капитан смотрит испытующе. Во взгляде — сомнение. Быть может, и самого когда-то «знобило».

— Вы бы в лазарет пошли.

— Как-нибудь перемогусь, господин капитан.

* * *

Пьянства, как широкого явления, в училище не было. Но бывало, что некоторые юнкера возвращались из города под хмельком, и это обстоятельство вызывало большие осложнения: за пьяное состояние грозило отчисление от училища (на юнкерском жаргоне — «вставить перо»), за «винный дух» — арест и третий разряд по поведению...

Если юнкер мог, не особенно запинаясь, отпрапортовать — это еще пол-горя. Если же нет, то приходилось выручать его другим. Обыкновенно кто-нибудь из пришедших одновременно старался подбросить картон с личным номером подвыпившего в ящик, стоявший в дежурной комнате. Но если дежурный офицер, отдыхавший за перегородкой, бывал исполнителен и выходил к каждому приходящему, оставалась лишь одна героическая мера, требовавшая самопожертвования: вместо выпившего являлся один из его друзей, конечно, в том лишь случае, когда дежурный офицер не знал их в лицо. Не всегда такая подмена удавалась... Однажды подставной юнкер К. рапортовал капитану Л[евуцко]му:

— Господин капитан, юнкер Р. является...

Но под пристальным взглядом Л[евуцко]го голос его дрогнул и глаза забегали. Л[евуцк]ий оборвал рапорт:

— Приведите ко мне юнкера Р., когда проспится.

Когда утром оба юнкера в волнении и страхе предстали перед Л[евуцк]им, капитан обратился к Р.:

— Ну-с, батенька, видно, вы не совсем плохой человек, если из-за вас юнкер К. рискнул своей судьбой накануне выпуска. Губить вас не хочу. Ступайте в роту!

И не доложил по начальству.

Юнкерская психология воспринимала кары за пьянство как нечто суровое, но неизбежное. Но преступности «винного духа» не признавала. Не говоря уже о расплывчатости форм этого прегрешения, училищный режим и общественная мораль находились в этом вопросе в полной коллизии. Великовозрастные по большей части юнкера (18—23 года; бывали и под 30), бывая в городе, в обществе и встречаясь там иногда со своими начальниками-офицерами, на равных со всеми началах участвовали в беседах, трапезе и возлиянии. Но, переступая порог училища, они лишались общественного иммунитета.

К юнкеру Х., бывшему студенту, приехал из дальней губернии отец, всего на день. Отпущенный «до поздних» юнкер провел день с отцом, побывали вместе в театре, потом скромно поужинали. Х. вернулся трезвым и столкнулся в приемной с начальником училища, который в эту ночь, как на несчастье, делал обход. Отрапортовал ему. Полковник не сказал ни слова, а на другой день появился приказ о переводе юнкера в 3-й разряд «за винный дух». Х., глубоко обиженный, не желая оставаться в положении штрафованного, бросил училище и вернулся в полк. Потеряв год, поступил заново и окончил блестяще.

Другой эпизод еще характернее.

Юнкер Н. после весело проведенных именин в знакомом доме возвратился в училище на одном извозчике со своим ротным командиром, капитаном Ж. — оба в хорошем настроении и под хмельком. Ротный пошел в свою квартиру, а Н. — являться дежурному офицеру. И за «винный дух» юнкер был смещен с должности взводного, арестован на месяц и переведен в 3-й разряд. Н. претерпел и даже к выпуску сумел вернуть себе нашивки и «1-й разряд»... Но впоследствии, не продержавшись и двух лет в офицерском звании, был удален из части и скоро опустился на дно.

Училищный режим, за редкими исключениями, подходил с одинаковой мерой и к сильным, и к слабым, к установившимся людям и зеленым юнцам, к нравственным и порочным, соблюдая формальную справедливость и отмечая психологию. Эпизоды с Н. и К. возмущали юн-

керскую совесть. В них мы видели только произвол и фари́сейство, так как в то время в армии существовала казенная «чарка», и не проводился вовсе сухой режим; да и училищное начальство не было пуританами...

А между тем этот утрированный ригоризм имел по существу благую цель: ударив по единицам, предохранить сотни от многих злоключений в дальнейшей их жизни.

Только раз в году — в день училищного праздника — начальство закрывало глаза на все наши прегрешения. За неделю или за две, освобожденные от всех нарядов и учений, несколько юнкеров-любителей разделяли мрачную столовую под танцевальный зал: рисовали плафоны, клеили лампионы, вязали гирлянды, устраивали гостиную, «уголки» и т. д.

Днем бывал парад и торжественный обед — с пирожными и полбутылкой вина. Между юнкерскими столами располагался длинный стол для начальства и приглашенных — однокашников, киевлян. Там вспоминали прошлое, произносили горячие речи, тосты, которые горячо принимались юнкерами. Сам грозный командующий, генерал Драгомиров был однажды на празднике, в год освящения пожалованного училищу знамени (1898). Рассказывают, как за обедом М. И., к смущению училищного начальства, захватил с центрального стола бутылок — сколько мог — и отнес их первому взводу 1-й роты.

— Мне врачи запретили пить. Выпейте за меня...

А вечером, возвращаясь домой, у самого дворца увидел отпущенного в город, «пообедавшего» юнкера, мирно спящего на тумбе... М. И. доставил его на своей пролетке в училище и, сдавая дежурному горнисту, сказал:

— Ты меня знаешь? Осторожно доведи господина юнкера в роту. Да не говори дежурному офицеру... Понял? Веди!

Вечером — бал. В этот день, кроме «винного духа», допускался и лакированный пояс, и диагональные штаны в обтяжку, и «кованые галуны». Нельзя же было, в самом деле, ударить лицом в грязь перед каким-нибудь залетным юнкером Елисаветградского кавалерийского училища, который своими умопомрачительными рейтузами привлекал внимание дам и возбуждал черную зависть в сердцах пехотных кавалеров...

Танцевали до упаду, веселились до рассвета, пропадали без всяких формальностей на всю ночь, привозя и увозя своих белокурых и чернобровых знакомых. И юнкерские казематы могли бы порассказать о многом...

Несколько дней потом юнкера жили воспоминаниями о празднике.

В эти молодые годы завязывались иногда серьезные связи, выдерживавшие искус следовавшей за производством разлуки, ожидание законного возраста для вступления в брак (23 года), пятидесятичного реверса и т. д.; чаще — легкомысленные, разбивавшиеся при первом же столкновении с новой свободной жизнью.

Бывали и эпизоды явного вовлечения юнкеров в свои сети практичными мамами. В то время только эпизоды. Но в девятисотых годах на этой почве выросло бытовое явление. Вокруг некоторых училищ — особенно славилось Одесское юнкерское — плелась паутина всякими салопницами, вдовами мелких чиновников и другими неопределенного социального положения особами, обремененными дочками на возрасте.

Игра начиналась случайным будто бы знакомством с юнкером, о котором, конечно, наводились заранее справки. Он приглашался в дом и понемногу становился «своим», проводя там все отпускные дни, пользуясь заботами и ухаживанием. Ко времени производства в офицеры эта близость превращалась обыкновенно в жениховство и кончалась разное: свадьбой, житейской драмой или просто на ветер выброшенными временем и мамашиними деньгами.

В первый же день после принятия мною полка мне пришлось столкнуться с такого рода явлением.

Пришли ко мне в номер гостиницы две дамы, только что приехавшие из Одессы. Мать — пожилая ступкообразная женщина, с застывшей на губах сладкой улыбкой и лисьими ухватками; дочь — лет восемнадцати, миловидная, с каким-то бесцветным выражением лица. С неподражаемым одесским акцентом, тараторя без умолку, мать поведала мне свое горе, прося защиты.

В полк недавно перед тем прибыл выпущенный из Одесского училища подпоручик Р. Он считался женихом ее дочери; но, после отъезда в полк, не написал ей ни разу.

Почувяв недоброе, дамы приехали в Житомир, и здесь от Р. услышали, что, в силу материального положения и своей молодости, Р. раздумал жениться...

— Подумайте, господин полковник, какое наше положение — ведь все знакомые уже знают, через него людям стыдно будет в глаза смотреть... Целых полтора года ходил к нам каждый отпуск, товарищей приводил, обедали, ужинали. Мне не жалко, но ведь это чего-нибудь стоило?! А по мелочам сколько перебрал, так я за это и не говорю. Вы знаете, у него даже на билет в Житомир не хватило — ведь это же я заплатила...

С первых же слов посетительницы было ясно, что тут не драма, а фарс. Говорила она долго, истомила пошлостью.

— Что же вам, собственно, от меня угодно, сударыня?

— Ах, Боже мой, ну, конечно, чтобы вы заставили его жениться. Вы же ж его командир.

— Этого я сделать не вправе.

— Тогда я подам на него в суд.

— Как угодно.

Подумала.

— Но... пусть бы он вернул хотя мои расходы...

— Все, что вам должен подпоручик Р., может быть вам уплочено при условии, что вы дадите расписку о неимении к нему претензий.

Дама, очевидно, приготовлена была и к такому решению, потому что тут же, вынув из сумки листок бумаги и карандаш, стала быстро набрасывать обстоятельный счет, в который вошла стоимость обедов и ужинов, подарков, долгов и проезда обеих дам из Одессы в Житомир и обратно. И даже «убиток», понесенный на портсигаре, приведенном в подарок жениху...

— С монограммой. Вы сами понимаете — какая ему теперь цена. Только в лом...

Стоимость гостеприимства и все сомнительные расходы я беспощадно вычеркнул, бесспорные подытожил — вышло что-то около 300 рублей. Дама ушла, по-видимому, удовлетворенная.

В тот же день, с согласия Р., казначей выдал приезжим деньги, с отметкой об удержании с него ежемесячно по 20 рублей. А вечером в офицерском собрании подпору-

чик в «обыкновенной форме» с трепетом входил в гостиную, где собрались частным порядком члены суда чести. Из-за закрытой двери гудел голос председателя, наставлявшего молодого человека в понятиях о достоинстве офицерского мундира.

* * *

В отношении своего содержания офицерские питомники были поставлены далеко не одинаково. Особенною роскошью оно отличалось в Пажеском корпусе*. В 90-х годах содержание *военного училища* стоило казне 233 тыс. руб. в год, в то время как *военно-училищных курсов* такого же состава только 160 тыс. руб., а *юнкерского* еще дешевле...

Сообразно с такими градациями, и довольствие юнкеров юнкерских училищ в мое время было поставлено неважно: оклад равнялся солдатскому пайку, увеличенному на 10 коп. ... С 1891 г. нам прибавили по... 5 копеек в день на человека; и только впоследствии (1899) Московское и Киевское училища сравнивали с военными.

Ели мы поэтому очень скромно, по сравнению, конечно, с домашним столом большинства. Незабвенный винегрет, приснопамятный форшмак и в особенности клецки с мясом, ложившиеся тяжелым комом в желудке и прочно склеивавшие весь пищевод, памятны доньше... Хотя в этой области осуществлялся «общественный контроль» выборными юнкерами — «хлебным» и «продуктовым» артельщиками, но молва приписывала все недочеты довольствия — не всегда справедливо — злоупотреблениям хозяйственных офицеров. Это были самые непопулярные люди в училище.

В конце концов, молодые зубы и желудки могли, казалось, грызть и переваривать даже камни. И вопрос довольствия не вызывал серьезных недоразумений, находя отражение лишь в юнкерском эпосе: в песне доставалось и училищной кухне, и поименно предполагаемым «виновникам»:

* Два специальных класса его соответствовали военному училищу.

.....
 «Там дадут нам по яичку,
 Жидким чаем обнесут,
 На закуску-переключку
 Нам с поверкой поднесут.

 Там (такой-то) вороватый
 Форшмаком нас угостит».

И каждый куплет оканчивался перефразой-припевом известной юнкерской песни:

«Взвейтесь, соколы, орлами.
 Полно горе горевать.
 Уж недолго нам осталось
 В поле лагерем стоять».

К 1910 г., когда училища подравнялись в программах и правах, средняя стоимость содержания выпущенного офицера составляла 2583 руб. (двухлетний курс) — норма не только достаточная для постановки дела, но и превышавшая тогдашнее содержание немецкого и французского юнкеров.

И юнкера, и училищные офицеры в мое время числились в своих полках и носили полковые формы. Обмундирование, в противоположность военным училищам, мы получали и носили в училищных стенах солдатское, из интендантства, после небольшой пригонки в училищной швальне. Грубое и очень неуклюже. У редкого юнкера не было поэтому собственной выходной одежды. Такого же качества были так называемые «годовые вещи», т. е. белье, сапоги, портянки, сапожный приклад. Этот интендантский товар и солдаты в войсках обыкновенно продавали или выменивали на рыночный, общеупотребляемый. Одни «исподние брюки подкладочного холста» чего стоили!.. За исключением самых бедных юнкеров, остальные носили собственные вещи, а всю полочку продавали тут же за бесценок училищному каптенармусу, сверхсрочному унтер-офицеру. И десятки лет, по установившемуся обычаю, казенный отпуск пропадал зря,

юнкера ходили в своем, а каптенармус прикупал третий домик на Печерске.

С 1897 г. в училище была введена однообразная форма и вполне приличное обмундирование училищного изготовления.

Начальство мирилось с ношением собственной одежды, если она была форменной. Но некоторые дежурные офицеры бывали чрезмерно придирчивы. Один как-то раз, осматривая отпускного юнкера, позвал барабанщика и велел ему изрезать ножницами юнкерские сапоги в куски, приведя в отчаяние юнкера, оставшегося без сапог и... без отпуска.

Большинство юнкеров получало из дому небольшую сумму денег на мелкие расходы. Богатых, кажется, у нас не было; во всяком случае, в стенах училища разница социального или имущественного положения не бросалась в глаза и никогда нас не разделяла. Но были юнкера бездомные или очень бедных семей, которые для удовлетворения своих мелких нужд должны были довольствоваться одним казенным жалованьем, составлявшим тогда $22 \frac{1}{2}$ — $33 \frac{1}{3}$ коп. в месяц. Такие редко ходили в отпуск и не уезжали на каникулы, оставаясь круглых два года в стенах училища, опустелых и страшно неуютных в дни разъезда. Не за что бывало купить табаку, зубную щетку, даже послать письмо... Но переносили они свое положение стоически: я не помню ни нытиков, ни приживалов.

А соблазнов было много кругом. Не говоря уже о большом богатом и веселом городе, вокруг училища располагалась целая армия поставщиков — за наличные и в кредит — «шикарных» принадлежностей юнкерского туалета; разносчиков и торговков с лотками вкусной снеди. Это были все «свои», знакомые, чуть ли не наследственные. Они сопровождали роты на стрельбы и учения, перекочевывали с нами в лагерь и, вообще, были в курсе училищных событий, принимая участие в интимной жизни юнкеров. Этих торговцев звали у нас «апостолами», иногда «шакалами» — кличка, занесенная, должно быть, из Петербурга и, право же, несправедливая: наживались они по-божески, но и выручали не раз в трудную минуту. Бывало, и бескорыстно.

Во всяком случае наши «шакалы» были ангелами по сравнению с теми поистине шакалами рафинированного

европейского типа, которые позднее, в образе солидных акционерных обществ, раскидывали широко свои сети, улавливая в них неопытную молодежь. Комиссионеры разъезжали по училищам незадолго перед выпуском и предлагали юнкерам в кредит, под расписку о выплате долга после производства в офицеры, — целые библиотеки, велосипеды, драгоценные вещи и т. п. Конечно, по вздутым ценам и за лихвенные проценты. Многие юнкера поддавались искушению, обзаводились бесполезными вещами и попадали в кабалу, запутываясь впоследствии в непосильных счетах, неустойках и судебных взысканиях.

В конце концов войсковое начальство обратило внимание на чрезмерную задолженность выпускных офицеров, и военное ведомство возбудило ряд дел против мошеннических предприятий. Насколько трудной была эта борьба, свидетельствует большой процесс, возбужденный против «синдиката» киевских ростовщиков в <19>13 г. Киевская полиция направила дело их к прекращению... По настоянию военного ведомства оно, однако, возобновилось. Показания 71-го свидетеля — потерпевших, бывших юнкеров — нарисовали суду картину хищнического учета и переучета денег и вещей, доставлявших «синдикату» от 400 до 700% прибыли. Прокурор поддерживал обвинение. Суд постановил присяжным 251 вопрос, и на все — присяжные ответили... отрицательно. Восемь ростовщиков были оправданы.

Потому ли, что в таких делах не бывает прямых улик, потому ли, что в этом случае проявилось к офицерству то своеобразное отношение «общества», которое держалось со времен первой революции...

Во всяком случае, в мое время расточительство было явлением редким. Сами же по себе условия жизни в училище отличались суровой простотой и скромностью, являясь хорошей школой для вступления в обер-офицерскую колею.

* * *

6 часов утра...

Резкий треск барабана прерывает сладкий утренний сон. Бежим в «курилку» — чистить сапоги и одежду, потом — к умывальникам. По пути — отделенная загородкой божни-

ца; перед иконами — несколько человек; только в дни экзаменов там полно молящихся, и все паникадила уставлены свечами...

Труба. Строимся. Расчет по порядку номеров — для распределения по столам. Строем — вниз, в столовую. Рвем зубами превкусный, свежий белый хлеб, и глотаем приторно-сладкий теплый чай. Потом — строим наверх. Расходимся по классам.

Казематы пусты, бродят лишь дневальные, да служители-солдаты убирают помещение. Два юнкера-лентяя не пошли в класс и прячутся между кроватей. Один досыпает, другой дочитывает увлекательный роман. Вдруг знакомые тяжелые шаги...

— Здорово, братец!

Это начальник училища, полковник Дебюк, обходит помещение и здоровается со служителем*. Бежать!

Юнкера бросаются в соседний каземат, но шаги их преследуют. Дальше — во вторую роту... Шаги... Дальше — гимнастический зал, глухая стена, нет выхода. Шаги приближаются к последней двери. Один из юнкеров снимает вдруг мундир, комкает и бросает на пол; схватил свободную швабру и начинает неистово тереть пол.

Входит начальник училища. Оба юнкера вытягиваются.

— Здорово, братец!

Юнкер со шваброй во всю мочь отвечает:

— Здравия желаю, ваше высокоблагородие!**

Пронесло.

— А юнкер как тут очутился? — обратился Дебюк ко второму.

Сбивчивое объяснение, разнос, потом — арест, хорошо еще, если не «третий разряд». А вечером — веселый рассказ, прерываемый молодым сочным смехом, увенчание находчивости и... новая глава юнкерского эпоса.

* * *

В классах — тишина и порядок. Только на уроке французского языка юнкера позволяли себе некоторые вольно-

* Юнкеру говорили: «Здравствуйте, юнкер!»

** Юнкера вне строя титуловали начальника по чину.

сти. При входе учителя Д. класс, как полагалось, вставал и, как вовсе не полагалось, дружно кричал:

— Здравия желаем, ваше превосходительство!

После этого юнкер-гвардеец Ильин, салютуя обнаженным тесаком, для этой цели принесенным, обращался к француз с фантастическим рапортом.

Предметы были, главным образом, специальные, дававшие знание, но не повышавшие общего образования, считавшегося законченным в среднем учебном заведении. Из общих предметов проходили Закон Божий, два иностранных языка, химию, механику, аналитику и русскую литературу. Но, по-видимому, из боязни «вредных идей» — только древнюю, которая нас, мой выпуск по крайней мере, не слишком интересовала.

Военные предметы и подсобные к ним, которые читали академики Киевского гарнизона, проходились основательно, но слишком теоретично. Позднейшие годы «военного ренессанса» (после японской войны) внесли существенные изменения и в программы военных училищ (1907): исключены были механика и химия, а на их место введены военная география и гигиена; практичнее и ближе к офицерской работе поставлены были курсы артиллерии и фортификации; тактические занятия перенесены впервые и на местность, в поле; вместо старинных кампаний, военная история стала знакомить юнкеров с новейшими и т. д., и т. д.

Теперь, спустя много-много лет, осталось более живое впечатление от самих лекторов, нежели от их лекций. Пожалуй, наиболее колоритной фигурой был инженер-полковник В-а, читавший механику, чудак и мистик, уносивший наше внимание от скучных формул в область «математического спиритизма» и четвертого измерения по Лобачевскому. Да еще — судейский подполковник К-в, читавший нам законоведение и возбуждавший в юнкерах нездоровое любопытство: в самом серьезном вопросе он находил необыкновенно скабрзные детали и особенно любил, с бесстрастным выражением лица, излагать нам процессуальные тонкости об изнасиловании...

Станный для военного человека облик имел преподаватель артиллерии, капитан Ш-с. По доброте своей он

никому не ставил дурного балла; и был так застенчив, что, когда юнкер И-н на репетиции, совершенно не стесняясь, списывал однажды с манжетки формулы по баллистике, Ш-с смотрел на него красный и смущенный и... не сказал ни слова. Характерно, что класс после репетиции заступился за него: выругали И-на и условились соблюдать корректность в отношении Ш-са.

На французском уроке — форменный балаган. Юнкер Н[естерен]ко, хорошо владевший языком, обыкновенно сдает репетицию за троих, дважды переодеваясь. В мундире с чужого плеча, с подвязанной щекой, с леденцом во рту, чтобы изменить голос, — он имел вид глубоко комичный. Француз Д. никого не помнит в лицо. Н[естеренко] переводит с французского умышленно не бойко, «экает», в меру коверкает слова и ударения; Д. поправляет, подсказывает — все идет хорошо, 8–9 баллов всегда обеспечено. Но вот однажды Н[естеренко], сдавая репетицию за другого, забылся и вполголоса прочел французский текст с таким хорошим акцентом, что француз насторожился, поглядел подозрительно и замолчал. А Н[естеренко] опять «экает», ждет подсказа и, не дождавшись, переводит да переводит...

Наконец, разобрав, в чем дело, Д. торжественно поднялся, взял под руки и настоящего, и подставного юнкера и повел их к инспектору классов. Юнкера по дороге взмолились:

— Ваше превосходительство, не губите...

И весь класс речитативом запел:

— Не гу-би-те...

Д. довел виновников только до дверей и отпустил их с миром.

Вообще от виденного, слышанного и пережитого у меня составилось впечатление, что изучение иностранных языков в огромном большинстве российских школ носило характер чисто анекдотический. Анекдот и в средней школе, и в военной, и даже... в Академии Генерального штаба... Один досужий статистик вычислил, что в кадетских корпусах за 7 лет затрачивалось на обучение иностранным языкам 936 учебных часов, да почти столько же на внеклассную подготовку... И совершенно бесполезно. В гимназиях было еще хуже. А в результате сплошного анекдо-

та — много потраченного времени и труда и большой пробел в образовании.

Между тем нельзя сказать, чтобы на вопрос этот не обращали внимания, в особенности после 1905 г. Им занималась военная печать и учебные комитеты; Академия повысила значительно требования в этом отношении; военное ведомство насаждало среди педагогов новейшие системы обучения языкам, в особенности систему Берлица; во многих округах заведены были групповые занятия по иностранным языкам для офицеров...

Но «анекдот» разбивал по-прежнему все благие начинания.

Приличнее, но по существу не лучше было и на репетициях по Закону Божию. Отец Б. — человек умный и ученый — не сумел, однако, овладеть несколько своеобразной аудиторией и возбудить в нас интерес к предмету (история церкви). Сдался без борьбы. Отношение к нему было почтительное, но репетиции юнкера сдавали по-особенному: о. Б. вызывал сразу нескольких человек, которым задавал программные вопросы; они становились в затылок друг другу «для обдумывания»; при этом все, кроме головного, вооружались учебником и считывали; головной — если не знал пройденного, то отсылался отцом Б. в хвост «для обдумывания».

Изредка о. Б. озабоченно покрикивал:

— Господа, прошу чище в затылок ровняться. Боюсь — господин инспектор классов увидит...

Двери были стеклянные, а инспектор классов, капитан Д. имел обыкновение носить ботинки на резиновых каблуках и, подходя бесшумно к классной двери, не раз подглядывал, что делается в классе...

Вообще, если три четверти юнкерской энергии и труда уходили на преодоление науки, то по крайней мере четверть шла на проказы. Система «шпаргалок» с годами весьма совершенствовалась... Практические работы по законоведению («Судное дело о рядовом N-го полка») или по администрации (ротная или полковая отчетность) переписывались из года в год из старых работ, хранившихся в архиве у инспектора классов — за небольшую мзду сторожу... Экзамен по курсу русской литературы у преподавате-

ля Щ-ны письменный — тянули билеты и писали сочинение — проходили всегда блестяще... Перед экзаменом шла разверстка билетов частным образом в своем кругу, и каждый юнкер должен был заготовить соответствующее сочинение. В день экзамена рукописи эти раскладывались по ящикам парт в порядке номеров. Юнкер, взявший билет, шел не на свое обычное место, а на то, где по расчету лежала его шпаргалка...

Быт необыкновенно живуч. Представьте себе мое изумление, когда в записке моего однокашника, окончившего Киевское училище через *восемь* лет после меня (А. Н. Рубанов) я нашел такое же точно описание экзамена по русскому языку, с небольшими только техническими «усовершенствованиями»...

Но вот — сигнальная труба, и книжная премудрость с особой поспешностью летит в сторону. «Строиться к завтраку!» Едим быстро и жадно. Небольшая перемена.

— Собираться на строевые занятия!

* * *

Летом — на плацу или в поле, зимою — в казематах.

— Ать, два! Ать, два!

— Грудь вперед, живот назад!

— Юнкер Воронов, выше голову!

Начало строевой подготовки...

Стоит оглушительный гул голосов. Ходят по всем направлениям молодые юнкера, резко «печатая» шаг.

Одинокое обучение и гимнастика скоро преображали бывших гимназистов, семинаристов, студентов в заправских юнкеров, создавая ту особенную военную выправку, проявлявшуюся во всем — в походке, в манере держать себя и говорить, которая не оставляла многих до старости, до смерти и позволяла отличить военного человека под каким угодно одеянием.

Проходили мы всю солдатскую службу обстоятельно и для того времени хорошо. Первый год — в качестве учеников, второй — в роли учителей молодых юнкеров. Этим как будто достигалась подготовка из нас инструкторов. Но только как будто. Ибо, выйдя из стен училища, мы скоро

убеждались, что обучать интеллигентного человека — юнкера — это одно, а обучать солдат, среди которых было тогда не менее 65% неграмотных и неразвитых людей, — это совсем другое. Отсутствие приемов и навыков обращения с этим сырым человеческим материалом, обладавшим в потенции природной сметкой, но мало склонным к самостоятельности, ставило на первых порах офицерскую молодежь в затруднительное положение. В особенности трудно пришлось нам — десятку юнкеров, выпущенных в 1892 г. в артиллерию: запряженную батарею мы видали только со стороны, а в соседнем лагере артиллерийской бригады прошли всего *шесть* пресловутых «учений в парке»...

Точно так же нас не знакомили с методами обучения грамоте. И когда молодому офицеру, как общее правило, приходилось получать в свое ведение ротную или батареиную школу, он шел обыкновенно ошупью, изрядно изводя своих незадачливых учеников. Впрочем, в позднейших выпусках на дело это обратили внимание. Между прочим, в училище наезжал впоследствии известный педагог Троцкий-Сенютович — знакомить юнкеров со своей звуковой системой обучения грамоте.

Но самое главное — большинство юнкеров военных училищ, в особенности — не принадлежавших к военным семьям, совершенно не знали солдатского быта. Этот вопрос, ряд лет не сходявший со страниц военной печати и подымавшийся не раз и строевыми начальниками, так и не получил разрешения до конца. Существенно необходимым было прохождение всеми до производства в офицеры, вернее до поступления в училище, подлинной солдатской службы в рядах. Но военное ведомство не пошло на эту меру, боясь сокращения прилива молодежи в военные училища. Как паллиатив, в 1909 г. появился циркуляр Главного управления военно-учебных заведений, рекомендовавший «практиковать возможно частое посещение юнкерами, вместе со своими офицерами, воинских частей разного рода оружия... для изучения солдатского быта и службы».

Такие гастроли вызвали в печати насмешку:

— Так институток возят в каретах по городу «для ознакомления с жизнью»...

* * *

После обеда — час или полтора для сна, а затем, если не было очередной репетиции, юнкера, предоставленные всецело самим себе, пили чай, готовили уроки или отдыхали. Вольный спорт*, доклады, беседы и вообще физические и духовные развлечения были тогда не в обычае. По крайней мере, начальство в этом вопросе не проявляло никакой инициативы. Только много позднее, в связи с повышением интереса в русском обществе ко всякого вида спорту, и в военных училищах это дело получило надлежащее развитие. Вначале шло кустарно и «без расходов для казны»; в 1901 г. встречаем впервые отпуск «на развитие научных и физических занятий», правда, более чем скромный — в юнкерских училищах по расчету одного рубля в год на человека... С 1909 г. установлены были уже состязания как в училищах, так и между училищами, своего рода «олимпиады». И не только по гимнастике, фехтованию, рубке, но и в «упражнениях любительских».

В одном из ротных казематов — стол, на котором разложены военная газета и журнал. Но почти никогда не видно там читателей. В свободное время мы собирались группами по признаку землячества или дружбы и вели долгие беседы. О чем? Дом, прошлый отпуск, юнкерский быт и эпос, прочитанная повесть, перспективы будущего и т. д. Очень редко — «проклятые вопросы» и почти никогда — «политика» — понятие, под которое подводилась вся область государственного и социальных знаний. Ни преподаватели, ни начальство не задавались целью расширить несколько кругозор воспитанников, ответить на их духовные запросы, побудить к самообразованию.

Какое разительное несходство быта!.. В 1909–1910 гг. произведена была широкая анкета среди студентов С.-Петербургского Технологического института**, которая, между прочим, дала интересные данные об участии студенчества

* По существу строевое обучение, гимнастика, походы носили в себе элементы спорта.

** Перепись, произведенная научно-экономическим кружком, под общей редакцией прив.-доцента М. Бернацкого.

в политической жизни. «Партийность» технологов в процентах определялась так:

Соц.-дем.	25,3
Кадетов	20
Соц.-рев.	12,4
Неопред. «лев.»	10,1
Анархистов	3
Октябристов	2
Умеренно прав.	2
Союза Русск. Нар.	1
Прочих	4,2
Беспарт.	20

Или, по тогдашней терминологии, «левых» — 71, «правых» — 5%.

Эта перегрузка политической деятельностью, в связи с тяжелыми материальными условиями существования большинства студентов (та же анкета указывала, что наиболее распространенный расход на питание студента — от 7 руб. 50 коп. и до 10 руб. в месяц), приводила к тому, что институт оканчивали после 5 лет только 14%; после 6—7 лет 38% и остальные (48%) — после 8—12 лет и более... Явление — совершенно невозможное в военной школе.

В академические годы мне довелось бывать в обществе студенческой молодежи и наблюдать ее жизнь. По доверию я познакомился как-то и с той подпольной, внежизненной, начетнической трухой, которая почему-то носила техническое название «литературы» и составляла во многих случаях духовную пищу передовой молодежи. «Литература» углубляла отрыв студенчества от национальной почвы, смущала разум, обозляла сердца. «Отсталость» в этом отношении юнкеров была одной из причин отчуждения их от студенчества, в большинстве смотревшего на военную среду как на нечто чуждое и враждебное. Впрочем, отчуждение питалось и другими влияниями... Был впоследствии (1910) такой случай. Начальник Виленского юнкерского училища, полковник Адамович, в согласии с училищным советом, ввиду малого притока молодых людей с законченным средним образованием, принял некоторые меры для сближения юнкеров с воспитанниками местных гимназий. Целью

его было, с одной стороны, — «поднять» недавнюю репутацию юнкерского училища как «грубой и косной школы» и привлечь молодых людей к поступлению в училище; и с другой, — «не дать сложиться в юнкерах, будущих офицерах, тому духу безотчетной ненависти ко всем не носящим военный мундир, который (дух) вел неоднократно к печальным столкновениям»...

Как отнеслось к этой попытке начальство, не знаю, но охранительная печать — с суровым осуждением; а «Новое Время» сочло ее «внесением отвратительного пошло-либерального духа, стремлением рассолдатить строй, обмещанить его, растворить в буржуазной гражданственности, в интеллигентском демократизме»...

Стремилось оберегать молодежь от «народа» и военное ведомство. Когда впервые, вполне естественно, юнкерам и пажам разрешено было ездить (за свой счет, конечно) по железным дорогам в вагонах 2-го класса, циркуляр Главного штаба объяснял эту меру стремлением «оградить их от вредного влияния публики, проезжающей в вагонах 3-го класса»...

Циркуляр упускали из виду, что ведь военная школа готовила учителей и воспитателей для солдата — природного «пассажира 3-го класса».

Не стеклянным колпаком, конечно, а другого рода воздействием, о котором я говорю ниже, военная школа уберегла своих питомцев от духовной немочи и от незрелого политиканства. Но... сама никак и ничем не помогла им разобраться в сонме вопросов, всколыхнувших русскую жизнь. Уже первая революция и переход к новому строю дали серьезные указания на недостаточную подготовленность офицерства к воспитательной работе в усложнившейся донельзя новой политической обстановке. Под влиянием этого в 1907 г. в курс военных и юнкерских училищ введен был даже отдел государственоведения и «учения о политических течениях».

Но после трехлетнего опыта этот курс был изъят, а на место его введены «сведения из финансового и полицейского права», с целью — как гласил официальный отчет — осветить юнкерам условия деятельности правительственных учреждений и органов местного самоуправления и оз-

накомить их с экономическим и бытовым положением крестьян и рабочих — главного контингента армии...

И по малому времени, оставшемуся до войны, и по новизне задания мера эта не могла оказать существенного влияния. И в годы второй революции молодежь, как и старое офицерство, оказались одинаково безоружными и беспомощными перед вставшими вдруг политическими и социальными вопросами, спасовав даже перед солдатской полуинтеллигенцией — чеховскими «ятями».

* * *

Итак, занятия кончились.

Развлечений немного в училище. Гимнастический зал, где собирались любители показать свою силу и ловкость; где юнкер Ильин перелетал, как перышко, через деревянную кобылу с сооруженной на ней чуть не в три яруса пирамидой человеческих тел; где юнкер Юревич — рижский гимназист — проделывал умопомрачительные вольты на сложной трапеции.

Позднейшие выпуски привлекались еще к обязательному обучению танцам... Чрезвычайно комичную картину представляла, говорят, перед уроком танцев приемная, в которую стекались вереницами юнкера с перевязанными руками и ногами, с подвязанными щеками — внезапно заболевшие, — чтобы получить от дежурного офицера освобождение от урока...

Или еще, преимущественно в предпраздничные дни, устраивались доморощенные концерты.

Плакала скрипка юнкера — талантливого музыканта, почему-то бросившего консерваторию. Могуче гремел прекрасный юнкерский хор про старину стародавнюю, как «султаны звилилы кунаты кайданы»... Или грустно стелился «не осенним мелким дождичком»...

Прокуренная насквозь, пропахнувшая дешевой казенной ваксой, в полужидком виде наполнявшей отставленные к стенке корытца, наша курилка (она же туалетная, она же концертный зал) полна народу. Полное удовлетворение, непосредственность чувств и искреннее, шумное одобрение исполнителям.

А в углу курилки, на составленных скамьях, прикрытая живой стеной, расположилась группа картежников — режутся в стучолку. Азарт, нездоровый огонек в глазах, серебро и мелкие измятые бумажки, переходящие из рук в руки... Карточная игра строжайше запрещена. Но училищные традиции заставляют свое, юнкерское начальство «не замечать»; а поставленные посты предупредят о появлении дежурного офицера...

Периодически устраивались «похороны», с подобающей торжественностью. Хоронили «науки», учебники или юнкера, переведенного в «третий разряд». За «гробом» шествовали «родственники», а впереди «духовенство», одетое в ризы из одеял и простынь. «Духовенство» возглашало поминание, хор пел, впоследствии — когда заведены были училищные оркестры — чередуясь с музыкой. Несли зажженные свечи и кадила, дымящие махоркой. И процессия в чинном порядке следовала по всем казематам до тех пор, пока неожиданное появление дежурного офицера не обращало в бегство всю кампанию, включая и покойника.

Можно подумать, что это — предтечи «безбожников»... Нимало. Представьте себе, что большинство участников похорон были люди верующие, смотревшие на традиционный обряд как на шалость, но не кощунство.

Потом — вечерний чай, переключка и — на покой. Лампы притушены; юнкера могут еще в течение часа доканчивать свои дела при собственных свечах.

В десять казематы стихают окончательно. Только ночной дневальный-юнкер бродит тихо между кроватей, подсчитывая число незанятых, принадлежащих отсутствующим по законным причинам юнкерам. На случай, если спросит дежурный офицер...

Все в порядке. Ибо, если и бывает изредка самовольно отлучившийся, то на кровати его покоится отлично сделанное чучело.

Все спит. Кончился трудовой юнкерский день.

III

Прошло почти сорок лет с тех пор, но не изгладилось во мне теплое чувство к своей школе. Со всеми ее недоче-

тами, с приснопамятным винегретом и рыжими неудобноносимыми сапогами, с лишением отпуска и прочими неприятностями.

Ворчали мы в свое время немало и на людей, и на порядки. В любимой юнкерской песне доставалось училищу изрядно. Называлась песня «Венец творения» и по внешности была кошунственной. Но, право же, никто из нас не влагал в нее кошунственного смысла, подобно тому как нет его, по существу, в песне казанских студентов, например, о святом Варлаамии, нет в древних апокрифах или в южных колядках, представляющих небесные силы в сугубо земной обстановке.

Начиналась песня словами:

Однажды Бог, восстав от сна,

.....

Далее шел разговор с апостолом Петром о создании на земле всяких полезных учреждений и, для контраста — «такого творения, которое от всех терпело бы гонения». Подходящим признан был штат юнкерского училища...

И вот, по Божьему глаголу

Создали юнкерскую школу.

В песне было больше юмора, чем злобы. Очевидно, то хорошее, что связано было с училищем, перевешивало дурное, если после оставления стен училища киевляне хранили о нем добрую память, а между собою моральную связь.

Первый год училищем командовал полковник Дебюк, заурядный офицер Генерального штаба — не педагог, не очень строгий и, вообще, мало влиявший на жизнь училища. Второй год — бывший ротный командир Пажеского корпуса, полковник Лавров. Лавров, имея многолетний опыт, был, по-видимому, хорошим педагогом, но... не для нас. Вся атмосфера Киевского училища была разительно непохожа на ту, к которой он привык. Начиная с внешней убогой обстановки... Обходя первый раз наши казематы, он пришел в расстройство, а войдя в столовую, с удивлением спросил:

— Что это?

— Столовая.

— Боже мой, у нас в Пажеском конюшни много лучше...

Лавров был ошеломлен и тем разношерстным составом, который представляла тогда юнкерская среда по воспитанию, образованию и возрасту. Привыкнув к обращению с детьми или юношами определенного общественного круга, годами воспитывавшимися в корпусном режиме, он пытался применять те же приемы и способы воздействия в отношении юнкеров — людей недавно еще «с воли» и нередко бородатых. Выходило иногда трогательно, чаще забавно. Когда «юнкерский курс» перевели в Чугуев, Лавров почувствовал большое облегчение и не мог скрыть своей радости: перед строем юнкеров «военно-училищного курса» он поздравил последних с «освобождением», помянув ушедших обидным словом.

Командный состав училища (ротные командиры и взводные офицеры) был очень разнообразен и по личным, и по служебным качествам. Пожилой, грузный, сердечный человек, обойденный назначением на роту и потому несколько будирующий, капитан Ф-ий. Серьезный, строгий, не допускавший никакой вольности с юнкерами, но готовый заступиться за обиженного, не считаясь с неудовольствием начальства, капитан Л-ий... Легкомысленный, ставший на товарищескую ногу с юнкерами, поручик Э-р... Прославленный знаток уставов, поручик О-в... Горячий, вспыльчивый, но душевный человек, штабс-капитан К-ко... Болезненно-раздражительный — в результате тяжелой контузии, полученной на турецкой войне, штабс-капитан Д-т... Забубенная голова, распустивший совершенно вожжи, поручик Л-ко... Его потакание слабостям юнкерским дошло до того, что однажды на его дежурстве, во время вечерней переключки смущенный фельдфебель передал роте распоряжение:

— Дежурный офицер приказал, чтобы сегодня без его ведома в самовольную отлучку не ходили, так как ожидается обход начальника училища...

Дисциплина строя была в тот раз нарушена заглушенным смехом юнкеров, не устоявших перед таким веселым пассажем.

Л-ко был большой женолюб. Стоило юнкеру, опоздавшему на несколько часов из отпуска, доложить — часто вымышленно — что его задержало любовное свидание, и Л-ко, расспросив о подробностях, отпускал юнкера с миром.

Юнкера отлично разбирались в характере своих начальников, подмечали их слабости, наделяли меткими прозвищами, поддевали в песне. Так, когда рота возвращалась с учения домой, и запевало начинал известную песенку о девице, выбиравшей милого, то рота с особенным ударением и силою подхватывала ее решение:

«Поручик-голубчик
Лейб (такого-то) полка».

Поручик К-ко, носивший мундир названного полка, неизменно при этом краснел, но, кажется, ему не было неприятно...

С похвалою отзывалась песня о штабс-капитане К-ко, который —

«Такой прекрасный человек,
Каких побольше бы в наш век».

Но чаще юнкерский юмор был злой и обличительный. Начальника училища с искусственным глазом прозвали непочтительно «Очко», и это прозвище сохранилось по наследству за его преемником... Следующий начальник, обратившись при приеме училища к юнкерам со словом, между прочим, сказал:

— Надо учиться и держаться строгой дисциплины. Нельзя напиваться: пей, да дело разумей! Нужно всегда быть в состоянии начертить пятиградусные *штрихи**. А выпивший настолько, что не может поставить пятиградусные *штрихи*, — немедленно будет отчислен в полк.

Так и утвердилось за ним прозвище «Штрих» — навсегда. Хотя начальником он стал популярным и уважаемым.

Про офицеров-академиков второго разряда певали:

«Прощайте,
Прощайте наши санюлоты» —

* Изображение неровностей на топографических картах.

намек на то, что, неперевоенные в Генеральный штаб, они лишились «синих штанов»...

Самой, однако, непереносимой чертой характера в глазах юнкеров считалось подхалимство перед начальством. Про одного из взводных офицеров (позднейший выпуск) певали:

В нашем втором взводе
Мыло — в большой моде.
Командир наш взводный —
Мыловар природный.

Певали, бывало, под сурдинку — в каземате или в курилке, а после разбора вакансий, перед выпуском — даже в строю, возвращаясь с ученья...

* * *

И отношение поэтому к начальству было разное. Юнкера, например, любили Э-ра и Л-ко и без зазрения совести использовали слабость последнего. Но авторитетом у нас пользовались не они, а Л-ий, К-ко... Военная дисциплина, в смысле исполнения прямого приказа, и чинопочитание стояли на должной высоте. Прямое неповиновение в училище было бы немыслимо. Но юнкерские традиции вносили в понятие о дисциплине своеобразные «поправки», с которыми без большого успеха боролось начальство. Так, обман вообще, и в частности наносящий кому-либо вред, считался нечестным. Но обманывать преподавателя на репетиции или экзамене — это, как я говорил уже, разрешалось. Серьезные нарушения порядка, как, например, самовольная отлучка или рукопашный бой с «вольными», с употреблением в дело штыков, где-нибудь на Ямках, когда надо было выручать товарищей или «поддержать юнкерскую честь», вообще действия, где проявлены были удал и отсутствие страха ответственности — встречали полное одобрение в юнкерской среде. И наряду с этим кара, постигавшая попавшихся, вызывая сожаление, почиталась все же правильной. Только лень и разгильдяйство вызывали насмешки, и наказания за них не встречали сочувствия к потерпевшему.

Особенно крепко держались традиции товарищества. «Сам погибай, но товарища выручай» — эта заповедь суворовско-драгомировской науки находила отражение в маленьком масштабе и в мирных условиях училищной жизни. Во всяком случае, в одном ее проявлении — «не выдавать». Командира 2-й роты — человека строгого и педантичного — юнкера невзлюбили вовсе не за эти качества, а за привычку его пользоваться «наушниками». И во 2-й роте порядок поддерживался больше за страх, тогда как в 1-й, которой командовал человек слабый, но более разборчивый в средствах, — только за совесть.

Впрочем, сравнительная оценка рот — вопрос спортивный. Соревнование было велико: 1-я рота считала себя *первой* и 2-я тоже. Возвращаясь в лагерь и проходя мимо 1-й роты, 2-я демонстративно пела всегда песню, оканчивавшуюся припевом:

«Хоть вторая и по счету,
Всегда первую была...»

В рассказанном мною выше эпизоде с юнкером Н., сильно пострадавшим за «винный дух», ему и в голову не могло прийти — сослаться на соучастие ротного, чтобы облегчить свое положение, а роте — отнестись с осуждением к своему командиру. «Попался юнкер, умей и ответ держать». Когда юнкер В. побил однажды доносчика и подвергся за это переводу в 3-й разряд, не только товарищи, но и некоторые начальники прилагали усилия, чтобы выручить его из беды, а потерпевшего преследовали...

Если строгим, но разумным и доброжелательным отношением можно было легко овладеть молодыми сердцами, то грубость и солдафонство отталкивали. Был один человек в училище, которого юнкера положительно не переносили, поручик В. К нам он попал из дисциплинарного батальона, принеся оттуда манеру обращения с преступным солдатским элементом. Однажды, благодаря его несдержанности, едва не разразилось событие, чреватое весьма серьезными последствиями:

Бунт!

Случилось это в лагере. Вернулись роты с маневра. Юнкера устали и проголодались. Молитву перед завтра-

ком начали петь — неумышленно, конечно — не совсем в такт и в тон. Дежурный офицер, которым в этот день был В., приказал горнисту играть «отбой».

— Отставить! Я вам покажу!

Последовала брань и угрозы.

Начали петь вторично — повторилось то же. Только по третьему разу кое-как справились и сели обедать. Но обиду юнкера затаили. После обеда, не сговариваясь, затянули «Благодарим Тя...» так, что немедленно последовал «отбой». В. вывел роты на линейку, построил и велел петь. Прошло с полчаса... Солнце палило немилосердно, обжигая обнаженные, коротко стриженные головы. Кто-то свалился. Раз десять какофония сменялась «отбоем», «отбой» — руганью. Сначала пели вразнобой десятки голосов, потом — одиночные, и наконец голоса смолкли совсем, и только шевелились для виду юнкерские губы.

Взбешенный В. прокричал что-то насчет бунта, пригрозил нам каторжными работами и, распустив роты по палаткам, полетел к начальнику училища. Нарушение дисциплины было из ряда выходящим. Но, видимо, перспектива рассматривать происшедшее, как бунт всего училища, никому не улыбалась, потому что история эта, кроме оставления юнкеров на некоторое время без отпуска, других последствий не имела. Только В. перестал дежурить, перейдя на административную должность.

* * *

В кавалерийских училищах, в особенности в Николаевском, существовало традиционное подразделение юнкеров на «корнетов» (старший класс) и «зверей» (младшие), причем в обычае было «подтягивание», «цуканье» или попросту извод «корнетами» «зверей». Иногда «цук» принимал формы настоящего истязания, когда, например, «зверя» заставляли исполнить сотню приседаний... Или — глумления над человеческой личностью, когда «зверь» должен был заучивать наизусть обидную чепуху или делать доклад «корнетам» о «влиянии лунного света на произрастание лесов северной Камчатки»... На этой почве происходили иногда крупные столкновения, заставлявшие вмешиваться началь-

ство. Меры ли были нерешительны, или начальство, само прошедшее в свое время стаж «корнетства», действовало не по убеждению, но обычай десятки лет оставался в неприкосновенности. Как-то, уже после японской войны, в одном толстом журнале появился рассказ о мытарствах «зверей», вызвавший удивление и недовольство в обществе. Дело, по какому-то конкретному поводу, доходило до запроса военному министру в Государственной Думе (1911), причем начальник Главного управления военно-учебных заведений, ген. Забелин дал объяснение, что «слухи преувеличены, а начальство с этим явлением борется».

Однако сквозь стены кавалерийских училищ продолжали проникать жалобы, и за год до великой войны военное ведомство сочло нужным выступить с официальной статьей в «Русском Инвалиде», в которой категорически утверждало, что «цук» драконовскими мерами — изгнанием из училища и цукающих, и позволяющих себя цукать — уничтожен. Это было не совсем верно. Категоричность заявления значительно ослаблялась заключительной его фразой: «Но... еще много труда и усилий нужно для того, чтобы окончательно очистить атмосферу...»

В пехотных училищах «цука» не существовало. Смеялись иногда над молодыми юнкерами, называя их «козерогами» или «сугубыми», «подтягивали» «штатских» там, где преобладающим элементом являлись кадеты — но в пределах уставных требований. Бывали и в Киевском училище в позднейших выпусках случаи шутовского «отпевания» вновь поступающих «козерогов», но этим дело и ограничивалось. В мое время, наоборот, к новичкам относились покровительственно.

Любопытно, что и во французских военных школах, в том числе в Сен-Сирской, существовал обычай «цука» или изводки. По крайней мере — в конце девятых и в начале девятисотых годов. Газеты того времени неоднократно отмечали это явление. Между прочим, сообщалось, что «старшие юнкера налагали такие непомерные и несправедливые взыскания на молодых, которые недостаточно терпеливо переносили изводку, что вызывали иногда целые возмущения, ненависть, дуэли при выпуске»... В одной из школ (Гриньонской), после какого-то несчастного

случая, юнкера, перешедшие на старший курс, сами постановили вывести навсегда изводку младших.

«Цук» («фэччин») до сегодняшнего дня составляет один из устоев воспитательной системы в английской средней школе, приводя иногда к самоубийству «фэчей» (новичков) или к судебным разбирательствам.

Еще более своеобразные традиции существовали в английской армии. Не в училищах даже, а в частях гвардии действовал негласно товарищеский суд, во главе со старшим поручиком, с ведома командира части подвергавший провинившихся молодых офицеров *порке*. Экзекуция производилась обыкновенно в офицерском собрании, на бильярде, и бывала иногда весьма жестокой. Вина офицеров заключалась в том, например: один «выразил желание жениться на балерине»; другой, находясь в командировке, испросил отпуск, вопреки обычаю, у временного начальника, а не у своего батальонного командира и т. п. Когда в 1903 г., по жалобе одного из потерпевших, факты эти получили широкую огласку в печати и вызвали запрос в парламенте, фельдмаршал Робертс вынужден был официально покарать старших начальников, допустивших у себя такие порядки. Но одновременно в частном письме к уволенному командиру батальона — отнесся к ним... с одобрением.

* * *

Начальство из юнкеров — отделенные (на юнкерском жаргоне — «шишки»), взводные («капралы») и фельдфебели находились в нелегком положении. В мое время они связаны были сильно училищными традициями и отправляли свои начальнические функции по двум уставам: официально и неписаному юнкерскому. Вне службы они, по большей части, были Иван Иванычами или Ванями, смотря по близости отношений. Только фельдфебели держались более официально. На службе должностные юнкера отдавали распоряжения, делали замечания и выговоры. Но докладывать по начальству неписанный устав разрешал им лишь в тех случаях, когда другого выхода не было, когда нарушены были общеюнкерские интересы, и нару-

шение порядка вменялось в вину обоими уставами — писаным и неписаным. Многие должностные юнкера с большим тактом несли свою трудную службу между молотом начальнических требований и наковальной юнкерских традиций.

Сложившиеся так взаимоотношения были несколько отличны от существовавших в других военных училищах. Да и в Киевском в последующие годы отношения изменились: там началась борьба «капралов» и «шишек» за свою законную власть, попранную «обычным правом»! Появилось два типа должностного юнкера: прямой и убежденный службист, с требовательностью которого юнкера обыкновенно мирились; и весьма непопулярный тип — подобострастного с высшими и надменного в отношении низших. С этими последними юнкерская среда боролась пассивно двумя способами: сатирой и моральным бойкотом. Муза безыменных поэтов в лапидарных стихах, быстро распространявшихся, клеймила неугодных лиц. Вот, например, образчик типичной эпитафии на фельдфебеля одного из позднейших выпусков:

«Он изгибался пред начальством
За что сторицей награжден;
И с свойственным ему нахальством
На всех и вся плюет уж он.
Заняв сей пост, он возгордился,
На тон повысил голос свой
И носом к небесам воззрися...
Но... все ж остался он свиньей».

Из года в год повторялись такие случаи столкновения рядовых юнкеров с должностными, в которых общественное мнение решительно стояло на стороне первых. Так, например, была у нас баня — замечательная по тесноте и грязи. Отделенный приводит партию — мыться. Молодой юнкер, приятель отделенного, раздеться разделся, но мыться не решился. Последовало троекратное приказание отделенного — юнкер все же не послушался. Отделенный пожаловался, и юнкера жестоко наказали; только то обстоятельство, что прослужил он всего около месяца, спасло его от исключения.

Взвод тотчас же ответил эпитафией, начинавшейся словами:

«Великодушный лев был в дружбе со шенком.
Но дело в том,
Что наш щенок строптивым оказался
И слушать льва однажды отказался...»

И кончалось чем-то непристойным, вроде:

«Как ни мала та куча,
А все-таки она вонюча».

Юнкера воздерживались от общения с отделенным; он крепился долго, но, наконец сдался: принес публичное покаяние.

Как редкое исключение, применялся еще один способ воздействия...

Во 2-й роте был юнкер М., имевший в характере нечто от чеховского унтера Пришибеева и щедринского Иудушки Головлева. Находясь при исполнении служебных обязанностей, он с бездушным формализмом подлавливал самые ничтожные уклонения юнкеров от уставного порядка и представлял по начальству рапортики. Сами дежурные офицеры тяготились таким непомерным усердием, оставляя не раз без внимания его записи. Но командир роты благоволил к М., и он старался. К нам он имел отношение только тогда, когда дежурил по общей училищной кухне. В такие дни дежурному офицеру представлялись длинные списки юнкеров 1-й роты, причем наибольшая вина их была не более того, что юнкер спустился вниз за кипятком в неурочный час.

М-го терпеть не могли, и однажды это отношение прорвалось: изведенные М-м юнкера 1-й роты решили устроить ему «бенефис».

Путь из нижнего этажа, где помещались столовая и кухня, во 2-ю роту шел через казематы нашего 3-го и 4-го взводов. Когда М. поздно вечером поднялся в наше помещение, лампы мгновенно потухли, поднялся неистовый вой, и десятки тугих подушек полетели в М-го, сбивая его с ног. Минут через пять, по жалобе М-го, прибежал дежурный офицер, но все было уже в порядке: юнкера мир-

но «спали», и по всем казематам раздавался слишком отчетливый храп.

Можно двояко относиться ко всем этим эпизодам: как к школьническим выходкам или как к серьезному нарушению воинской дисциплины в строевой части, какую было училище. Я хочу лишь на фоне их отметить одно свое наблюдение: те юнкера, которые в училище пользовались общей неприязнью, по большей части и в дальнейшей жизни встречали такое же к себе отношение. Так вышло и с М-м, с которым мне довелось встретиться через много лет. Офицеры в полку, где он служил, относились к нему весьма холодно; солдаты его терпеть не могли; с крестьянами — он был владельцем небольшого хутора — у М. выходили крупные нелады: он душил их сутяжничеством, они отвечали красным петухом.

* * *

Трудно было уловить в нашей школе степень индивидуальных влияний и наличие какой-либо *особенной* системы воспитания. Ни системы, ни даже преднамеренного воспитания в общепринятом смысле в ней не было. Подобно тому, как и тогда, и позднее трудно было бы уложить в систему тот распорядок, который существовал в училищах, отличавшихся несравненно более суровой дисциплиной, даже механизацией жизни. Начальник *приказывал*, следил за выполнением приказа и карал за его нарушение. И только. Вне служебных часов у нас почти не было никакого общения с училищными офицерами. Мы были предоставлены самим себе. Начальник опытным глазом замечал у отпускного юнкера неформенный галстук и легко подлавливал «винный дух». Но не уделял внимания тому, например, обстоятельству, как много юнкеров приносило из отпуска сифилис, калечило тело и пакостило душу. Вообще, к заболевшим венерическими болезнями и товарищи, и начальство относились только с подтруниванием. Один начальник нашего училища при обходе лазарета задавал шуточные вопросы по поводу «грехопадения», другой укорял в плохом выборе...

В одном из юнкерских кавалерийских училищ начальство смотрело на дело проще. Юнкеров водили в публич-

ный дом, как в баню, «повзводно», после предварительного медицинского осмотра женщин.

Перед нами открывались новые пути офицерской жизни, и мы выходили на них ощупью, зная службу, но плохо разбираясь в служебных, житейских, общественных отношениях, делая на первых порах немало ошибочных шагов. Никто не внушал нам, что по выходе из училища надо продолжать учиться и работать над собой.

Вообще, не было той близости, о которой в области других отношений в один голос твердила приказная литература:

— Станьте ближе к солдату!

Никто не напоминал:

— Станьте ближе к юнкеру!

В училище сосуществовали два разных мира, хотя и тесно соприкасавшихся друг с другом.

Потому так ценились те редкие училищные офицеры, которые, сохраняя престиж начальника, просто и участливо входили в юнкерскую жизнь; потому так охотно открывали перед ними душу. Впрочем, такие «либералы» у старшего начальства бывали на плохом счету...

Отсутствовали и официальные беседы, поучающие долгу, патриотизму. В официальном отчете Главного управления военно-учебных заведений за 1906 год есть указание, что с этого года заведены беседы ротных командиров и офицеров с юнкерами — образовательного и воспитательного характера...

Как велось дело и каковы были результаты, не знаю. Но представляю себе все трудности этого дела. Ибо дар увлекать и вести вдохновенным словом — удел немногих; а официальное красноречие, если оно бездарно или звучит фальшивыми нотами, чутко улавливаемыми молодежью, приводит всегда к противоположным результатам.

Близость может ведь быть и неофициальной.

За два года пребывания в училище я помню только два случая поучения перед строем роты начальника училища — по поводу крупных нарушений юнкерами устава и морали, из которых последнее было из ряда выходящим: юнкер попался в краже вещей в цейхгаузе, из чемодана соседа. Это происшествие и помимо начальническо-

го внушения произвело такое угнетающее впечатление на юнкеров, что вся рота долго чувствовала себя словно как оплеванной. Мне рассказывали, что года через два такой случай повторился. Нервная дрожь пробежала по рядам выстроившейся роты, когда генерал Лавров — бледный, с трясущейся головой — подошел к строю и страшным, не своим голосом крикнул:

— Вор, выходи!

И он вышел...

В обоих случаях до суда дело не довели, считая, что слишком большой позор лег бы на школу. Юнкеров отчислили в свои полки, сообщив туда, что они навсегда лишены права поступления в какое-либо военное училище.

* * *

При отсутствии планомерного воспитания в школе можно было бы думать, что она обрабатывала своих воспитанников только внешне и технически, не затрагивая их мировоззрения...

Но этого не случилось.

Вся окружающая атмосфера, пропитанная бессловесным напоминанием о долге, строго установленный распорядок жизни, постоянный труд, дисциплина внешнего окажательства и внутренних отношений; традиции училища — не только ведь школьнические, но и разумно-воспитательные, которыми, казалось, пропитаны были его стены и которые передавались от одного выпуска к другому; общеофицерские традиции командного состава, даже не вполне удачного... Все эти прямые и косвенные влияния, сплетавшие жизнь и труд учеников, учителей и начальников, искупали во многом недочеты школы и составляли совокупно *объективную*, нетворимую систему, создавали военный уклад и военную психологию, сохранявшие живучесть и стойкость не только в мире, но и в войне, в дни великих потрясений, великих искушений, крушения идеалов.

Военный уклад перемалывал все те разнородные социальное, имущественно, духовно элементы, которые проходили через военную школу. Без видимых воздействий,

он делал военную среду весьма маловосприимчивой и к проникновению в нее революционных течений. Помню один эпизод. Студент Петербургского университета Н. Н. Лепешинский — брат известного соц.-демократа, сосланного в конце 90-х годов в Сибирь, был исключен из университета за революционную деятельность, без права поступления в какое-либо учебное заведение. Словом — с волчьим билетом. Лепешинский сжег свои документы и держал экзамен за среднее учебное заведение экстерном, в качестве получившего домашнее образование. Получив свидетельство, поступил в Московское училище.

После нескольких месяцев пребывания в училище, где Лепешинский учился и вел себя отлично, вызвали его раз в канцелярию, к инспектору классов, капитану Лобачевскому.

— Это вы?

Лепешинский побледнел: на столе лежал проскрипционный список, периодически рассылаемый министерством народного просвещения заинтересованным ведомствам, и в нем — подчеркнутая красными карандашом его фамилия...

— Так точно...

— Ступайте!

И больше ни слова.

Велика должна была быть уверенность Лобачевского в своем знании человеческой души и в «иммунитете» московской школы. Лепешинский окончил благополучно училище и вышел во 2-ю артиллерийскую бригаду. Кроме большого скептицизма, ничто не обличало его прошлое. Служил исправно, в японскую войну дрался доблестно и был сражен неприятельской шимозой.

Военный уклад имел и иные, исторического масштаба последствия, о которых человек другого лагеря, вряд ли склонный идеализировать военный быт, говорит теперь:

«Интеллигент презирал спорт так же, как и труд, и не мог защитить себя от физического оскорбления. Ненавидя войну и казарму, как школу войны, он стремился обойти или сократить единственную для себя возможность приобрести физическую квалификацию — на военной службе. Лишь офицерство получило иную школу, и пото-

му лишь оно одно оказалось способным вооруженной рукой защищать свой национальный идеал в эпоху гражданской войны»*.

* * *

Ранней весной приехал неожиданно в училище командующий войсками, генерал Драгомиров. С волнением и любопытством бежали мы на плац, вызванные по тревоге, в особенности первокурсники, еще не видавшие популярного в России генерала и грозного начальника.

Выстроился батальон (две роты). Из подъехавшего экипажа вышел, грузно опираясь на палку — результат ранения в ногу в турецкую войну — человек, будто только что сошедший с картины Репина «Запорожцы». Так и казалось, что подойдет вот и окликнет:

— А что, хлопцы, есть еще порох в пороховницах?

Но вместо этого:

— Здорово, господа юнкера!

— Здра... жела... ваше... ство!

— Покажите, полковник, батальонное ученье.

Среди нашего начальства замешательство: пока по программе пройдены только взводные ученья; половина юнкеров не участвовали ни разу даже в ротном... Но оробевший начальник училища не рискнул доложить. По команде старшего ротного, подполковника Д., батальон начинает перестроения, сбивается и путает. Грозно сдвигаются брови у командующего, нервно постукивает палкой о землю. Что-то кричит, чего за топотом шагов и гулом команд нам не слышно.

— Батальон, стой!

— Уберите вы из строя этого танцора! — крикнул командующий, указывая палкой на одного из взводных офицеров.

Это была незаслуженная обида: офицер, тяжело контуженный во время турецкой войны, страдал судорожным

подергиванием головы... Начальник училища доложил, и Драгомиров, подозвав офицера, извинился перед ним. Случай — редкий. Ибо генерал имел вообще обыкновение ругаться, не щадя офицерского достоинства, в присутствии подчиненных.

Двинули батальон опять. Ученье идет плохо. При захождении взводами строй наш разорвался совсем.

— Батальон, стой!

— Прочь! Не желаю смотреть! Даю вам две недели срока.

Уехал. Мы уходили, прогнанные с плаца, понуро опустив головы, с чувством несправедливой обиды. Осрамит нас на весь округ, распишет в приказе... Все училище в течение двух недель жило нервной жизнью. Но, видимо, дело разъяснилось: приказа не последовало, а через две недели произвел нам смотр начальник штаба округа — Михаилу Ивановичу было, видимо, неловко — и нашел все в отменном порядке.

Вообще, все в училище искренно считали, что командующий нашего училища не любит и в оценке юнкеров несправедлив. Такое мнение держалось и в позднейших выпусках. Однажды — года через два после нашего выпуска — Драгомиров уехал со смотра, не простившись, а к фронту юнкеров, отделившись от свиты, подъехал генерал Шимановский и громко объявил:

— Командующий войсками желает училищу совершенствоваться!

Страшная обида и уныние.

Другой раз, после окончания смотра, генерал Драгомиров обратился к батальону юнкеров с такой оригинальной «благодарностью»:

— Удовлетворительно!

Только «капралы» да несколько юнкеров поробче ответили:

— Рады стараться, ваше-ство!

Все остальные молчали. Генерал Драгомиров разнес начальника училища за то, что юнкера «не умеют отвечать». И вдруг Лавров, смиреннейший перед начальством Лавров, покраснев и тяжело дыша, к неописуемому изумлению и удовлетворению юнкеров, докладывает:

* «Современные записки», № 39. Статья Г. Федотова «Революция идет».

— Это потому, ваше пр-ство, что юнкера не привыкли к такой оценке. Они учатся всегда или «хорошо», или «отлично».

Но изумление выросло еще больше, когда грозный командующий не возразил ничего. Поглядел на Лаврова из-под нависших бровей и уехал.

Летом, в последний мой лагерный сбор, батальон училища участвовал в производившемся впервые ученье с боевыми патронами и *стрельбой артиллерии через головы пехоты*. До этого драгомировского нововведения, из-за опасения несчастного случая, впереди батарей, в огромном секторе артиллерийского обстрела, пехота не разворачивалась. Этим искажалась совершенно картина действительного боя. Артиллеристы, видимо, несколько нервничали, и снаряды падали иногда не туда, куда следовало, разрываясь в опасной близости от нас. Но в общем стрельба и маневр прошли удачно, и командующий в отличном расположении духа сажился в экипаж, где его поджидал приехавший с ним Бродский — известный киевский сахарозаводчик и обычный карточный партнер Михаила Ивановича.

— Юнкера, ко мне!

Бросились к экипажу, окружили командующего. Тяжело пыхтя, подошел скорым шагом и начальник училища.

— Ну вот, и под огнем побывали. Не страшно было?

— Никак нет, ваше высокопревосходительство!

— И в бою не многим страшнее. Бессмысленно учить не так, как это делается на войне. А без риска и... чихнуть (генерал выразился резче) иной раз нельзя... Отлично юнкера учились, чем бы их побаловать? — обратился он к генералу Лаврову.

Ну, конечно, скажет — отпуском дня на два. Что может быть для юнкера радостнее! И вдруг... ушам своим не верим:

— Мороженого им выдать, ваше высокопр-ство.

Точно институткам...

— Ну-ка, раскошеливайся, уважь юнкеров! — обратился Михаил Иванович к Бродскому, хлопнув его по плечу.

Два дня мы ели по огромной порции мороженого; ели с удовольствием, но все же бранили при этом порядком начальника училища за недогадливость.

* * *

Весною, теплым маем наступало самое приятное время — съемки.

Ранним утром, после чая мы уходили партиями за город, в поле на целый день. Училище выдавало нам «кормовые деньги» и требовало только возвращения к вечерней перекличке. Но и опоздание редко вменялось в вину.

Полная свобода. Несколько часов работы или проверка руководителем, и весь остальной день бродяжничаем по полям, по лесам. В полдень — вкусный борщ и галушки, не уступающие миргородским, приготовленные «Солохой» из деревни Соломинки — тогда еще не тронутой городской культурой, с ослепительно белыми хатами и садочками в белом цвету. А юнкер М. — наш виночерпий — нерешительно вынимает из-под полы граненую бутылку тройной очищенной Попова, заготовленную по случаю участия в нашем полевом обеде руководителя, капитана Генерального штаба Т.

«Пройдет номер или не пройдет?»

— Да уж ставьте на стол, юнкер, нечего прятать. Под такой борщ простительно.

Потом отдых и опять — бродить с планшетом, уловляя и нанося на кроки умозрительные «горизонтالي» и складки местности, успевая между делом побалакать с пестрым платочком, мелькающим в огороде, или даже слетать единым духом в Кадетскую рощу, где уже ждет нетерпеливо укрытый ярким зонтиком предмет весенних грез...

Горизонтالي подождут, складки не разгладятся...

Некоторые юнкера — лентяи или не одолевшие топографической премудрости — устраивались иначе. Возле училища ютились бывшие люди, босяки, прикармливаемые юнкерами. Среди них помню одну колоритную фигуру, именовавшуюся отставным капитаном и даже академиком. Босяк был оборван и часто «на взводе», ночевал обычно в помойной яме... Но беседовал с нами с большим достоинством и принимал юнкерские даяния так, как будто делал нам одолжение. По-видимому, это тот самый, который, по рассказам одного из младших моих однокашников, делал за юнкеров кроки.

Разговор с юнкером бывал краток:

— Полбутылки водки с селедкой и огурцом. Задание, место, на сколько баллов?

«Капитан» отлично знал район съемок и имел при себе «зеленку» (карту); не выходя из трактира, он тут же брался за работу, и через час планшет готов. Никогда не подводил юнкера. По окончании работы полагалось еще полбутылки с котлетой...

Вечером — обветренные, загорелые и усталые, но веселые и довольные, валимся в жесткие постели и засыпаем мертвым сном.

Балл за съемку — последний. У инспектора классов составляется список выпускных юнкеров по старшинству баллов, и перед выходом в лагерь происходит важный в юнкерской жизни акт — разбор вакансий.

* * *

В списке по старшинству в голове помещались фельдфебели, потом должностные унтер-офицеры (портупей-юнкера), наконец, юнкера по старшинству баллов. Одновременно вывешивался и список вакансий, которых было несколько лишних против числа юнкеров.

Большое волнение, некоторая растерянность. Ведь, помимо объективных условий и личных вкусов, есть нечто провиденциальное в этом выборе тропинки на жизненном распутье, на переломе судьбы. Этот выбор предопределяет во многом уклад личной жизни, служебные успехи и неудачи — и жизнь, и смерть...

Как общее правило, на юнкерской «бирже» вакансии котировались в такой последовательности: гвардия, полевая артиллерия, крепостная артиллерия и саперы, наконец, армейская пехота, в зависимости от боевой и мирной репутации полков и их стоянок. Бывало, однако, что юнкера, высоко стоявшие в списке — имевшие широкий выбор, выходили в захолустья из привязанности к родным местам или родным полкам; особенно замечалось это у кавказцев и туркестанцев.

Земля Российская необъятна, а «Краткое расписание сухопутных войск» невразумительно... Бегают друг к дру-

гу, ищут сведущих людей, обращаются за разъяснением к своим офицерам, посылают телеграммы родным — за советом... Все мысли занимает один вопрос — куда выйти?

— Что такое «Репнинский штаб»?

— «Урочище Термез»... Почему — «урочище»?

— Черт их знает. Одно могу вам сказать, что, если написано «штаб» или «урочище» — плюньте, трущоба.

— Это бессовестно, Володя. Раз ты прикомандировываешься к саперному батальону, зачем берешь Екатеринослав? Взял бы дыру какую-нибудь...

— А если через год на саперном экзамене провалюсь?..

— Предусмотрительно, черт возьми!..

— Скажите, «Русский остров» — это все равно что Владивосток?

— Что вы, батенька, полгода нет сообщения с суши! Туда только кандидатам в самоубийцы можно выходить.

— Просто, вы представления не имеете об артиллерии, — резонерствует среди группы, сбившейся тесно под деревом в училищном садике, солидный юнкер — типа всезнающих. — Варшавская крепость и Варшава — это две вещи разные. В Варшаву надо отпускной билет брать из крепости — я знаю, мой дядька там служил... И, кроме того, вылазочная батарея — совсем не то что полевая: ее запрягают только, когда крепость на осадном положении. Будете ходить пешкодралом, а шпоры — это больше для утешения.

Но, видимо, слушатели не верят ни одному слову говорящего: сам он стоит низко, не заинтересован; старается, вероятно, в пользу приятеля, облюбовавшего Варшавскую вылазочную батарею.

Через шестнадцать лет мне довелось, руководя съемкой в Казанском юнкерском училище, вместе с выпускными юнкерами пережить опять эти памятные дни юнкерской жизни. До чего живуч быт! Те же типы, настроения, разговоры даже... Словно и не было этих лет, посеребривших мою голову, не было расстояния в две тысячи верст, и я — не в барачном лагере у Казанки-реки, а в старом крепостном здании на Печерске, у тихого Днепра...

Любители составляли заранее «черновой список» путем опроса всех выпускных. Но он не окончателен: неко-

торые юнкера — в нерешительности; другие ставят решение вопроса в зависимость от ожидаемой телеграммы. И потому нервное напряжение растет.

Наконец приходит день разборки вакансий.

К столу, за которым сидят начальник училища и инспектор классов, подходят вызываемые по старшинству списка: серьезные, веселые или сумрачные; некоторые с волнением называют избранную часть и дрожащей рукой заносят название ее в ведомость.

Наш фельдфебель взял единственную вакансию в гвардию. В позднейших выпусках их было больше. Но гвардейские вакансии не общедоступны... По оплошности училищного начальства, не остерегшего юнкеров о существовании в гвардии особых порядков, с некоторыми из них случились впоследствии прискорбные недоразумения. Так, варшавская гвардия (3-я гв. див.) отказалась раз принять группу офицеров, выпущенных из военных училищ, на том основании, что они не были потомственными дворянами. Вышла громкая история, доходившая до Государя, причем военный министр предоставил впоследствии этим офицерам другие вакансии. Но можно себе представить моральные переживания людей, изгнанных за «худородность» и вынужденных ходить по мытарствам, в поисках нового назначения. Мне описывали волнующую сцену, как отец одного из них, пожилой армейский капитан, приехавший в Варшаву из провинции — порадоваться на своего сына, плакал горькими слезами в нашем штабе, говоря о причиненной им обоим обиде.

Разбор вакансий продолжается. Кто-то из высоко стоящих заявляет:

— Разрешите, господин полковник, взять вакансию после юнкера N.

Это — друзья неразлучные. Первый жертвует своим старшинством и снижается человек на двадцать, чтобы, совместно с другом, выбрать вакансию в один полк или, по крайней мере, в один город. И какая обида, если жертва окажется напрасной — подходящие вакансии разберут раньше!..

Постепенно вакансии в специальные роды оружия, в популярные полки и хорошие стоянки разобраны. Оста-

лись лишь «урочища», «штабы» и вообще отчаянные трущобы. Юнкера нижней части списка — «камчатка» — веселы и беспечны, им беспокоиться нечего — все равно никакого выбора нет. Один юнкер называет часть с какой-то неудобопроизносимой и неизвестной стоянкой. Инспектор классов, с присущим ему ехидством, поинтересовался:

— Скажите, юнкер, почему вы избрали именно эту часть?

— По околышу, господин капитан. Синий пойдет к лицу.

Юнкер «имеет зуб» против инспектора классов, считая его виновником своей неудачи...

В Казанском училище я был свидетелем характерного эпизода. Юнкер с высшим в училище баллом, не имевший нашивок и поставленный поэтому после всех должностных, вышел к столу мрачный и бледный и отчетливо, резко заявил:

— В N-ю Восточносибирскую обозную полуроту.

В бараке — движение. Все — и начальство, и юнкера — смущены. Я изумлен, что присылают такие нелепые вакансии молодым офицерам, к тому же в отчаянную сибирскую глушь, и ничего не понимаю в происходящем. Начальник училища стал отговаривать юнкера:

— Подумайте, зачем вы это делаете? Перед вами столько прекрасных полков и отличных стоянок...

Вторичное твердое заявление:

— Я желаю выйти в N-ю Восточносибирскую обозную полуроту.

Мне рассказали потом историю юнкера. Отличный по наукам и по строю, он был назначен фельдфебелем. Но вскоре его разжаловали за какой-то беспорядок в роте, в котором юнкерская молва считала его совершенно неповинным. Он тяжело пережил свою неудачу и сохранил в сердце глубокую обиду. И вот теперь он так своеобразно «мстил» своему начальству: думали, мол, лишить его преимуществ, обидеть, так вот он с презрением относится к предоставляемым «ими» преимуществам; берет такую вакансию, которую не взял бы последний юнкер.

Впоследствии кто-то сумел подойти к больной душе юноши и уломать его. Откликнулось и Главное управление

военно-учебных заведений, предоставив ему более подходящее назначение.

Итак, список для Высочайшего приказа заполнен. Жребий брошен!

* * *

Судьба разбросала нас по свету. Много ли осталось в живых от выпуска 1892 г. в дни, когда пишутся эти строки? А те, что уцелели, какими путями пошли, каких станов воинами стали?

Невольно приходят на память два имени...

Военно-училищный курс окончил тогда, вместе со мною, выйдя подпоручиком в артиллерию, Павел Сытин... Впоследствии он прошел курс Академии Генерального штаба и был возвращен в строй. В конце великой войны в чине генерала командовал артиллерийской бригадой. С началом революции неудержимой демагогией и «революционностью» ловил свою фортуна в кровавом безвременье. И преуспел: поступив одним из первых на службу к большевиками, занял вскоре, но не надолго, пост главнокомандующего Южным красным фронтом.

Это он вел красные полчища зимою 1918 г. против изнемогавшего в борьбе Дона...

Юнкерский курс окончил, выйдя подпрапорщиком в пехоту, С. Л. Станкевич... Свой первый офицерский Георгий он получил в китайскую кампанию, командуя ротой сибирских стрелков, за громкое дело — взятие им форта Таку. В великой войне он был командиром полка, потом бригады в 4-й стрелковой «Железной» дивизии, участвуя доблестно во всех ее славных боях; в конце 1916 г. принял от меня «Железную» дивизию. После крушения армии, имея возможность занять высокий пост в нарождавшейся польской армии, как поляк по происхождению, он не пожелал оставить своей второй родины: дрался искусно и мужественно против большевиков, сначала командуя ответственным отрядом на полях ставропольских, потом во главе 1-й Добровольческой дивизии в Донецком бассейне, против войск... Павла Сытина. Там же и умер.

Два пути, две совести.

* * *

Славное время — лагеря. Вместо общих казематов — палатки на пять человек — обыкновенно добрых друзей — защищенные от нескромных взоров и недреманного ока начальства. Вместо книжной премудрости и шагистики — работа в поле, с прикладными ученьями и маневрами, венчающими строевое обучение и носящими в себе элементы охотничьего спорта, здорового моциона и соревнования в знании, сметливости и выносливости. Хорошо соображенные, в меру утомительные, в особенности если ранцы без укладки, эти ученья — одно удовольствие. В позднейшие годы (1899), в бытность начальником училища ген. Шуваева, введены были первый раз и подвижные сборы училища. Дней 10—12 ходил походом батальон юнкеров по Черниговской губернии, с тактическими ученьями, маленькими маневрами, переправами... Нагуливали знание, здоровье и веселость.

Юнкерская песня воспевала лагерь:

«Взвейтесь, соколы, орлами,
Полно горе горевать!
То ли дело под шатрами
В поле лагерем стоять!»

Впрочем, к концу лагеря последние две строчки звучали иначе:

.....
«Уж недолго нам осталось
Производства ожидать!»

И, чем ближе к выпуску, тем чаще, возвращаясь с ученья, роты, при молчаливом непротивлении офицеров, распевали злободневные песни, в которых — весьма прозрачными намеками — затрагивались и училищный режим, и некоторые начальники.

А между делом — гуляй! Под боком — лес и река. В лесу, у шоссе, против лагеря 2-й роты, за запретной чертой большой соблазн: балаганчик «Чуха» — со всякой снедью, с водкой и кредитом. За кухней — другой: лавочка стоявшей по соседству батареи. Туда бегали втихомолку за пивом — с чайниками, будто за кипятком на кухню.

Последние лагеря — хлопот не оберешься. Приходят портные, сапожники, шапочники — снимать мерку, примерять офицерскую форму. Первый выпуск, дело еще не налажено. Идут долгие обсуждения — у кого и какого фасона вещи заказывать, чтобы не ударить лицом в грязь. В результате всех обсуждений и добрых советов — воротники у мундиров такой высоты, что шея перестает сгибаться надолго; кителя из «чертовой кожи» сидят словно панцири, а сапоги «американского лака» до того обтянуты, что одеть их при помощи машинки еще можно, но уж снять без посторонней помощи никак нельзя. Потом — хоть брось! Впрочем, такое франтовство — не традиция, а случайная мода. Позднейшие выпуски, наоборот, щеголяли строго форменной одеждой.

Но все это мелочи. Самое важное — впереди. Близится день производства...

Мы чувствуем себя центром мироздания. Предстоящее событие так важно, так резко ломает всю жизнь, что ожидание его заслоняет собою все остальные интересы, кажушиеся мелкими, ничтожными...

Мы знаем, что в Петербурге производство обставлено торжественно, происходит в Высочайшем присутствии. Как будет у нас — неизвестно: в Киеве, за время его существования, это — первый офицерский выпуск.

Вызовут в город или поздравят в лагере? Командующий войсками или только начальники штаба?

4 августа вечером вдруг разносится по лагерю весть, будто в Красном Селе производство уже состоялось — несколько юнкеров получили из Петербурга от родных поздравительные телеграммы... Волнение и горечь: про нас забыли. Или, может быть, Высочайшая телеграмма все еще ходит по инстанциям?! Неспкойная ночь... Наутро вновь томительное ожидание и... досадное разочарование: раздается сигнал — «Выходить на занятия!»

В тот день строились мы мхурые. Офицеры как-то неуверенно отвечают на вопросы о причине задержки. Вероятно, знают, в чем дело, но не говорят... Какой-то взводный юнкер, в виде протеста, для встречи начальства скомандовал:

— Смирно! Господа офицеры!

Ротный не сердится, только улыбка в ответ. Понимает наше настроение.

Занятия скомкали. И юнкера, и даже начальство топяются в лагерь. По дороге, по традиции, роты поют прощальную песню:

«Прощайте, стены, казематы —
Я в вас два года просидел».

.....

И дальше идет поминание — кого добром, кого худом — по юнкерской совести и миропониманию.

После обеда раздается сигнал — «Сбор начальников!» Непонятно. Его играют в пределах лагеря обыкновенно для созыва на обед офицеров. Но и у них обед уже кончился... Звонкий голос дежурного юнкера разъясняет недоразумение:

— Господам офицерам строиться на передней линейке!

Мы летим стремглав, на ходу застегивая пояса. Строимся. Подходит начальник училища, читает телеграмму, поздравляет нас с производством в офицеры и кратким душевным словом напутствует в новую жизнь.

И все.

* * *

Мы несколько смущены и даже как будто растеряны: такое необычайное событие, и так просто, буднично все произошло... Но досадный налет скоро расплывается под напором радостных чувств, прущих из всех пор нашего преображенного существа. Спешно одеваемся в новую форму и неуверенной походкой, с путающейся между ног шашкой и цепляющимися — у кого есть — шпорами, идем несколько верст по пыльной дороге до первого извозчика — в город. Одни к родным или к друзьям — поскорее приобщить их к своей радости; другие — просто в город — в шумную толпу, в гудящую улицу, чтобы окунуться с головой в полузапретную доселе жизнь, несущую — так крепко верится — много света, радости, веселья...

Вечером в «Шато-де-флер», в «Минерашках», на Трухановом острове дым стоит коромыслом. Кто не помнит

первых дней после производства молодых офицеров в Петербурге, Москве, Киеве!.. Кто не смотрел с сочувственной улыбкой или добродушным ворчанием на сумасбродства молодежи! Но если вы, читатель, пуританин или просто «принципиальный противник военщины», мой вам совет: вспомните далекое и милое прошлое, праздник просвещения в старой России — Татьянин день. Когда вы забывали и годы, и седины, и больную печень... Пели «Gaudeamus», пили, целовались... И, может быть даже от избытка чувств и возлияний, клялись в верности заветам перед выдавшей всякие виды вешалкой у Яра... Ведь было?

И тогда многое вам станет понятным.

Мы кочуем гурьбой из одного места в другое, принося с собою буйное веселье. С нами — большинство училищных офицеров. Льется вино, затеваются песни, сыплются воспоминания. Под смех бывших начальников и подчиненных раскрываются развеселые юнкерские проделки.

Кто-то бесподобно имитирует речь капитана Л-го:

— Ну-с, батенька, пора отвыкнуть от домашней распушенности. Вы — юнкер!

Другой, обнявшись с капитаном К-ко, твердит упрямо:

— Нет, дорогой, не отвертись. Бутылка пива за тобой. Ведь полчайника вынул!..

Оказывается, шел юнкер за несколько дней до производства из артиллерийской лавочки, неся чайник, полный пива, и на линейке повстречался на беду с К-ко.

— Аркадий, что несешь?

К-ко говорил «ты» тем своим юнкерам, которых любил, и это очень ценили.

— Кипяток, господин капитан.

— Дай напиток!

— Обожгетесь, господин капитан.

— Ничего, выдержу.

Поднес к губам и выпил добрую половину...

— Спасибо, ступай дальше.

Молодой подпоручик полон доброго чувства к бывшему своему взводному офицеру за ласку и великодушие. «Ведь мог погубить»...

В голове — туман, а в сердце такой переизбыток нежности, что взял бы вот в охапку весь мир и расцеловал.

Должно быть у всех такое настроение, за исключением, разве нескольких забияк, вступающих в ссору с «вольными». Кажется даже, что рискни в этот день появиться среди нас поручик В-ч — тот самый, из дисциплинарного батальона — и его бы помиловали...

Потом люди, столики, эстрада — все сливается в одно многогранное, многоцветное пятно и уплывает.

* * *

Через день-два поезда уносят из Киева вновь произведенных офицеров во все концы России — в 28-дневный отпуск, после которого начинается для них новая полоса жизни и службы.



В АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЕ

I

Осенью 1892 г. я прибыл к месту службы, во 2-ю полевую артиллерийскую бригаду — в город Белу Седлецкой губернии.

Это была типичная стоянка для большинства войсковых частей, заброшенных в захолустья Варшавского, Виленского, отчасти Киевского округов — где протекала иногда добрая половина жизни служилых людей. Быт бригады и жизнь городишки переплетались так тесно, что о последней стоит сказать несколько слов.

Население Белы не превышало 8 тыс. человек, в том числе около 6 тыс. евреев. Евреи держали в своих руках всю городскую торговлю, они же были поставщиками, подрядчиками, мастеровыми, мелкими комиссионерами. Без «фактора» нельзя было ступить ни шагу; они буквально за гроши облегчали вам хозяйственное бремя жизни и доставали из Бреста, Варшавы — откуда угодно и что угодно. Кроме общедоступных средств сообщения, они пользовались еще своими особыми, значительно ускорявшими сношения: так, «пантофлевая почта» успешно конкурировала с государственной, а стенки вагонов товарных поездов были испещрены какими-то иероглифами, которые находили где-то адресатов и сообщали им цены, предложения, заказы... Скорость и дешевизна! О таких событиях, как крупный выигрыш, павший на билет варшавской лотереи, принадлежащий кому-либо из местных обитателей, перемещение в Белу новых частей, смена губернатора — мы узнавали при посредстве «пантофлевой почты» гораздо раньше, нежели из газет.

У евреев можно было покупать что угодно, обзаводиться, одеваться — в долгосрочный кредит, перехватить денег под вексель — на покрытие нехватки в офицерском содержании. Раньше этим пользовались широко и запутывались основательно. Но в мое время бригада жила скромно, не многие входили в долги. При мне оставалось только 4–5 старых офицеров — неисправных должников, с которых казначей хронически удерживал $\frac{2}{5}$ содержания по старым исполнительным листам.

Среди бельских евреев было очень мало интеллигентных людей. Почти все, не исключая семьи местного миллионера Пижица, держались крепко «старого закона»; мужчины носили длинные лапсердаки, женщины — уродливые парики; своих детей учили в хедерах; молодежь, проходившая курс в гимназиях, обыкновенно не оседала в городе, рассеиваясь в поисках более широких горизонтов.

Возле нас проходила жизнь бедного местечкового еврейства — внешне открыто, по существу же — совершенно замкнутая и нам чуждая. Там создались свои обособленные взаимоотношения, свое обложение — так же исправно взимаемое, как государственным фиском, свои нотариальные функции, суд и расправа, чинимые кагалом и почитаемыми цадиками и раввинами; своя система религиозного и экономического бойкота. В Люблине существовала подпольная анонимная лотерея, с агентурой, распространенной по всей Польше, действовавшая параллельно с государственной, на те же номера, но с уменьшенными, более доступными ставками; благодаря организованной круговой поруке не было случая неисправной уплаты выигравшим... Точно так же, как, вследствие интимных отношений с местной полицией, не было случая привлечения этого сообщества к ответственности...

Войсковые подрядчики где-то, в негласном трибунале, разграничивали между собой районы поставок, обращая официальные торги в фикцию, получая на «кормление» определенные полки и батареи.

То специфическое отношение к местечковым евреям со стороны офицерства, которое давало бесчисленные темы для старых еврейских анекдотов, для походов разве-

селех корнетов, выведенных Крестовским, к 90-м годам значительно изменилось. Буянили еще изредка неуравновешенные натуры, но дебоши не облекались уже ореолом, а ликвидировались негласно и прозаически — вознаграждением потерпевших или командирским воздействием.

Бывало, и в бригаде погуливали еще последние могикане... Старый штабс-капитан Р-в въедет верхом по десятку ступеней в лавку Кагана, напугав до обморока его вечно беременную супругу... Или, после товарищеской пирушки, возвращаясь домой глубокой ночью, подпоручик С-ий устроит извозчикам-балагулам, дежурящим на городской площади, «конное батарейное ученье»...

А наутро — хорошо еще, если только бригадирский разнос... Бывало, позовут «на исповедь» к Ивану Александровичу Гомолицкому — бессменному выборному председателю офицерского суда — это много неприятнее.

Наиболее колоритной фигурой среди «могикан» был подпоручик К-ий, опоздавший с рождением своим, по крайней мере, на четверть века. Отличный артиллерист, человек начитанный и остроумный, он был, очевидно, «рожден для бурь и битв»; и, не находя выхода своей буйной натуре в тихой заводи уездного городишки, чудил и скандалил без удержу. Прodelкам и «битвам» его не было счету.

Как-то раз захватил он на улице грязного, оборванного еврейского мальчугана, повел его в заезжий цирк и, купив два билета, посадил его с собою в первый ряд, занятый уездной знатью... Надо было видеть испуг мальчугана и возмущение знати!

Но выходки К-го носили чаще буйный характер. По поводу и без повода он чинил расправы, приводившие в трепет население и в негодование начальство. При этом ходил в толпу один и безоружный, ничего не боясь. И это, вероятно, импонировало, так как его никогда не трогали. Только однажды, преследуя человека, будто бы задевшего его, К-ий встретил отпор и угрозы со стороны собравшейся толпы. Не долго думая, он сорвал с петель дверь в ближайшей лавке и ею расправился и с «виновником», и с его защитниками. Потом, спокойно подойдя к оставленному тут же на площади коню, сел верхом и ша-

гом поехал сквозь толпу. И на ходу бросил прибежавшему на шум старшему стражнику:

— Видел, Николаев? Доложи начальнику уезда: такие удары наносил король лангобардов!

Тогда еще в бригаде не принято было сажать офицера под арест, и К-ий получал множество выговоров. Когда придет, бывало, на инспекторский смотр начальник артиллерии, в воротах собрания его ждет уже толпа евреев с письменными жалобами на К-го. В собрании потом шел разбор и расплата, и начальник артиллерии раздраженно спрашивал К-го:

— Когда же вы уйдете, наконец, в запас?

На что тот скромно докладывал:

— Обязан служить Его Императорскому Величеству три года за полученное в военном училище образование...

Любопытнее всего, что бельские евреи не питали злобы к К-му и всегда готовы были оказать ему мелкие услуги. Доходило до курьезов. В день коронации, в 1896 г., в собрании шел пир. Хор бригадной музыки играл на площади перед собранием, где толпился в праздничном настроении народ. Вышел на улицу с бокалом шампанского в руке бывший уже навеселе К-ий и, заглушая шум толпы, обратился к ней:

— Здравствуй, мой верный народ!

Толпа ответила громким «ура», музыка заиграла туш, К-го подхватили на руки и долго качали. После обеда, довольный приемом, он подкатил на тройке к балаганам, построенным на месте народного гуляния, и разбросал своему «верному народу» немалую сумму денег.

К-ий был последним представителем в бригаде отживавшего быта. Умирали легенды, и уходила почва из-под ног прямых потомков «Бурцева — еры, забияки». Уходили и люди, не умевшие приспособиться к новому скромному укладу жизни. Скоро ушел в запас Р-в, не совсем добровольно... Наступил черед и К-му.

Последний раз после очередного, особенно громкого скандала, приехавший в Белу начальник артиллерии собрал всех офицеров и вне себя стал кричать:

— *Господин К-ий!*

К-ий не шевельнулся.

— Господин К-ий!

Кто-то из товарищей дернул его за рукав сюртука; он повернул голову и тихо ответил:

— Это — не меня...

Генерал спохватился:

— *Подпоручик К-ий!*

Он вышел вперед с почтительно-скромным видом.

— Когда же вы, наконец, оставите бригаду?

— Осталось еще месяца два, ваше пр-ство...

В этот раз К-ий был посажен на гауптвахту на две недели, как говорили, «для сокращения обязательного срока службы»...

К нашему изумлению, К-ий, выйдя в запас, скоро остепенился, стал деятельным гласным одного из передовых губернских земств, потом членом Государственной Думы.

Связанный сотнями нитей с еврейским населением Белы в области хозяйственной и мелкого кредита, русский служилый элемент во всех прочих отношениях жил совершенно обособленно от него. Можно себе представить поэтому, как было шокировано уездное общество, когда распространился слух, что бригадный командир бывает за просто у казармовладельца П. и раз в неделю играет у него в преферанс... Об этом хвастал по всему городу сам П. Правда, П. был весьма честолобив; и однажды даже предложил городу вымостить и освещать на свой счет до конца живота своего казарменную улицу, в грязь непроходимую, под тем условием, чтобы ее назвали «П-ской»... Злые языки утверждали, что визиты бригадного обходятся П. не дешево... Но люди более осведомленные с возмущением отрицали материальную заинтересованность бригадира, уверяя, что там — роман... Вообще говоря, в области взаимного общения романтическая почва была единственной, разрывавшей цепи где-то и белских общественных традиций.

Однажды Бела была потрясена небывалым событием...

Пожилой уже подполковник влюбился в красивую еврейскую девушку — бедную папиросницу. Взял ее к себе, нанял ей учительницу и дал ей приличное домашнее образование. Так как они никогда не показывались вместе, и внешние приличия были соблюдены, начальство не вмешивалось: молчала и еврейская община. Но когда прошел слух, что девушка готовится перейти в лютеранство, мир-

ная еврейская Бела пришла в необычайное волнение. Грозил не на шутку убить ее... Большая толпа евреев ворвалась в дом, где предполагалось пребывание девушки, но там ее не нашли: подполковник успел ее куда-то спрятать. Возбуждение росло. Однажды евреи подкараулили подполковника на окраине города и в большом числе напали на него. Произошла какая-то темная история, результатом которой было расследование, восходившее на усмотрение командующего войсками округа. Против ожидания дело окончилось благополучно: подполковник был переведен в другую часть и на перепутье, обойдя формальности и препятствия, успел жениться.

Я слышал потом, что маленькая папиросница с достоинством носила бремя положения дивизионной и бригадной «командирши».

* * *

Как бы то ни было, когда однажды прошел слух, что бригаду переводят из Белы на Дальний Восток, все еврейское население города пришло в большое уныние. И не только потому, что бригадою оно кормилось, а потому еще, что обид от нее видело немного.

* * *

Польское общество жило замкнуто и сторонилось русских.

Мы встречались на нейтральной почве — в городском клубе или в «цукерне» пана Перткевича с мужскими представителями польского общества, иногда вступали с ними в дружбу; но домами не знакомились. Польские дамы были более нетерпимыми, чем их мужья, и эту нетерпимость могло побороть только увлечение. Такие отношения существовали в Варшавском округе почти повсеместно, реже в Северо-Западном крае, еще реже в Юго-Западном. Очевидно — в соответствии с численным соотношением «большинства» и «меньшинства»...

Офицерство в отношении польского элемента держало себя весьма тактично, и каких-либо столкновений на на-

циональной почве, даже в загулявших компаниях, я положительно не помню. Раз только случился эпизод...

В Беле квартировали временно части Либавского пешотного полка, в том числе охотничья команда, с лихим офицером и большим озорником во главе. Раз среди бела дня польское население бросилось к окнам, пораженное неслыханным явлением: по улице громко и стройно неслась песня — польский гимн:

«Еще Польша не сгинела,
Пуки мы жиемы.

.....»

Та песня, за исполнение которой — даже в четырех стенах частного дома — грозила ссылка или, во всяком случае, тюрьма... Изумление возросло еще больше, когда поляки увидели, что поют... идущие строем солдаты. И сменилось возмущением, когда разобрали слова. Либавцы-охотники пели свою песню, по-русски, на мотив только польского гимна:

«Взбунтовались поляки,
Громы загремели.
Победить царя России,
Взять Москву хотели.

Братья россы
Кто на вас восстанет?!
Там ура — победа, слава,
Где гром русский грянет».

.....
.....

Начальство прекратило этот запоздалый «спор славян между собою», и польское население успокоилось.

* * *

Русская интеллигенция Бела была немногочисленна и состояла исключительно из семейств служилого элемента или отставных военных. Все были знакомы между собой или, по крайней мере, знали друг друга. Появление нового лица тотчас же обращало на себя внимание.

В этом кругу сосредоточивались все наши внешние интересы: там «бывали», ссорились и мирились, дружили и расходились, ухаживали и женились... Танцевали до упаду на соборских вечерах или на клубных маскарадах и потом на заре по снежку, на батарейных санях — как же завидовали тем, кто имели право вызвать лошадей! — мчались в лес — николаевские шинели с «домашним бобром» и беличьими шубки...

А наши любительские спектакли, сопровождавшиеся таким волнением от ожидания, исполнения и последствий!.. Ибо редкий спектакль проходил без уязвленного самолюбия артистки, без ревности мужа или маленькой обиды кого-либо из зрителей: помню, какое, например, удовольствие доставляла публике игра талантливого любителя, поручика Д., весьма удачно изображавшего купца в комедии Островского «под командира 4-й батареи»...

Как не вспомнить еще наш зеркальный каток на речке Кшне, устраивавшийся для всего города — на праздниках с глинтвейном и музыкой — по подписке, на обер-офицерские рублишки, «красенькие» батарейных и «четвертную» бригадного...

Словом, боролись, как умели, с уездной скукой. Но когда старые офицеры рассказывали, бывало, о прошлом бригады, много лет стоявшей в Казани, про ширь тогдашней жизни, про веселье, хлебосольство, про пиры, забавы и проказы, — молодежь слушала с затаенной грустью и завистью, и бельская жизнь казалась тогда еще более серой.

Из году в год — все то же, все — те же. Одни и те же разговоры, шутки. Вы заранее знаете, что уездный казначей при встрече пожелает на геморрой; что лесничий скажет при прощании — «до сви...франция»; а дочка акцизного помет вам крепко, по-мужски руку и бросит кратко — «бывайте!». Что в городском клубе за винтом (на три множить!) начальник земской стражи, рискнув неудачно, произнесет «по-давыдовски»:

— Сорвалось!

А старый капитан Н-в, по облику похожий более на угодника, чем на воина, подведя своим ходом партнера, выругается громко и искренно:

— Ах, я — лошадь!

А когда придет время заморить червячка, пойдут всей гурьбой к буфету и набросятся на сезонные закуски. Особенным успехом пользовалась превкусная фаршированная щука — у всех, без различия вероисповедания... Только доктор З-р, желая показать, что не придерживается «старого закона», скосив глаза на щуку, скажет лакею:

— Прошэ ми дать шинки*.

Или наш милейший ветеринар, Зотик Павлович, в просторечии «Зонтик с палочкой»... Придет, бывало, в библиотеку и только буркнет присутствующим — «Здрас-те!» Но никогда не забудет пожать лапу забившемуся под стол сеттеру... Он вообще считал, что животные много лучше людей.

Большой популярностью пользовался протопоп отец Николай. Он нештатно совершал все требы бригаде; был остроумен, разнообразен и неистощим, особенно в применении текстов к мирскому быту. Отец Николай вошел всецело в наши интересы и в бригадную жизнь. И об ней — больше с иронией, чем с христианским всепрощением, — говаривал:

— У господ военных только ежели не храбрый — грех. Все же прочее — добродетель.

На что бригадный острослов, поручик Л-ий, — сам из духовного звания — отвечал лукавым вопросом:

— А не припомните ли, отец Николай, про кого это в Писании сказано: «Блажен муж спереди, а сзади — вскую шаташесь»?

Лишь два-три дома, где можно не только повеселиться, но и поговорить на серьезные темы, по волнующим вопросам... Ни один лектор, ни одна порядочная труппа не забредали случайно в нашу глушь. Разве только бродячий цирк, захолустная малороссийская «драма», подвизавшаяся в пустующих казармах Финкельштейна — неизменно прогоравшая и подкармливаемая за счет добрых сердец и тощих карманов офицерской молодежи. Да такие еще гастролеры, как «профессор белой и черной магии европейских столиц» или «артист-свистун», однажды в клубе подавившийся спрятанной во рту свистулькой.

* Ветчина.

* * *

Изредка спокойную жизнь Бельи нарушали события, волновавшие город и долго потом служившие темой разговоров...

Эксцентричная барышня В-ч, привыкшая к поклонению, на людной улице выстрелила из револьвера в упор в ехавшего верхом поручика Г-на — холодного покорителя сердец — и... промахнулась. Г-н остановил коня и приветливо раскланялся, а В-ч уронила револьвер, расплакавшись злыми слезами. Это ли не волнующая тема для всех гостиных, для маленького парка над Кшною и «телятника» — тесного четырехугольника городской площади — где бьется пульс всей бельской жизни...

А то еще — приехал в Белью новый человек, судейский — молодой, элегантный, надменный, относившийся с подчеркнутым пренебрежением к военной молодежи. Бельские дамы стали оказывать ему явные знаки внимания, в ущерб старым своим поклонникам. Судейский имел привычку никому не уступать дороги — ни старшим, ни даже женщинам. Однажды на людной площади навстречу ему шел поручик З-н, низкого роста, толстенький и невозмутимо хладнокровный человек. Когда, не желая уступить дороги, они подошли вплотную друг к другу, З-н быстро вынул из кармана револьвер и направили его в упор в судейского. Тот, изменившись в лице от испуга, бросился в сторону... А З-н, как ни в чем не бывало, вложил дуло револьвера в рот и... отгрыз. Револьвер был игрушечный, — шоколадный...

С этого дня звезда судейского на бельском горизонте закатилась навсегда.

Или когда в бельском свете появилась варшавская львица — военная дама, взбудоражившая городок и послужившая причиной многих недоразумений, ссор и даже дуэли. Только потом стало ясным, что столкновение двух наших поручиков она устроила умышленно, чтобы к блеску своему прибавить еще одну дразнящую деталь: из-за нее стрелялись...

Было воскресенье — канун разрешенной офицерским судом дуэли. Собор полон молящихся. Там и один из со-

перников — Л-ий. Входит она — провожаемая сотнями горящих нестерпимым любопытством глаз. Ставит свечу и театральным жестом бросается на колени перед иконой.

Л-ий, в самые исключительные минуты не терявший своего скептического юмора, наклоняется к сосуду:

— Какая, в сущности, подлость — ставить одну свечку... Ведь это, без сомнения, *за него*...

Дуэль окончилась благополучно: ожоги уха и погона. Но гремели, бывало, выстрелы и трагические...

В течение четырех лет подряд было четыре случая самоубийства молодых, славных офицеров. Один — скромный, мягкий, любимый товарищами — покончил с собою из-за скрытого недуга. Еще за год до того он пытался застрелиться, но рука дрогнула. Вбежавший из соседней комнаты на выстрел его сожитель Л-ий, поняв, что произошло, спокойно обратился к нему:

— Я не разрешал вам пользоваться моим револьвером. Потрудитесь почистить...

И юноша, смертельно бледный, принялся покорно, дрожащими руками за чистку револьвера.

Товарищи догадывались о том, что происходило в душе его. Близкий друг и преданный денщик — вдвоем — оберегали его, в особенности в минуты раздумья. И не убеждали.

Его смерть произвела на офицеров сильное, гнетущее впечатление. Помню, как, приехав поздним вечером из Варшавы на похороны своего приятеля, я зашел поклониться его праху: открытая пустая квартира, мрак; чуть брезжат свечи в паникадилах; в гробу — длинное тело; вместо головы, развороченной ружейной пулей, безобразный ком из марли и лоскутьев кожи... Повеяло жутью. В эту ночь я был свидетелем коллективного психоза: люди, вовсе не робкие, глядевшие потом много раз бестрепетно в глаза смерти, боялись темной комнаты, собирались вместе и не расходились по домам до утра, чтобы не оставаться наедине со своими думами и с мистическим призраком покойного...

История другого самоубийства покрыта тайной. Есть полное основание предполагать, что оно явилось результатом чего-то вроде американской дуэли, в которой одна сторона, будто бы обиженная, играла наверняка, так как

по нравственным своим качествам заведомо не подчинилась бы персту рока... Прошло несколько лет, и рок отомстил. Тот — другой, поставленный своими поступками в безысходный тупик, искал смерти и нашел ее — далеко, далеко от Белы...

Третий... Молодой поручик, общительный, жизнерадостный... Задолго до рокового дня он весело говорил друзьям, что скоро его не станет. Так весело, что никто ему не верил. «Рисуется»... Однажды, среди веселой пирушки он вынул револьвер, заряженный через патрон, повертел, не глядя, барабаном, приложил к виску, нажал спуск... Выстрела не последовало. Вечером он повторил «игру», но заложив уже шесть патронов (одно гнездо пустое), и... человека не стало.

Одни говорили потом — фаталист, наследственная неврастения. Другие — что подпоручик узнал достоверно мучившую его тайну рождения... Бог весть, каким недугом болела молодая душа.

Четвертый застрелился из-за болезни, которую он считал неизлечимой.

Все эти случаи самоубийства имели подкладку чисто субъективную. Но далеко не простая случайность, что первые три произошли в сумеречные годы бригадной жизни, выбитой из колеи.

* * *

Волновали иногда Белу и другого рода события.

В 14 верстах от города располагался Леснянский женский монастырь. При нем была школа, подготавливавшая народных учительниц, и, вообще, монастырь играл миссионерскую роль среди сплошь почти униатского или — по официальной терминологии — «упорствующего» населения Седлецкой губернии. Благодаря энергии настоятельницы, матери Екатерины (в миру гр. Ефимовская), обитель пользовалась вниманием высоких сфер. Ее посещали варшавские генерал-губернаторы, а на моей памяти (1900) и царская семья, проездом из Беловежа в Спалу.

Путь в обитель лежал через Белу, и можно себе представить, какое волнение вызвала в городе весть о Высочайшем

проезде. С лихорадочной поспешностью шоссировали по пути проезда ухабистые городские мостовые — злейшие враги бельских балагул; по инициативе начальника уезда все заборы и стены по пути проезда спешно покрасили в белый цвет, чтобы город выглядел приветливее и «оправдывал свое имя»... А уж тревог-то сколько было!.. Уездные власти исхудали от бессонных ночей, от страха и забот.

Всего четверть часа длился проезд Высочайших особ через город, столько же обратно... Но остался в памяти залустного городка, как мистическое видение из другого, неведомого мира, заслонив собой надолго все прочие события бельской жизни. Стал отправной датой хронологии.

Через два года в память посещения Государя в городском сквере, по подписке со всего уезда, был сооружен памятник — чугунная серая колонна, украшенная позолоченным государственным гербом.

Бригада ко времени проезда стояла лагерем под Брест-Литовском и во встрече не участвовала.

Случайно мне пришлось присутствовать и при другом торжестве — проезде через Белу Варшавского генерал-губернатора и командующего войсками гр. Шувалова.

В брест-литовском лагере прибывшая с Кавказа 38-я пех. дивизия устроила грандиозное пиршество своим новым соратникам — 2-й пех. дивизии, вошедшей в один с нею корпус. Присутствовало и все высшее начальство, до командующего войсками включительно. В просторных шатрах царило веселье, лилось рекою кахетинское, раздавалось могуче «мравалжамиер». Кавказское гостеприимство известно! Гр. Шувалов отдал дань ему и пришел в весьма благодушное настроение.

Возвращаясь обратно, он должен был остановиться в Беле, чтобы оттуда проследовать в Леснянский монастырь.

Встречал его город торжественно, почти по-царски. С представителями ведомств, толпами народа, шпалерами гимназистов, поднесением свитков торы еврейским населением. Проезжая по городу, гр. Шувалов остановился у местной гимназии, сошел с экипажа и вошел в здание. В рекреационной зале его встретил весь учительский персонал. Граф молча обвел глазами присутствующих, пройдя мимо директора, направился к учителю с густой черной

бородой и важной осанкой — известному в городе пьянице, и поздоровался с ним одним... Потом, отыскав глазами гимназического священника, подошел под благословение и поцеловал ему руку, приведя в великое смущение скромного батюшку. Выйдя затем на улицу, сел в экипаж и, подозревая к себе самого маленького гимназиста, что-то шепнул ему на ухо.

И уехал.

Гимназическое начальство окружило малыша, забросав его вопросами — что сказал генерал-губернатор? Оказалось:

«Asinus asinum fricat»*.

Общее смущение.

Долго с тех пор в клубе, в гостиных, в особенности в гимназии ломали головы, стараясь расшифровать таинственный смысл — буквальный был понятен — слов генерал-губернаторских. Какое отношение имели они к гимназии и означали ли похвалу или порицание?.. Директор ждал беды, инспектор — повышения, а священник, охотно рассказывал знакомым про этот случай, скромно опуская глаза, добавлял:

— Конечно, не мне, а сану моему почтение оказали...

В обычное время, когда не было «событий» и «потрясений», Бела жила тихо и мирно. Серенькая жизнь, маленькие интересы — чеховские будни. Только деловые и бодрые — без уездных гамлетов и «дядей Ваней», без нытья и надрыва. Потому, вероятно, они не засасывали и вспоминаются теперь с доброй улыбкой.

И, кроме того... мы были молоды тогда...

* * *

Бригадная молодежь вне службы совершенно свободна. Спорта не было тогда и в помине; уездное общество, карты, буфетная стойка или книга. Что могла дать больше Бела? Мои два товарища, одновременно со мной вышедшие в бригаду, как тогда острили, сделали визиты «цирку-

* Прямой смысл: осел трется об осла; переносный: когда два собеседника неумеренно хвалят друг друга.

лярно всем, у кого был только звонок у подъезда»... И «бывали» всюду. Я же предпочитал общество своих «фендрихов», которые собирались поочередно друг у друга по вечерам, иногда играли в винт, умеренно пили и много пели. Певали охотно «Дубинушку» и «Укажи мне такую обитель», влагая в эти песни более доброго чувства, чем общественного протеста. А больше всего любили петь:

«Из страны, страны далекой,
С Волги-матушки широкой
Ради сладкого труда,
Ради вольности высокой,
Собралися мы сюда

.....
.....

Но с надеждою чудесной
Мы стакан, и полновесный —
Нашей Руси. Будь она
Первым царством в поднебесной
И счастлива и славна».

Этой песне поэта Языкова, относящейся ко времени его студенческих лет (Дерпт), особенно посчастливилось. В 1880—1890 гг., где только не распевала ее офицерская и студенческая молодежь! Часто — с искажениями и «отсебятиной». Одни подымали первый тост наш за народ, за святой девиз «вперед!». Другие — «...за вино — и счастливо и хмельно...»

Во время своих пирушек молодежь разрешала попутно и все мировые вопросы, весьма, впрочем, элементарно.

Ведь все основное было разрешено испокон века... Государственный строй был для офицерства фактом predetermined, незыблемым, не вызывающим ни сомнений, ни разнотолков. «За веру, царя и отечество». Критика редко шла дальше придворного анекдота, хоть, впрочем, этот анекдот — часто обоснованный и ядовитый — и тогда уже рассеивал мистику отношений к лицам, не колебля нисколько идеи. Отечество воспринималось горячо, нутром, как весь сложившийся комплекс бытия страны и народа — без анализа, без знания его жизни, без углубления в туманную область его интересов.

Разве мало людей вообще носило в сердце своем такое интегральное отечество, любило его и умирало за него?

Социальные вопросы почти не интересовали военную молодежь, проходя мимо сознания ее, как нечто чуждое или просто неинтересное. В жизни их почти не замечали; в литературе — страницы, трактовавшие о социальной правде и неправде, перелистывали как нечто досадное, мешавшее развитию фабулы... Да и, вообще, читали мало.

Последнее явление, верное в широком обобщении, по времени и месту претерпевало, впрочем, большие колебания. И в нашей бригаде, в зависимости от подбора менявшегося офицерского состава, от наличия двух-трех энергичных и любознательных офицеров, а главное, просвещенного бригадного командира, интеллектуальная жизнь офицерства временами подымалась высоко. Как общее правило, в артиллерии читали больше и серьезнее, чем в пехоте и кавалерии; в мое время в бригаде более усердно занимались самообразованием старшие обер-офицеры; зеленая молодежь была более легкомысленной, а штаб-офицеры книгой почти не интересовались. В одном статистическом отчете о движении книг в офицерских библиотеках целой пехотной дивизии, я нашел такую градацию читателей по чинам, имевшую, несомненно, основание в бытовых и служебных условиях жизни пехоты: наиболее прилежными читателями были поручики, потом штабс-капитаны, подпоручики, штаб-офицеры и наименее — капитаны... Действительно, капитан — ротный командир в иерархии старой армии был тружеником наиболее беспросветным, не имевшим ни досуга, ни... будущего.

Так и жило офицерство. В полузамкнутом кругу лиц и идей; не проявляя любопытства к общественным и народным движениям; с предубеждением относясь к умренным общественным кругам, без основания подозреваемым в «потрясении основ»; встречая с их стороны большее или меньшее идейное отчуждение. Покуда... громы первой революции не разбудили и тех и других и не заставили открыть глаза и призадуматься. Очень многих, но далеко не всех. Остались ведь незрячие и до сего дня — после всех потрясений великой войны и второй революции.

В то время бригадой правил генерал С[афоно]в — один из вымиравших типов доброго старого времени, в формуляре которого непостижимым образом переплетались такие разнородные профессии, как шестнадцатилетняя служба заводская и в должности осматривающего оружие, заведование опереткой и командование батареей... Который в свое время выезжал на стрельбу с самоварами и открывал огонь по взмаху платочком несравненной Анны Павловны — давно уже покойницы.

Прожив широко, весело и беззаботно до старости, С[афоно]в, после тринадцати лет командования батареями, сдал за глаза батарейное хозяйство своему преемнику, уплатив тысячи полторы «отступного», одел столь долгожданные лампасы и стал бригадным командиром. Слишком добрым, несведущим и слабым, чтобы играть руководящую роль в бригадной жизни.

Но странное дело: то сердечное отношение, которое установилось между офицерством и бригадным, искупало его бездеятельность, заставляя всех работать за совесть, с бескорыстным желанием — не подвести бригаду и добрейшего старика. Впрочем, любовь к своему специальному делу и добросовестное к нему отношение — за редкими исключениями — были традицией и старых, и молодых полевых артиллеристов. Мы любили конные ученья, спорили горячо по вопросам пристрелки, волновались перед батарейными состязаниями и считали счастьем получить самостоятельную стрельбу... Это счастье вначале было совершенно недоступно обер-офицерам, так как снаряды отпускались только для командиров батарей; и только с 1895 г. ничтожное число снарядов, главным образом гранат, предоставлено было и обер-офицерам.

Немалое влияние на бригаду оказывал и тот дух, который царил в войсках Варшавского округа вообще — в гуркинские времена: воспитывавший в труде, бодрости, инициативе, в сознании служебной и моральной ответственности и в чисто боевом направлении всей нашей работы. Требовательность свыше и близость границ вероятного противника создавали особую настороженность и повышенную

готовность. Самого генерала Гурко, за эти два последних года его командования, мы — молодые офицеры — видали лишь два-три раза на смотре и на маневрах, а голос его слышали только, когда он здоровался и хвалил наши части... Но обаяние его личности было велико, его присутствие наэлектризовывало, его имя внушало и трепет, и веру.

Этого не дают одни знания или личная доблесть. А нечто еще другое, составляющее секрет полководца.

2-я бригада в эти годы представляла из себя на редкость спянную часть. Я застал батарейных командиров в большинстве на шестом десятке. Служебное положение и возраст их представляли нечто среднее между командиром полка и батальона, а бытовая близость к подчиненным офицерам — такая же, как у ротного или эскадронного командира. Поэтому между молодыми офицерами и батарейными командирами сохранялись еще те отношения — отголосок постепенного отмиравшего прошлого, — когда командир совмещал в своем лице «отца» и товарища. Молодой офицер прежде всего получал служебное воспитание в батарее; бригадное общество вносило только «коррективы», довоспитывало.

Не все, конечно, наши командиры были хорошими воспитателями... Одной батареей командовал человек очень сухой и до такой степени разделявший бремя командования со своей супругой, что в его отсутствие фельдфебель, минуя заместителя, ходил к командирше с вечерним рапортом... Другой любил выпить и поиграть в штосс с молодежью, быстро переходя на «ты», с взаимным похлопыванием по плечу и поругиванием...

Но не они давали тон бригадной жизни. Двумя батареями командовали крупные личности, известные и за пределами бригады. На И. А. Гомолицкого и В. И. Амосова равнялись все и вся в бригаде. Их батареи были лучшими на полигоне. Их любили как лихих командиров и одновременно как товарищей-собутельников, вносивших смысл в работу и веселье в пиры. Особенно молодежь. Мы знали, что, признавая права молодости — быть может бесшабашной иногда, но редко преступной, — они поймут и не казнят ее за промахи; что, когда над чьей-либо головой стряется несчастье, в И. А. и В. И. всегда можно найти надежную защиту. А авторитет их был общепризнан. Если

при этом нужна была санкция бригадного, то для такого случая существовал честный, хмурый и неразговорчивый человек — бригадный адъютант, штабс-капитан Ж-в. По-ворчит, помолчит и напишет:

«Командир бригады приказал...»

Этот порядок настолько приобрел права гражданства, что однажды в собрании старик-бригадный обратился к адъютанту:

— Яков Федорович, прочтите-ка, что я им приказал?!

Словом на Гомолицком, Амосове и на традиции, как на трех китах, держалась вся бригада.

С[афоно]в пребывал в блаженном неведении, пил красное вино и трепетал перед смотрами начальника артиллерии, генерала Постовского — человека с крупным именем в артиллерийском мире, знавшего тонко бригадную жизнь. И больше всего боялся, чтобы не попасться на глаза командующему войсками...

А в бригаде кипела работа, выделявшая ее среди других частей полигона. Постовский благоволил к бригаде и «с оказией» передавал:

— Скажите С[афоно]ву, чтобы меня не боялся. В бригаде дело идет хорошо, я его не трону и лентой не обойду.

Но ленты — предела своих мечтаний — старик так и не получил. Он умер летом, когда бригада была далеко от штаб-квартиры. Умер так же незаметно, как и жил. Только депутацию из нескольких офицеров отпустили в Белу — отдать последний долг своему командиру... Захлопнулась крышка гроба, четыре почтамтских клячи в рваной веревочной упряжи, запряженные в запасный лафет, свезли гроб на кладбище, и... все.

Доброго старика искренно пожалели. Никто, однако, не думал, что с его смертью так резко изменится судьба бригады.

* * *

Приехал новый генерал — Л-в.

Этот человек с первых же шагов употребил, казалось, все усилия, чтобы восстановить против себя всех, кого судьба привела в подчинение ему.

Прокомандовав лет 15–18 батареями в одном из внутренних округов, будучи материально обеспечен и мало интересуюсь службой, он мирно «дослуживал», как вдруг состоялось неожиданное назначение его командиром бригады — из восьми батарей, с большим числом подчиненных офицеров, с одиннадцатью штаб-офицерами!.. Человек грубый по природе, Л-в после такого резкого служебного скачка стал еще более груб и невежлив. Со всеми — военными и штатскими. А к обер-офицерам относился так презрительно, что никому из нас, за исключением адъютанта и казначея, не подавал руки. Однажды в частном доме, куда пришел Л-в и, по обыкновению, поздоровался не со всеми гостями, хозяйка дома демонстративно подвела и представила ему находившихся там офицеров... его бригады... Какой-то шутник послал Л-ву наложенным платежом книжку Гофмана «Хороший тон»... Но ничто не помогало. Не давая себе труда запомнить фамилии своих офицеров, даже старших, Л-в пренебрежительно бросал:

— Послушайте, *mom!*

Л-в не интересовался совершенно нашим бытом и службой. В батарее он просто никогда не заходил. Только разве в дни инспекторских смотров, приводя к присяге молодых солдат и других бригадных церемоний. При этом раз — на втором году командования — он заблудился среди казарменного расположения, заставив около часа прождать всю бригаду, собранную в конном строю на площади.

Он замкнулся совершенно в канцелярии, где неизменно и регулярно просиживал с утра до 4 часов дня, и развел невероятный бюрократизм. Оттуда сыпались на головы батарей циркуляры, предписания, запросы — по форме резкие и ругательные, по содержанию — обличавшие в Л-ве отжившие взгляды и незнание им артиллерийского дела. Это обстоятельство еще более уронило его в глазах офицерства. То, что прощали добрейшему старику С[афоно]ву, не могли простить Л-ву.

Из канцелярии сыпались еще и взыскания. Когда первый раз почтенный много семейный капитан Н-в ни за что ни про что попал в Брест-Литовск на две недели на гауптвахту — факт доселе в летописях бригады небывалый — это произвело огромное впечатление. Но, мало-помалу, впечатлительность притуплялась. Сверху — грубость и произвол, снизу — озлобление и апатия.

— Я вас очень прошу, продвиньте Ивана Александровича, это — достойнейший командир, — говорил Л-ву, уходя в отставку, генерал Постовский.

Этих слов было достаточно, чтобы Л-в возненавидел сразу и И. А., и его батарею, которая вдруг стала считаться чуть ли не худшей в бригаде.

И все в ней перевернулось.

В. И., получив бригаду, ушел еще до появления Л-ва; у И. А. опустились руки, офицеры приуныли. Все, что было честного, дельного, на ком держалась бригада, примолкло и замкнулось в себя. Подняли головы новые люди — приспешники власти, до тех пор неценимые и незаметные. Началось явное разложение. Пьянство и азартный картеж, дразги и ссоры стали явлением обычным. Трагическим предостережением прозвучали один за другим выстрелы, унесшие молодые жизни... Многие забыли дорогу в казармы. Казалось, что только в силу инерции, и ни чем неискоренимой традиции в течение четырех лет могла существовать, стрелять и маневрировать часть, в которой не было головы, а занятия вел — как тогда говорили — главным образом... Николай Угодник. И если кризис не наступил раньше, Л-в обязан был этим своему адъютанту, поручику И-ву — человеку умному и порядочному, который до некоторой степени умерял командирские выходки и сглаживал возникавшие столкновения.

Мне лично довелось служить при Л-ве лишь меньше года. Первые два года офицерской жизни прошли весело и беззаботно. На третий я — в числе четырех сверстников — «отрешился от мира» и сел за науки. С тех пор мир для нас замкнулся в тесных рамках батареи и учебников. Начиналось настоящее подвигничество, академическая страда, в годы, когда жизнь только еще раскрывалась и манила.

Жизнь бригады замутилась. А Л-в сидел в канцелярии и ничего не видел, что творилось вокруг. Он только писал. И перо его дышало злобой. Не видел ничего и новый начальник артиллерии. А когда доходили до него тревожные сведения, писал очередной запрос Л-ву и удовлетворялся его ответом.

Наконец, нависшие над бригадой тучи разразились громом, который разбудил заснувшие власти.

В бригаде появился новый батарейный командир, подполковник 3-в — темная и грязная личность. Я не стану распространяться об его похождениях из чувства уважения к родной бригаде. Достаточно сказать, что многие офицеры — факт в военном быту небывалый — не отдавали чести и не подавали руки штаб-офицеру своей части... Суда чести для штаб-офицеров в то время еще не существовало, а начальство было глухо...

Летом в лагерном собрании 3-в нанес тяжкое оскорбление всей бригаде. Терпение офицеров лопнуло. Генерал Л-в был на водах, И. А. Гомолицкий также. Бригадой временно командовал один из дивизионеров, не пользовавшийся авторитетом. Все обер-офицеры решили собраться вместе, чтобы обсудить создавшееся положение.

Небольшими группами и поодиночке стали стекаться на берег Буга, в глухое место. Мне рассказывали потом некоторые из участников об испытанном ими чувстве смущения в необычной роли «заговорщиков»... На собрании установили точно преступление 3-ва, и старший из присутствовавших, капитан Н[ечаев], взял на себя ответственность — подать докладную записку по команде от лица всех обер-офицеров. Записка дошла до начальника артиллерии, который положил резолюцию о немедленном увольнении в запас подполковника 3-ва.

Время шло; дивизионер, временно командовавший бригадой, заболел «дипломатической болезнью»; его сменил другой, еще более боявшийся «выносить сор из избы»; 3-в уехал в месячный отпуск и... вернулся. Стало известно официально, что отношение к 3-ву на верхах изменилось, и он предназначен к переводу в другую бригаду.

Тогда 25 офицеров — каждый от себя — подали рапорты по команде. Растерявшийся временно командующий разрешил всем подавшим собраться и обсудить — не удовлетворится ли обществом офицеров переводом 3-ва... Собрание через старшего капитана ответило единодушно — нет!

Шел уже пятый месяц со времени начатия «дела 3-ва». Командир бригады, генерал Л-в, вернулся с минеральных вод, но, узнав, что делается в бригаде, сказался больным и в течение двух месяцев не выходил из дому, никого не принимал, даже бригадного адъютанта...

Между тем в конце декабря (1898 г.) получился в бригаде «Русский Инвалид», в котором офицеры, к своему удивлению и возмущению, прочли о переводе 3-ва в одну из кавказских бригад... Большая группа офицеров стояла на площади, в часы гулянья, когда мимо, развалясь в экипаже, проезжал 3-в. Никто не отдал ему чести, а он, смеясь, двумя растопыренными ладонями показал им «нос» и скрылся из виду....

В тот же день обер-офицеры, собравшись на квартире одного из капитанов, составили и отправили коллективную докладную записку на имя товарища генерал-фельдцейхмейстера, снабженную 28-ю подписями. В ней описали весь ход «дела 3-ва», просили представить записку генерал-фельдцейхмейстеру, вел. кн. Михаилу Николаевичу, и «дать удовлетворение (их) воинским и нравственным чувствам, глубоко и тяжко поруганным».

Представляется в высшей степени странным безучастие во всей этой громкой истории — в той или другой роли — штаб-офицеров бригады... Действительно, в тот период ее упадка влияние их почти вовсе не сказывалось. С реорганизацией артиллерии (введение дивизионеров) произошли большие перемены в командном составе, появились новые люди, не вполне еще вошедшие в жизнь бригады; двое были замешаны косвенно в 3-скую историю; одних — офицерство не уважало, других — наоборот — оберегало от возможных последствий выступления, накануне предстоявшего им повышения... Оттого вопрос бригадной чести попал тогда исключительно в обер-офицерские руки.

Проходили дни в томительном ожидании.

В середине января получен был из Петербурга запрос — на каком основании бригадное начальство ввело в заблуждение Главное артиллерийское управление, донеся, что офицерское общество удовлетворится переводом 3-ва, когда по «имеющимся сведениям» это не верно... После запроса началось расследование, и, наконец, в одно прескверное утро приехал в бригаду начальник артиллерии, собрал всех офицеров и объявил им грозную резолюцию великого князя... Подполковник 3-в увольнялся со службы в дисциплинарном порядке; одновременно были уволены два штаб-офицера — слабые, но в душе порядочные и пользовавши-

еся расположением офицерства, вовлеченные в грязную историю 3-м. Начальнику артиллерии и командиру бригады объявлялся выговор. Точно так же выговор получили все офицеры, подписавшие незаконное коллективное обращение, а старший из них, капитан Н[ечаев] переведен в другую бригаду. Великий князь высказывал свое суровое осуждение порядкам, установившимся в бригаде...

Прочтя предписание, начальник артиллерии в пояс поклонился генералу Л-ву.

— Благодарю вас, ваше превосходительство. Я вас слушал, вам верил... Вам всецело я обязан тем позором, что упал на мою седую голову.

Судьба 3-ва завершилась по заслугам. Он служил потом где-то исправником, но был удален за взятки и пьянство. Во время японской войны был призван на службу и назначен командиром ополченской дружины; в этой должности проворовался и был предан суду, и присужден в арестантские роты.

Командиру бригады, ген. Л-ву, дали дослужить еще полгода — до предельного возраста. Уходя, он проклинал начальство и закон за причиненную ему несправедливость...

Если бы не жена Л-ва — женщина приветливая и добрая, вероятно, немного из его бывших подчиненных собралось бы проводить его. Но дамы уломали своих мужей, и небольшая группа провожавших толпилась в буфете тесной и грязной станции уездного городишки. Жена поручика Л-го — известного читателю скептика и острослова — питавшая преданные чувства ко всякому начальству мужа, пыталась даже прослезиться...

— Не плачь, кошечка, начальство доброе; оно не оставит нас без командира! — утешал ее ласково муж.

Поезд тронулся, унося с собою навсегда человека, вторгнувшегося так грубо, нелепо в бригадную жизнь и оставившего после себя тяжелое наследие.

* * *

Наступило междуцарствие — правление временных командиров, не изменившее несколько установившегося течения жизни.

Наконец, приехал вновь назначенный командующий бригадой, полковник Завацкий, спустя несколько месяцев произведенный в генералы. По формуляру — в возрасте под 50, прослужил в Туркестане 16 лет, участник Хивинского и Кокандского походов... Последние годы был дивизионером в нашем же округе. Больше ничего о нем в бригаде не знали. Приезду его предшествовали, как всегда, слухи, но туманные, неопределенные, из которых нельзя было составить себе понятие о личности командира.

Завацкий начал с того, что, запершись в кабинете с адъютантом, говорил с ним часа три. О чем был разговор — этого никто не узнал.

Жизнь в бригаде между тем шла своим чередом. Казалось, прибытие нового начальника не отразилось нисколько на ее течении. Командир часто заходил в собрание, где первое время столовался; любил поговорить, порассказать «коротенько» эпизоды из своей жизни и службы, в особенности туркестанской; разговаривал одинаково приветливо с полковником и с подпоручиком и никому не делал замечаний... Как-то в разговоре он заметил:

— По моему убеждению, обучение может вести как следует только офицер. А если офицера нет, так лучше бросить совсем занятие...

Шел уже первый час. Адъютант нетерпеливо перелистывал бумаги «к докладу», ворчал на писарей и поглядывал в окно. А командира все нет; пришел он в управление только в час. Это повторилось на другой день и в последующие.

Как-то утром влетает в управление бригады поручик В-в и, подозрительно косясь на дверь командирского кабинета, шепотом спрашивает адъютанта:

— Что, командир ничего не говорил про меня?

— Его нет, можете говорить громко. В чем дело?

— Представьте себе, сегодня я проспал занятия, а он в 9 часов пришел в манеж и отгонял мою смену...

— Да ну!

— И ни слова не сказал батарейному...

Адъютант загадочно улыбнулся; казначей, по привычке, свистнул от изумления.

А командир между тем зашел на другой день в 5-ю батарею — позанимался там с наводчиками, в 4-й прове-

рил молодых солдат, в 1-й произвел ученье в парке; успокоил командира батареи, который, получив известие о появлении бригадного, наскоро оделся и прибежал, запыхавшись, в парк:

— Мне не трудно. Я по утрам свободен.

Когда недели через две кто-то из товарищей, встретив на улице в 8 часов утра самого беспутного штабс-капитана, проигравшего всю ночь в штос и забывшего было дорогу в батарею, с удивлением спросил:

— Куда это ты?

Штабс-капитан ответил мрачно, но решительно:

— В батарею.

Впрочем, и штос вскоре прекратился. Завацкий собрал отдельно штаб-офицеров, потом обер-офицеров, вел с ними долгую беседу о деморализующем влиянии азарта и потребовал властно — тоном суровым и искренним, так всегда импонировавшим — прекращения азартной игры. Все понимали, что не пустой угрозой звучала его фраза:

— Я никогда не позволил бы себе аттестовать на батарею офицера, ведущего азартную игру.

Старые капитаны — главные коноводы игры — на приглашение молодежи «составить штосик» стали отказываться:

— Стоит ли с вами играть, с мелкотой...

И штос, открыто и нагло царивший в офицерском собрании, перешел на время в холостые квартиры, с занавешенными окнами, и мало-помалу стал выводиться.

В общественных отношениях установилась сдержанность, нарушенная предшествовавшим режимом. Когда один капитан попробовал как-то раз «шепнуть» генералу по поводу неодобрительного поступка другого, вечером в собрании перед тактическими занятиями Завацкий, как будто мимоходом, при всех спросил:

— Да, кстати, как это у вас вышло, Михаил Федорович? Мне Николай Николаевич рассказывал сегодня, будто бы вы...

Этого было совершенно достаточно.

Таким образом, исподволь, без ломки налаживалась бригадная жизнь, постепенно освобождаясь от наносных, чуждых ей настроений. Зная и требуя службу, генерал близко

вошел и в быт бригадный. Казалось, не было такой стороны его, в которой пятилетнее командование Завацкого не оставило бы благотворного влияния. Начиная с благоустройства лагеря, бригадного собрания, солдатских лавочек, построенной им впервые в Беле гарнизонной бани, и кончая воспитанием молодежи и искоренением «помещичьей» психологии — этого пережитка артиллерийского прошлого — который не переводился еще в среде батарейных командиров.

Когда в городишке узнали, что новый командир привез с собою 20 ящиков с книгами и заставил книжными шкафами две комнаты, одни удивились, другие с недоумением пожали плечами. Но Завацкий, как оказалось, не только собирал книги, но и много читал, много знал. Не рисуясь вовсе своей эрудицией, в разговорах с военной молодежью он сумел заинтересовать одних и вызвать чувство неловкости от своей отсталости — в других. При нем и бригадная библиотека достигла больших размеров и богатого содержания, а главное, перестала быть мертвым грузом...

В служебной и частной жизни офицеров появился новый благотворный фактор:

— Сходи к командиру!

Эта фраза по адресу тех, что так или иначе нуждались в помощи и совете, не казалась уже ни добродушной шуткой, как было при С[афоно]ве, ни издевательством, как при Л-ве. «Сходить к Завацкому» считалось решением простым, необходимым и, несомненно, приводящим к положительным результатам.

Дисциплинарные взыскания на офицеров, казавшиеся недавно необходимым устоем службы, больше не применялись. Провинившихся Завацкий приглашал в свой кабинет. О, эти приглашения!..

Однажды в собрании, куда сходились к обеду офицеры, сидел за столом штабс-капитан С-ий — человек в глубине души весьма порядочный, но злоупотреблявший иногда «спиртом». Сидел мрачный, ожесточенно тер лоб и пил содовую воду.

— Что с тобой, Андрейка?

— К Завацкому позвали...

— Ну, так что же?

— Черт возьми! Пусть бы он лучше меня на гауптвахту посадил, чем идти к нему разговаривать...

В разговор вмешался читавший рядом газету штабс-капитан Л-ий:

— Согласен с мнением предыдущего оратора — перспектива незавидная. Это — человек, обладающий какой-то удивительной способностью в безупречно-корректной форме в течение полутора часов доказывать тебе, что ты — тунеядец или держишься не вполне правильного взгляда на офицерское звание...

— Послушайте, вы осторожней! — обиделся С-ий.

— Бросьте, Андрейка, по собственному опыту говорю.

Впрочем, в случаях исключительных командир предлагал лицу несоответствующему оставить бригаду, не пощадив и двух батарейных командиров. Случаи эти были редки и не вызвали двух мнений относительно своей необходимости и целесообразности.

После окончания Академии я вернулся в строй и прослужил два года в бригаде под начальством генерала Завацкого, поучаясь многому в его школе. Время сглаживало быстро последствия предшествовавшего режима. И к концу первого года своего командования, на бригадном празднике, в одной из застольных речей, подводившей итоги прошлого, Завацкий услышал нелестивые слова, с воодушевлением поддержанные всем собранием:

— ...Но мимо, господа, этого смутного времени, мимо! Тем более, что тучи давно уж пронеслись и горизонт опять стал чист и ясен.

Прокомандовав бригадой пять лет, Завацкий, как выдающийся генерал, получил высокое назначение — помощника начальника Главного артиллерийского управления. Строевой командир и выдающийся воспитатель войск, как это случалось нередко, был приставлен к чужому для него и чуждому бюрократическому делу.

В 1909 г. он умер.

III

В начале девяностых годов продвижение по службе в артиллерии, как я уже говорил, было очень медленное.

Батарею — венец карьеры большинства — получали на 23—25 году службы. Промежуточной должности — командира дивизиона — тогда не было и потому с батареи большинство уходило в отставку или... в могилу. Лишь очень небольшой процент выдвигался на высшие должности. Исходя из грубого расчета: 50 полевых бригад или 300 батарей и 3—5 лет пребывания в должности бригадного командира, нужно было обладать большой удачей или долголетием, чтобы в нормальной очереди дослужиться до бригады.

Неудивительно, что бремя лет тяготело над командным составом, и наши командиры не могли проявлять молодой резвости... В 1893 г. артиллерия, собранная на Рембертовском полигоне, в том числе наша бригада, была вызвана в Варшаву на смотр командующего войсками генерала Гурко. Смотр происходил в необычных условиях, имея целью испытание подвижности и лихости полевой артиллерии.

На Мокотовском поле были устроены искусственные овраги и насыпи, крутые повороты и другие препятствия, которые батареи проходили повзводно, на рыси и галопе. Сломалось несколько дышел, порвали несколько построков, но в общем артиллерия выдержала это испытание успешно. После этого были вызваны генералы, офицеры и фейерверкеры, и им устроена была езда на карьере, с препятствиями. Только бригадным командирам разрешено было объезжать препятствия. Командующий войсками, окруженный блестящей свитой, наблюдал за тем, что происходило, он — с гневом, свита — с нескрываемой насмешкой...

А происходило настоящее позорище.

Молодежь и часть батарейных командиров скакали лихо, но старики имели жалкий и беспомощный вид. Некоторые из них пытались брать барьеры и рвы, другие в виде протеста — быть может, первого за долголетнюю службу — переходили решительно в шаг и, проходя мимо препятствий, салютовали хмуро командующему. Молодежь испытывала обиду за своих стариков — даже за тех, которые обычно не пользовались симпатиями. Тем более что исходила она от чтимого начальника.

Говорили потом, что генерал Гурко с раздражением сказал одному из своих помощников-артиллеристов:

— Ну, как вы находите это безобразие?!

— Нахожу, ваше высокопревосходительство, что сегодня артиллерию вывели на позор.

Старый артиллерист понимал прекрасно, как нужны подвижность и лихость командному составу. Но знал также, что для этого прежде всего необходимо коренное изменение условий службы... Пройдут годы, понадобится развертывание и реорганизация артиллерии, изменение пенсионного устава, введение предельного возраста и аттестационных правил, прежде чем «заскачут» молодые батарейные командиры.

* * *

При том пестром калейдоскопе командиров, который прошел перед моими глазами за время артиллерийской службы и который я очертил бегло в предыдущей главе, большая роль принадлежала «коррективу» общественного мнения.

Помню, как в первый год командования бригадой Л-ва он разослал приглашения офицерам с семьями к себе на разговины. Не помню деталей, но даже сама форма приглашения была необщепринятой и невежливой. Штаб-офицеры и часть молодежи пошли — главным образом, чтобы не обижать жены Л-ва. Остальные не явились, послали извинение частными письмами, некоторые — служебными записками через адъютанта. Л-в, весьма раздосадованный, не сумел справиться со своим настроением, и был так груб с пришедшими, что разговины прошли для них чрезвычайно тягостно.

Вообще, в области гостеприимства проявлялось наглядно легальным путем отношение офицеров к высшему начальству. Никакими уговорами нельзя было заставить офицеров устроить общую трапезу с начальником нелюбимым или неуважаемым. Даже если казначей сообщал по секрету, что «вычета» не будет, а расходы отнесут на пресловутый «9-й отдел» батарей*. Так, наши офицеры отказались

* 9-й отдел — «разные расходы», на которых казенного отпуска не было, а производились они из общей экономии части.

однажды чествовать обедом прибывшего на смотр командира корпуса, генерала Гурчина — «за его грубость», и вслед за тем принимали шумно и радушно его временного заместителя, генерала Роговского...

Бригадное начальство бывало иной раз в большом затруднении. Ибо наряду с людьми дельными и тактичными, встречались наверху и персонажи анекдотические... Начальнику артиллерии, генералу Л-ву, например, был безразличен масштаб чествования, но требовался непременно горячий поросенок под хреном... А личный адъютант командира корпуса, генерала Х-го, заблаговременно предупреждал письмом бригадного адъютанта, что его п-ство любит принимать трапезу в собрании всей части и предпочитает такие-то яства и вина таких-то марок...

Когда обер-офицеры уклонялись от общего обеда приезжему начальству, для спасения положения прием устраивался в присутствии одних штаб-офицеров, и часть расхода относилась на многострадальный 9-й отдел.

Помимо демонстративной стороны, расходы на всякие чествования, приемы гостей, подарки и проводы составляли весьма обременительную статью офицерского бюджета. С этим обычаем боролись и циркуляры Главного штаба, и постановления общих собраний многих частей. Помню, два раза Высочайшим приказом обращалось внимание начальников на этот вопрос. Статья Свода военных постановлений прямо запрещала «всякий сбор офицеров и вычет из жалованья, не предусмотренный законом и не основанный на Высочайшем разрешении»... Но обычай не выводился. По русской широкой натуре и «встречали» и «проводжали». В особенности традиция проводов держалась крепко, и отсутствие их вызывало в людях горечь и обиду.

Помню один эпизод, случившийся в Х-м полку, в котором я впоследствии нес временно службу...

Командир полка, полковник П-ий, прослужив 35 лет, уходил в отставку. В полку его не любили, и от проводов офицеры отказались. П-ий узнал, что, вопреки обычаю, офицерство не предполагает даже увеличить и повесить его портрет в зале собрания, где висели портреты всех его пред-

шественников... Старый служака впал в отчаяние: невозможно было так позорно кончить службу... Горько задумался и нашел наконец выход из положения: устроил сам в собрании прощальный обед... *полку.*

Приходит ко мне расстроенный старший полковник:

— Ради Бога, Антон Иванович, выручите. П-ий обезоружил офицеров своею выдумкой — решили пойти. Но мне, как старшему, надо будет сказать приветственное слово... Что я ему скажу, не краснея перед офицерами? Не могли бы вы...

— Ну, нет, избавьте — я случайный и временный член полкового общества.

— Так посоветуйте, по крайней мере.

— Извольте... Постройте свою речь в обратном принятому порядке. Расхвалите полк и полковую семью. Скажите, что полк никогда не подводил командира и что теперь, расставаясь с полком, он унесет, без сомнения, добрую о нем память. А о прочем умолчите.

— Понятно. Но для верности нельзя ли шпаргалку...

— Извольте.

Все прошло прилично. Я написал шпаргалку, полковник выучил все добросовестно наизусть и на обеде произнес речь. Офицерство пило *за полк* с большим подъемом; П-ий отнес подъем к себе — искренно или нет, не знаю — расчувствовался и прослезился. Потом по знаку его руки два собранских служителя внесли неожиданно... его портрет, размерами и великолепием превосходивший всех его предшественников, который П-ий и поднес полку.

При некоторой растерянности собрания портрет водрузили на стену. Так он там и остался: по незлопмятству не сняли. А П-ий уехал в свой родной город генералом в отставке — доживать свои дни в покое и почете.

Но верх незлопмятства имел место в Казани. Когда в 1912 г. уходил из округа генерал Сандецкий, которого в войсках столь же боялись, сколь ненавидели, устроены были ему проводы. Газета «Казанский телеграф» описывала «ту искренность чувства и энтузиазм», с которыми отнеслись к Сандецкому общественность и военная среда... «Все это в порядке вещей — находила газета. Ибо бывают минуты,

когда нет для благородного сердца вообще, и для солдатского в особенности, большей радости, как отдать дань уважения и благодарности тому, кто своею доблестью завоевал себе на это неотъемлемое право...»

Хорошо писала провинция!..

* * *

Бригада в чисто интимной жизни держалась, конечно, более тесными кружками. Но это не нарушало ни сколько единства ее в нужных случаях и не ослабляло авторитета общественного мнения. Она умела изолировать неугодных ей сочленов — настойчиво и методично.

К нам по переводу прибыл батареинный командир с давно установившейся нелестной репутацией. Темны были его хозяйственные операции, темны семейные отношения, и только совершенно неприкрыто было посягательство «командирши» на власть и на молодых офицеров батареи... Начались трения, перемещения в другие батареи, иногда со скандалом. А когда все утряслось и вокруг супружества осели свои люди, они оказались вне бригадной жизни.

Молодежь, обычно дисциплинированная, вела себя в отношении этого командира несдержанно. Зайдет он, бывало, в бильярдную, полную зрителей, а там с галерки доносится разговор:

— И бывают же такие ловкачи, что овес по 78 копеек покупают...*

— Ну, это — с благотворительной целью, вероятно...

Старший офицер батареи — человек порядочный, но попавший под влияние жены, подружившейся с «командиршей», только тем и спасался, что сам едко и остроумно высмеивал свое «падение». А поручик В-в испытывал не раз пренеприятное чувство, когда вдруг во время ужина прибежит за ним вестовой, и хозяин собрания подчеркнуто серьезно передает:

— Поручика В-ва требует командирша батареи.

— К исполнению служебных обязанностей, — добавит, скандируя, кругленький З-н.

И В-в, при наступающем общем молчании, проходя сквозь строй десятков иронических взглядов, проклинал, без сомнения, свою судьбу.

Скоро этот командир, по требованию генерала Завацкого, покинул бригаду.

В одной области семейных отношений бригадное общественное мнение расходилось с общепринятыми правилами условной морали...

Традиции войсковых частей оберегали свое общество от вхождения в него, путем офицерских браков, почему-либо неугодных элементов. Требования были не везде одинаковы. В одних частях считались с социальным положением, в других — с интеллигентностью, в третьих — только с репутацией той, которая должна была стать членом полковой семьи*. В одних — реверс, т. е. 5-тысячный залог, установленный для офицеров, не достигших 28-летнего возраста, командиры требовали фактически, в других допускалась заведомая фикция, в виде купчей на неимеющую никакой цены недвижимость. Наиболее ригористически относились к неравным бракам в войсках гвардии, где офицерам по этой причине приходилось нередко оставлять полк. Я знаю часть (Нарвские гусары), в которой за время долголетнего командования полковников барона Штемпеля и Казнакова офицерам до чина ротмистра вовсе не разрешалось жениться. А кто не оставлял своего намерения, должен был уходить из полка...

Отчасти мотивы общечеловеческие, отчасти же условия военного быта приводили к существованию нелегальных семей. Если положение их в гражданском обществе — в особенности, где были дети — являлось фальшивым и тяжелым, то в военном оно усугублялось еще более. В свою очередь и гражданский закон, оберегая семейные устои, был безжалостен не только к «незаконным» родителям, но и к неповинным их детям. Даже впоследствии, когда «грех» покрывался браком, над детьми тяготело несмываемое пятно: «внебрачный» или «незаконнорожденный» —

* Закон об офицерских браках говорил: «Невеста должна быть доброй нравственности и благовоспитанна... Кроме того, должно быть принято во внимание общественное положение невесты».

* При средней цене, скажем, в 68 коп.

этот официальный штамп в документах преследовал человека в жизни, закрывая ему многие пути, доставляя много душевных мук.

Одна такая житейская драма, сделавшись достоянием широкой гласности, всколыхнула общественную совесть.

Полковник пограничной стражи, получивший бригаду в новом месте, где его не знали, и, страдая душой за судьбу своих детей, решил сделать в своем послужном списке изменение, изъяв отметку об их «внебрачности». Преступление его было обнаружено в высшем штабе, и полковник был предан суду за служебный подлог. Военно-окружной суд приговорил его к исключению со службы, с лишением чинов. Прошрое подверглось широкой огласке, семья осталась без средств к существованию...

Но, на счастье полковника, его делом заинтересовался В. Дорошевич. В «Русском Слове» появилась одна из самых ярких его статей, в которой он с потрясающей силой изобразил драму осужденного отца. Общество откликнулось на статью так быстро и так бурно, что уже через несколько дней бывший полковник писал в редакцию, что судьба его устроена и в помощи он больше не нуждается.

Только законом от 3 июня 1902 г. внесены были начала гуманности в этот больной вопрос.

И в нашей бригаде бывали случаи нелегальных сожительств, но они расценивались бригадным обществом различно. Одни замыкались в четырех стенах и не имели права никаких внешних связей; другие, давно уже сложившиеся в прочные семьи, пользовались полупризнанием. Вновь поступающим в бригаду холостым офицерам старшие советовали делать им визиты, как семейным; там бывало офицерство и пользовалось гостеприимством; и дамы появлялись иногда в тесном кругу своих близких, но никогда не показывались в официальных случаях — в общественном и бригадном собраниях.

Семейный вопрос обыкновенно регулировался при переводе или новом назначении. Были, впрочем, два случая, когда, с разрешения бригадного командира и с безмолвного согласия всей бригады, в глухой деревушке, без шума, в присутствии четырех свидетелей, священник благословлял давний союз. После этого бригадный адъютант

подшивал к подлинному экземпляру приказа «дополнение» об изменении семейного положения NN, не рассылая копии в батарею... И новые члены бригадной семьи тихо и незаметно входили в ее жизнь.

В российской армии была только одна часть — Заамурский округ пограничной стражи — настоящая Запорожская Сечь... наизнанку — где общественное мнение не интересовалось вовсе метрическими выписями, и куда — в маньчжурскую глушь — в числе других житейских обстоятельств загоняло людей и запутанное семейное положение.

* * *

Рознь между родами оружия и службы — явление старое и свойственное почти всем армиям. У нас оно восходит к самому основанию регулярной армии. Великий основатель ее, Петр, предупреждая начинавшееся зло, поучал: «Все высшие и нижние офицеры, от кавалерии и инфантерии, и все войско обще: имеют в неразорванной любви, миру и согласии пребывать».

Этому «миру» препятствовали и исторический отбор — по сословному, имущественному, образовательному цензу; и привилегии по службе, привлекательность того или другого рода оружия; и целый ряд мелочей быта — ничтожных в отдельности, но вкуче создающих известные на строения.

Отношения между армией и гвардией общеизвестны. Когда в 1907 г. возник вопрос об увеличении состава гвардейских частей за счет сокращения численности армейской пехоты, в комиссии при Совете государственной обороны, состоявшей из генералов, умудренных опытом, из которых многие вышли из гвардейской среды, раздалось предостерегающее слово: «...при ревнивом отношении армейских офицеров к правам и преимуществам гвардии вообще, эта мера еще более усилит недовольство в армии, которое принципиально совершенно не желательно, а в настоящее время в особенности».

Армия, конечно, никогда не посягала на существование гвардейских частей, многие из которых имели выдающуюся боевую историю. «Ревнивое отношение» к гвардии

обуславливалось не столько близостью ее ко двору, блеском формы, завидной стоянкой, сколько теми привилегиями — основанными на исторической традиции, а не на личных достоинствах — которые непосредственно задевали самолюбие армии и ее жизненные интересы.

Гвардия составляла замкнутую касту, в которую лишь изредка допускались переводы юных офицеров. Только какие-либо внутренние кризисы ослабляли на время этот ригоризм. Так, в годы, следовавшие за японской войной, ряд армейских генералов был назначен на командные посты в гвардейскую пехоту (Лечицкий, Леш, Некрасов, Шереметов, Яблочкин)... Вообще же всякое нарушение нормальной линии служебного движения в гвардии — будь то повышение в чине за отличные успехи в науках при окончании академий, будь то даже переводы по Высочайшей воле — встречали непреодолимое сопротивление среды. Вместе с тем офицеры гвардии шли свободно в армию с повышением в чине, что по гвардейской терминологии называлось «разменом»; полковники гвардейской артиллерии шли на армейские дивизионы и бригады; полковники гвардейской пехоты и кавалерии, на много лет обгоняя производством армейцев, *почти все без исключения* получали армейские полки.

В результате, при численном соотношении гвардии к армии, выразившемся в 4%, не более, имели место такие явления... Ко времени японской войны чин полковника в гвардейской артиллерии получали в среднем на 22-м году службы, а в армейской — на 33-м, т. е. на 11 лет позже... По книжке 1903 г. в должности начальника артиллерии корпуса состояло гвардейцев и воспользовавшихся гвардейскими преимуществами 20 лиц, а армейцев — 6, причем пять из них имели чин за боевое отличие... Перед великой войной (1910) в списке командиров армейских пехотных полков числилось на 145 армейцев — 51 гвардеец; в регулярных кавалерийских — на 22 армейца 18 гвардейцев...

Значение такой перегрузки, в связи, конечно, и с другими неблагоприятными обстоятельствами, особенно чувствительно было в годы кризисов, как, например, после японской войны, когда сильно затруднилось производство

пехотных капитанов, и почти вовсе приостановлено было производство кавалерийских ротмистров — в штаб-офицеры. Бывали случаи, что армейские капитаны, аттестуемые на выдвижение в порядке общего старшинства, не дождавшись батальона, вынуждены были уходить в отставку по предельному возрасту...

Военному ведомству пришлось тогда принять ряд организационных мер, до универсальной — «избиения младенцев» включительно (увольнение в 1907—1908 гг. нескольких сот штаб-офицеров), — чтобы расчистить заторы и порвать мертвую петлю, удушавшую армейское служебное движение. Но гвардейских привилегий ведомство не тронуло.

* * *

Замкнутую корпорацию представляла из себя и конная артиллерия. Доступ туда «со стороны» встречал также упорное сопротивление среды. Артиллеристам памятна одиссея капитана Л-ва, назначенного на службу в конную батарею, вызвавшая большой шум, потребовавшая вмешательства Петербурга и кар в отношении местного начальства... Или злоключения прославившегося в японскую войну полковника Г-ва, который начал службу в полевой артиллерии, а на войне командовал казачьим дивизионом — когда он получил после войны в командование конно-артиллерийский дивизион... Правда, вхождение в короткую конно-артиллерийскую линию со стороны было довольно чувствительно. Но подобные случаи бывали редко, и притом же командиры конно-артиллерийских дивизионов беспрепятственно получали полевые бригады.

В 90-х годах можно было наблюдать не рознь, а прямо-таки отчуждение между полевой и конной артиллерией. Увлечение чисто конным делом в ущерб своей артиллерийской специальности привело к падению искусства стрельбы конных батарей. Так, по крайней мере, было на двух больших полигонах — Рембертовском и Брест-Литовском, с которыми я знаком. Оно же отражалось на взаимоотношениях: «конник» и «пижос», как конные артиллеристы называли презрительно полевых, встречаясь в артиллерий-

ском собрании, обыкновенно ограничивались официальными разговорами по службе... Часто даже однокашники, выпущенные из артиллерийского училища в полевую и конную, быстро охлаждавали друг к другу.

Я помню, как в 1893 г. в «Варшавском Дневнике» появилась статья капитана конной артиллерии Брюмера, задевшая полевую артиллерию. Этот эпизод вызвал бурю на всем Рембертовском полигоне. Редакция поместила один-два негодующих ответа и заявила, что она буквально засыпана письмами и статьями, протестующими против статьи Брюмера, и снимает вопрос, как слишком специальный, со своих столбцов.

Известен смахивающий на анекдот эпизод, как полевая артиллерия десятков лет добивалась «синих штанов», вместо «темно-зеленых», лоснившихся после первой же езды, и кавалерийского седла, вместо своего эшафота — «Пехотного образца 87 года» — по внешнему виду и неудобству словно умышленно придуманного для извода полевых артиллеристов и конных пехотинцев. И как в Петербурге, в комиссии при Главном артиллерийском управлении одно высокопоставленное лицо, числившееся по конной артиллерии, грозило уходом в отставку, если «пешей артиллерии» дадут «штаны» и «седло»... Первого так до конца и не добились; второе получили все-таки в 1900 г.

Мелочи, скажет непосвященный читатель... Конечно. Но мелочи поддерживают известные настроения. Такая, например, мелочь, что начальник артиллерии, генерал Л-в взял за правило в конных батареях здороваться за руку со *всеми* офицерами, а в полевых *только* со штаб-офицерами — отражалась, несомненно, на отношениях между двумя родами (вернее, подразделениями) оружия.

Я должен, однако, оговориться. Уже ко времени японской войны конная артиллерия, благодаря, главным образом, руководству генерал-инспектора, вел. князя Сергея Михайловича, сильно освежила свой состав и подняла артиллерийское искусство. А к великой войне от тех анекдотических времен и следа не осталось: конная артиллерия стояла на должной высоте, изменились также к лучшему взаимоотношения с полевой артиллерией.

* * *

Только в полевую артиллерию (армейскую) и в пехоту доступ был открыт широко для всех «инородных» элементов. В особенности пехота — главный и многострадальный род оружия последнего столетия — была пасынком и закона, и обычая. Пехотной «специальности» обыкновенно не признавали. В ее службе и обучении считал себя компетентным всякий. Пехотную дивизию можно было дать командиру артиллерийской бригады — правда, за особые отличия; или начальнику кавалерийской дивизии, отрешенному по неспособности и никогда перед тем не командовавшему пехотной частью. В пехоту можно было перевести офицера-артиллериста, который «оказался по артиллерийской службе и по наукам ограниченных способностей»... Правда, такие случаи бывали редко, но характерно само отношение закона к роду оружия.

В пехоту переводили *за наказание* порочных матросов и солдат инженерных частей в смутные годы, даже «ссылали» студентов — участников беспорядков и противоправительственных выступлений.

Одета была пехота (и полевая артиллерия) всегда хуже всех — очевидно, по экономическим соображениям, ввиду большой ее численности по сравнению с другими родами оружия. В особенности в 1880—1890 гг.

Конечно, те взаимоотношения, которые создались между родами оружия, питались не только служебными, но и бытовыми особенностями, различиями, предрассудками. В житейском обиходе, в совместном пребывании в гарнизонах, крепостях, лагерях эти отношения принимали чрезвычайно разнообразные оттенки — от холодных, чисто официальных до той дружбы, которая существовала в Кавказских, например, войсках или в Заамурском округе пограничной стражи. «Рознь» имела разные степени и формы. Общими же чертами ее были: гвардия глядела свысока на армию; кавалерия — на другие роды оружия; полевая артиллерия косилась на кавалерию и конную артиллерию и снисходила к пехоте; конная артиллерия жалась к коннице и сторонилась других; наконец, пехота глядела исподлобья на всех

прочих и считала себя обойденной вниманием и власти, и общества.

Инженерные части стояли несколько в стороне от прочих, реже вступая с ними в общение, и организационно (они не входили тогда в состав корпусов), и в бытовом отношении.

* * *

В тех крупных гарнизонах Варшавского, Киевского и Казанского округов, в которых мне приходилось служить, отношения между родами оружия были приличные — без столкновений, но и без особенной близости. Офицеры в частной жизни сходились между собой, но части сохраняли обыкновенно официальные отношения. На полковой или бригадный праздник придет непременно делегация от части другого рода оружия; на танцевальный вечер в собрание явится также несколько человек; но по их составу (разных чинов) и по манере держать себя видно сразу, что это не случайные, добровольные посетители, а тоже делегация, присланная «по наряду» для соблюдения приличий...

Устройство общих гарнизонных собраний удавалось поэтому не без труда. Такие собрания существовали в нескольких центрах, но в Варшаве, например, где было расквартировано до 20 строевых частей, несмотря на то что вопрос этот находил сочувствие в окружном штабе и горячо обсуждался на страницах военной печати, он не получил разрешения. Да и в существовавших гарнизонных собраниях чувствовалось некоторое отсеивание — в особенности заметное по родам оружия.

Я помню только один случай резкого антагонизма между частями разных родов оружия, грозившего превратиться в прямое столкновение... Было это в Седлеце, где стояли драгуны (гусары) и пехота. Командующий войсками округа приказал сделать суровое внушение гарнизону. Я служил тогда в строевом отделении штаба округа, и мне пришлось составить текст циркулярного предписания командующего. Написал горячо и убежденно.

Прошел год. Я вернулся во 2-ю артиллерийскую бригаду. В Беле к этому времени, кроме бригады, стоял

прибывший с Кавказа В-ий полк. Бригада не страдала предрассудками и жила прекрасно со своей пехотой 2-й дивизии, особенно с Калужским и Либавским полками. Такое же отношение установилось с первых же дней и с В-м полком. В особенности подружилась молодежь. Кавказцы умели быть добрыми кунаками и веселыми собутыльниками. Первое время в Беле дым стоял коромыслом...

Но вскоре все переменялось. Командир полка — человек грубый и неуживчивый — как будто нарочно, сделал все, чтобы рассорить части. Началось с претензий его, как старшего *в чине*, на должность начальника гарнизона, которую занимал по праву, как старший *в должности*, командующий бригадой; потом какими-то мелкими и неприличными денежными расчетами с бригадным собранием. И пошло!.. Окончилось все полным разрывом. Когда я вернулся в бригаду, части уже окончательно порвали друг с другом: в собраниях у соседей не бывал никто, да и в частной жизни отношения разладились.

О таком положении по жандармской линии осведомлен был штаб округа, и вскоре в Белу приехал генерал для производства расследования. В бригаде он допрашивал командира, адъютанта и распорядительный комитет офицерского собрания, в том числе меня, как председателя его. Между прочим, в назидание нам прочел копию окружного предписания о седлецком антагонизме. И был озадачен, когда оказалось, что я не только разделяю взгляды, высказанные в предписании, но даже по случайности являюсь автором его...

В результате расследования, через некоторое время пришло секретное предписание командира корпуса, в котором существование «натянутых отношений» между полком и бригадой объяснялось «различным составом обществ офицеров, разностью образования и воспитания и рядом мелких недоразумений». Корпусный командир выражал уверенность, что при влиянии нашего командира и содействии штаб-офицеров нормальные отношения быстро установятся, «чего требует долг службы и один общий мундир».

Ничего не вышло. Бестактностью начальства порвать отношения можно легко и быстро. Но никаким приказом

свыше их не восстановишь, если у людей нет доброй воли к соглашению. Так и жили — полк и бригада — в маленьком городишке, не замечая друг друга, пока полк не перевели в другой пункт. В Беле поставлены были тогда Калужский и Либавский полки, и гарнизонная жизнь вошла в нормальную колею.

* * *

С конницей своего корпуса, стоявшей на постоянных квартирах далеко от нас, бригада не была знакома почти вовсе; точно так же не поддерживались отношения со стоявшим по соседству, в губернском городе, драгунским (гусарским) полком. Однажды, когда бригада шла походом через этот город на полигон, между нашим подпоручиком и драгунским корнетом в ресторане, исключительно на почве корпоративной розни, возникло столкновение... Секунданты заседали всю ночь; пришлось и мне, как «старшему подпоручику», потратить много времени и уговоров, чтобы предотвратить кровавую, быть может, развязку. Только на рассвете, когда батарейные трубачи играли в сонном городе «Поход» и бригаде пора было двигаться дальше, дело закончилось примирением.

Мистические нити опутывают людей и события...

Через четверть века судьба столкнула меня с бывшим корнетом в непредвиденных ролях: я — правитель Юга России, он — посол иностранной державы, действия которой могли оказать чрезвычайно серьезную помощь Югу в борьбе с большевиками... И не оказали.

Вспомнил? Или забыл? Не знаю: о прошлом мы не говорили.

* * *

Чисто официальные и притом натянутые отношения существовали между бригадой и конной артиллерией корпуса — в дни совместного участия в общем артиллерийском сборе. Однажды они замутились, оставив за собою кровавый след и тяжелое воспоминание у всех, стоявших близко к событию...

В Брест-Литовске, в ресторане городского сада произошло столкновение между штабс-капитаном нашей бригады С[лавински]м и двумя конно-артиллеристами, поручиками К[вашниным]-С[амарины]м и С-м. На почве традиционной неприязни и неуважительных отзывов об их «родах оружия». Я оставляю в стороне вопрос, кто был больше виноват, но обе стороны были не трезвы.

С[лавинск]ий — человек храбрый и отличный стрелок — имел потом гражданское мужество не желать дуэли... Кажется, и конные артиллеристы склонны были забыть происшедшее. Но командир конной батареи полковник Ц[ерпицк]ий, при отсутствии суда чести в батарее имевший право разрешать лично вопрос о неизбежности поединка, потребовал, чтобы оба поручика послали вызов С[лавинско]му. С[лавинск]ий, с разрешения бригадного суда чести, принял вызов.

Условия дуэли установлены были относительно не тяжелые: на пистолетах, 25 шагов дистанции, по одному выстрелу — по команде.

Накануне вечером у адъютантского барака собралось много офицеров; характерно, что пришли и из чужих бригад. Чувствовалось общее озлобление против «конников» и сочувствие С[лавинско]му. Наша молодежь почти всю ночь не спала. Не спали и солдаты той батареи, в которой служил С[лавинск]ий, ими любимый. То же, говорят, произошло и в конной батарее...

Место для дуэли назначено было возле лагеря, на опушке леса. На рассвете, в 4 часа, мимо бригадного лагеря проскакала группа конных артиллеристов, потом все смолкло. Через некоторое время из леса показалась фигура скачущего по направлению к конной батарее фейерверкера: он был послан, как оказалось, за лазерной линейкой...

С[лавинск]ий тяжело ранил К[вашнина]-С[амари]на в живот. От помощи бригадного врача и от нашей линейки конно-артиллеристы отказались... К[вашнин]-С[амари]н, отвезенный в госпиталь, дня через два в тяжких мучениях умер.

Результаты первой дуэли произвели на всех присутствовавших тяжелое впечатление. Нервничали и секунданты. С[лавинск]ий мрачно курил одну папиросу за другой. Че-

рез четверть часа — вторая дуэль, окончившаяся благополучно. С[лавинск]ий стрелял в воздух.

Никогда потом С[лавинск]ий не подымал разговора об этом тяжелом эпизоде.

* * *

Война меняет картину.

Еще во время японской войны отношения между родами оружия значительно сгладились, местами переходя в тесное боевое содружество. С тем... чтобы по окончании войны снова несколько заостриться. И снова — наладиться, когда грянула великая война.

В ее зарницах, в подвиге, крови и смерти мало-помалу растворялись и исчезали предрассудки, трения и междоусобная рознь. Между родами оружия ковалось подлинное боевое братство, основанное на сознании общности интересов и судеб, на ощущении общей смертельной опасности — столько же, сколько и на бьющей в глаза потребности во взаимных услугах и поддержке. Пехота, артиллерия, конница расценивали друг друга уже не с точки зрения мирнопарадной, а единственно по силе искусства и готовности идти на выручку, по степени надежности своего соседа.

Значит ли это, что все недоразумения мирного времени не имели под собой серьезной почвы и могут быть презрены в будущем? Отнюдь. Не следует испытывать судьбу... Во всяком случае, строители новой армии должны будут устранить в области права все признаки неравенства и привилегий, не оправдываемых боевой потребностью. Начальники-воспитатели — побороть прежде всего свою психологию, а потом уже воздействовать на подчиненных. А жизнь и опыт прошлого довершать остальное.

Я говорю именно об опыте нашего прошлого. Какие сдвиги в психологию новой армии внесут годы безвременья — покажет будущее.

* * *

Как сложилась боевая жизнь родной мне 2-й артиллерийской бригады, увидеть не пришлось...

30 августа 1914 г. в лесах Вилленберга, в Восточной Пруссии, в армии генерала Самсонова, бригада погибла.

Хотя впоследствии под тем же номером сформирована была новая часть, которая на Румынском фронте входила временно в состав 8-го корпуса, которым я командовал, но никого из старых товарищей моих в ней уже не было.

Ушла от нас и маленькая тихая Бела, вошедшая в «крессы» Польского государства.

Время и житейские бури разметали людей и рвут нити, связывающие с прошлым, — одну за другой.



«КАЗАРМА»

I

Какая? Этот вопрос имеет существенное значение, ибо жизнь казарменная носила различные черты, в зависимости от многих причин. От того округа, в котором расположена была часть — округа пограничные (Варшавский, Виленский, Киевский) и столичный во всех отношениях стояли выше внутренних; от рода оружия — в артиллерии, например, отношения начальника к солдату были мягче; от части, ее традиций, личности командира и т. д. Наконец, от периода: после японской войны и потрясений первой революции быт солдатский претерпел повсюду некоторые изменения к лучшему, много раньше намечавшиеся в передовых округах.

Тем не менее на всех долготах и широтах, во всех концах необъятной России казарма имела много черт общих, неизменных или очень медленно менявшихся. Ибо быт солдатский, помимо технических особенностей военной службы, являлся неотделимой частью народного быта, отражая в себе ступени культурного развития народа, его потребностей, привычек, домашних, общественных и социальных отношений.

А быт народа в *нормальные* периоды его жизни не меняется десятилетиями.

Я хочу дать некоторый синтез казармы, основанный на соприкосновении с нею во многих войсковых частях, в четырех округах, в различном служебном положении — от рядового до полкового командира. Внося лишь в общую картину пехотной казармы частные дополнения, обусловленные местом и временем.

* * *

В казармах — полное внешнее разнообразие. Инженерного ведомства, частновладельческие или просто приспособленные дома; просторные или тесные, в одну ротную палату или закоулками. Вдоль стен — сплошные нары, которые с 1901 г. инженерное ведомство стало заменять отдельными топчанами... На нарах — соломенные тюфяки и такие же подушки, без наволочек, больше ничего. По обидной аналогии это убогое оборудование на казенном языке носило название не постельной, а «*подстилочной*» принадлежности...

Покрывались солдаты шинелями. Холодно зимой — дровяная экономия одно из важнейших подсобных средств полкового хозяйства... Шинели короткие, после ученья — грязны, после дождя — влажны и пахнут прелой шерстью. «Насекомая» гуляет свободно по нарам. Нечистоплотность, негигиенично; от века — одно оправдание:

— Наш простолюдин привык.

Одеяла — мечта ротного, эскадронного. Они же — свидетели заботливости начальства, вызывающей похвалу и поощрение свыше. Какими путями приобрести их — неизвестно; во всяком случае — «без расходов для казны». Покупали поэтому одеяла за счет полковой экономии, из сумм, вырученных на «вольных работах», но чаще всего путем «добровольных» вычетов при получке скудного солдатского содержания и денежных писем. Еще бы не добровольных, когда фельдфебель Иван Лукич на вечерней переключке подымет корявый указательный палец кверху и внушительно скажет:

— Чтоб было! Неужто нам срамиться перед четвертой ротой?!

Только в 1905 г. введено было снабжение войск постельным бельем и одеялами, оказавшееся, таким образом, одним из «завоеваний» первой революции.

В казарме тесно. Тут же — умывальники и гимнастические приборы. На время занятий топчаны ставятся друг на друга в несколько ярусов. Особенно тесно стало после реорганизации 1910 г., когда состав многих пехотных дивизий возрос чуть не в полтора раза, и квартирный вопрос

принял поэтому острые формы. Приходилось во многих пунктах пользоваться добавочными помещениями для частей роты на стороне, что затрудняло внутренний надзор, или тесниться, получая от города дополнительную квартирную плату, которая шла в полковую экономию. Днем в такой казарме было терпимо, но ночью... Вообще казарма ночью — это нечто едва переносимое...

Благоустройство и украшение казармы было предметом поощрения начальства и соревнования командиров. Конечно, думали о солдатском уюте, но и начальническое око служило стимулом немаловажным. Недаром военный психолог М. И. Драгомиров говорил: «В человеке первыми побеждаются глаза — это давно, еще Цезарем замечено».

И в этой области требовалась большая изобретательность, так как отпуск от казны был до крайности ничтожен, и приходилось обзаводиться также «без расходов для казны». Тем не менее роты, батареи, эскадроны умудрялись создавать подобие уюта. В редкой части не было в красном углу божницы или киота с неугасимой лампадой; по карнизам — выведенные своим доморощенным художником суворовско-драгомировские афоризмы; стены увешаны щитами со списком Георгиевских кавалеров и павших в боях; много картин — олеографий исторического и батального содержания, портретов лиц царской фамилии и военных героев. Этого рода графике придавалось всегда большое воспитательное значение; и редко случалось, чтобы на смотрах или при обходе казарм начальник не спросил солдат о содержании картин. И редко при этом не происходило курьезов, свидетельствовавших о том, с каким трудом рассеивался мрак в крестьянской по преимуществу толще армии, и как часто — только внешне, чисто механически усваивалась та нудная премудрость, которая в военном быту носила довольно двусмысленное название «словесности». Можно себе представить ужас ближайшего начальства, когда на смотре молодой солдат про известный портрет Суворова, где генералиссимус неудачно изображен с морщинистым женским лицом, скажет вдруг:

— Бабушка Государя...

Или другой — картину «Крещение Руси» переименует... в «Переправу через Дунай»... В Саратове, при обходе

казарм Хвалынского полка (1909) командующим войсками, генералом Сандецким, я был свидетелем трагикомического эпизода. Сандецкий, указывая на известную картину «Подвиг бомбардира Агафона Никитина», спросил у одного солдата ее содержание и получил ответ:

— Так что, Василий Рябов, ваше-ство!

Спросил другого, третьего, — тот же ответ. Разгневанный и недоумевающий командующий перевел взгляд на другую стену и, увидев там картину с настоящим «Василием Рябовым», стал спрашивать про нее.

— Так что, подвиг бомбардира Агафона Никитина, ваше-ство!

Генерал Сандецкий обратился с тем же вопросом к молодцеватому унтер-офицеру, который без запинки, не глядя на картину, доложил:

— Бомбардир Никитин, который взят в плен текинцами, хотя им сдирали кожу и даже убили, однако по своим откалался стрелять.

Тут уже не только командующий, но и все присутствовавшие пришли в полнейшее недоумение. Командующий не шадил слов для разноса роты, полковой командир метал молнии по адресу ротного, а ротный был потрясен, подавлен и чувствовал себя погибшим.

Только потом дело разъяснилось... Подходит к ротному фельдфебель и, почтительно наклонившись к плечу, виновато шепчет:

— Мой грех, ваше высокоблагородие. Перед самым смотром перевесил одну картину вместо другой — для симетру.

На что ротный трагическим шепотом ответил:

— Хотя *вы* и подпрапорщик, но я *тебе*, так растак, покажу симетру, погоди!

По традиции в казармах развешивались портреты — из числа старших начальников — только командующих войсками округа; более близких — считалось неловким: это вызвало бы осуждение за угодливость, подхалимство... Конечно, угодничество существовало, где — к личностям, где — к своеобразным требованиям, к «пунктикам», предъявляемым начальством. Но едва ли в какой-либо другой среде это качество встречало столь отрицательное к себе отно-

шение, как в военной. Одинаково — в кадетском корпусе, в военном училище, в войсковой части, в казарме. Острое слово, насмешка, иногда более существенные неприятности преследовали людей, чрезмерно льнувших к начальству. И клеймились грубыми, взятыми из заборной литературы словами, имевшими разный логический смысл, но одинаковое приложение:

— Безмыльник!

— Мыловар!

Чрезмерная угодливость встречала осуждение и со стороны более разборчивых начальников. В N-ском корпусе начальник штаба получил официальное письмо от одного из командиров полков с просьбой — осведомиться у командира корпуса, где можно достать его портрет, «дабы размножить и развесить его во всех эскадронах и командах вверенного (ему) полка»... Над письмом в штабе посмеялись, а корпусный в шутку пометил сбоку: «Это уж по № 4711».

Так бы и осталось оно подшитым к делу, если бы не оплошность адъютанта, который, не читая, подписал бумагу, с заготовленной писарем шаблонной надписью: «Командиру N-го полка — по резолюции командира корпуса».

Рассказывали потом, что в полку была поднята на ноги вся канцелярия в поисках бумаги за № 4711, пока наконец один веселый корнет не надоумил адъютанта:

— Напрасно ищете. Это не «входящая», а мыло такое есть — Брокеровское...

...Если к перечисленным выше предметам прибавить библиотечные шкафчики, затейливые сосуды с кипяченой водой — в обычное время пустые, ружейные стойки и стенные ящики для револьверов, то этим исчерпывается обычное оборудование казармы.

В годы, непосредственно предшествовавшие первой революции, сквозь ружейные скобы продевались цепи, и ружья и револьверы запирались на замки. Замки — символ тревожного времени — производили психологически неприятное впечатление. Официально эта мера, вынужденная обстоятельствами, объяснялась участвовавшими кражами оружия, шедшего на вооружение революции... Но чувствовалось в ней и другое — неполная уверенность в солдате.

Тем более что «запирали» не только ружья... Власти, чувствуя первые легкие колебания почвы под ногами, начали нервничать. Государь ездил напутствовать отправлявшиеся в Маньчжурию дивизии и был неприятно удивлен, узнав случайно, какие меры предосторожности принимались для его охраны... Командир строевой роты, отправлявшейся с запада на театр военных действий, по прибытии в Москву подал рапорт, в котором с горечью описывал, как его эшелон подошел к одной из узловых станций (Брест-Литовск, если не ошибаюсь) — случайно в то время, когда там стояли царские поезда... С каким волнением его люди ждали возможности увидеть своего Государя... И вместо этого — как все их теплушки приказано было запирать на замки и не выпускать никого, пока царские поезда не покинут станцию. Капитан доносил, что ему стыдно смотреть в глаза своим солдатам, которым не позволили даже в дверную щель посмотреть на Того, за которого они идут умирать.

Случай этот, оказавшийся далеко не единичными, произвел впечатление в военных кругах и вызвал Высочайшую немилость в отношении не в меру предусмотрительных начальников.

* * *

С раннего утра казарма гудит, точно улей. Подъем, одевание, чай, уборка. Потом начинаются утренние занятия по многочисленным группам, и в помещении стоит сумбурный гул от десятков голосов, от команд и топота увесистых солдатских сапог.

Потом обед.

Солдатский желудок всегда был предметом особенной заботливости начальников всех степеней и чувствительным барометром солдатских настроений. Недаром в старину все солдатские бунты начинались обычно с опрокидывания ротных котлов. Тухлая говядина или заплесневевшие сухари чаще всего бывали поводом к проявлению недовольства, имевшего несравненно более сложные причины. Черви в мясе были поводом и для бунта на броненосце «Потемкин»...

Основная дача мяса (или рыбы) в день на человека составляла до 1905 г. $\frac{1}{2}$ фунта, позже — $\frac{3}{4}$ фунта. Хлеба — 3 фунта.

Полная мирная дача, применительно к установленной свыше «нормальной раскладке», по числу калорий, а в последние годы и по сравнительному разнообразию пищи, была вообще удовлетворительной. Если возникали нарекания, то, главным образом, на несоответствие в некоторых пунктах приварочных окладов местным ценам, а в северных областях — на недостаток жиров. Во всяком случае, солдатская пища была многим питательнее, чем та, которую большинство солдат имело дома. Хозяйственные заготовки частей, комиссии для выработки раскладки, в которые, противно духу тогдашнего времени, привлекались иногда и представители самих «едоков», обязательные врачебные осмотры продуктов, участие в деле хранения и распределения их должностных нижних чинов — все это создавало и видимые и действительные гарантии. Злоупотребления встречались редко. «Проба» (пищи) — была прочно установившимся обрядом, выполнявшимся самым высоким начальником, не исключая Государя, при посещении казарм в часы обеда или ужина. Военный эпос полон веселых рассказов о состязании начальников, стремившихся «уловить» подчиненных, и довольствующей роты, старавшейся «втереть очки» или сочетать несовместимые требования двух начальников: корпусный, например, требует, чтобы борщ был хорошо проперчен, а дивизионный считает перец вредным для желудка... Ну и подают им, когда появятся одновременно, одну и ту же пробу, только корпусному — с деревянной ложкой, вываренной заранее с кайенским перцем... Оба похвалят, и от обоих достанется по серебряному рублю кашевару.

Но, помимо стороны анекдотической, внимания и забот в этой области проявлено было действительно много. Всеми, начиная с ученых трудов военно-медицинской академии, исследовавших вопросы солдатского питания, и кончая довольствующим фельдфебелем. Ибо, если и попадался такой фельдфебель, что от довольствия имел «безгрешный доход», то огромное большинство относилось к солдатскому питанию честно. И не только из формализма, но и в силу присущей русским людям сердечно-

сти, свободно уживавшейся с внешней грубостью военного обихода.

Тем более досадно было читать в революционных листовках и в левых газетах, выраставших, как грибы после дождя, в годы безвременья (после 1905 г.), неправду про отношения начальников к солдату в этой именно области. И не только — в революционных... Отдавая дань модному в то время огульному осуждению, даже правый орган кн. Ухтомского «С.-Петербургские Ведомости» предоставлял свои столбцы для такого обличения (1907): «Возьмем хотя бы, например, солдатское питание — повествовал какой-то псевдоним («Ом»). — Сплошь и рядом в солдатской каше попадаются дохлые крысы. Ши же варятся в котлах, в которых раньше и позже варки солдатам предлагается мыть свое грязное белье...»

Вообще пресса девятисотых годов интересовалась военным бытом, но не жалела темной краски для его изобращения.

...«Очи всех на Тя, Господи, уповают...» — гремит под сводами столовой. Звенят котелки, дымятся баки с такими иногда щами или гороховым супом, какие не всегда найдешь в офицерском собрании... Поедают все — «порции», борщ; каши обыкновенно не хватает; оставляют только малонаварные похлебки и «кашицу», готовящиеся к ужину. Молодые солдаты в первый год службы жадно набрасывались и на хлеб — съедали всю 3-фунтовую дачу; только со второго года оставался «недоед». В прежние годы можно было видеть на базарах и у подъездов домов солдат, продающих за бесценок караваи хлеба; в последнее время за «недоед» выплачивало деньгами интендантство.

Поначалу выходили недоразумения от несоответствия универсального среднерусского стола с особенностями местного пищевого режима областей и народов огромной империи. Так, южане не любили кислых щей, северяне — пшенной каши; татары и евреи брезгали поджаренным салом, которым заправлялись макароны или каша. И почти все терпеть не могли чечевицы. Любопытно, что русская чечевица с 1888 г. перекочевала на германские рынки и считалась весьма ценным продуктом для питания германской армии.

В дни войсковых праздников, на Пасху и на Рождество полагалось улучшенное довольствие — колбасы, бочок, куличи, белый хлеб, пиво. В прежнее время выдавалась еще историческая «чарка» или, на официальном языке — «винная порция».

В армии, как и в стране вообще, взгляд на употребление спиртных напитков менялся, но до 1914 г. серьезных мер против народного пьянства не принималось. Хотя Россия по количеству душевого потребления спирта занимала пятое место (после Австрии, Германии, Франции и Америки), но и ее потребление было не малое. В 1910 г. на душу приходилось 11 $\frac{1}{4}$ бутылок водки и 10 $\frac{1}{2}$ бутылок пива; рабочий пропивал 12% своего заработка, а вся страна истратила на спиртные напитки 1 078 млн рублей...

Пил конечно и народ в шинелях, хотя, мне кажется, меньше, чем «вольный». В программе преподавания гигиены в учебных командах, по инструкции, действовавшей с 1875 г., был даже пункт, поучающий «о пользе умеренного употребления водки»... В солдатских лавках, где была разрешена продажа спиртных напитков, доход от нее составлял не менее четверти всей прибыли. В маленьком масштабе полковое хозяйство чинило свои прорехи доходами от лавочки, в том числе и пьяными, подобно тому как в государственном масштабе — выручал «пьяный бюджет».

До 1886 г. выдавалась *постоянная* казенная «чарка» в некоторых местностях Казанского, Сибирского и Кавказского округов. В прочих — и до того, и позже — лишь в ознаменовании табельных дней и войсковых праздников, как награда за удачный смотр или маневр, или просто — как знак расположения тороватого начальника.

Бывало, фельдфебель самолично, словно священнодействуя, разводит в деревянной кадке спирт или польскую «оковиту», и потом солдаты, выстроенные в затылок, подходят прикладываться, без закуски, вытирая рот рукавом. Пьяницы старались обмануть фельдфебельскую бдительность и «вздоить», а непьющие, в особенности молодые, проглатывали иногда чарку с отвращением, боясь насмешек.

Между тем, в конце девятых годов в особенности, отчеты и печать стали обращать внимание на пьяную ста-

тистику. Отмечали рост острого отравления спиртом в войсках, причем процент заболевших офицеров бывал выше, чем нижних чинов... Указывали, что число преступлений, совершаемых на службе под влиянием алкоголя, составляет более 40% общей преступности... Пироговский съезд (1899), считая «чарку» одной из причин народного пьянства, поднял также голос за отмену ее. Постепенно и как бы неуверенно шло навстречу этому течению военное ведомство. В 1899 г. частным распоряжением командующих Петербургского и Сибирского округов воспрещена была торговля водкой в солдатских лавках; затем в 1902 г. последовал ряд общих ограничительных мер в порядке Устава внутренней службы. Наконец, после широкой анкеты, в результате которой 81% начальников высказались против казенной винной порции, Высочайшим приказом 1908 г. историческая «чарка» была отменена; воспрещена была также продажа водки в солдатских лавках.

Все эти мероприятия трезвости не насадили, но, несомненно, очистили казарму от многих соблазнов.

В начале великой войны, как известно, продажа спиртных напитков была воспрещена по всей России. Но в действующей армии эта мера привела лишь к подчеркиванию бытового неравенства: офицерские чины всеми правдами и неправдами, по свидетельствам командиров и комендантов, по требованию лазаретов или по высокой цене доставали спирт, и пили водку — немногим, вероятно, меньше, чем в японскую войну. Военная иерархия смотрела на этот «уклон» чрезвычайно благодушно, и поэтому перечень «технических надобностей», на которые шел спирт в армию, был курьезен и неограничен. Мне, например, попала на глаза переписка: ходатайство духовного лица о разрешении отпуска ведра спирта «на предмет чистки риз и церковной утвари», с резолюцией коменданта: «Полагаю, для сей цели довольно будет и четверти»...

Что касается нижних чинов, то они были лишены почти вовсе такой возможности и крепко завидовали. Одним из источников винного довольствия для них была «военная добыча» в захваченных городах, пока начальство не успевало распорядиться — вылить содержимое складов или по-ставить к ним караулы; другим — перегонка денатурата че-

рез противогазы... После революции в некоторых частях распушенные солдаты гнали и пили самогон.

Вообще, насаждение трезвости в русском народе и армии — мерами правительственного и общественного воздействия — имело в основании цель благую, но в исполнении — лицемерие.

Так было и у других. В германской армии к 1901 г. из солдатских буфетов изъята была водка, но поощрялось пиво — национальный напиток и доходная статья отечественной промышленности — которым напивались не меньше, чем водкой. Французское министерство одной рукой насаждало трезвость (по отделу воспитания), а другой (по отделу хозяйства) — поощряло солдатские буфеты с «умеренной продажей вина» — настолько, что в циркуляре объявлена была даже благодарность одному ротмистру «за широкую постановку дела в кавалерийском полку»: ротмистр этот за полгода ухитрился продать 600 пятнадцативедерных бочек вина... (1909).

В германской и австрийской армиях во время войны спиртные напитки входили в довольствие, а перед атакой солдат, по-видимому, не раз спаивали: мы захватывали пленных — пьяными, а во взятых окопах — бочонки с дрянным, но крепким ромом.

* * *

«Красивая, изящная форма поднимает носителя ее как в собственных глазах, так и в глазах народа, заставляет внимательнее относиться к своей внешности и приучает его к порядку и дисциплинированности».

Такими словами объясняло официальное сообщение во второй половине царствования императора Николая II возвращение гвардии и кавалерии эффектных старых исторических форм, а в армейской пехоте и артиллерии — введение двубортных мундиров с металлическими пуговицами.

Действительно, опрощение формы одежды, введенной при императоре Александре III, достигая полного почти однообразия повсюду, удобства массовой пригонки при мобилизации, а главное дешевизны, не удовлетворяло минимальным требованиям эстетики. Армейское офицерство свою

форму не любило, а солдаты перед уходом в запас шили себе фантастическое обмундирование, представлявшее обыкновенно смесь форм эпохи Александра II. Военная печать уделяла много места этому вопросу, указывая на психологическое его значение. Помнится остроумный парадокс нововременского фельетониста «А-т» (полк. Петерсон), который, полемизируя с собратьями по перу, вышучивавшими «культ погончиков петличек», предлагал довести упрощение до логического конца: одеть воинство в *мешки* («удобство пригонки»)... Причем для отличия — обер-офицерам на спине ставить один восклицательный знак («на страх врагам»), а штаб-офицерам — два («на страх врагам и... своим»).

Начиная с 1907 г. последовал целый ряд перемен в обмундировании войск, в особенности в бытность военным министром Сухомлинова, имевших целью придать более изящный вид военной одежде. Вводились и отменялись мундиры; круглые барашковые шапки, в качестве парадного головного убора, заменены были сначала обыкновенными фуражками с большою неуклюжею бляхою, в виде государственного герба, потом папахою; скромные шашки — вне строя — сменились гремящими саблями; промелькнули и исчезли кивера для генералов и Генерального штаба... Нововведения и отмены чередовались так быстро, что люди благоразумные остерегались заводить новое и, согласно закону, донашивали старое вплоть до великой войны.

В конце концов, для главной массы войск — пехоты и полевой артиллерии — военное ведомство остановилось в 1913 г. на однотипной походной одежде защитного цвета, которая для парадов мирного времени украшалась пристяжными лацканами (на груди) полковых цветов или бархатым. В военный обиход она войти не успела.

Роскошь иметь две формы — мирнопарадную и походную, при условии необходимости освежать громадные запасы, содержимые для мобилизации, была непосильной для страны. Она оказалась непосильной после великой войны и для стран богатых, и ныне повсюду воцарилось более или менее универсальное, более или менее привлекательного вида защитное походное обмундирование, вытеснившее пеструю, яркую, воспетую поэзией всех стран и народов военную форму былых времен.

Вероятно, навсегда.

Но обмундирование старой русской армии обладало и другими крупными недостатками. Во-первых, оно было одинаковым, для всех широт — для Архангельска и для Крыма; при этом до японской войны никаких отпусков на теплые вещи не полагалось, и тонкая шинелишка покрывала солдата и летом и в морозы во время маневров и ночлегов в поле. Части заводили «без расходов для казны», за счет своей экономии — в пехотных войсках суконные куртки из выслуживших сроки изношенных шинелей; в конных — полушубки. Во время японской войны, в суровые маньчжурские зимы войска поддевали ватные китайские кофты и халаты, а сапоги обматывали воловьими шкурами, вследствие чего пожилые «сражатели» теряли не только воинский вид, но и всякую подвижность.

Не отличалась солдатская одежда и доброкачественностью, в особенности белье и сапоги. Про белье само интендантство говорило (1904): «Образцы выработаны в 60-х годах... Рубашечный холст весьма грубый, а подкладочный (для подштанников) — настолько грубый и костричный, что в частном быту находит себе применение лишь как портновский поднаряд... Сапожный товар не имеет приглядного вида и надлежащей мягкости...»

Войска ругали интендантство, интендантство жаловалось на недостаточный отпуск денег от казны, солдаты распродавали за бесценок вещи, военное министерство «обращало внимание интендантства на широкое явление продажи солдатского белья и сапожного товара», интендантство... и т. д. Такой кругооборот по приказной литературе и военной печати можно наблюдать четверть века, если не больше.

Особенно многострадальной была участь солдатского сапога, хотя из школьных прописей известно было, что «победа пехоты — в ногах»... Этапы, пройденные казенным сапогом, обыкновенно бывали следующие: заводчик, интендантство, полк, солдат; солдат, скупщик, заводчик, интендантство, полк, солдат. И т. д. — до трех, четырех раз.

Интендантство уверяло, что такой кругооборот невозможен, так как товар — клейменный, но большой процесс

варшавских поставщиков подтвердил (1910), что так именно и было. При этом выяснились и цифры тайной бухгалтерии: скупщик платил солдатам за пару сапог 1 р. 50 к. — 2 р., продавал поставщикам интендантства за 2 р. 50 — 2 р. 60 к., а последние получали контрактную цену 6 р. 90 к. — 7 р. 15 к. за пару...

Солдатская одежда разделялась на три «срока». Первый — неприкосновенный, одевавшийся только при мобилизации, второй — в парадных случаях, третий — в постоянной носке. Но «мундирная одежда» упорно отказывалась выдерживать уставные сроки, в особенности штаны, и изнашивалась до времени. Чтобы выйти из положения, войсковые части экономили, как умели: хитрили с фактическим перечислением из срока в срок, заставляли молодых солдат донашивать первые недели свою обувь и штаны, а где полковая экономия была незначительна, одевали их просто в рвань. Были командиры, которых не необходимость, а скопидомство или карьеризм побуждали накапливать добро в цейхгаузах для улады начальнического ока. Ибо находились наверху ценители и такой бережливости... О ней Драгомиров в приказе своем говорил: «Начальников частей, у которых окажется одежда *четвертого* срока, буду отрешать от должности».

Этот хронический дефект уживался как-то с постоянными приказами о чистоте, щеголеватости, опрятности и людей, и помещений. И не только их... Что зоркое око начальства следило, например, с величайшим вниманием за «туалетом» лошадей, это понятно всякому коннику, хозяину и спортсмену. Но некоторые любители порядка шли дальше. В качестве бытового курьеза М. И. Драгомиров приводил однажды приказ высокой инстанции:

«Для присмотра и ухода за порционным (убойным) скотом* поставить нижних чинов из числа бывших землепашцев. Завести металлические гребенки и вычесывать ту шерсть, которая линяет. Ключья шерсти придают животным неряшливый вид».

Плохо ли, хорошо ли одетый солдат должен был принимать вид бодрый и молодцеватый, ибо внешняя выправка

* На маневрах и на войне за войсками гнали гурты скота.

обыкновенно соответствовала внутренней подтянутости. Должен был и в своем сознании, и в глазах других поддерживать престиж своего высокого звания.

* * *

В казарме солдат находил совершенно непривычную обстановку в виде многостепенной иерархии и воинской дисциплины. Над рядовым стояли учитель, отделенный, взводный, фельдфебель (вахмистр), ротный командир (эскадронный, батарейный); все они обладали правами и обязанностями направлять его жизнь и службу. Только младший офицер, по заведенному обычаю, стоял обыкновенно в стороне от управления, занимаясь только обучением. И совсем далеко от личной жизни солдата стоял полковой командир и высшее начальство, направлявшее жизнь не отдельных людей, а войсковых соединений. Для ротного существовали хорошие или плохие солдаты, для полкового — хорошие или плохие роты.

Отношения между начальниками и подчиненными не всегда и не везде покоились на здоровых основаниях и, прежде всего, отражали на себе общий характер и нравы эпохи. Как я упоминал уже в 1-й книге, до 60-х годов, т. е. до великих реформ, телесные наказания и рукоприкладство являлись основным отражением воспитания войск. Физическое воздействие распространено было тогда широко в народном быту, и в школах, и в семьях. С 60-х годов и до первой революции телесное наказание было ограничено законом, допускаясь только в отношении нижних чинов, состоявших по судебному постановлению в разряде штрафованных*.

Раз в жизни мне пришлось присутствовать при такого рода экзекуции — молодым офицером, только что выпущенным (1892). Командир батареи наложили взыскание — 10 розог — на провинившегося солдата, и мне приказано было привести приказ в исполнение. Выстроилась вся батарея покоем; посреди поставлен был помост из двух топ-

чанов, и кадка с пучком березовых прутьев. Привели провинившегося. Фельдфебель скомандовал «Смирно!», и я срывавшимся от волнения голосом прочел приказ по батарее. После этого трубач сыграл сигнал, солдата положили на помост, подняли рубаху, и два бомбардира начали пороть его, меняя с каждым ударом лозу...

Я испытывал удручающее чувство. И не только от всего унижительного обряда, но от того еще, что на лице высеченного... не заметил особого смущения и стыда... Обобщать, однако, это явление отнюдь нельзя: бывало много случаев, когда солдаты, приговоренные к телесному наказанию, совершали тягчайшие уголовные преступления, чтобы подвергнуться более высокой мере наказания и избавиться от порки...

Что касается рукоприкладства, в указанный период оно сохранялось полузаконно, как обычай, редко преследуемое до 90-х годов, разве только в случае явного членовредительства. С 90-х годов, по почину Киевского округа, началось движение против этого явления и гонение на «дерущихся». В Киевском округе (ген. Драгомиров) требовалось даже о каждом случае рукоприкладства доносить по команде, до штаба округа включительно, как «о происшествии»; распоряжение это было отменено только за три года перед великой войной.

С тех пор кулачная расправа стала выводиться, в особенности после 1904 г., когда и телесные наказания в войсках были окончательно отменены — одновременно с отменой порки по приговорам волостных судов. Кулачная расправа стала изнанкой казарменного быта — скрываемой, осуждаемой и преследуемой.

Только в таком широком обобщении можно освещать этот больной вопрос, не рискуя впасть в ошибку и преувеличение. Ибо в жизни отдельных частей в этом отношении царил большое разнообразие: в бытовом укладе их, в законности и гуманности режима сдвигались и раздвигались грани времени.

Чрезвычайно разнообразна и галерея типов «дерущихся», с которыми мне приходилось сталкиваться за первую четверть века службы. Бившие «по принципу» или только в раздражении... За важный проступок или походя... В нормальном состоянии или только в нетрезвом виде...

* В английской армии телесные наказания были отменены только в 1880 г., а в английском флоте — в 1906 г.

Мрачные садисты, ненавидимые подчиненными, или люди типа «душа на распашку», которых, невзирая на кулачную расправу, нередко любили солдаты...

В 1902 г. в «Биржевых Ведомостях» было напечатано письмо отставного донского войскового старшины Б., «участника трех кампаний». «Все долгие годы службы, — писал старшина, — я бил, давал пощечины и оплеухи направо и налево, не разбирая ни правого, ни виноватого. Горько и до слез обидно становится и за себя, и за тех несчастных, которых я так часто незаслуженно оскорблял...» Это запоздалое покаяние, вынесенное на столбцы газеты и отзывавшееся более демагогией, чем искренностью, было в свое время использовано широко противниками армии, как свидетельство об *общей* язве казарменного быта.

А вот другого рода тип. В 1910 г., следовательно в период наибольшей эмансипации солдата, в Саратовском гарнизоне была отличная рота, которой командовал признанный выдающимся командир. На одном из инспекторских смотров солдат этой роты заявил жалобу, что ротный «отстегал его плетью». Произведенное дознание обнаружило весьма своеобразные порядки... Ротный, «во избежание большого расхода людей», а также «жалая солдата», — тем из них, которым за проступки и преступления грозил длительный арест или военная тюрьма, предлагал замену определенным числом ударов плетью. «Сделка» состоялась обыкновенно в присутствии фельдфебеля, а наказание приводил в исполнение сам ротный... Солдат, о котором идет речь, как оказалось, согласился на замену, а потом пожаловался...

Кроме понесенного ротным командиром наказания, эпизод этот сильно отразился на всей его служебной карьере. Но что замечательно — когда рота узнала об этом, пожаловавшемуся жителя не стало в казарме от своих товарищей, пришлось перевести его в другую часть.

* * *

Когда в числе причин, приведших к столь быстрому распаду русской армии, преимущественное внимание отводят дурному обращению с солдатами, то к выводу этому надо

подходить с большою осторожностью. Я приводил уже в первом томе некоторые данные о положении этого вопроса в армиях наших бывших противников. Если голос общества и печати в Германии и Австрии, свидетельствовавший с негодованием о жестоком и унижительном режиме казармы, можно было заподозривать в некотором преувеличении, то статистика не ошибалась. Ежегодные данные о числе осужденных за жестокое обращение с солдатами, о бегстве из рядов армии, о числе самоубийств — свидетельствовали наглядно, что в германской и в особенности в австрийской армиях режим много тяжелее, чем в других, и что русская армия быстрее изживает общий исторический недуг.

Наша артиллерия, где отношения между офицером и солдатом всегда бывали гуманнее, чем в других родах оружия, в смутные годы дольше пехоты сохранила относительную дисциплину и сносные взаимоотношения. Это казалось естественным... Но ведь то же самое произошло в кавалерии, где в мирное время взаимоотношения не были другими, чем в пехоте, а рукоприкладство практиковалось едва ли не чаще... Очевидно, темп, которым шло разложение, зависел в меньшей мере от недугов казарменного быта, нежели от других причин: от того, что кадровый состав пехоты растворялся при мобилизации несравненно более, чем в других родах оружия, что пехота несла в 6—10 раз большие потери, и пехотные полки во время кампании обращались в какие-то проходные этапы, через которые текла и переливалась человеческая волна.

Во всяком случае, ко времени великой войны рукоприкладство, где оно у нас существовало, являлось только большим пережитком изжитой системы и изживавшего себя обычая.

Одной из причин медленности процесса эмансипации казармы являлось то обстоятельство, что, в связи со степенью самосознания массы, с усложнившейся обстановкой службы, проникновением в казарму в большом числе элемента неблагонадежного, многие начальники, в особенности не умевшие сочетать методы воспитательные с карательными, поставлены были в большое затруднение в отношении точного соблюдения Дисциплинарного устава. Такое наказание, как «назначение не в очередь на служ-

бу», теряло всякий смысл во многих частях, где старослужащие и без того ходили в наряды через день. Арест для огромного большинства рядовых не имел морально устрашающего значения, а для бездельников являлся простыми отдыхом. Последнее взыскание было не применимо на походе, а на биваке заменялось «постановкой под ружье».

В последние годы все чаще раздавались голоса о необходимости изменений в системе наказаний. Одни, например, предлагали более суровый режим для военно-исправительных заведений и исключение дней, проведенных в заключении, из общего срока службы. Другие шли много дальше, предлагая бездушную и роняющую достоинство воина австрийскую систему. Случилось так, что последними словами последней статьи, продиктованной за неделю до смерти большим печальником о солдатской доле, М. И. Драгомировым, были: «Только что прочел («Русь»)... о предложении какого-то господина прибавить у нас к военно-дисциплинарным взысканиям и *кандалы*. Да неужели это правда? О, Господи! Ты видиши! Нет, я этому не верю, не могу поверить!»

Но, если русский Дисциплинарный устав, может быть, и требовал для мирного времени поправок, то в военное время и он, как и Воинский устав о наказаниях, оказались совершенно бессильными. И не только по причине неприменимости многих типов наказаний, а, главное, потому, что во время войны для элемента преступного, в частности для шкурников, праволишения не имеют никакого устрашающего значения, а всякое наказание, сопряженное с уходом из рядов, является только поощрением. В сущности, кроме смертной казни, закон не обладал никакими другими *реальными* способами репрессии.

Русские военные — практики и юристы — не сумели разрешить способом, более достойным человека-воина и менее опасным в смысле создания неблагоприятного настроения в войсках, этого вопроса. И в 1915 г. в армии было восстановлено наказание розгами властью начальника — отмененное полвека назад.

Но вот пришла революция и ниспровергла все: власть, закон, суд и дисциплину. Ниспровергла, чтобы через малое время восстановить многое, относимое к «грехам царского режима»...

Так, после полной демократизации, после завоевания всех свобод и даже верховной власти, Донской войсковой круг, весьма демократического состава (в большинстве — рядовое казачество), ввел в свою армию в 1919 г. наказание розгами за целый ряд воинских и общих преступлений...

В августе 1918 г. в Северокавказской красной армии съезд командиров и представителей солдатских советов, под председательством командовавшего фронтом Гайчина, выработал дисциплинарный устав, которым предусматривались, в числе прочих, и следующие наказания:

«Сеюшим панику по глупости 10—20 ударов розги».

«Самовольно оставляющим фронт. То же».

«За грабеж 50 ударов».

«За умышленную стрельбу из винтовки 5 розог и 25 р. штрафа».

Правда, меры эти не спасли Северокавказскую армию от разложения, но интересные, как парадоксы революции и народного самосознания.

* * *

В казарме царила атмосфера грубости. На внешних отношениях лежала печать всеобщей русской малокультурности, составлявшей свойство не одних народных масс, но часто и интеллигенции. Конечно, дело было не в обращении на «ты», а не «вы» — вопрос по тому времени совсем несущественный. Ругня и, в частности, матерщина — в качестве угрозы и даже одобрения — составляли неприменную принадлежность казарменного лексикона, как в отношении высших к низшим (будь то офицер или унтер-офицер), так и между равными*. Казарма приучала в последние годы к употреблению носового платка, но несколько не смягчала нравов. А тут еще такие нервирующие обстоятельства, как непонятливость и неповоротливость обучаемых, в особенности «немых»**, приводившие не раз в ярость и отчаяние учителей... Или ответственность —

* Это не относится, конечно, ко взаимоотношениям офицеров между собой.

** Не говорящих по-русски. О них будет сказано подробнее в другом очерке.

не только за *общее состояние* части, команды, но и за провинности каждого подчиненного, за его незнание, неряшливость или оплошность.

Такого рода ответственность, практиковавшаяся по всем степеням военной иерархии, носила зачастую формы несправедливые и нецелесообразные. Встретит на улице начальник дивизии неряшливо одетого солдата — в ответе и полковой командир, и всегда — ротный. Обнаруженная в сундуке нижнего чина прокламация — это уже настоящее бедствие для всего ближайшего начальства. В подчиненном поэтому привыкали видеть человека, который каждую минуту может «подвести», испортить репутацию части и командира...

Был долгий период, когда за похищенную революционерами винтовку или револьвер — ротный (эскадронный) командир отчислялся от должности, а командиры полков не удаивались повышения. Это знали солдаты, и это вызывало иногда со стороны преступного элемента провокацию, из мести или озорства.

За день до увольнения в запас солдат в полку, которым я командовал, из помещения одной роты пропал револьвер. Значит — быть беде... Собрал я запасных этой роты и сказал им:

— Жаль мне вас. Все поедут домой, а вас, из-за одного какого-то негодая, придется задержать дня на два. Сами понимаете, пока суд да дело, дознание, обыски...

Настроившиеся к отъезду запасные волновались. Послышались в роте речи: «Дознаемся — кто это сделал, забьем». А фельдфебель уверял, что «дознаемся бесприменно», так как вечером он собирался к гадалке, которая в кадке с заговоренной водой сумеет опознать лицо вора... Что помогло — не знаю, но револьвер в тот же вечер был подброшен на видное место, и все окончилось благополучно.

Ответственность — без вины — за отдельного подчиненного, как и любой изъян армейского быта, получала совсем уже анекдотическое отражение в кривом зеркале Казанского округа, когда им правил ген. Сандецкий. Однажды в карауле при дворце командующего случилось «происшествие». Кто-то из караульных нижних чинов, не то заболел, не то из озорства, в дворцовом палисаднике оста-

вил «след»... Вышедший из себя от негодования, ген. Сандецкий вызвал по телефону командира того корпуса, из состава которого был наряжен караул, ген. С-са, и, указывая палкой на «след» в резкой форме сделал ему замечание по поводу невоспитанности чинов *его корпуса*... Ген. С-с недолго после этого оставался в Казанском округе, переводясь в Киевский.

* * *

Внешняя грубость казарменного режима в глазах сторонних наблюдателей заслоняла его положительные черты, не всегда видные со стороны и недостаточно оцененные — сердечность, едва ли существовавшую в такой степени в какой-либо из иностранных армий, и заботливость о солдате. В длинной галерее типов, встающих перед моими глазами, наряду с мордобоями и бездушными формалистами, чередуются, и не в малом числе, настоящие подвижники долга, отдававшие бескорыстно свои силы службе, свое сердце, досуг и даже иногда скудные сбережения солдату; отстаивавшие интересы и благополучие своих подчиненных, в явный ущерб своему спокойствию и служебному положению, перед формальным законом и не в меру требовательным начальством; и пробивавшие кору черствости и недоверия, привлекая к себе сердца подчиненных. Как часто и трогательно проявлялось это отношение подчиненного к начальнику в годы войн, в окопной жизни: к живому — заботами о его маленьких удобствах и сравнительной безопасности; к убитому — в искреннем горе о его утрате...

А между этими двумя антиподами стояла масса военных начальников — и офицеров, и нижних чинов — чрезвычайно разнообразная, как и всякая другая организация, по своим человеческим и служебным свойствам. И вносящая свет или тень в жизнь солдатскую.

В последнее время перед войною с командных высот все чаще раздавался призыв к офицерам:

— Станьте ближе к солдату!

Призыв понятный. Но не всегда следование ему зависело от доброй воли офицера. «Подойти» к солдату — это было своего рода искусством — врожденным или благо-

приобретенным. Были люди, долго не могшие постичь его. Вот, например, поручик один — исправный служака и хороший по натуре человек — не умел разговаривать с солдатами попросту, не по службе. Под влиянием очередного приказа на тему «станьте ближе к солдату» и упреков товарищей, он решил попытаться... Вернувшись из собрания домой, долго тер лоб и наконец обратился к денщику:

— А что, есть у вас в деревне волки?

Солдат, не привыкший ни к каким интимным обращениям своего поручика, просиял:

— Никак нет, нету!

Поручик снова потер лоб, нахмурился и, ничего больше не придумав, сердито бросил:

— Пшел к черту!

На этом и кончилась попытка сближения.

Это офицер или застенчивый от природы, или принадлежащий к типу «ни горячих, ни холодных», про которых так образно выразился фейерверкер в живой сцене, зарисованной одним анонимным автором. Поручик прощается, уезжая в Академию...

— Как жаль, ваше благородие, что вы уезжаете...

— С какой стати вам жалеть обо мне, ведь я же вас *дул* здорово.

— За проступки, ваше благородие *дули* здорово — это правда. Зато, когда нужно было, и *жалели* здорово. А нынешние господа офицеры в нашей батарее и *не дуют*, и *не жалеют*...

У меня в полку был молодой подпоручик, славный во всех отношениях и очень трудолюбивый. При обучении солдат он обращался с ними, как с юнкерами, и иногда, по юнкерской привычке, у него срывалось:

— Стройтесь, господа!

Вот это «господа» — подвело его больше всего: не только ротный посмеялся, но и сами солдаты. Подпоручика они любили, но за глаза подтрунивали над ним и, вообще, считали начальником «ненастоящим».

Были, наконец, офицеры — необязательно из народа, — которые серьезностью тона, доступностью обращения и простыми, без подыгрывания, словами умели с первых же шагов завладеть доверием солдата, вызвать на от-

кровенность и заставить его сквозь призму чинопочитания и подчиненности видеть в начальнике «своего человека».

Не большие ли трудности испытывали в 70-х годах и позже самоотверженные идеалисты-интеллигенты, уходившие в народ, и, вместо сердечного отклика, находившие там непонимание, иногда ярую враждебность?

Я не говорю про тех, что будили в народе зверя: их работа была удачнее...

Интересно, как расценивали эти взаимоотношения «по ту сторону баррикады». В 1907 г. в газете «Красное Знамя», издававшейся в Париже Амфитеатровым, появилась статья «Русское военное сословие перед лицом революции». В ней — горькое признание, что революция провалилась из-за стойкости офицерского корпуса и его влияния на солдат. В революцию шли только самые плохие офицеры... Между тем штатские не могли добиться такого повиновения, которое присуще «настоящей офицерской команде»... Посылавшиеся в войсковые части революционеры, переодетые в офицерскую форму, немедленно разоблачались и теряли авторитет... Поэтому, говорил автор, надо готовить революционную молодежь за границей — в европейских военных школах, в иностранных полках... «Надо разрушить военное жречество и выучиться быть военными самим...»

Но и такое красное офицерство, вспоенное революцией, было а priori заподозрено революционным органом в возможности уклона в сторону «кромвелизма, бонапартизма, демократического цезаризма», потому что и оно, немедленно после победы, обрекалось на слом: «первое, что должна будет сделать победоносная социалистическая республиканская революция, это — опираясь на крестьянскую и рабочую массу — объявить и сделать военное сословие упраздненным»...

Первую половину начертанной здесь программы большевики выполнили — старое «жречество» почти разрушено. Но к осуществлению второй не приступают.

* * *

Военнослужащие на незаконные действия начальника имели право приносить жалобы — устно на инспекторских

опросах, а вне их, и на высших начальников, — письменно. Но правом этим пользовались чрезвычайно редко. Потому ли, что крупные в восприятии солдатском правонарушения встречались не так уже часто, потому ли, что наш солдат до 1917 г. отличался покорностью и терпением, а продолжать службу под начальством того, на кого жаловался, казалось опасным... Впрочем, в случаях особо важных жалобщика, во избежание преследования, переводили в другую часть.

Присутствуя на инспекторских опросах за время своей службы в разных ролях — и опрашиваемого, и опрашивающего — наверно, более сотни раз, я помню только единичные случаи принесения солдатами жалоб; касались они обыкновенно неправильного приема на службу, дурного обращения и денежных расчетов. Как редкое исключение, при возникновении дел уголовного характера, случались массовые заявления; речь о них впереди. Во всяком случае, заявление жалобы считалось в жизни части событием, и конечно неприятным.

Можно себе поэтому представить, какую сенсацию в военном мире вызвал эпизод, имевший место в Москве в 1912 г.: на Высочайшем смотре, на Ходынском поле рядовой Софийского полка Бакурин самовольно выбежал из строя для подачи жалобы Государю...

Собственно говоря, центр тяжести этого дела заключался не в факте незаконной подачи Бакуриным жалобы и не в самой сущности ее, а в небывалом нарушении «свялости строя», да еще в присутствии Государя. *Строй* является в глазах людей военных местом исключительной важности — наивысшим символом отрешения от личной воли и повиновения единой направляющей воле и команде начальника. Преступления, совершенные во время нахождения в строю, и в сознании военных, и в законе расценивались иначе, чем в обстановке обыкновенной. В них видели не простое проявление злой воли, а скрытые элементы бунта, посягательство на самую идею дисциплины — души армии — опасное психологическим воздействием на соседей, грозящее обратить воинскую часть в толпу. Уважение к строю внедрялось поэтому во всех армиях всех народов. Оно против воли захватывало и элементы чуж-

дые, враждебные — не духовными побуждениями, конечно, а «автоматизмом мыслей, слов и действий». Так именно объясняла революционная печать показательный случай во время подавления войсками народных беспорядков в дни первой русской революции*. Команда, состоящая из «совершенно сознательных солдат», стреляла в бунтовщиков и потом оправдывалась перед своими подпольными руководителями: «Сами себя не понимаем. Каждый сам по себе — думаем и хотим хорошо. А в строю — словно воли решаешься — одурь находит... Крикнет тебе офицер команду — глядь, сам не заметил, как уже выпалит»...

Случай с Бакуриным взволновал армию. В приказе по военному ведомству объявлены были кары: «Е. И. В., во избежание повторения подобных прискорбных случаев, Высочайше повелел: сделать замечание командующему войсками Московского военного округа, поставить на вид командиру 13 арм. корпуса, объявить выговор начальнику 1 пех. дивизии, строгий выговор командиру полка; командира 1 батальона отрешить от командования, а ротного и взводного командиров уволить от службы». Рядовой Бакурин «за выход из строя с винтовкой для подачи прошения Государю Императору» предан был военно-окружному суду по законам военного времени, по статье 106 Воинского Устава о наказаниях**...

Военный писатель, ген. Скугаревский, анализируя этот случай, выискивал в истории аналогичный пример: в царствование императора Николая I, во время развода вышел из строя барабанщик и, подойдя к Государю, сказал:

— Ваше Величество, жить невозможно — забивают!

Барабанщика предали военному суду, который приговорил его к нескольким тысячам ударов шпицрутенами... Времена и нравы меняются: царственный правнук Николай I, осудив само преступление, простил затем и Бакурина, и его начальников.

* «Красное Знамя».

** Ст. 106 гласила: «За сопротивление исполнению приказаний или распоряжений начальника, однако, без употребления оружия, виновный подвергается: в военное время — лишению всех прав состояния и смертной казни, или ссылке в каторжные работы без срока, или на время от 12 до 20 лет».

Во время японской войны, помню, на почве хозяйственных злоупотреблений был случай массового заявления жалоб казаками Донской дивизии — случай редкий, ибо казаки привыкли разбирать свои внутренние недоразумения между собой, «не вынося сора из избы»... Мне лично пришлось быть свидетелем подобного же эпизода в одном из уральских казачьих полков при обстановке совершенно исключительной.

Нужно сказать, что казачий быт отличался вообще от армейского некоторыми особенностями, а Уральцев — тем более. У последних нет вовсе сословных подразделений; из одной семьи выходил один сын офицером, другой — простым казаком — это дело случая. Бывало, младший брат — командует сотней, а старший — у него вестовым. Родственная и бытовая близость между офицером и казаком составляли особенно характерную черту уральских полков.

Кончалась японская война. Шли слухи о перемирии. Наш Западный конный отряд переименовали в корпус, командиром которого был назначен начальник отряда ген. Мищенко. Его дивизию — Урало-Забайкальскую — получил ген. Бернов. Приехал и приступил к приему дивизии; я сопровождал его в качестве начальника штаба.

Осмотрели Забайкальцев — все благополучно. Прибыли мы в N уральский полк. Построился полк, как водится, для опроса жалоб — отдельно офицеры и казаки. Офицеры жалоб не заявили. Обратился начальник дивизии к строю казаков с обычным вопросом:

— Нет ли, станичники, жалоб и претензий?

Вместо обычного ответа — «никак нет, ваше пр-ство!» — гробовое молчание... Генерал опешил от неожиданности. Повторил вопрос другой и третий раз... Хмурые лица, молчание. Отвел меня в сторону, спрашивает:

— Что это, бунт?

Я также в полном недоумении: прекраснейший боевой полк, исполнительный, дисциплинированный...

— Попробуйте, ваше пр-ство, начать опрос поодиночке, с правого фланга.

Генерал подошел к правофланговому:

— Нет ли у тебя жалоб?

— Так точно, ваше пр-ство.

И начал — без запинки, скороговоркой, словно выучил наизуток, бесконечный ряд дат и цифр...

— С 30 декабря прошлого года и по февраль пятый сотня была в отделе, на летучих постах, и довольствия я не получал от сотенного шесть дён... 18 февраля под Мукде-ном наш взвод спосылали для связи со штабом армии — кормились с лошадьёю на собственные...

И пошел, и пошел.

Другой, третий, десятый — то же самое. Я попробовал, было, вначале записывать претензии, но вскоре бросил — пришлось бы писать до утра. Ген. Бернов, выслушав добросовестно десяток казаков, прекратил опрос и отошел в сторону.

— Первый раз в жизни такой случай. Сам черт их не разберет. Надо кончить.

И обратился к строю:

— Я вижу у вас тут беспорядок или недоразумение. От такого доблестного полка не ожидал. Сегодня смотреть полк не буду — приду через три дня. Чтоб все было в порядке.

Бернов доложил о случившемся Мищенко, тот вызвал командовавшего полком — командир был в отсутствии — и побеседовал с ним так энергично, что стены китайской фанзы пришли в содрогание...

В течение последовавших двух дней в районе полка заметно было большое оживление. На выгоне, возле деревни, где располагался полк, с кургана, прилегавшего к штабу дивизии, можно было видеть отдельные группы людей, собиравшихся в круг и ожесточенно жестикулировавших. Я поинтересовался, что там происходит; приятель — уралец конвойной сотни объяснил:

— Сотни *судятся* с сотенными командирами. Это у нас в обычае — после похода. А тут раньше времени смотр все перепутал. Казаки не хотели заявлять на смотру, да побоялись — как бы не лишиться из-за этого права на недоданное...

К вечеру перед смотром я спросил уральца опять:

— Ну как?

— Кончили. Завтра сами услышите. В одних сотнях — ничего, скоро поладили; в других — горячее было дело. Особенно командиру N-й сотни досталось. Он и шапку

оземь кидал, и на колени становился. «Помилосердствуйте, — говорит, — много требуете, жену с детьми по миру пустите». А сотня стоит на своем: «знаем, грамотные, не проведешь». Под конец согласились. «Ладно, — говорит сотенный, — жрите мою кровь, так вас и так...»

На другой день, когда начальник дивизии вторично опрашивал претензии в полку, все казаки, как один, громко и весело ответили:

— Никак нет, ваше пр-ство!

А еще через день посланы были в полк чиновники контроля для поверки полкового хозяйства.

II

Месяцы октябрь—ноябрь. Почти не было такого города, где бы не стояла воинская часть, в которую прибывают новобранцы. С вокзалов или от застав, в предшествии оркестра военной музыки и в сопровождении бравых старослуживых, плетутся нагруженные котомками, узлами вереницы молодых парней, имеющих весьма унылый вид.

Военная служба, какою была в николаевское время, когда солдат оставался на ней 25 лет и уходил в «бессрочный отпуск» бездомным, деклассированным или просто калекой, такую и осталась в глазах народа — после реформы и сокращения сроков до 3—4 лет — только тяжелой повинностью. Само слово «повинность» (не долг, не обязанность...) вызывает всегда представление о чем-то тягостном, неприятном, выбивающем жизнь из колеи — будто дорожная, подводная или, в большевицкие времена, «трудовая повинность». От того старого времени, когда оплакивали рекрута, как покойника, а он куражился и пил мертвую неделями, проклиная свою горькую судьбину, и до последних дней остался обычай гулянья-прошанья, конечно с сокращением масштаба слез и водки.

«Еще есть ли, братцы, ребятушки, такова мать —

Отдала сына в солдаты, да не заплакала...» —

говорит старая рекрутская песня. А буйство новобранцев в дни призыва, иногда с разбитием закрывавшихся в ту пору

казенных винных лавок, отмечалось в отчетах повсеместно и ежегодно.

Как в старые времена в понятие «повинность» не вкладывалось представление о долге, а в отбывании ее народ не видел «почетного служения», так и в последние годы. И редко в сознание молодого солдата проникала затверженная со слов «дядьки» военная сентенция:

— Солдат есть имя общее, знаменитое...

Редко он разделял мнение своего учителя о преимуществах своего нового положения:

— Был ты в деревне дурак дураком. А теперь образование получишь, может, и до унтера дослужишься...

Прохождением через законодательные учреждения цифры ежегодного контингента новобранцев и разверсткой ее по губерниям и областями начиналась сложная и длительная процедура комплектования русской вооруженной силы. В последние годы перед войной страна выставляла около 1% всего населения, держа под ружьем 1350 тыс. и требуя ежегодно 450 тыс. пополнения.

От начала и до конца шли отсеивание и отбор. Более 8% населения было освобождено от военной службы вообще; затем Устав о воинской повинности давал чрезвычайно широкие льготы лицам призывного возраста — по семейному положению и по ряду профессий — такие льготы, каких не знали уставы ни одной из первоклассных европейских армий*. Повышенные требования физической годности и хилость городского, главным образом, населения отбрасывали около трети призывных (29—32%), забракованных по болезням, неспособности и невозмужалости. Эта категория увеличивалась еще на 6—7% теми новобранцами, которых армия возвращала в «первобытное состояние» по болезни и непригодности.

В результате из числа лиц призывного возраста, по Уставу 1874 г., брали на службу в первый год его действия 21%, а последние — 34—36%.

В дальнейшем шло распределение по родам оружия. Лучшие во всех отношениях новобранцы посылались в гвар-

* Новый Устав, введенный в 1912 г., несколько сократил льготы и упорядочил призыв; но по краткости времени влияния оказал мало.

дию; более грамотные и знающие мастерства — в «специальные» войска; «крепкие, мускулистые и некоротконогие» шли в кавалерию. А что засим оставалось, поступало на укомплектование «царицы современных полей сражения» — пехоты...

* * *

По прибытии в гарнизон новобранцы направлялись прямо в полк или подвергались предварительно много-степенной разбивке. Командиры, фельдфебели, приемщики чрезвычайно ревниво следят за равномерностью разбивки. Распределяют отдельно неграмотных, малограмотных, грамотных, знающих мастерство и, наконец, немых, т. е. не говорящих по-русски, — этот бич рот, эскадронов, батарей! Во всех категориях распределяют по ранжиру.

Массовая безграмотность призывных до крайности затрудняла положение армии, заставляя командный состав ее тратить много сил и времени на ту работу, которую у соседей производил школьный учитель. В то время как в Германии в годы, предшествовавшие великой войне, поступало неграмотных новобранцев менее 1%, во Франции — 2—3% — у нас их было около 45%; причем прогресс выражался такими цифрами: в 1865 г. призыв дал 95% неграмотных, а через сорок лет, к 1905 г. — 59%... Почти поголовно грамотных призывных давал Прибалтийский край, за ним шли Ярославская и столичные губернии, в хвосте плелись польские и малороссийские, и совершенно ничтожный % грамотных поступал из Уфимской.

Естественно, что при таких условиях каждый грамотный новобранец был на счету, в особенности в пехоте.

Точно так же желанными были знающие мастерство. Штабы заинтересованы были в типографах, литографах, музыкантах; батареи, обросшие таким же многосторонним хозяйством, как и любой полк, — в кузнецах, слесарях, столярах; все мелкие части — в сапожниках и портных — хотя и знали, что мало-мальски искусного мастерового, после 6-4-месячного обязательного строевого обучения, отберут непременно в высшую инстанцию...

На этой почве с первых же шагов опытные приемщики-солдаты состязались в ловкости и хитрости — в интересах своей части. То окажется маленький подлог в ранжире, то новобранец, очевидно подговоренный, откажется от своей специальности, или вдруг заявит просьбу о назначении в определенную часть, где будто бы служит его родственник... Потом уже, к концу строевого обучения идет борьба между полковыми и высшими штабами из-за писарей, литографов и, главным образом, поваров. Снизу — всяческое укрывательство, сверху — настойчивое давление. Трудно сохранить хорошего писаря для полковой канцелярии или повара для офицерского собрания. С каким поэтому злорадством пошлет, бывало, полк в высшую инстанцию потребованного туда «писаря», оказавшегося полуграмотным, или повара, который на самом деле был только «вторым супником» в третьеразрядном трактире. А настоящего повара «от Тестова» пошлют «по собственному его желанию» в учебную команду, откуда уже ничья сильная рука не может извлечь его на роль прислуги.

Впрочем, такого рода пассивное сопротивление оказывали только части или, вернее, командиры «строптивые». Немногим была охота ссориться с начальством...

Гораздо менее или даже вовсе не интересовались в частях специалистами по другим отраслям, стоявшим вне узкохозяйственных их интересов. Эти лица не подвергались и по Уставу особому учету, а с мобилизацией призывались в общей массе запасных. И когда в первый же год великой войны обнаружилось расстройство целого ряда военных производств — металлургических, химических, аэроплановых и т. д., и в действующую армию посыпались телеграммы о возвращении квалифицированных работников, во многих случаях было уже поздно. С фронта получался стереотипный ответ:

«Убит в бою таком-то».

* * *

Молодой солдат, входя в казарму, испытывал обыкновенно смущение и подавленность. Все — обстановка, отношения, размеренный уклад жизни, многостепенное

начальство, целый ряд запретов при неясности граней дозволенного и недозволенного, иногда насмешки и сердитые окрики — все было ново, непривычно, выбивало из колеи. Тоска по дому, по родине — в узком смысле этого слова — усугубляла моральную подавленность, замыкала уста деревенским весельчакам и накладывала поначалу печать тупости на людей сметливых и неглупых. К тому же ранние браки — около 30% новобранцев приходили жена-тыми* — и сложное зачастую положение солдатских жен в деревенском быту порождали много незаметных человеческих драм.

Побороть замкнутость молодого солдата, вызвать его на откровенность стоило больших усилий не только офицеру — «барину», но и своему брату — «дядьке» (учителю), человеку близкому по быту и психологии, всего год тому назад, быть может, пережившему тождественные настроения. Да и какой еще дядька попадется... Хорошо, если человек добродушный, порядочный и не педант. Бывали ведь и «дергуны», ругатели, вымогатели. Подговорит молодого взять отданные на хранение собственные деньги или научит написать слезное письмо «дражайшим» родителям о присылке денег, по причине большой беды: «сломана прицельная линия» или «сбита мушка»... Потом «займет» или заставит пропить вместе. Отказать трудно, ибо дядька имеет тысячу возможностей, не нарушая даже формального устава, отравить жизнь молодому.

Но при всех недостатках своих колоритная фигура русского учителя-дядьки, увековеченная военной литературой, солдатским эпосом и народным юмором, чужда была одного большого греха: в нашей казарме не было и в помине того бессердечного издевательства, изводки над новобранцами, которые практиковались систематически в других армиях, в особенности в германской и австрийской. Задолго до откровений Ремарка мы знали истинную картину тяжелого и мрачного быта германской казармы — ясную даже из приказной литературы. Но и о французской казарме, несмотря на глубокую разницу в характере этих

двух народов, приходилось читать: «Вылить ведро холодной воды на новобранца, подбросить его на растянутом одеяле к потолку, откуда он падает затем на пол, устроить ему провал в кровати — вот традиционные приемы изводки... иногда с поранением и калечением».

Щемящая тоска написана на лицах молодых, висит в воздухе, в особенности в вечерние часы досуга, поздней осенью или зимою, в тускло освещенной казарме... Допускаются посетители, но кто придет? Свои далеко, за сотни, тысячи верст. Солдатская памятка наставляет: «Скучно станет — ступай поговори с земляком...» А земляков «ранжир» разбросал по разным полкам и ротам... «Не поможет — напиши письмо домой», — поучает далее памятка... Эти солдатские послания — полуграмотные по форме, вымученные, с натугой и потом составленные — от непривычки излагать в письменной форме свои мысли!.. С бесконечным поминанием всей родни — «и еще кланяюсь тетушке нашей Пелагее Сидоровне»... Со штампованными, точно подсказанными мыслями, сквозь которые редко прорвется подлинное внутреннее движение души человеческой...

Солдатские письма в большинстве производили такое впечатление, будто писались они не от душевной потребности, а по обычаю или повинности.

Впрочем, и в этой области ко времени великой войны сказался не только повышенный возраст мобилизованной армии, но и рост сознания в народе. Отчеты военной цензуры о солдатских настроениях, приводившиеся выдержки из писем с войны — даже полуграмотных, грубых, лапидарных по форме — заключали в себе сплошь и рядом признаки большой наблюдательности и психологического анализа совершающихся событий; а вместе с тем и неясные признаки надвигающегося — тревожного и темного...

В первые критические недели службы молодых солдат бывали случаи саморанения, с целью избавиться от службы. Всегда наивно и нелепо и всегда одинаково: работая ножом или топором, будто нечаянно, отрежет себе один или два пальца правой руки. В результате неизбежно — военная тюрьма или дисциплинарный батальон и глупо испорченная жизнь. Тем не менее случаи саморанения повторялись из года в год.

* Меньше всего женатых давала Финляндия и Закавказье; больше всего Кубанская область (каз.).

Много души вкладывалось офицерами и нижними чинами — учителями молодых солдат, чтобы побороть их отчужденность и приобщить их к военному укладу.

* * *

В таком настроении, в большинстве темные, безграмотные, с весьма ограниченным кругом не только понятий, но и слов, приступали молодые солдаты к обучению.

Главный тормоз — безграмотность.

После головокружительных побед пруссаков над французами, одержанных, как принято было повторять, «немецким школьным учителем», и у нас началось стремление к просвещению солдата. Но держалось оно не долго. В 1880 г. вышло Положение, которое ограничивало обучение грамоте только годичным сроком (2-й год службы), причем обязательным оно было лишь для небольшого числа солдат, зачисляемых в ротную школу (12 на роту); в отношении остальных допускалось «в свободное от службы время»...

Такое направление продержалось целых 22 года. Наилучшей его характеристикой может служить официальный годовой обзор (за 1892 г.), который, осуждая начальников и части, стремившиеся ко всеобщему обучению, указывал:

«Едва ли можно согласиться с тем, что обучение грамотности в войсках должно занимать столь важное место, что даже в курс военно-учебных заведений требуется ввести преподавание способов обучения грамоте. На войска не может быть возложена обязанность служить проводниками грамотности в народную массу; средств и времени слишком мало».

Но время шло, все труднее становилось приводить часть на уровень современных требований военного дела, все настойчивее раздавались голоса снизу — людей практики. И в 1902 г. система была резко изменена: ротные и батальонные школы были отменены, и в пехоте и полевой артиллерии введено *всеобщее* обучение грамоте с первого года службы. В кавалерии и конной артиллерии, под предлогом перегрузки работой, оно осталось необязательным.

Как на главный мотив при принятии этой меры, официальное сообщение указывало на крайнюю трудность, при

современных кратких сроках службы, подготовки унтер-офицерского состава. Ибо унтер-офицеры из городских и фабричных районов развиты, грамотны, но ненадежны; а из землепашцев — «являются всегда элементом очень надежным и желательным, но неграмотны»... Такой классовый отбор и производился фактически: русский унтер-офицерский корпус был почти сплошь крестьянский.

В очень многих частях дело обучения грамоте поставлено было в последние годы правильно и прогрессивно. Частично интересовались системами обучения; много поработали в войсках известные педагоги — Столпянский, начальные книжки которого распространялись в сотнях тысяч экземпляров, и Троцкий-Сенютович, с его звуковой системой обучения; работала мысль и непосредственных руководителей солдата, изобретавших оригинальные и остроумные приемы внедрения грамотности. Не обходилось, конечно, и без курьезов, вроде того, как один начальник дивизии, «считая необходимым грамотность начинать с обучения людей разделять слова на слоги», приказал: «чтобы на все вопросы и обращения начальства нижние чины отвечали по слогам, отчеканивая их по разделениям, как ружейные приемы». Как ни была дисциплинирована дивизия, но в этом случае оказала пассивное сопротивление — «лаять» не стала.

Как бы то ни было, казарма в последнее время, кроме своего специального назначения, выполняла и общекультурную миссию: ежегодно она выпускала до 200 тыс. запасных, научившихся в ней грамоте.

* * *

Все, кто имел дело с первоначальным обучением солдат, знают, сколько мук и пота вызывала пресловутая «словесность», заключающаяся в изложении молитв, служебного распорядка, прав и обязанностей военнослужащих, норм довольствия, в определении таких отвлеченных понятий или образов, как дисциплина, знамя и т. д., и т. д. Какими анекдотами обогащала она казарменный эпос! Избегая шаржа, я намеренно ограничиваю эту область и привожу лишь очень малую часть того, что приходит на память. Некоторых эпизодов ввек не забыть...

1894 год. Экзамен в учебной команде артиллерийской бригады. Солдаты выборные, уже пообтесавшиеся — полтора года на службе. Священник спрашивает одного:

- Скажи Символ веры.
- Верую во единого Бога Отца, *содержателя дворца...*
- Отец Николай, в ужасе воздев руки, перебивает:
- Опомнись, какого дворца?!
- Хрустального, батюшка.

В 90-х годах «словесность» цвела в казарме махровым цветом, забивая головы пространными отвлеченными определениями уставов, родословными, титулами, перечислением мельчайших манипуляций и частей оружия, деталей служебного распорядка и домашнего обихода, безошибочно, рутинно выполняемых на практике, но трудно усвояемых в бесцельной словесной передаче. Да еще осложненная «пунктиками» многостепенного начальства — произвольным толкованием устава, которые также надо было знать, разучивать, переучивать, подгонять к смотрам «под» того или другого начальника. Командир батальона требует, например, ответа дословно:

— Не мудрствуй, лучше устава не скажешь. Устав, брат, все равно что Символ веры.

А полковой говорит другое:

— Не надо забивать головы зубрежем; пусть отвечают сознательно, своими словами.

В результате — и так, и этак — и слова устава, и вольную передачу их дядькой большинству молодых солдат приходится заучивать наизусть — по малому развитию, по недостатку в их бедном лексиконе нужных слов, по темноте деревенской.

— Знамя есть священная хворугь, как образ... Повтори!

— Знамя есть священная харуг...

— Не «харуг», а «хворугь», дурак. Не видал, что ль, у церкви, коло крылоса?

Конечно, были и тогда учителя разумные, и ученики толковые. Но я говорю о массе.

В 1889 г. в словесной схоластике пробита была серьезнейшая брешь драгомировской программой обучения молодых солдат, которая, став обязательной в Киевском округе, постепенно получила признание во всей армии, была

рекомендована впоследствии военным министром для руководства в других округах, и в 1902 г. легла в основание нового Положения.

Драгомировская «Памятка» прежде всего выбрасывала словесную труху, все, что можно было усвоить одним показом или что можно было дополнить и развить впоследствии на опыте. При этом основным положениям воинской науки она придала вид кратких, элементарных по форме и легко запоминаемых афоризмов. Известно оригинальное драгомировское определение существа воинской дисциплины: «Что прикажет начальник — делай. А против Государя — не делай».

Можно бы возразить против такого сужения или чрезмерного распространения — как хотите — понятия о «приказаниях явно не законных», которые не должен был исполнять подчиненный. Но, с другой стороны, совершенно бесполезно было бы втолковывать молодому солдату такие юридические тонкости «законности», в которых блуждали не раз и «Решения главного военного суда».

Неудачный последователь драгомировской показательной науки, комендант Новогеоргиевской крепости, посетив однажды пехотные казармы в сопровождении своего начальника штаба, и, желая испытать познания солдат, вдруг приказал одному из них:

— Коли начальника штаба!

Солдат, не раздумывая ни секунды, вскинул ружье и готов был сделать выпад... Грузный начальник штаба отпрянул в сторону, а комендант успел ухватиться за ружье. Между генералами началось резкое объяснение, и исполнительный солдат так и не узнал — надо было или нет пропороть живот начальнику штаба.

Впрочем, закон до известной степени ограждал его судьбу: статья 69-я Воинского устава о наказаниях освобождала подчиненного от ответственности, если он не сознавал преступности предписанного ему деяния.

А вот как в аналогичном случае поступили немцы (1908). Лейтенант Шелькамп во время фехтования приказал рядовому Беккеру нанести ему, лейтенанту, удар штыком в грудь. Беккер отказался, был предан суду за неисполнение приказа в строю и приговорен к заключению в воен-

ную тюрьму на 43 дня. Высшая инстанция, однако, отменила приговор и освободила Беккера на том основании, что он не исполнил приказа... вследствие ограниченности умственных способностей.

«Словесность» с годами освобождалась заметно от схоластики; только «пунктики» начальства — разнообразное и подчас противоречивое толкование устава и обычая — сохранились до последних дней старой армии. «Шестьдесят пунктиков» ген. Сандецкого — это, конечно, исключение; но в более мягкой форме «пунктики» вторгались в казарменную жизнь повсюду. В 1910—1913 гг. дважды повторено было Высочайшее повеление — начальникам руководствоваться утвержденными уставами и наставлениями, не сочиняя своих собственных.

* * *

«Словесность», кроме знаний, должна была давать воспитание солдату. Этой же цели должны были удовлетворять развлечения, скрашивающие и заполняющие солдатский досуг...

В область солдатских увеселений, как и вообще народных, культура проникала с превеликим трудом. На праздниках устраивались обыкновенно зрелища и игры для нижних чинов — одни унаследованные чуть ли не от времен Иоанна Грозного, вроде «бега в мешках» или намыленного столба, с немудрящим призом на верхушке; другие — модернизированные: рассказчики, фокусники, доморощенные концерты, любительские спектакли. Одни спектакли чего стоили! Наиболее трудный род литературы — народные пьесы — редко подымались выше лубка или балагана, или прескучных диалогов на псевдонародном языке, пресыщенных тенденцией. Сколько раз приходилось видеть равнодушие и скуку на лицах солдат во время постановки благонамереннейшей пьесы, проводящей идеи воинского долга, жертвы за родину, боевого подвига. «Народ в шинелях» или «не доспел» еще тогда, или природным чутьем постигал некоторую фальшь в пьесе...

Зато какое веселье вызывали зрелища балаганные, лишенные всякого смысла, наполненные непроходимой чушью!

Начало девяностых годов. Казарма батареи. Полно народа. Приглашены и свои офицеры с семьями. Идет заключительное действие «Царя Максимилиана». Личность в бумажной золотой короне, со скипетром в руке, сидящая на стуле, произносит:

— Подать мне непокорного сына Адольфа!

«Подают».

— Веришь ли ты в мои боги?

— Нет, я не верю в твои боги, а кладу их себе под ноги.

— Ты чей сын?

— Я твой сын.

— Ах ты сукин сын!

«Скипетр» с размаху опускается на сыновнюю голову, занавес падает, музыка играет марш. В казарме — рев удовольствия.

В конце 90-х годов воспитательное значение солдатских развлечений получило повсеместное признание. Низовую инициативу сменило организованное участие командного состава, первоначальное кустарничество — более культурные постановки, с поддержкой из полковой экономии. В Петербурге широко организованы были солдатские чтения в Педагогическом музее в.-у. заведений. В Вильно, в громадном гарнизонном манеже, шли по праздникам бесплатные народные спектакли для солдат. Не было гарнизона, полка, где бы не устраивались спектакли, концерты, чтения с туманными картинками и музыкой, впоследствии — соколиные праздники и кинематограф.

Правда, давалось все это не легко, в особенности в медвежьих углах... Бывало, чадят нещадно керосиновые лампы; в столовой, отведенной под зрительный зал, душно до невозможности; взятые на прокат по дешевке кинематографические ленты рябят в глазах. Солдаты скучают от «чтений», с нетерпением дожидаясь «разнохарактерного дивертисмента». Ходят, большинство по наряду, норовя удрать на волю — покурить, выпить... Медленно совершенствовались зрелища и вкусы зрителей; с превеликим трудом преодолевалась дистанция огромного размера — от «Царя Максимилиана» до «Взятия Измаила», от «бега в мешке» до «чтения о Суворове» и соколиной гимнастики.

В 1901 г. военное министерство решило поддержать это просветительное движение: устройство разумных развлечений всячески поощрялось им, но... без расходов для казны. Преимущественное внимание ведомство обратило на религиозно-нравственное воспитание солдат, для чего даны были крупный ассигнования на военно-церковное строительство и введены внебогослужебные беседы полковых священников. Эти меры, как слишком утилитарно смотрел официальный отчет, должны были «отвлекать нижних чинов от бесцельного шатания по городу в праздничные дни и от сношения с низшими слоями городского населения»...

Духовно-нравственное воспитание внедрялось также с превеликим трудом. Несмотря на указания свыше, в казарменной жизни этот вопрос занимал совершенно второстепенное место, трудно поддаваясь начальническому учету и заслоняясь всецело заботами и требованиями чисто материального, прикладного порядка. Казарменный режим, где все — и христианская мораль, и исполнение обрядов, и религиозные беседы — имело характер официальный, обязательный, часто принудительный, не создавал надлежащего настроения. Командовавшие частями знают, как трудно было разрешение вопроса даже об исправном посещении церкви; и как иногда трудно было заставить офицеров ходить «для примера» в свою полковую церковь, если она бедна, тесна и расположена где-нибудь на окраине, а тут же поблизости — сияют огнями и привлекают сладкозвучным пением городские храмы... Зачастую только «наряд» и выручал.

Я думаю, что в лучшем случае солдат оставлял казарму с тою же верою и суевериями, которые приносил из дому.

Но не в этих только областях был недочет казарменного воспитания. Как я говорил уже в предыдущем томе, казарма не делала ничего или почти ничего для познания солдатом своей родины и своих сыновних обязанностей в отношении ее; не воспитывала в чувстве здорового патриотизма и даже накануне войны не разъясняла ее смысла...

Можно привести ряд примеров из практики наших врагов и союзников, на основании производившихся у них анкет*: как в германской армии редко кто из новобранцев слышал

* Девятисотые годы.

о Бисмарке; как в Италии 27% не слышали о Гарибальди; во Франции 42% не имели понятия об Эльзасе и Лотарингии. 55% никогда не слышали о Наполеоне и половина рекрут, уроженцев Орлеана, не знала об Орлеанской Деве... Но все эти недочеты патриотического воспитания меркнут перед всеобщим, повальным отсутствием *отечествоведения* в массе русского народа.

Если в этом грехе повинны были, наряду с военным ведомством, государство, гражданская школа и семья, то в отсутствии моральной подготовки к войне более повинно общее направление правительственной политики. Не какой-либо оппозиционный орган, а официальное описание русско-японской войны о причинах неудачи ее говорит: «В то время, как в Японии весь народ, от члена Верховного совета до последнего носильщика, отлично понимал и смысл и самую цель войны с Россией, когда чувство мщения и неприязни к русскому человеку накапливалось здесь целыми годами, когда о грядущей войне с Россией говорили все и всюду, у нас предприятия на Дальнем Востоке явились для всех полной неожиданностью»...

Мы *молчали*.

Можно было думать, что не легко доказать народу и армии необходимость для России японской войны... Но прошло десять лет, вновь сгустились тучи над страной, и история повторилась с удивительною точностью: в соседних странах происходила планомерная и горячая работа по моральной подготовке к войне с Россией — не только армии, но и общества и народа.

Мы же опять *молчали*.

Правительство наше для «успокоения общества чинило препятствия к устройству лекций и собраний, посвященных роковому Восточному вопросу, и давило на прессу. Доходило до того, что в провинции полиция воспрещала исполнение в общественных местах гимна родственной нам и дружественной Сербии... Как будто нарочно принимались меры, чтобы понизить подъем настроения страны и заглушить тот драгоценный порыв, который является первейшим импульсом и залогом победы.

Государь обратил внимание, что в переживаемые страшно тревожные дни военнотружущие принимали участие

в распространении слухов о наших приготовлениях к войне и готовящейся будто мобилизации и повелел принять меры к прекращению этого явления (1912). Этого необходимо-го напоминания было достаточно, чтобы не в меру усердные исполнители наложили окончательный запрет на всю область *моральной* подготовки к войне:

— От греха подальше...

И казарма перед надвигавшейся грозой замкнулась накрепко в скорлупе своих повседневных забот. Редко, редко где, с опасливой оглядкой, знакомили солдата в популярной форме с ролью России в отношении балканских славян, с историческими задачами нашими на Востоке и противодействием им со стороны соседей — словом, со смыслом и значением тех событий, которые, вопреки нашему желанию, могли увлечь страну нашу на путь кровавых столкновений...

И увлекли.

* * *

Внешняя выправка, физические упражнения и строевое образование встречали меньшие затруднения, нежели «словесность», но и эти отрасли обучения требовали много *лишнего* времени и труда по двум причинам: отсутствия хоть какой-нибудь допризывной подготовки и полного пренебрежения русской молодежи к спорту.

В 1908 г. Государь повелел «завести в деревнях обучение детей в школах строю и гимнастике запасными и оставшими унтер-офицерами за малую плату»... В том же году инспектор народных училищ Екатеринославской губ. Луцкевич — первый завел в Бахмутском уезде обучение школьников строю, за что удостоился Высочайшей благодарности. В 1909 г., по указанию Государя, особая комиссия из членов министерств военного и народного просвещения занялась вопросом «о надлежащем военном воспитании в школах гражданского ведомства», получившем формальное осуществление в 1912–1913 гг. Наконец, в 1911 г. было утверждено положение «О внешкольной подготовке русской молодежи (не свыше 15 лет) к военной службе».

По внешности как будто дело налаживалось. И в Петербурге на Высочайших смотрах в 1911–1912 гг. картинно проходили 6–10 тысяч «потешных». Но по существу вся «уродливая организация потешных» — как говорит ген. Ю. Данилов — служила «больше карьерным целям их основателей и ревнителей, чем делу серьезной подготовки молодежи к защите своей родины».

Начинания правительства разбивались о несочувствие общества, не доверявшего правительству и тронутого идеями антимилитаризма, о страстное противодействие прогрессивной печати. С самого начала, не имея общественной материальной поддержки, дело стало увядать, тем более, что в основу его была положена все та же старая система, определяемая бессмертной фразой: «без расходов для казны».

Да и поздно уже было.

Что касается второго обстоятельства — спорта, то единственным «спортом», который знал главный контингент армии, были немеренные версты бесконечных русских дорог и тяжкий труд землепашца, преждевременно гнувший спину... Выносливость русского солдата действительно была исключительной. Даже такой естественный спорт, как плавание, был не в чести — и в мирном быту, и в особенности на службе, где, из боязни ответственности за подчиненного, допускалось купание только на отмеченном или огороженном месте, обыкновенно очень мелком. И при всем этом статистика отмечала за период, например, 1896–1901 гг. большую цифру — 814 утонувших нижних чинов...

За малыми исключениями, молодые солдаты являлись в казарму в полном смысле «сырыми». Выправка приобреталась не скоро. К тому же мешала ей одежда, в которую облекали молодых — не только лишенная шегольства, но во многих частях представлявшая изрядную рвань.

Бывало, смотришь на эти первые шаги будущего воина — и смешно, и жалко становится. Старание так и прет из него, но корни военной премудрости горьки, долго не дается она. Движения неуверенны, угловаты, ружье валится из рук; возьмет разбег такой, что стену проломить впору, а перед самой «кобылой» остановится как вкопанный, уткнувшись в нее животом, на потеху всей казарме.

Силач — подковы гнет — не может подтянуться на 5—6 ступеней по наклонной лестнице: пот катится градом, трещит по швам «4-й срок», и опускается беспомощно и виновато грузное тело.

Дядька ведь не знает анатомии и физиологии, не знает об индивидуальных пределах физического напряжения и необходимости постепенной тренировки для укрепления мышц. «Должен быть — как все». И потому:

— Еще раз!

Колют молодые — чучела. Сколько раз промахнется или растянется по полу вместе с ружьем... Или первые стрельбы с уменьшенным зарядом: сколько молодых «дергают», «клюют», пока не привыкнут к выстрелу. А сменная езда, в особенности в артиллерии, куда с меньшим разбором назначались люди, подходящие к конному делу, чем в кавалерию... Уж само общепринятое название занятия — «гонять смену» — красноречиво; но еще более колоритен тот специальный жаргон, вырабатывавшийся многими поколениями, к которому прибегал обучающей смену, даже терпеливый.

Вообще, очень немудреная начальная солдатская наука давалась русскому пахарю трудно. И отношение свое к ней он определил словами песни, отнюдь не поощрявшей начальством:

.....
«А ученье — все мученье,
Между прочим — чижело».

Но как бы то ни было, уже после окончания первоначального обучения (4- или 5-месячного) солдата узнать нельзя: по внешнему виду, выправке, сообразительности. Подавленность и замкнутость его прошли, кругозор с годами раздвигается. Он еще попадет, быть может, не раз в анекдот в области отвлеченных понятий, но в практической жизни проявит смекалку, свойственную русскому человеку и обостренную военной выучкой. Ту «солдатскую смекалку», которая проявлялась так часто — не только в умении «варить щи из топора» или перегонять денатурат через противогазы, но и во многих других случаях: в легком общении с иноязычным населением тех краев, куда забра-

сывала его судьба, в быстрой приспособляемости к трудным и сложным подчас условиям походной, бивачной, окопной и боевой жизни.

В конце начального обучения — смотр молодым солдатам — первый настоящий смотр, страшный для молодых, а еще более для ротного командира. Смотрит командир полка во главе комиссии из штаб-офицеров — по грамоте и словесности каждого, по строю всех; лазарет — единственное убежище, куда можно упрятать от смотра тупого или недоучившегося молодого...

Потом — присяга под полковым знаменем на верность царю и отечеству. «Молодые солдаты» становятся «рядовыми», одни остаются в роте, другие расходятся по разным назначениям.

* * *

Ученья, поход, маневры — это уже работа коллектива — войсковой части, боевого порядка, в которой отдельный боец сливается с массой и только в редких случаях может проявить свою индивидуальность. Но, участвуя в массовых действиях, он все же продолжает учиться и расширять свой военный кругозор — в узких, конечно, пределах своей роты, эскадрона, батареи. Интенсивность и польза такого обучения зависит от двух причин: рационального вождения войск и индивидуальной подготовки, дающей возможность осознать происходящее.

Какую же индивидуальную подготовку получал солдат, пройдя начальный курс обучения, в последующие 2—3 года службы? Для многих частей и для многих людей — чрезвычайно малую.

Фактически служба продолжалась в пехоте 2 г. 10 мес. Число праздничных дней в году, указываемое законом, было 91, т. е. четверть года*... Только итальянская и испанская армии превзошли нас в этом отношении, так как там праздновали 100 дней в году.

* Обследовавшая вопрос о сокращении числа праздничных дней Высочайше утвержденная комиссия нашла, что русское население празднует 100—120 дней, а в некоторых местностях и 150 дней (1909).

От 3 до 4 $\frac{1}{2}$ месяцев за время службы уходило на «вольные работы» — этот пережиток старины, который с пеною у рта отстаивали рачительные хозяева, так как треть заработанных солдатами на стороне денег шла в полковую экономию. На этой почве доходило до курьезов. Так, были случаи предания суду за отказ от «вольных работ»; команды 19-го и 20-го стр. полков из-за высокой платы отпускались негласно на полевые работы в приграничные районы Германии; нештатный хор трубачей 48-й резервной кадр. батареи, которой командовал известный в артиллерии своими выходками полковник В-ий, ежегодно летом отправлялся на заработки на немецкие курорты... И т. д. В 1900 г. главнокомандующий Петербургским округом своею властью прекратил у себя навсегда вольные работы, а через 6 лет они были отменены и в законодательном порядке.

Это — относительно времени занятий. А вот и условия их продуктивности. До 1907—1910 гг. в войсках Приамурского и Иркутского округов части содержались почти в военном составе, в западных пограничных округах — в усиленном; в прочих роты имели 48 рядов, почему с осени до постановки в общий строй молодых солдат в ротах числилось по списку не более 70 старослужащих. Это число, благодаря командировкам и огромным нарядам, фактически уменьшалось до смешного: выделение в многочисленные команды, в портные, сапожники, хлебопеки, музыкантские ученики, в офицерскую прислугу... Одних денщиков в русской армии было 53 тысячи, т. е. корпус военного состава; только законоположение 1908 г. сократило эту цифру до 20 тыс., отняв «казенную прислугу» у множества офицеров и военных чиновников чисто административной службы. Большие наряды на хозяйственные работы чисто интендантского типа, обременение громадными складами, обращавшее резервные войска из воинов в караульщики и хранителей своих мобилизационных запасов... Наконец, в тревожные годы — несение чисто полицейских обязанностей, выматывавшее все силы и обращавшее войска в милицию. В Варшавском округе было много частей, несших караульную службу через день; кавалерийские полки, командированные в Поволжье и разбросанные мелкими час-

тами, а течение трех лет не видели ни одного полкового ученья; роты Красносельского лагеря, находившиеся, вообще, в лучших условиях, имея по штату 104 рядовых, выводили на ученья не более 28 рядов...

В общем, как норма, в дни, свободные от караулов и общих нарядов, в роте на занятиях со старослужащими являлось человек 10—15, да и то переменных: сегодня одни, завтра другие. При таких условиях ведение сколько-нибудь систематических занятий с солдатами на 2—3 году службы было чрезвычайно трудно. Закон мирился с таким положением, и в основу обучения молодых долгие годы поставлено было прохождение солдатом в первый год его службы всей солдатской премудрости, а старослужащим предоставлялось только повторение и укрепление пройденного. Только в 1912 г. новые положения об обучении войск провели последовательно прогрессивное обучение.

Мне встретилось как-то в военном органе статистическое исследование вопроса — сколько времени шло фактически на обучение пехотного солдата. Автор определял — и не без некоторого основания, что в среднем, за три года службы, не боле 330 дней.

Между тем вопрос о возможно меньших сроках действительной службы, находящийся в зависимости от уровня культуры страны и современного военного искусства в такой же степени, как и от правильного использования солдатского времени, имеет огромное значение. И для сбережения рабочих рук в народном хозяйстве, и для накопления запаса для армии. Исходя из цифры 1350 тыс. — численного состава старой русской армии в мирное время, ежегодный призыв и, следовательно, ежегодное накопление запаса — по грубому расчету — выражалось такими цифрами:

При 4-годовой службе 337 500

При 3-годовой службе 450 000

При 2-годовой службе 675 000

Благодаря большим срокам службы, во время великой войны у нас, по расчетам ген. Ю. Данилова, было поставлено под ружье 8 млн из 25 млн людей призывного возраста, т. е. 5% населения России, тогда как Германия имела возможность выставить до 12% своего населения.

Системы обучения менялись со временем и, как и во всех армиях, как и все в мире, совершенствовались. При современном состоянии воздухоплавания какими смешными и жалкими, к примеру, кажутся полеты, производившиеся четверть века тому назад и вызывавшие наши восторги...

Николаевская эпоха, невзирая на блеск побед над турками, персами, поляками, была периодом упадка русского военного искусства, который так наглядно вскрыла Севастопольская кампания. Время шпицрутена, плацпарада, шагистики, «примерного» обучения и отсталой, как никогда, техники. Теперь и поверить трудно в существование так называемого «гусиного шага» (официально — «учебный шаг»), которым солдаты ходили по целым часам, долго вытягивая ногу и резко потом печатая шаг:

— А-а-а-а...-ать!

Это неестественное искажение человеческой поступи — которое еще я застал — заимствованное из прусской муштры, считалось чуть ли не целый век основой фронтового обучения... Или зарядание «на восемнадцать темпов», «примерная» стрельба из орудий и другие пережитки доброго старого времени... Ведь в первой половине XIX века и вплоть до Крымской кампании солдат обучали *только* прикладке (но не прицеливанию) и стрельбе холостыми патронами, а обучения рубке и штыковому удару и в помине не было...

Насколько въедалась рутина «примерного» (не настоящего) обучения, об этом М. И. Драгомиров в одной из своих заметок рассказал забавный эпизод:

— 54-й год... На батарее ложатся неприятельские снаряды. «Номер с сумой» ошалел. Сделал отрывистый поворот, хлопнув себя ладонью по ягодице, и замаршировал к зарядному ящику. Подошел, протянул руки *как бы* для приема снаряда («примерно»), затем повернул к орудию; опять хлопнул себя пониже спины и пошел к зарядному ящику...

Так и маршировал, пока сочный окрик батарейного, с упоминанием предков, не вернул его к действительности.

С тех пор до начала описываемой мною эпохи прошло сорок лет, расчистили пути великие реформы, и обновила

опыт турецкая война. Армия, бесспорно, делала успехи во многих отношениях. Но тем не менее кое-что, если не по форме, то по духу, оставалось в неприкосновенности от того упадочного времени.

Церемониальный марш и сомкнутый строй превалировали над боевыми построениями, «тонкая» стрельба с измеренных расстояний — над боевой, строевое ученье — над маневрированием. Разведка, применение к местности оставались на втором плане. Уже вводилась скорострельная артиллерия, и раздавались предостерегающие голоса о «пустынности» будущих полей сражений, на которых ни одна компактная цель не может появиться, чтобы не быть сметенной огнем... А войска все еще ходили «ящиками», и в передовом Варшавском округе, накануне японской войны, ротные и батальонные колонны подходили вплотную к целям шагом, в ногу, «для отражения огнем атаки» и, сделав несколько залпов, отходили во вторую линию таким же порядком...

Кавалерия для сохранения лошадиных «тел» избегала поля, пересеченной местности и больших аллюров. Шутники острили:

— Мы все походные движения делаем переменным аллюром...

— Как?

— Верста шагом, верста — в поводу.

Как в пехоте «чувство локтя», так и в коннице «чувство стремени», понимаемые не в смысле моральной близости и поддержки, а в буквальном — приводило к предпочтению «ящиков» разомкнутым строям. Боем в спешенном строю и стрельбою пренебрегали. Не скоро совершился переход к полевому галопу, к втягиванию конского состава, к полю, к новым разреженным строям.

В артиллерии учились только на конных учениях, а не на маневрировании; так же, как и в кавалерии, «берегли лошадей», а для стрельбы выезжали картинно на открытые позиции. В обучении орудийной прислуги царили рутина и примерщина. Как трудно, вообще, расстаются люди с привитой им рутиной, свидетельствует тот факт, что еще в 1893 г. нам приходилось проделывать в парке по целым часам смешную и прескучную пантомиму, называв-

шуюся «ученье в парке»... Когда один «номер» изображал руками вкладывание в казенную часть орудия воображаемых снаряда и заряда, другой подталкивал их банником, все номера бросались накатывать неоткатившуюся пушку, а потом, по команде «ездовые, садись» выбегали вперед и проделывали руками нелепые пассы, представляя, что они помогают сесть в седло отсутствовавшим ездовым.

Впрочем, уже в ближайшие годы, под влиянием идей Драгомирова и под руководством известного артиллериста, ген. Постовского, в нашем корпусе «примерщина» стала быстро выводиться. И вообще артиллерия, за исключением предрассудка открытых позиций, за который пришлось расплачиваться большою кровью и который был брошен в первые же месяцы японской войны, оказалась более подготовленной к ней, нежели другие роды оружия.

В 1904 г. русское военное искусство померялось с немецкой школой, влитой в японские национальные формы, и потерпело урон.

Японская война развенчала многие прочно сложившиеся репутации, в том числе подвела под сомнение и того, который в течение полувека справедливо пользовался славою лучшего воспитателя и учителя солдата, который являлся истолкователем суворовской «науки — побеждать» — М. И. Драгомирова. Последний год жизни «на покое», когда разверзлись уста его идейных противников, в особенности же людей, уязвленных когда-либо его острым словом или служебным воздействием, доставил М. И-чу много тяжелых душевных переживаний. Противники считали его чуть ли не главным виновником нашего поражения в Маньчжурии. Это он, — говорили и писали они, — с проповедью устаревшего суворовского афоризма «пуля — дура, штык — молодец» — воспитывал войска в пренебрежении к фактору, решающему на поле боя — огню. Это он, отдавая все внимание «человеку» и «духу», игнорировал совершенно могущество современной техники, задержав ее развитие на многие годы, благодаря своему авторитету и влиянию... Драгомиров, отвечая на нападки, незадолго перед своею смертью писал:

«Господа, с непонятным упорством приписывающие Драгомирову презрение к огню, имеют дело не с подлин-

ным, а фиктивным Драгомировым. По его убеждению всегда было, что огонь и штык не исключают, а дополняют друг друга. Первый, предложивший ученье с боевыми патронами и зарядами, — это был Драгомиров, а никто другой».

М. И. мог бы сказать еще многое своим оппонентам о своих заслугах и в этой области. Но *непредвидение* им успехов техники неоспоримо. Перед самой войной он ратовал против щитов к орудиям и даже против закрытых позиций, усматривая в стремлении укрыться — элемент шкурничества; даже во время войны, открывшей глаза на многое, он считал, например, пулеметы «бесполезными» в полевом бою пехоты и напрасно усложняющими ее организацию; он недооценивал современных средств связи в бою — телеграфа и телефона — предпочитая им связь «людьми»... В этой области он несет свою долю исторической ответственности, разделяя ее со всем высшим руководством армии, с тем широким течением русской военной мысли, которое, ведя борьбу за господство «духа» над «материей», подымало «дух» на подобающую ему высоту, но не использовало всех возможностей, предоставляемых «материей».

Во всяком случае то многое, чрезвычайно ценное, чему учил и *научил* Михаил Иванович Драгомиров, составляет его большую и неоспоримую заслугу и понадобится не одному еще поколению.

* * *

Японская война имела огромное значение в развитии русской армии.

Горечь поражения, ясное сознание своей отсталости вызвали большой подъем среди передового офицерства и заставили понемногу или переменить направление, или уйти в сторону многое косное и устаревшее. Несмотря на ряд препятствий и задержек, зависевших и не зависевших от военного ведомства, в течение десяти лет, следовавших за войною, русская армия, не достигнув, конечно, идеала и далеко не закончив своей реорганизации, все же сделала большие успехи. Не было области в организации и обуче-

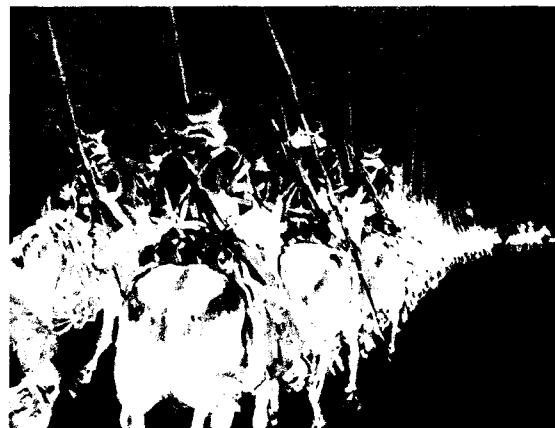
нии армии, которая не подверглась бы тому или другому улучшению.

Для меня нет сомнения, что, не будь тяжкого маньчжурского урока, Россия была бы раздавлена в первые же месяцы великой войны.

Налаживалась понемногу и казарменная жизнь — в смысле общего благоустройства, лучшего удовлетворения материальных потребностей солдата и его духовных запросов. Устанавливались и более здоровые отношения между солдатом и офицером, выдержавшие испытание маньчжурского поражения и первой революции, устоявшие в небывало тяжелых условиях великой войны в течение двух с половиною лет — когда кадровая армия сменилась вооруженным народом.

...Пока глубокие исторические процессы не ввергли в хаос всю страну, сокрушив власть и армию.

ОФИЦЕРЫ



А. ДЕНИКИНЪ

ОФИЦЕРЫ

ОЧЕРКИ

ПАРИЖЪ
1928



ПРОЛОГ

Началось...

...На широком поле, насколько видно глазу, тянутся бесконечные линии окопов, то подходящих друг к другу вплотную, переплетаясь своими проволочными заграждениями, то отходя далеко и исчезая за зеленым гребнем. Солнце поднялось уже давно, но в поле мертвая тишина. Первыми встали немцы. То там, то тут из-за окопов выглядывают их фигуры; кое-кто выходит на бруствер развесить на солнце отсыревшую за ночь одежду... Часовой в нашем передовом окопе раскрыл сонные глаза, лениво потянулся, безучастно поглядел на неприятельские окопы... Какой-то солдат, в грязной рубаше, босой, в накинута на плечи шинели, ежась от утреннего холода, вышел из окопа и побрел в сторону немецкой позиции, где между линиями стоял «почтовый ящик»; в нем — свежий номер немецкой газеты «Русский Вестник» и предложения товарообмена.

Тишина. Ни одного артиллерийского выстрела. На прошлой неделе вышло постановление полкового комитета против стрельбы и даже против пристрелки артиллерийских целей; пусть исчисляются необходимые данные по карте. Артиллерийский подполковник — член комитета — вполне одобрил такое постановление... Когда вчера командир полевой батареи начал пристрелку нового неприятельского окопа, наша пехота обстреляла свой наблюдательный пункт ружейным огнем; ранили телефониста. А ночью на строящемся пункте вновь прибывшей тяжелой батареи пехотные солдаты развели костер...

9 часов утра. 1-я рота начинает понемногу вставать. Окопы загажены до невозможности; в узких ходах сообще-

ния и во второй линии, гуще населенной, стоит тяжелый, спертый воздух. Бруствер осыпается. Никто не чинит — не хочется, да и мало людей в роте. Много дезертиров; более полусотни ушло легально: уволены старшие сроки, разъехались отпускные с самочинного разрешения комитета; кто — попал в члены многочисленных комитетов, кто — уехал делегатом. Недавно, например, от дивизии послана была большая делегация к товарищу Керенскому проверить, действительно ли он приказал наступать... Наконец, угрозами и насилием солдаты навели такой страх на полковых врачей, что те дают увольнительные свидетельства даже «тяжело-здоровым»...

В окопах тянутся нудные, томительные часы. Скука, безделье. В одном углу играют в карты, в другом лениво, вяло рассказывает что-то вернувшийся из отпуска солдат; в воздухе висит скверная брань. Кто-то читает вслух «Русский Вестник»:

«Англичане хотят, чтобы русские пролили последнюю каплю крови для вящей славы Англии, которая ищет во всем барыша... Милые солдатики, вы должны знать, что Россия давно бы заключила мир, если бы этому не мешала Англия... Мы должны отшатнуться от нее — этого требует русский народ — такова его святая воля»...

Кто-то густо выругался:

— Как же, помирятся, так-растак, подохнешь тут, не выдавши воли...

По окопам прошел поручик Альбов, командующий ротой. Он как-то неуверенно, просительно обращался к группам солдат:

— Товарищи, выходите скорей на работу! В три дня мы не вывели ни одного хода сообщения в передовые линии...

Игравшие в карты даже не повернулись; кто-то вполголоса сказал:

— Ладно...

Читавший газету привстал и развязно доложил:

— Рота не хочет рыть, потому что это — подготовка к наступлению. А комитет постановил...

— Послушайте, вы ни черта не понимаете, да и почему вы говорите за всю роту? Если даже ограничиться одной

обороной, то ведь в случае тревоги мы пропадем: вся рота по одному ходу не успеет выйти в первую линию.

Сказал и, махнув рукой, прошел дальше. Каждый раз, когда он пытается говорить с ними подолгу и задушевно, — они слушают внимательно, любят с ним беседовать и, вообще, своя рота относится к нему по-своему хорошо. Но он чувствует, что между ним и ими стала какая-то глухая стена, о которую разбиваются все его добрые порывы. Он потерял дорогу к их душе, запутавшись в невылазных дебрях темноты, грубости и той волны недоверия и подозрительности, которая влилась в солдатскую среду. Не те слова, может быть, не умеет сказать? Как будто бы нет. Раньше он находил всегда «настоящие» слова, всем доступные и понятные. А главное — какими словами заставить людей идти на смерть, когда у них все чувства заслонило одно — самосохранение.

Мысли его прервало внезапное появление командира полка.

— Черт знает что такое! Дежурный не встречает. Люди не одеты. Грязь, вонь. За чем вы смотрите, поручик?

Седой полковник суровым взглядом, невольно импонирующим, окинул солдат. Все повскакали. Он поглядел в бойницу и, отшатнувшись, нервно спросил:

— Это что такое?

На зеленом поле, между проволочными заграждениями, шел настоящий базар. Группа немецких и наших солдат обменивали друг у друга водку, табак, сало, хлеб. Поодаль, на траве полулежал немецкий офицер — красный, плотный, с надменным выражением лица, и вел беседу с солдатом Нейманом. И странно: фамильярный и дерзкий Нейман стоял перед лейтенантом прилично и почтительно.

Полковник оттолкнул наблюдателя и, взяв у него ружье, просунул в бойницу. Среди солдат послышался ропот. Стали просить не стрелять. Один вполголоса, как бы про себя, промолвил:

— Это провокация...

Полковник, красный от бешенства, повернулся на секунду к нему и крикнул:

— Молчать!

Все притихли и прильнули к бойницам. Раздался выстрел, и немецкий офицер как-то судорожно вытянулся и

замер; из головы его потекла кровь. Торговавшие солдаты разбежались.

Полковник бросил ружье и, процедив сквозь зубы: «Мерзавцы», пошел дальше по окопам.

«Перемирие» было нарушено.

Поручик ушел к себе в землянку. Тоскливо и пусто на душе. Сознание своей ненужности в этой нелепой обстановке, извращавшей весь смысл служения Родине, которое одно только оправдывало и все тяжелые невзгоды, и, может быть, близкую смерть, давило его. Он бросился на лежанку; лежал час, два, стараясь не думать ни о чем, забываясь...

А из-за земляной стены, где было убежище, полз чей-то заглушенный голос и словно обволакивал мозг грязной мутью:

— Им хорошо, сукиным сынам, — получают, как стеклышко, сто сорок целковеньких в месяц, а нам — расщедрились — семь с полтиной отпустили. Погоди, будет еще наша воля...

Молчание.

— Слышно, землю делят у нас в Харьковской... Домой бы...

Стук в дверь. Пришел фельдфебель...

— Ваше благородие (он всегда обращался так к своему ротному без свидетелей), рота сердится, грозят уйти с позиции, если сейчас нас не сменят. 2-й батальон должен был сменить нас в 5 часов, а его и досель нет. Нельзя ли спросить по телефону?

— Не уйдут, Иван Петрович... Хорошо, впрочем, спрошу. Да только теперь уж все равно поздно — после утреннего происшествия немцы смениться днем нам не позволят.

— Позволят. Комитетчики уж знают. Я так думаю, — он понизил голос, — Нейман успел сбегать объяснить. Слышно, что немцы обещали помириться, только чтобы следующий раз, когда придет в окопы командир, им дали знать — бросят бомбу. Вы бы доложили, ваше благородие, а то не ровен час...

— Хорошо.

Фельдфебель хотел уйти. Поручик остановил его.

— Плохо, Петрович, не верят нам...

— Да уж Бог его знает, кому они верят; вот на прошлой неделе в 6-й роте сами фельдфебеля выбрали, а теперь над ним же измываются, слова сказать не дают...

Пришла наконец смена. Зашел в землянку командир 5-й роты, капитан Буравин. Альбов предложил ознакомить его с участком и объяснить расположение противника.

— Пожалуй, хоть это не имеет значения, ибо я, по существу, ротой не команду — нахожусь под бойкотом.

— Как?

— Так. Выбрали ротным прапорщика, моего субалтерна, а меня сместили за приверженность старому режиму — два раза в день, видите ли, занятия назначал — ведь маршевые роты приходят абсолютно необученными... Прапорщик первый и голосовал за мое удаление. «Довольно, — говорит, — нами помыкали. Теперь наша воля! Надо почистить всех, начиная с головы. С полком сумеет справиться и молодой, лишь бы был истинный демократ и стоял за солдатскую волю»... Вишь, куда метит! Я бы ушел, но командир полка категорически воспротивился и не велит сдавать роты. Вот теперь у нас два командира, значит. Пять дней терплю это положение. Послушайте, Альбов, вы не торопитесь? Ну, прекрасно, поболтаем немного. Что-то тяжело на душе... Альбов, вам не приходила еще мысль о самоубийстве?

— Пока нет.

Буравин вскочил.

— Поймите, душу всю проплевали. Над человеческим достоинством надругались. И так — каждый день, каждый час, в каждом слове, взгляде, жесте — видишь какое-то сплошное надругательство. Что я им сделал? Восемь лет служу, нет ни семьи, ни кола ни двора. Все — в полку, в родном полку. Два раза искалечили; не долечился, прилетел в полк — на тебе! И солдата любил — мне стыдно самому говорить об этом, но ведь они помнят, как я не раз ползком из-под проволочных заграждений раненых вытаскивал... И вот теперь... Скажите, Альбов, кто вы — монархист или республиканец?

Альбов развел руками.

— Вам, быть может, покажется странным, но, право, я и сам теперь не знаю толком — что будет лучше, целесообразнее после этой встряски...

— А для меня, вот, нет сомнений... Да, я предан своему Государю и никогда из меня не выйдет республиканца. Я чту полковое знамя и ненавижу их красные тряпки. Я не приемлю революции — как бы это сказать — ни разумом, ни нутром. Все эти комитеты, митинги, всю ту наносную дрянь, которую развели в армии, я органически не могу воспринять и переварить. Но ведь я никому не мешаю, никому не говорю об этом, никого не стараюсь разубедить. Лишь бы окончить честно войну, а потом — слуга покорный! — хоть камни бить на дороге, только не в демократизованной таким манером армии. Вот, мой прапорщик — он с ними обо всем рассуждает: национализация, социализация, рабочий контроль... А я не умею — некогда было этим заниматься, да, признаться, и не интересовался никогда... Помните, приезжал командующий армией и в толпе солдат говорил: «какой там “господин генерал” — зовите меня просто товарищ Егор»!.. А я этого не могу, да и все равно мне не поверят. Вот и молчу. А они понимают и мстят. И ведь при всей своей серости, какие тонкие психологи! Умеют найти такое место, чтобы плевок был побольнее. Вот вчера, например...

Он наклонился над ухом Альбова и шепотом продолжал:

— Возвращаюсь из собрания. У меня в палатке, у изголовья, карточка стоит, — ну, там одно дорогое воспоминание. Так пририсовали похабщину!..

Буравин встал и вытер платком лоб.

— Ну, пойдем посмотреть позицию... Даст Бог, недолго уже терпеть. Никто из роты не хочет ходить на разведку. Хожу сам каждую ночь; иногда вольноопределяющийся один со мной — охотничья жилка у него. Если что-нибудь случится, пожалуйста, Альбов, присмотрите, чтобы пакетик один — он у меня в чемодане — отправили по назначению...

* * *

Рота, не дожидаясь окончания смены, ушла вразброд. Альбов побрел вслед.

Ход сообщения кончался в широкой ложине, где стоял полковой резерв. Словно большой муравейник, раскинулся бивак полка рядом землянок, палаток, дымящихся

походных кухонь и коновязей. Когда-то тщательно маскировали его искусственными посадками, которые теперь засохли, облетели и торчали безлистыми жердями. На поляне кое-где учились солдаты — вяло, лениво, как будто затем, чтобы создать какую-нибудь видимость занятий: все-таки совестно было абсолютно ничего не делать. Офицеров мало: хорошим опостылела та пошлая комедия, в которую превратилось теперь настоящее дело; у плохих есть нравственное оправдание их лени и безделья.

Вдали, по дороге, в направлении к полковому штабу шла не то толпа, не то колонна, над которой развевались красные флаги. Впереди — огромный транспарант, на котором белыми буквами красовалась видная издалика надпись:

«Долой войну!»

Это подходило пополнение... Тотчас же все занимающиеся на поляне солдаты, словно по сигналу, оставили ряды и побежали к колонне.

— Эй, земляки, какой губернии?

Начался оживленный разговор на вечно волнующие темы: как с землицей, скоро ли замирение? Интересовались, впрочем, и вопросом — нет ли ханжи, так как «своя полковая» самогонка, выгоняемая в довольно большом количестве «на заводе» 3-го батальона, была уж очень противна и вызывала болезненные явления.

Альбов направился в собрание. Офицеры сходились к обеду. Где бывшее оживление, задушевная беседа, здоровый смех и целый поток воспоминаний из бурной, тяжелой, славной боевой жизни! Воспоминания поблекли, мечты отлетели, и суровая действительность придавила всех своею тяжестью.

Говорили вполголоса, иногда прерывая разговор или выражаясь иносказательно: собранская прислуга могла донести, да и между офицерами появились новые люди... Еще недавно полковой комитет по докладу служителя разбирал дело кадрового офицера, Георгиевского кавалера, которому полк обязан одним из самых славных своих дел. Подполковник этот говорил что-то о «взбунтовавшихся рабах». И хотя было доказано, что говорил он не свое, а цитировал лишь речь товарища Керенского, комитет «выразил ему негодование»; пришлось уйти из полка.

И состав офицерский сильно переменился. Кадровых офицеров осталось 2—3 человека. Одни погибли, другие — калеки, третьи, получив «недоверие», скитаются по фронту, обивают пороги штабов, поступают в ударные батальоны, в тыловые учреждения; а иные, слабые духом, просто разъезжаются по домам. Не нужны стали армии носители традиций части, былой славы ее — этих старых буржуазных предассудков, сметенных в прах революционным творчеством...

В полку уже все знают об утреннем событии в роте Альбова. Расспрашивают подробности. Подполковник, сидевший рядом, покачал головой.

— Молодчина, наш старик. Вот и с 5-й ротой тоже... Боюсь только, что плохо кончит. Вы слышали, что сделали с командиром Дубовского полка за то, что тот не утвердил выбранного ротного командира и посадил под арест трех агитаторов? *Распяли*. Да-с, батенька! Прибили гвоздями к дереву и начали поочередно колоть штыками, обрубить уши, нос, пальцы...

Он схватился за голову.

— Боже мой, и откуда в людях столько зверства, столько низости этой берется...

На другом конце стола среди прапорщиков идет разговор на большую тему — куда бы уйти...

— Ты записался в революционный батальон?

— Нет, не стоит: оказывается, формируется под верховным наблюдением исполкома, с комитетами, выборами и «революционной» дисциплиной. Не подходит.

— Говорят, у Корнилова ударные войска формируются и в Минске тоже. Хорошо бы...

— А я подал рапорт о переводе в нашу стрелковую бригаду во Франции. Вот только с языком не знаю, как быть...

— Увы, батенька, опоздали, — отозвался с другого конца подполковник. — Уже давно правительство послало туда «товарищей эмигрантов» для просвещения умов. И теперь бригады где-то на юге Франции на положении не то военнопленных, не то дисциплинарных батальонов.

Впрочем, эти разговоры в сознании всех имели чисто платонический характер, ввиду безнадежности и безвыходности положения. Так, помечтать немного, как некогда мечтали чеховские «Три сестры» о Москве. Помеч-

тать о таком необычайном месте, где не ежедневно топчут в грязь человеческое достоинство, где можно спокойно жить и честно умереть — без насилия и без надругательства над твоим подвигом. Так ведь немного...

— Митька, хлеба! — прогудел могучий бас прапорщика Ясного.

Он большой оригинал, этот Ясный. Высокий, плотный, с большой копной волос и медно-красной бородой, он весь олицетворение черноземной силы и мужества. Имеет четыре Георгиевских креста и произведен из унтер-офицеров за боевые отличия. Он нисколько не подлаживается под новую среду, говорит «леворуция» и «метинк» и не может примириться с новыми порядками. Несомненная «демократичность» Ясного, его прямота и искренность создали ему исключительную привилегию в полку: он, не пользуясь особым влиянием, может, однако, грубо, резко, иногда с ругательством, осуждать и людей, и понятия, находящиеся под ревнивой охраной и поклонением полковой «революционной демократии». Сердятся, но терпят.

— Хлеба, говорю, нету!

Офицеры, занятые своими мыслями и разговорами, не обратили даже внимания, что суп съеден без хлеба.

— Не будет сегодня хлеба, — ответил служитель.

— Это еще что? Сбегай за хозяином собрания, духом!

Пришел хозяин собрания и стал растерянно оправдываться: послал сегодня утром требование на два пуда; начальник хозяйственной части сделал пометку «выдать», а писарь Федотов — член хозяйственной комиссии комитета написал «не выдавать». В цейхгаузе и не отпустили.

Никто не стал возражать. До того мучительно стыдно было и за хозяина собрания, и за ту непроходимую пошлость, которая вдруг ворвалась в жизнь и залила ее всю какой-то серою, грязною мутию. Только бас Ясного прогудел отчетливо под сводом низкого барака:

— Экие свиньи!

* * *

Альбов только что собирался заснуть после обеда, как приподнялась пола палатки и в щель просунулась лысая голова

начальника хозяйственной части — старенького, тихого полковника, поступившего вновь на службу из отставки.

— Можно?

— Виноват, господин полковник...

— Ничего, голубчик, не вставайте. Я к вам на одну секунду. Сегодня, видите ли, в 6 часов состоится полковой митинг!.. Назначен доклад хозяйственной комиссии, и меня, по-видимому, распинают будут. Я не умею говорить всякие там речи, а вы мастер. В случае надобности — заступитесь...

— Слушаю. Не собирался идти, но, раз надо, пойду.

— Ну вот, спасибо, голубчик.

... К 6 часам площадка возле штаба полка была сплошь усеяна людьми. Собралось не менее двух тысяч. Толпа двигалась, шумела, смеялась — такая же русская толпа, как где-нибудь на Ходынке или на Марсовом поле в дни гуляний. Революция не могла преобразить ее сразу ни умственно, ни духовно. Но, оглушив потоком новых слов, открыв перед ней неограниченные возможности, вывела ее из состояния равновесия, сделала нервно восприимчивой и бурно реагирующей на все способы внешнего воздействия. Бездна слов — морально высоких и низменно-преступных — проходила сквозь их самосознание, как через сито, отсеивая в сторону всю идеологию новых понятий и задерживая лишь те крупницы, которые имели реальное прикладное значение в их повседневной жизни, в солдатском, крестьянском рабочем обиходе. И притом непременно — значение положительное, для них выгодное. Отсюда — полная безрезультатность потоков красноречия, наводнивших армию с легкой руки военного министра, нелепые явления горячего сочувствия двум ораторам явно противоположного направления и совершенно неожиданные — приводившие не раз в недоумение и ужас говорившего — выводы, которые толпа извлекала из его слов.

Какое же прикладное значение могли иметь для толпы при этих условиях такие идеи, как «долг», «честь», «государственные интересы» — по одной терминологии, «аннексии», «контрибуции», «самоопределение народов», «сознательная дисциплина» и прочие ходячие понятия — по другой?

Вышел весь полк — митинг привлекал солдат, как привлекает всякое зрелище. Прислал делегатов и 2-й батальон, стоявший на позиции — чуть не треть своего состава. Посреди площадки стоял помост для ораторов, украшенный красными флагами, полинявшими от времени и дождя — с тех пор как помост был выстроен для смотра командующего армией. Теперь уже смотры делались не в строю, а с трибуны...

Сегодня в отлитографированной повестке митинга поставлены были два вопроса: «1) Отчет хозяйственной комиссии о неправильной постановке офицерского довольствия, 2) доклад специально выписанного из московского совдепа оратора — товарища Скланки — о политическом моменте (образование коалиционного министерства)».

На прошлой неделе был бурный митинг, едва не окончившийся большими беспорядками, по поводу заявления одной из рот, что солдаты едят ненавистную чечевицу и постные щи потому, что вся крупа и масло поступают в офицерское собрание. Это был явный вздор. Тем не менее постановили тогда расследовать дело комиссией и доложить общему собранию полка. Докладывал член комитета подполковник Петров, смещенный в прошлом году с должности начальника хозяйственной части и теперь сводящий счеты. Мелко, придирчиво, с какой-то пошлой иронией перечислял он не относящиеся к делу небольшие формальные недочеты полкового хозяйства — крупных не было — и тянул без конца своим скрипучим, монотонным голосом. Притихшая было толпа опять загудела, перестав слушать; с разных сторон послышались крики:

— Довольна-а-а!

— Буде!

Председатель комитета остановил чтение и предложил «желающим товарищам» высказаться. На трибуну взошел солдат — рослый, толстый — и громким, истерическим голосом начал:

— Товарищи, вы слышали?! Вот куда идет солдатское добро! Мы страдаем, мы обносились, обовшивели, мы голодаем, а они последний кусок изо рта у нас тащут...

По мере того как он говорил, в толпе нарастало нервное возбуждение, перекатывался глухой ропот, и вырывались отдельные возгласы одобрения.

— Когда же все это кончится? Мы измызгались, устали до смерти...

Вдруг из далеких рядов раздался раскатистый бас прапорщика Ясного, заглушивший и оратора и толпу:

— Ка-кой ты ро-ты?

Произошло замешательство. Оратор замолк. По адресу Ясного послышались негодующие крики.

— Ро-ты ка-кой, те-бя спра-ши-ваю?

— Седьмой!

Из рядов раздался голоса:

— Нет у нас такого в седьмой...

— Постой-ка, приятель, — гудел Ясный, пробираясь к помосту, — это не ты сегодня с маршевой ротой пришел — еще плакат большой нес? Когда же ты успел умяться, болезный?..

Настроение толпы мгновенно изменилось. Начался свист, смех, крики, остроты, и незадачливый оратор скрылся в толпе. Кто-то крикнул:

— Резолюцию!

На подмостки взошел опять подполковник Петров и стал читать заготовленную резолюцию о переводе офицерского собрания на солдатский паек. Но его уже никто больше не слушал. Два, три голоса крикнули — «правильно!». Петров помялся, спрятал в карман бумажку и сошел с подмостков. Пункт второй о смещении начальника хозяйственной части и о немедленном выборе нового (предполагалось автора доклада) так и остался неп прочитанным. Председатель комитета огласил:

— Слово принадлежит члену исполнительного комитета Московского совета рабочих и солдатских депутатов товарищу Склянке.

Свои надоели: всегда одно и то же. Приезд нового лица, сопровождаемый некоторой рекламой, возбудил общий интерес. Толпа пододвинулась плотнее к помосту и затихла. На трибуну не взошел, а вбежал маленький, черненький человек, нервный и близорукий, ежесекундно поправлявший сползавшее с носа пенсне. Он стал

говорить быстро, с большим подъемом и сильной жестикуляцией.

— Товарищи солдаты! Вот уже прошло более трех месяцев, как петроградские рабочие и революционные солдаты сбросили с себя иго царя и всех его генералов. Буржуазия в лице Терещенко — известного киевского сахарозаводчика, фабриканта Коновалова, помещиков Гучковых, Родзянко, Милюковых и других предателей народных интересов, захватив власть, вздумала обмануть народные массы.

Требование всего народа немедленно приступить к переговорам о мире, который нам предлагают наши немецкие братья — рабочие и солдаты, такие же обездоленные, как и мы, — кончилось обманом — телеграммой Милюкова к Англии и Франции, что-де, мол, русский народ готов воевать до победного конца.

Обездоленный народ понял, что власть попала в еще худшие руки, т. е. к заклятым врагам рабочего и крестьянина. Поэтому народ крикнул мощно: «Долой, руки прочь!»

Содрогнулась проклятая буржуазия от мощного крика трудящихся и лицемерно приманила к власти так называемую демократию — эсеров и меньшевиков, которые всегда якшались с буржуазией для продажи интересов трудового народа...

Очертив таким образом процесс образования коалиционного министерства, товарищ Склянка перешел более подробно к соблазнительным перспективам деревенской и фабричной анархии, где «народный гнев сметает иго капитала» и где «буржуазное добро постепенно переходит в руки настоящих хозяев — рабочих и беднейших крестьян».

— У солдат и рабочих есть еще враги, — продолжал он. — Это друзья свергнутого царского правительства, закоренелые поклонники расстрелов, кнута и зуботычины. Злейшие враги свободы, они сейчас нацепили красные бантики, зовут нас «товарищами» и прикидываются вашими друзьями, но таят в сердце черные замыслы, готовясь вернуть господство Романовых.

Солдаты, не верьте волкам в овечьей шкуре! Они зовут вас на новую бойню. Ну, что же, — идите, если хотите! Пусть вашими трупами устилают дорогу к возвращению царя! Пусть ваши сироты — вдовы и дети, бро-

шенные всеми, попадут снова в кабалу к голоду, нищете и болезням!

Речь имела несомненный успех. Накаливалась атмосфера, росло возбуждение — то возбуждение «расплавленной массы», при котором невозможно предвидеть ни границ, ни силы напряжения, ни путей, по которым хлынет поток. Толпа шумела и волновалась, сопровождая криками одобрения или бранью по адресу «врагов народа» те моменты речи, которые особенно задевали ее инстинкты, ее обнаженный, жестокий эгоизм.

На помосте появился бледный, с горящими глазами Альбов. Он о чем-то возбужденно говорил с председателем, который обратился потом к толпе. Слов председателя не слышно было среди шума; он долго махал руками и сорванным флагом, пока наконец не стало несколько тише.

— Товарищи, просит слова поручик Альбов!

Раздались крики, свист.

— Долой! Не надо!

Но Альбов стоял уже на трибуне, крепко стиснув руками перила, наклонившись вниз, к морю голов. И говорил:

— Нет, я буду говорить, и вы не смеете не слушать одного из тех офицеров, которых здесь при вас бесчестил и позорил этот господин. Кто он, откуда, кто платит за его полезные немцам речи, никто из вас не знает. Он пришел, отуманил вас и уйдет дальше сеять зло и измену. И вы поверили ему! А мы, которые вместе с вами вот уже четвертый год войны несем тяжелый крест — мы стали вашими врагами?! Почему? Потому ли, что мы не *посыла*ли вас в бой, а *вели за собою*, усеяв офицерскими трупами весь путь, пройденный полком? Потому ли, что из старых офицеров не осталось в полку ни одного не искалеченного?

Он говорил с глубокой искренностью и болью. Были минуты, когда казалось, что слово его пробивает черствую кору одеревеневших сердец, что в настроении опять произойдет перелом...

— Он — ваш «новый друг» — зовет вас к бунту, к насилию, захватам. Вы понимаете, для кого это нужно, чтобы в России встал брат на брата, чтобы в погромах и пожарах испепелить последнее добро не только «капиталистов», но и рабочей, и крестьянской бедноты? Нет, не насилием, а

законом и правом вы добьетесь и земли, и воли, и сносного существования. Не здесь враги ваши, среди офицеров, а там — за проволокой! И не дождемся мы ни свободы, ни мира от постыдного, трусливого стояния на месте, пока в общем могучем порыве *наступления*...

Слишком еще живо осталось впечатление от речи Склянки, обиделся ли полк за эпитет «трусливый» — самый отъявленный трус никогда не прощает подобного напоминания, — или же, наконец, виною было произнесенное сакраментальное слово «наступление», которое с некоторых пор стало нетерпимым в армии, но больше говорить Альбову не позволили.

Толпа редела, изрыгая ругательства, напирала все сильнее и сильнее, подвигаясь к помосту, сломала перила. Зловещий гул, искаженные злобой лица и тянущиеся к помосту угрожающие руки... Положение становилось критическим. Прапорщик Ясный протиснулся к Альбову, взял его под руку и насильно повел его к выходу. Туда же, со всех сторон сбегались уже солдаты 1-й роты, и при их помощи, с большим трудом Альбов вышел из толпы, осыпаясь отборной бранью. Кто-то крикнул вслед ему:

— Погоди, сукин сын, — мы с тобой сосчитаемся!

* * *

Ночь. Бивак затих. Небо заволокло тучами. Тьма. Альбов, сидя на постели в тесной палатке, освещаемой огарком, писал рапорт командиру полка:

«Звание офицера — бессильного, оплеванного, встречающего со стороны подчиненных недоверие и неповиновение, делает бессмысленным и бесполезным дальнейшее прохождение в нем службы. Прошу ходатайства о разжаловании меня в солдаты, дабы в этой роли я мог исполнить честно и до конца свой долг».

Он лег на постель. Сжал голову руками. Какая-то жуткая и непонятная пустота охватила, словно чья-то невидимая рука вынула из головы мысль, из сердца боль...

Что это?.. Послышался какой-то шум, повалилось древко палатки, потухла свеча. На палатку навалилось много людей. Посыпались сильные, жестокие удары по всему

телу. Острая невыносимая боль отозвалась в голове, в груди... Потом все лицо заволочло теплой, липкой пеленой, и скоро стало опять тихо, покойно, как будто все страшное, тяжелое оторвалось, осталось здесь, на земле, а душа куда-то летит и ей легко и радостно.

...Очнулся Альбов от какого-то холодного прикосновения: рядовой его роты, пожилой уже человек, Гулькин, сидит в ногах его кровати и мокрым полотенцем смывает у него с лица кровь. Заметил, что Альбов очнулся.

— Ишь, как разделали человека, сволочи. Это не иначе, как пятая рота — я одного приметил. Очень больно вам? Доктора, может, желаете позвать?

— Нет, голубчик, не надо. Спасибо! — Альбов пожал ему руку.

Помолчали.

— Вот и с ихним командиром, капитаном Буравиным, несчастье случилось. С час тому пронесли мимо нас на носилках, в живот ранен; говорил санитар, что не выжить. Возвращался с разведки, и у самой нашей проволоки пуля угодила. Немецкая ли, свои ли не признали, кто его знает...

Стал накрапывать дождь, гулко ударял по полотнищу палатки.

— Что с народом сделалось, прямо не понять. И все ведь напускное у нас! Все это неправда, что против офицеров говорят — сами понимаем. Всякие, конечно, и промеж вас бывают... Но мы-то их знаем хорошо. Разве мы сами не видим, что вы вот к нам — всей душой. Или, скажем, прапорщик Ясный... Разве такой может продаться? А вот, поди ж ты, попробуй сказать слово, заступиться — самому житья не будет. Озорство пошло большое. Только озорников теперь и слушают... Я так полагаю, что все это самое происходит потому, что люди Бога забыли. Нет на людей никакого страху...

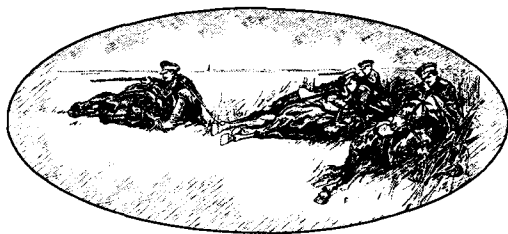
Альбов от слабости закрыл глаза. Гулькин торопливо поправил сползшее на землю одеяло, перекрестил поручика и потихоньку вышел из палатки.

Но сна не было. На душе — неизбывная тоска и гнетущее чувство одиночества. Так захотелось, чтобы около было живое существо, чтобы можно было, молча, без слов,

только чувствовать его близость и не оставаться наедине со своими страшными мыслями. Пожалел, что не задержал Гулькина.

Тишина... Весь лагерь спит. Альбов сорвался с постели, зажег свечу. Овладело тупое, безнадежное отчаяние. Нет уж больше веры ни во что. Впереди беспросветная тьма. Уйти из жизни? Нет! Это была бы сдача... Нужно идти дальше, стиснув зубы и скрепя сердце, пока... пока какая-нибудь шальная пуля — своих или чужая — не прервет нити опостылевших дней.

Занималась заря. Начинался новый день, новые армейские будни, до ужаса похожие на прожитые...



ВРАГИ

Ночь — темная, беззвездная. Дорога идет по снятому, неубранному еще полю. Вет сыростью и холодком от земли; сырость висит в воздухе, ложится на лицо и застит глаза, и без того не видящие. Только когда порозовеет чуть одно равное облачко от безнадежно пробивающейся сквозь него луны, тогда тьма расплывается на короткое время, и мгновенно кругом вырастают из земли силуэты копен — черные и лохматые; они плывут медленно навстречу, обгоняя друг друга, обтекая дорогу и вливаясь опять в кромешную тьму.

По дороге вьется лента повозок, набитых добровольцами — по шесть, по восемь, — почти бесшумно и невидимо. Местами только, таясь и крадучись, проглянет тусклый огонек — то близко, то где-то очень далеко, отмечая извилистый путь колонны. И тотчас же с передней повозки загудит тихий, хриплый окрик:

— Не смей курить!..

Повторяется, как эхо, десятки раз, прокатывается по всей колонне и гложет в черной дали.

Проехал рысью верховой, поднял шум; на него цыкнули.

— С приказаньем я... Это, что ли, отряд генерала Боровского?

— Нет.

— Ах ты, так-растак, куда ж это я заехал?! Тьма проклятая. Где же мне теперь найти его?

— Вправо сверни, за железную дорогу...

— Ах ты, так-растак!..

Верховой повернул коня, пошумел еще, пробиваясь между повозками, и пропал в ночи.

Справа где-то послышался гулкий треск пулемета. Все насторожились; повернули головы в ту сторону, где пробежал невидимый железный путь и где, должно быть, боковой отряд столкнулся уже с заставой красных. И тотчас впереди взвилась огненная змейка с пушистым хвостом. Одна, другая, много... Целые снопы ракет на несколько верст осветили незримую и пока еще неосязаемую живую линию, опоясывавшую селение Белую Глину и таящую в потенции, в жутком напряжении молчания — смертоносные жала...

— Какую иллюминацию устроили, дураки!..

— Дрейфят...

Справа бухнуло несколько раз и затрещало опять. Голова колонны неожиданно остановилась. Лошади задних повозок наезжали вплотную, ударяли дышлами в кузов передних и теплыми мордами тыкались в спины сонных людей.

— Легче!.. Ах, черт!.. Так-растак!..

И все смолкло, притаилось. Дремота сходила быстро: сейчас начнется... У многих привычных, даже и не робких, становилось на душе тревожно: от ночи — хранящей мистические тайны, преувеличивающей все зримое и слышимое, все контуры, масштабы, обостряющей впечатлительность и от полной неизвестности. Вносила, впрочем, успокоение уверенность, что кто-то *знает*, кто-то окутал чуткой завесой путь следования и невидимыми шупальцами — дозорами бороздит тьму. И еще одно... невольно, подсознательно пряталось в душе эгоистическое чувство: «скоро, быть может, брызнут и в нашу колонну... Пусть!.. Но... но пока эта дробь пулеметов *не по нас*». Не хотелось думать, что кому-то другому она несла ведь тоже увечье или смерть...

На войне вообще такие мысли не приходят в голову.

* * *

— И такой случай, — доносится тихо с одной повозки, — как раз это подхожу я к усадьбе Захаренки, а там — комендант со штабной ротой. Окружили дом. Керосином воняет за версту: несколько человек поливают из жестянок

стены. Зажгли. И сразу как вспыхнет, как завоет пламя!.. Стены деревянные, давно дождя не было. Комендант покрикивает, распоряжается. В чем дело? Оказываются, Захаренко-то их и выдал...

— Какой Захаренко? — отозвался сонный голос со дна повозки.

— Да этот самый, товарищ мой.

— Поручик Ковтун, не ругаться!

— Ну, приятель мой, — если хотите, однокашник по школе.

— Где ж это было?

— Да в Песчанке, на последнем ночлеге.

— Так ты песчановский?..

— Вот тебе, здравствуйте, я уж полчаса рассказываю, а он... Ты спал, что ли? Так вот, пришел Захаренко в волостное — у них эти собачьи исполкомы не успели еще ввести... Пришел и заявил, что работники у него оказались корниловскими офицерами. Как уж он дознался — сами проговорились или подслушал кто-нибудь разговор, — коменданту точно неизвестно. Собрался сход, выяснили, что действительно эти двое — раненые и отставшие от Добровольческой армии в Первом Кубанском походе. Еще других нескольких отыскивали и постановили всех их казнить. Ну... и расстреляли.

— Ах, сволочи, за что же? Ведь Песчанку добровольцы не трогали?..

— Да за то же, за что расстреляли моего батьку. Те — сами «кадеты», а у батьки — сын «кадет», да еще офицер... Правда, отца убили не свои, а захожий Воронцовский отряд каких-то «анархо-коммунистов»... А добро, что еще в нашем доме оставалось, растащили свои, это верно. Свои же, соседи, лошадей свели и урожай собрали.

— Много земли у вас?

— У отца десятин 30 было.

Со дна повозки послышался голос:

— Ах ты, кулак недорезанный!..

— Да это что — пустяки. Песчановские все богатеи. Вот у того же Захаренки — 60 своих, да сотню, должно быть, исполу снимал... Я сам не хозяйничал. Меня отец в Ставропольскую семинарию отдал учиться. Думал — по

духовной части пустить. А я, окончив семинарию, на войну ушел... На хозяйстве оставался с отцом старший брат; но в прошлом году его призвали, как ополченца; на Румынском фронте заболел тифом и помер.

...Да, на чем же я остановился?.. Так вот — перед самым нашим приходом Захаренки исчезли: самого мобилизовал отряд Жлобы, а жена с его сестрой где-то, говорят, прячутся по подвалам... Комендант, узнав, что я — местный уроженец, попросил поискать их, но я не стал. Ну их к лешему!

— Ну, и слюнтяй! Надо было вздернуть баб.

Ковтун не ответил. Мысли убежали далеко... Под напускным небрежным тоном рассказа таилось еще что-то — свое, волнующее, о котором не стал бы говорить никому...

* * *

Два года Ковтун не был дома. Вырвавшись из Москвы, после долгих мытарств попал в Ростов и записался в Добровольческую армию. С ней выступил в поход. И ведь этаким случаем: пришлось атаковать Песчанку... Три дня тому назад перед закатом Ковтун лежал в стрелковой цепи против села, испытывая странное, неизведанное чувство... Добровольческий бронепоезд и невидимые батареи с трех сторон вели сильнейший огонь по окраине села и особенно по вокзалу. Привычная картина: сколько раз на войне приходилось ему вести наступление на укрепленные окраины городов и деревень... И когда своя артиллерия громила дома, валила стены и жгла гранатами постройки, в пехотных цепях подымалось настроение, и сам он радовался каждому «удачному» выстрелу. Так же было и на днях при атаке Торговой...

Сегодня — другое... Ковтун постреливал изредка, машинально, по команде, почти не целясь, в темные точки, густо вкрапленные в неприятельские окопы. Мысли были о другом... Каждый снаряд, проносившийся над головой, вызывал смутное чувство... Бездушные, безымянные «цели» облекались в плоть и кровь.

Вспыхнул дымок над белым домом с зеленой жестяной крышей и с закрытыми зелеными ставнями — такими

знакомыми... «К Фадеевым это... Весь дом, должно быть, полон баб и детворы... Мужики все на войне, а, может быть, кто-либо из них вернулся и сидит тут в окопах...»

Ударило в другую хату — низкую, покряхтевшуюся — и разворотило стену, подняв столб не то пыли, не то дыма. «Да, кажется, загорелось... У деда Силантия»... Пастух сельский, бобыль. Сколько ни запомнит его Ковтун — старик седой. «Который год ему идет?» Друзьями были. Мальчишкой еще, бывало, бегал он часто к деду в поле, в зеленый лог, что подле речки Рассыпной — развеселый детский клуб! Умел дед рассказывать про страшное и дудки из молодой коры выделывать. Особенные — лучше, звончее, чем те, что продавались в Ставрополе на ярмарке. «Жив ли?»

Ковтун воспринимал все боевые ощущения в этот вечер как-то по-новому, в чудном обратном преломлении. Было странно и несколько неловко от этого, но ничего поделаться с собой не мог... Пролетавшие снаряды — будто не *наши*, а *чужие*; рвутся не над *чужими*, а над *своими*... Высоте разрывы шрапнели — «журавли», как их звали солдаты, рассыпавшие по селу обессиленные уже пули, вызвали чувство облегчения, а *удачно* попавшая, разворотившая крышу граната будила тревогу, как будто она разворотила *свой* окоп...

— Редко, тремя патронами!.. — слышалась команда.

Ковтун прицелился по черным точкам... «Кто они?.. Наверно, немало наших ребят... Сами пошли, или пришедшие большевики заставили?.. Как, однако, все это безумно глупо и тяжело. Брат на брата... Ну, что поделаешь...» Случайно взглянул на свой прицел: «постоянный». Так, оказывается, и стрелял все время, забыв поставить по расстоянию. Притянул ружье, поднял прицельную рамку и навел опять...

Несколько очередей пронеслось вновь над вокзалом и ближайшей рощей. Защемило больнее... Ковтун не видел еще, но представлял себе отчетливо тут же недалеко спрятанный за деревьями отцовский дом. «Догадался ли старик укрыться в подвал или бежать за село?..» А несколько поодаль, наискось — дом Захаренки. Ведь сестра его, Юлия... Ну, да что уж там: первое и единственное чувство, озабившее юность...

Цепи продвигались медленно. Снаряды один за другим целыми очередями рвались над рощей за вокзалом до самого заката.

...Ночь и утро, после взятия Песчанки, рота Ковтуна стояла в сторожевом охранении и только пополудни вошла в село. Ковтун бросился домой и узнал печальную новость: отца убили большевики уже месяц тому назад... Дом стоял пустой и разграбленный. Пошел Ковтун к Захаренкам — там новый удар... По сведениям коменданта, в выдаче добровольческих офицеров сыграла какую-то провокаторскую роль и сестра Захаренки...

Рассказывая сегодня на подводе однополчанам про этот тяжкий день, Ковтун сказал неправду, что не искал Захаренку. Искал и нашел: его приятель — сосед указал ему на избу на окраине, где скрывалась Юлия. Ковтун переживал мучительный разлад в душе, терзался сомнениями. Два раза ночью, крадучись, подходил к калитке той избы...

...И не зашел.

По колонне прокатилось глухо:

— Слезай!..

С повозок соскакивали люди и по командам, отдаваемым вполголоса, строились по сторонам дороги, между копен. Возчики торопливо и шумно поворачивали подводы, стараясь отъехать поскорее и подальше от этих гиблых мест, где вот-вот закипит бой. Не один облегченно вздохнул; многие крестились.

— Полк будет атаковать хутор вдоль дороги. Нашему взводу приказано идти вправо в боковую заставу. Поручик Ковтун, ступайте вперед с головным дозором.

— Какое направление, господин капитан?

— Какое тут к черту направление, когда ни зги не видно!.. Прислушайтесь к движению колонны, чтобы не очень отрываться, а эти дураки вам ракетами посветят...

Пошли трое.

Под ногами хрустело жнивье, и этот шум неприятно действовал на нервы. Держались близко друг друга — так

покойнее. Напрягали слух, ловя тревожные звуки ночи. Впивались широко открытыми глазами остро, до боли, во тьму и вдруг настораживались перед лохматой копной, в нервном сумраке похожей на человека в папах и с ружьем. Справа опять затрещало...

Прошли так с версту. Сзади от заставы послышался тихий свист — условный сигнал — «стой!». Присели у копен, держа винтовки наготове.

Слева от дороги, где должна была двигаться колонна полка, донесся громкий крик — команда... Ковтун подумал: «Значит, полк близко...» И тотчас же разорвало тишину оглушительным и долгим треском. Стреляли, очевидно, большевики от хутора; пули сыпались вокруг дозорных, глухо ударяли по земле, шелестели в соломе и с коротким свистом прилетали мимо ушей. Потом огонь стал замирать — видимо, атака не удалась...

Так продолжалось около часу. Занималось утро. И впереди, среди поля, начали вырастать какие-то неясные очертания. «Должно быть, хутор». Поле — все еще пустое, мертвое... Вдруг поднялся от земли человек — недалеко; раздался опять трескучий голос — как будто командира — и резко оборвался. Видно было, как поднявшийся упал навзничь. Мгновенно ожили, загорелись вновь, разразились сплошным гулом теперь уже ясно видимые линии неприятельских окопов. И по полю замелькали фигуры людей, бежавших прямо на них, к ощерившемуся, задымившемуся хутору.

«Надо послать донесение...» Ковтун хотел позвать дозорного, но сзади зашуршало — надвигалась, видимо, застава. Повернулся, вскинул ружье, направился к заставе и обмер: подходила вплотную какая-то незнакомая часть. Не успел разглядеть, но по едва уловимым приметам почувствовал инстинктивно, что чужие. Мелькнула мысль: «Большевики!»

— Стой, сволочь! Брось ружье!

Поручик успел выстрелить прямо перед собою и бросился в сторону хутора; но не успел пробежать и нескольких шагов, как почувствовал удар в бок. Упал.

Постепенно теряя сознание от жестокой боли, он видел смутно над собою злые лица и испытывал такое ощу-

щение, будто большими гвоздями прибивают тело его к земле, и оно все распластано, недвижимо, немеет...

* * *

Ковтун очнулся, когда солнце поднялось уже высоко. Возле него стояли лужи крови, и тонкие, прерывчатые струйки ее текли еще из многих, ран исколотого штыками тела. От потери крови чувствовал слабость, истому и какой-то благодатный покой. Лежал навзничь; солнце слепило глаза; хотел повернуть голову и не мог: голова, руки, ноги — все тело было как будто прибито к земле.

Страшно клонило ко сну. Закрыв опять глаза. Но свет почему-то не померк... Сквозь закрытые веки он видел ясно знакомые места, каких-то людей, много людей. Хотел остановить их, спросить — где он, почему тело его прибито, но все они страшно торопились и бежали дальше. Проносились быстро мимо него станция, роща, знакомая площадь перед церковью — она, конечно, — пестрит вся цветными бабыми плахами, золотыми разводами хоругвей... Идет... нет, не идет, а почему-то пробегает быстро крестный ход; впереди — отец Поликарп с Евангелием в руках, с развевающейся смешно так белой гривой. Может быть, он знает?.. Хотел догнать, спросить, но нельзя — земля не пускает... А площадь пронеслась, и уже — село. Быстро мелькают избы, пустырь, выселки... Вот та самая хата, с облупившимся боком, с маленьким палисадником, на котором стоят высокие подсолнухи. «Стой!.. Ведь надо же зайти, спросить о страшно важном, без чего нельзя... заснуть...» Но и выселки пронеслись уже, пропали; пропала и земля, а дорога подымается от земли по крутой и яркой радуге прямо к облаку. И на складе его — Бог Саваоф. Тот самый, что глядел всегда с иконостаса семинарской церкви — сурово, пронизывающе... А пониже, на ступеньке Божьего престола — отец, с его редкой бородкой и слезящимися глазами.

Бросился, было, радостно к отцу, но кто-то страшный преградил путь, в ушах прозвенел полный ненависти окрик:

— Подыхаешь, стерва!..

В голову, в левый висок ударило больно — раз, другой. Ковтун с усилием открыл глаза. Прямо перед ним поле — далеко, сколько можно окинуть взором. Вдали — резко и прямо бегущее полотно железной дороги, терявшееся дальше за пригорком; на невидимом его продолжении — два белых дымка подымались из-за гребня, таяли в прозрачном воздухе и вспыхивали вновь все дальше и дальше. Изредка раздавались орудийные выстрелы — глухо, издалека. В сознании проносилось отчетливо:

«Ушли вперед, не заметили, не подобрали...»

Но эта мысль уже не волновала: все было глубоко безразлично...

Опять ударило в висок... Ковтун скосил глаза до боли: возле него, наискось, лежал человек и судорожным движением ноги, обутой в большой грязный сапог, толкал его в голову, задевая по глазу.

— Подыхаешь, стерва?! Сил моих нету подняться; а то удавил бы!

Ковтун сделал большое усилие и повернул голову. Человек лежал, вытянувшись — длинный, громоздкий, в расстегнутой солдатской шинели, без шапки. Все лицо его было покрыто страшной неподвижной маской — сплошным черным струпом запекшейся крови; и только глаза — такие же страшные — шевелили веками и пылали злобой.

Их взгляд показался Ковтуну до странности знакомым...

— За что?

* * *

Они лежали вдвоем — два врага — среди пустынного поля в такой жуткой и беспомощной близости. По замиравшим выстрелам — где-то далеко, уже за Белой Глиной — можно было судить, что бой кончается, и это сулило надежду на помощь одному и обрекало другого...

Дремотный покой разливался по телу Ковтуна, и на душе его было покойно — ни боли, ни страха, ни желаний. Об одном только жалел: «Зачем не повидал ее, не узнал...» Да еще смущал взгляд этих ненавидящих глаз из-под страшной маски.

Поручик повторил тихо:

— За что?..

— Еще спрашиваешь?.. Так-растак твою душу! Пришли!.. Кто вас звал, офицерье проклятое!.. Мало вам кровушки на войне было, так теперь народ добиваете! Повернуть все по-старому хотите! Землю нашу, которую кровью да потом, для дворянчиков и казаков отбираете!..

Голос говорившего был также до странности знаком, как и глаза. Ковтун напрягал память — где он их видел, и под пристальным взглядом его мало-помалу расходилась жуткая кровавая маска, и выступали знакомые черты... «Да, без сомнения, — Михайло»... Сосед, один из фадеевских сыновей... Его ровесник. С ним да еще с Захаренкой он был наиболее дружен, вместе прошло все детство...

— Брось, Михайло, неправду говоришь...

Глаза из-под маски расширились, засветились, и грузное тело приподнялось было от земли, но тотчас же беспомощно упало.

— Ковтун?..

— Да.

От неожиданности и от волнения оба смолкли. Первый прервал молчание Михайло.

— Какое дело... Значит, правду говорили люди, что ты кадетам продался. А ведь как разорился-то прежде на счет народушка: «Кровопийцы, мол, захребетники крестьянские»... То да се... Башку морочил, сукин сын.

Он застонал от боли — свело обожженную шею; задыхался от сгустка крови, остановившегося в горле. Падали острые, злые слова, как горячие капли, обжигали, будили в дремотном сознании Ковтуна отравленные воспоминания.

«Ведь было...»

В предпоследнем классе семинарии вступил в кружок с безобидным названием «Самообразование», направлявшийся, очевидно, извне какой-то искусной рукою. Теперь это ясно... Ушел с головою в новый мир понятий, перевернувший все его простое миропонимание, вскормленное ставропольским черноземом, здоровой и сытной жизнью. Будто прозрел. Возмутился социальной неправдой, загорался ненавистью к праздноживущим от мужицкого пота... В увлекательных книгах, которые поглощали

тогда жадно участники кружка, были и готовые ответы, как помочь мировому злу разрушить ненавистный государственный строй, смести лицемерную общественность, отобрать землю — исконное мужичье наследие — и взять власть трудящимся. Что дальше — об этом не особенно задумывались, главное — «разрушить оковы». Сколько было тогда юношеской чистой веры и задора! Как легко рушилось, ломалось, сметалось все, какие светлые перспективы открывало будущее!..

Эту веру и пламенный гнев заносил с собою в тихую Песчанку, приезжая на каникулы.

«Да, было...»

Его сверстников по кружку жизнь раскидала по свету — ни с кем не пришлось потом встретиться. Про двух слышал уже в Песчанке. Одного — отца Леонида, священника ближнего села, убили недавно красногвардейцы. Схватили во время вечерни, вывели в пустырь на то место, где зарывался чумной скот, велели выкопать самому могилу, зарубили и бросили его туда... Другой — Промовендов занимает важный пост: красный комендант Ставрополя. Про его похотливость и кровожадность рассказывают ужасы!..

«Да, жизнь все перевернула вверх дном».

* * *

Фадеев со стоном и кашлем выплюнул на грудь сгусток крови.

— Чего молчишь? Сказывай, дорого ли проданся? Земли тебе пообещали или деньгами отсыпали?

— Ты не прав, Михайло. Землю я и свою-то отдал обществу, и заречный клин, что твои захватили, велел оставить за тобой... А жалованья получаю столько, сколько ты батраку платил. Вот что...

— Какое дело...

Молчание...

— Так зачем же ты пошел к ним?

— Не из-за выгоды, конечно... Трудно мне теперь объяснить тебе — силы нет... Мы за народ идем. Большевики губят Россию, они обманывают народ... А в про-

шлом — ошибка вышла: намерения-то были хорошие, и правда-то была настоящая, да не той, видно, дорогой я за ней пошел, заблудился. Все мы заблудились... Я еще хоть знаю, за что умираю, а ты вот...

Собирает мысли — хотел рассказать Михайле попонятнее про большевизм, но мысли путались. «Да и к чему теперь — поздно... Все равно умирать приходится...»

Повторил вслух:

— Умирать приходится...

Долго молчали.

Солнце садилось уже; в поле становилось тихо и прохладно. Вдалеке дымил и медленно двигался поезд. Целым роем оводы и мухи кружились возле раненых, однообразно и нудно гудя, прилипая и жадно всасывая кровавые пятна; больно жалили лицо и руки. Михайло тихо стонал. Ковтун не чувствовал уже боли. Спала волна нахлынувших чувств, и снова обоих начало клонить ко сну; веки, натруженные за день прямыми солнечными лучами, засоренные пылью, крепко слипались.

Михайло тихим, прерывающимся голосом заговорил:

— Это правильно, что заблудились. *Ваша* ли правда, *их* ли — не понять. А ты меня прости, Христа для... Озlobился...

— Ну, что там — все виноваты... Хотел спросить тебя, Михайло... Правда, что Юля выдала добровольцев?..

— Брешут люди. Это брат ейный на них доказал. Когда Юлька узнала — что там было!..

— Ну, вот, спасибо... Теперь легче стало...

И через минуту, будто продолжая вслух свои мысли:

— Как раз вчера... ее именины. Какая жалость... Помнишь, в позапрошлом...

Михайло не слышал, тихо стонал.

* * *

Догорал день, когда от хутора, по жнивью подошла повозка.

— Стой, черт, вот — еще! Говорил, что надо было в этой стороне пошарить!

Сошли с повозки двое и наклонились над лежавшими.

— Как будто поручик Ковтун... Так и есть. Не дышит уже. Царствие небесное!..

— И этот тоже готов.

Положили труп поручика на повозку.

— А с этим что будем делать? Похоже, что большевик — никаких отличий на нем нет.

— Поищи шапку. Во второй дивизии у многих нет еще погон, только на шапке — белая полоска.

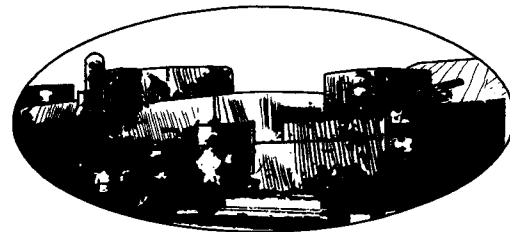
— Да и шапки нет...

— Ну, подымай все равно — в штабе разберут.

С трудом подняли грузное, уже застывшее тело Михайлы и взвалили на повозку.

Длинные, мертвые руки взметнулись и упали — словно обняли лежавшего на дне поручика.

Повозка в полной темноте, рысцой, потряхивая и путаясь между копен, покатила к дороге.



ИСПОВЕДЬ

В штабе N-ой красной армии нависло тягучее тревожное настроение, которое обычно сопутствует неудаче.

Еще недавно, не более недели тому назад, операция прорыва белого фронта началась так блестяще, и острый, точно режущий клин, прочерченный на большой стратегической карте, висевшей в оперативном отделении, вписывался все глубже и глубже к югу, в расположение белых. Только полсотни верст отделяло победоносные красные полки от важного южного центра, когда командарм неожиданно для своего штаба свернул армию на запад.

Этот маневр обсуждался на вечернем заседании начотделов и хоть несколько удивил всех своим направлением, но не вызвал возражений со стороны военспецов... Только товарищ Гулый, коммунист, начснаб — недавно мастер Шостенского порохового завода — позволил себе, и довольно резко, критиковать директиву командарма.

— Никак не понять, товарищ командарм: какого черта, с позволения сказать, сворачивать с прямой дороги, когда все идет гладко и наши вот-вот захватят этот самый город...

Он поводил толстым жилистым пальцем по карте и, сбившись, ткнул им в Воронеж, находившийся в расположении красных. Генштабисты переглянулись. Один из них, подойдя к карте, поправил Гулого.

Комиссар Гройс насторожился. Он ничего не понимал в стратегии, но... комиссар должен быть всегда начеку. Долгий опыт подпольной работы сделал его подозрительным, и Гройс испытующим взглядом обвел присутствующих.

— Я солидарен с товарищем Гулым.

Воцарилось молчание. Никто больше не поддержал. Даже тот военспец, который до заседания, с глазу на глаз, так убедительно доказывал Гулому ошибочность нового направления армии...

Командарм поднял усталое лицо и с некоторым раздражением взглянул на Гройса.

— Тогда, быть может, товарищ комиссар возьмет на себя руководство операцией?.. Удивляюсь я вам, господа. Ведь я не вмешиваюсь в вашу компетенцию и не учу вас политграмоте, а вы беретесь судить обо всем, чего не понимаете. Захват территории и пунктов не имеет ровно никакого значения. Надо разбить живую силу противника, и это я делаю ударом во фланг и тыл.

Товарищи Гройс и Гулый в течение ближайших трех дней чувствовали себя несколько смущенными: уверенность командарма оправдывалась. Телефон приносил известия о паническом метании по всем направлениям обозов белых, о «разбитии наголову» целой бригады Марковцев... И хотя почему-то пленные прибывали не в очень большом количестве, но в штабе находили этому простое объяснение:

— Полки выводят пленных белогвардейцев в расход...

Гройс в дни успехов принимал дружелюбный, иногда даже искательный тон в отношении командарма. И однажды за общим столом, когда штабные распивали добытые где-то Гулым несколько бутылок настоящей казенной водки, комиссар поднял рюмку и провозгласил тост:

— Быль молодцу не в указ. Хотя наш командарм и принадлежит к бывшему кадровому офицерству, которое в общем и целом было несознательным орудием в руках царских эксплуататоров, но теперь он уже вышел на путь полного подчинения рабоче-крестьянской власти. И дай Бог...

Тут Гройс поперхнулся и на секунду замялся. Повторил громче и резче:

— ...И дай Бог, как говорят несознательные элементы, чтобы всякий коммунист наступал так искусственно, как наш командарм. Ура!..

В штабе царило бодрое настроение; сам же командарм был сосредоточен и угрюм.

Но прошло еще дня два-три, и в ходе операции наступил неожиданный перелом: армия, производя перемену направления, сама открыла белым свои сообщения и тыл, по которому ударили «белые» бронепоезда и кубанская конница. Роли переменялись, будто по сигналу: N-ая красная армия повернула на север и в паническом бегстве искала спасения. Несколько дней штаб¹ не имел даже сведений о своих войсках. И только два последних дня, в течение которых шел проливной дождь, растворивший дороги, размывший железнодорожное полотно, замедлилось несколько отступление красных, и штаб мог, хоть в общих чертах, установить состояние частей.

Штаб остановился на ночлег в вагонах на небольшой станции. Почти каждый день приходилось передвигать стол-янку. Среди чистого поля, в полуверсте от большого села уныло торчали станционные здания, с зияющими дырами — безмолвными свидетелями недавних боев. На путях, на перроне, кругом вокзала — кучи гниющей соломы, конский и людской помет, всякие отбросы, осколки снарядов и целые груды рваной, мятой бумаги. Местами валялись полусгнившие, полуобглоданные собаками трупы лошадей, и ветер доносил тошнотворный едкий запах падали; нелепо и уродливо торчали вверх оглоблями застрявшие в грязи повозки и зарядные ящики... И все тонULO в потоках воды, в мутной, зловонной грязи. Казалось, что и дождик, льющий мелко и нудно, тоже мутный, липкий и вонючий. Несколько неожиданно среди этой большой свалки бросались в глаза свежие плакаты, расклеенные на стенах вокзальных зданий санитарным начальством:

«Товарищи! Не пейте сырой воды ввиду бывших холерных заболеваний».

На рельсах, кроме поезда штабма, стоял бронепоезд, на стенке пушечного вагона которого по белому фону написано было «Лев Троцкий»; а из-под свежей белой краски просвечивала совсем явственно прежняя надпись — «Доброволец». Бронепоезд весь украшен был красными флагами, не убранными еще после торжества переименования: недавно оно состоялось в присутствии самого военмора,

¹ Штаб армии. — Прим. ред.

прибывшего на фронт. Флаги были мокры и грязны, уныло обвисли, и ветер трепал их и обвивал вокруг деревьев. А над фронтоном вокзала висело, забытое белыми и не замеченное еще красными, тяжело и шумно бившееся большое трехцветное знамя...

Здание вокзала, загаженное до последней степени, было забито людьми штабных команд и конвоя. Висел туман от табачного дыма, нестерпимо пахло прелой шерстью и онучами, и в ушах стоял сплошной гул от людского говора, от ругательств и ядреного мата.

В отдельной «зале для пассажиров I и II классов», у двери которой стоял на страже скуластый малый с большим парабеллумом и офицерской шашкой, происходило заседание реввоенсовета армии. Длилось уже часа три без перерыва и, очевидно, имело бурный характер, так как отдельные возгласы оттуда прорывались сквозь стены и гул толпы.

Командарм не был приглашен на заседание, хотя числился по должности членом реввоенсовета...

Наконец дверь распахнулась, и скуластый малый бросился расталкивать толпу.

Через несколько минут клавиши Юза стали выстукивать по прямому проводу в адрес реввоенсовета фронта секретную телеграмму:

«Части совершенно небоеспособны... паника на каждом шагу... Армия находится в состоянии полного разложения... Все происшедшее наводит на мысль, что мы имеем дело не просто с неудачным управлением, а с чем-то гораздо более серьезным...»

* * *

Командарм сидел в салоне своего вагона, задумчиво глядя на разложенную карту. Толстая цветная линия общего советского фронта — на участке его армии — обращалась в пунктир неопределенного очертания: нельзя было установить точно расположение дивизии; а синие стрелки, изображавшие направления колонн белых, — прямые, острые — словно разрывали паутину фронта, выпрямляли опустившийся было к югу клин и вонзались глубоко в расположение

красных. Одна стрелка, прочерченная сбоку, с востока, на перерез железнодорожной линии, все время опережала движение штабного эшелона. Вот-вот захватят...

Операция окончательно и безнадежно погублена.

Командарм сложил карту, откинулся на спинку кресла, задумался. «На этот раз, пожалуй, не удастся выйти благополучно...» Последние дни он замечал явную переменную отношения со стороны окружающих. Гройс просто нагл; начотделы под разными предлогами избегали являться лично с докладами; на перроне, когда он, прогуливаясь, подходил к группам беседовавших штабных, те сразу смолкали и вежливо, но как-то смущенно отвечали на его вопросы — разговор совершенно не вязался. Вокруг командарма обрзовалась какая-то тягостная пустота...

«А хорошо бы на свободу... Ах, как хорошо!..» Он закрыл глаза и мучительно ясно представил себе свое положение, в которое он стал добровольно. Об этом не сожалеет. Но... хватит ли сил донести тяжкую ношу...

Узник — с первых же дней поступления в Красную армию. За каждым шагом его следили: и комиссар, который поселился в вагоне командарма и позволял себе входить в его купе, не постучавшись; и дежурный из Особого Отдела, вечно торчавший в нарочито почтительной позе в коридоре вагона, и другие. «Вот и сейчас...» Командарм услышал шорох, направился к двери неслышными шагами и сразу сильным толчком открыл ее. Дежурный отскочил, держась за переносицу. Смутился...

— Вы меня звали, товарищ командарм?

— Убирайтесь к черту, вы мне не нужны. Отчего вы не сидите в своем купе?

Захлопнул дверь. Еще тягостнее стало на душе, и еще мучительнее захотелось «свободы»... Снова закрыл глаза. Перед мысленным взором проходили дни, мелькали образы, как тени. Прошлое... Не всегда оно было радостным, чаще горьким и суровым; но ни злобы, ни обиды не оставило — одно лишь безграничное сожаление о чем-то потерянном, невозвратном... Посмотрел в окно, вдаль... Дождь перестал. Одетое в багрянец облако нависло краем над дальним лесом и селом. Золотило окна и играло мелкой рябью, многоцветными переливами в сплошной вод-

ной пелене, покрывшей поле; туман стлался низко по земле, довершая иллюзию, будто кругом — бескрайнее море, по которому плывут, колыхаясь, село и лес. «Хорошо бы теперь на море...» Махнул рукой и выпрямился. «Нет, не выбраться уж никуда...»

На столе лежали неразобранные бумаги. Открыл папку. Приказ по дивизии... Подписал, не читая. Донесение начдива о потери обоза... Положил резолюцию: «истребовать от начснаба фронта». Дальше. Приказ военмора: «...Казаки, обманутые Мамонтовым!.. Вы в стальном кольце»... Помечен приказ Москвою. Усмехнулся: «Как скоро, однако, проехал военмор из Тамбова в Москву». Дальше. «Первая книга для чтения», присланная военным отделом ЦИК для распространения среди красноармейцев. Начал перелистывать: «...Кучка генералов и министров топтала кости миллионов солдат, которые шли на убой...» Так. «В деревне не было куска хлеба или стакана молока, потому что все отдавалось помещикам и их собакам...» Х-м! «...Мир принадлежит одинаково всем и должен быть поделен поровну...» Гениально! «Человечество должно идти по гладкой поверхности одинаковости и равенства...» К черту эту дребедень! Дальше. Екатеринодарская газета, снятая с убитого белого... Вот это интересно. Развернул. Красным карандашом отчеркнута статья — стратегический очерк последнего периода. Сбоку рукою Гройса сделана пометка: «Обр. особ. вним.». Стал читать.

«Поскольку первоначальное направление удара N-ской советской армии являлось глубоко продуманным и угрожающим не только нашему жизненному центру, но и всем сообщениям Добровольческой армии, постольку поворот явился полнейшей бессмыслицей, свидетельствующей только о непонимании самых элементарных начал стратегии советским командующим...»

Командарм почувствовал, как кровь прилила к лицу. Швырнул газету.

«Дурак! Непонимание... Ты вот много понял...»

Сошла дымка тихой грусти, и в душе расплзалась горечь обиды. Встал и начал шагать по купе.

Стук в дверь.

— Кто?

За дверью ответили.

— Войдите!

— Наштарм¹ спрашивает, не будет ли какой-нибудь срочной передачи, так как через час снимаем линию.

И потом шепотом — таким тихим, почти неслышным:

— Ваше Превосходительство, комиссар будет сейчас говорить с реввоенсоветом фронта. Я включил ваш аппарат...

Генерал кивнул. Ответил громко:

— Передач не будет. Можете снимать.

— Слушаю-с...

Вышел. Командарм сел в кресло. Поднес к уху телефонную трубку.

...
— Товарищ Мехоношин? А, здравствуйте, как поживаете? Но теперь не в этом дело. Я так горячусь, что не могу спокойно держать телефон. Но не в этом дело. Вы слушаете?

— Да.

— Я должен сейчас миновать всякие препятствия и ехать к вам. Пришлите паровоз.

— Скажите, что случилось, и, пожалуйста, покороче. Мне некогда — приехал нарком.

— Что вы говорите? Так тем более. Вы читали нашу телеграмму? Ну, что вы скажете об этом?

— Дело неважно. Как, однако, понимать последнюю вашу фразу?

— Как понимать! Вы хотите, чтобы я доверил свое мышление телефону? Хорошее дело! Могу только сказать, что вопрос чрезвычайной важности. Вы слушаете? Чрезвычайной! В общем и целом он касается ни менее ни более как контрреволюционной измены! Ну? Теперь вы поняли? Но не в этом дело. Скажите, когда вы пришлете паровоз?

— Постараюсь поскорее.

— Товарищ Мехоношин, вы должны прислать паровоз немедленно. Что? Ну, да... До свиданья. Пока.

...
¹ Начальник штаба армии. — Прим. ред.

Командарм положил трубку и сидел недвижно. Мысли потонули в охватившем его чувстве огромной душевной усталости.

«Будь что будет!..»

* * *

— Бывают такие горе-коммунисты, товарищ Гройс, которые обращаются с военспецами как с подсудимыми или просто с арестантами. И, мне кажется, вы из числа таких. Вы сами этим толкаете неустойчивых представителей командного состава искать спасения у белогвардейцев.

Гройс сидел в богатом вагон-салоне наркома. Он терял невольно уверенность и свой обычный апломб в присутствии высокой особы, импонировавшей ему своим положением и тоном. Терял и мучился этим. Его маленькая, невзрачная фигурка тонула совсем в глубоком кожаном кресле, и от этого становилось еще более неловко.

— Но, товарищ нарком, не в этом дело. Разве не правда, что одна из главных причин неудачи нашего фронта, в общем и целом, заключается в скрытом предательстве командного состава? Я уже не говорю, что они целыми пачками переходят к Деникину...

— Вам здесь, в четыре глаза, я скажу: «да, это правда». А в своем приказе я написал: «это — чудовищная ложь»... Участие военспецов в нашей работе является делом жизненной необходимости. Мы отлично знаем, что огромное большинство кадровых офицеров не изжило и не изживет никогда старой психологии. Но мы плюем на психологию! В нашем строительстве армии они — только материал. Когда у нас будет достаточно своих красных командиров, мы выбросим кадровых офицеров, как паровоз выбрасывает отработанный пар. Выбросим или раздавим. Но для этого нужны годы, понимаете?.. Пока же мы заставляем их служить — террором, страхом, безвыходностью положения, выгодой, доверием. Да, да — даже доверием — вот вы этого не понимаете — какая мягкая соломка для готовых упасть — доверие... Вы говорите — «предают». Ну да, предают! Но если спросить, что до сих пор причинило

нам больше вреда — измена бывших кадровых офицеров, или неподготовленность новых наших командиров, так я вам скажу, что последнее.

Нарком говорил резко и смотрел на Гройса сквозь пенсне слегка прищуренными глазами, придававшими его лицу выражение покровительственное и слегка презрительное. Это чувствовал Гройс, и это его обижало, но отделаться от своего смущения он не мог. Хотя партийный стаж его был выше, чем у наркома, а заслуги... Гройс вообще считал в глубине души весь совнарком «шарлатанами», а себя незаслуженно обойденным.

— Позвольте, однако, товарищ, вернуться в плоскость конкретных фактов. Измена командарма, хотя нет прямых доказательств, теперь уже не подлежит никаким сомнениям. И...

— И тем не менее командарм N-ой красной армии не может быть обвинен в измене.

Гройс привскочил в кресле и приоткрыл даже рот от изумления.

— Я извиняюсь, товарищ нарком, но я начинаю вас уже не понимать совсем.

— Не понимаете? А как отозвалось в армии предательство Григорьева, Миронова, Котомина, Носовича, Всеволодова и других, вы не знаете? А что говорят красноармейцы, вы не слышали? Почему пала Полтава? «Предали, говорят, нас в штабах подкупленные командиры...» Почему пал Харьков? На это вам отвечают наши старые приятели, левоэсеровские авантюристы Саблин, Муравьев и другие, в своем воззвании красноармейцам: «Стоит ли вам проливать свою кровь, когда вас предают... Гоните же в шею своих командиров-назначенцев, гоните в шею офицеров и генералов». Вот! Вы понимаете, чем это пахнет? Что будет, если мы останемся совсем без командиров? Или, может быть, скажете, заменить их комиссарами?

— Положим-таки, более тонкая штука ведение всего государственного механизма, однако...

Нарком перебил. Глаза его смотрели поверх пенсне зло и жестко.

— На это я вам, товарищ Гройс, вот что скажу: только люди с невежественным самомнением могут думать, что

рабочая власть может преодолеть буржуазный строй, не учась у буржуазных спецов.

Гройс вспыхнул и громким, свистящим фальцетом крикнул:

— Значит, пусть командарм продолжает нас предавать со всем нашим пепелищем белогвардейцам?

— А это другое дело.

Лицо наркома было снова непроницаемо спокойно. Продолжал, отчеканивая слова:

— Кто попытается использовать свой командный пост в целях контрреволюционных, тот, согласно решению 5-го съезда советов, карается смертью. И это дело компетенции комиссаров.

— Ну, так я же не то же самое говорю? Я с первого же слова сказал, что надо предать командарма военному трибуналу...

— И тем не менее повторяю вам — командарм не может быть обвинен в измене.

Гройс подумал: «Ведь он же издевается надо мной...» Встал красный и злой.

— Извиняюсь, товарищ, но...

— Извиняюсь, товарищ, но меня ожидают еще два доклада. До свиданья!

Гройс вышел в коридор, остановился у окна. Душила злоба к наркому и презрение к самому себе: «Не сумел достойно ответить этому выскочке». Теперь только придут на ум реплики — такие едкие и остроумные, но поздно. «Что за странный разговор, однако! К чему это он вел?» В мозгу комиссара, как на валики фонографа, развертывалась вновь вся их беседа с наркомом, и вдруг острая догадка мелькнула как молния. Мелькнула и осветила... «Так вот в чем дело!.. Ну да, конечно...»

Через несколько минут комиссар Гройс стучал опять в дверь наркома.

— Извиняюсь...

— Ну?

— Могу я обратиться доверительно к вашему врачу?

Нарком смотрел пристально, но глаз его Гройс не видел — отсвечивали стекла пенсне. Показалось, однако, что у толстых губ наркома, под темными усами змеилась улыбка.

— Пожалуйста.

— Еще один вопрос, товарищ. На него можно вполне положиться?

— Вполне.

Командарм не пошел в столовую. Приказал подать себе обед в купе. Опостылело смотреть на лица окружающих — одни вызывающие, наглые, другие — растерянные, смущенные. Хотелось побыть одному, никого не видеть и сосредоточиться. Нужно что-то вспомнить и обдумать, что-то очень важное... Но мысли расплываются... Появились, было, образы — близкие и милые... Словно острым резцом провели по сердцу... И тоже уплыли, утонули в бездонной пустоте, в тяжком томлении духа...

«Будь что будет...»

Машинально ел, не глядя на блюдо. В коридоре слышался шум и разговор — приехал комиссар. Через несколько минут дверь открылась. Вошел Гройс.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте. Какие новости?

Гройс без приглашения развалился на кожаном диване.

— Ничего особенного. Приехал нарком. Ну, вы же знаете его: вечно чем-нибудь недоволен. Между прочим, он без скрежетания зубов не может говорить о плане нашей последней операции. Что вы на это скажете?

Комиссар уставился сверлящим взглядом в командарма, но ничего не мог прочесть на его спокойном, застывшем лице.

— Все зависит от взгляда.

Несколько секунд длилось молчание, тягостное для обоих. Глаза Гройса потухли и беспокойно бегали по сторонам. На лбу налились синие жилки; стоило большого напряжения, чтобы удержать ходящие, непослушные челюсти. Нервным движением вынул портсигар, но долго не мог открыть его. Сунул опять в карман.

«Что он так волнуется...» — подумал командарм.

— Товарищ командарм, вы прочли белогвардейскую газету?

— Да.

— Так давайте ее мне, я не успел всю пробежать.

Командарм прошел в соседнее купе-спальню и принес номер газеты. Гройс взял и, ни слова не говоря, вышел.

В салоне стало как будто легче дышать. Есть больше не хотелось. Командарм допил начатый стакан содовой воды. «Фу, какой вкус отвратительный... Или это только кажется?» Встал, подошел к карте. Стал присматриваться, но глаза точно застилало туманом. «Что это?» Словно расплавленный металл потек вдруг по всем внутренностям. Обжег лютой болью. Горло сжалось. Ноги подкашивались. Командарм сделал шаг и упал на пол. Ноги и руки стали подергиваться судорогой. К горлу подступил клубок, жег, душил и извергался на лицо, на рубаху, на пол зловонной жижицей.

Он хотел крикнуть и не мог. Сквозь стиснутые зубы вырывались хриплые стоны и замирали тут же в четырех стенах салона. Извиваясь тяжелым телом, скользя руками по мокрому, загаженному полу, он пополз к дверям. Из запекшихся губ вновь вылетел стон. Должно быть, слышали... Быстрые шаги... Дежурный пробовал открыть дверь, но она не поддавалась, придавленная телом командарма... Нажал плечом, толкнул сильнее. Еще и еще. Просунул наконец в образовавшуюся щель. С большим трудом подтащил тяжелое тело к дивану и взвалил на него. Бросился из вагона за помощью и у самых ступенек столкнулся с Гройсом...

— Товарищ комиссар, несчастье!.. — Он стал быстро и сбивчиво рассказывать...

— Вы говорите судорога и блевает? Так это же ясно — молневая холера. Бегите сейчас же персонально за доктором...

Повысил голос:

— И скорее! Вы мне ответите, если будет поздно.

Комиссар сам только что отправил штабного врача вместе с квартирными на новую стоянку штарма... Войдя в вагон, Гройс запер дверь на ключ. Прошел в салон. На диване метался и глухо стонал командарм. Гройс почувствовал, как по лбу у него ходят мурашки, сердце стучит быстро и неровно, и внутрь его заползает острая жуть... «Пустяки, что за буржуазная сентиментальность!»

Командарм открыл глаза, полные ужаса и ненависти. Прерывающимся голосом, сквозь хрип и спазмы, сказал:

— Га-ди-на... Ты... твоё... дело...

— Что значит мое, когда это дело революционного правосудия. Но не в этом дело. Мне нужно, чтобы вы сознались в вашей измене. Слышите? Все равно ведь конец...

— Га-ди-на... У-ми-ра-ю... Ес-ли... со-вести... священни-ка... пос-лед-нее...

У Гройса мелькнула мысль: «Попу сознается...»

* * *

Робко вошел сельский священник, прижимая к груди дароносицу, словно защищая святыню от кощунства. Поклонился человеку, стоявшему у окна... На душе было тревожно: «Не для надругательства ли позвали?» Но нет. Взглянул на диван: кончается жизнь. Это он мог определить безошибочно: сколько пришлось проводить на своем веку в горние селения!.. Развернул сверток с крестом и епитрахилью, зажег восковой огарок. Стал, было, приготавливать Святые Дары, но показалось, что поздно уже. Подошел к дивану и начал читать отходную:

— ...Благословен Бог наш... Приидите, поклонимся... Каплям подобно дождевым, злии и малии дние мои... исчезают уже, Владычице, спаси мя... В час сей ужасный предстани ми помощнице непоборимая... Извести Твою милость чистая, и бесовския избави руки: яко же бо пси мнози обступили мя... Помилуй мя, Боже, помилуй мя...

Командарм лежал покойнее. Тело уже немело, только изредка поводила его легкая судорога, и мучительная икота подымала толчками грудь. Попытался поднять руку для крестного знамения и не смог С закрытыми глазами тихо, но внятно повторил за священником:

— По-ми-луй мя Бо-же...

Священник повернулся к человеку, стоявшему у окна:

— Еще в сознании... Попрошу вас выйти, исповедаю болящего...

Гройс со скрещенными на груди руками смотрел на обряд. Губы его презрительно кривились.

— Я-то не выйду. А ты много разговариваешь, поп. Кончай скорее свой балаган!

Командарм пошевелился, открыл глаза. Хотел повернуться к Гройсу, но тело не послушалось. Закрыв глаза и сквозь стиснутые зубы проговорил:

— Гади... Пусть... пусть... скорее...

Священник в смущении подошел ближе и наклонился над умирающим.

— Грешен... против Бога... и... и... людей... Каюсь... во всем... Но... но... в одном... не грешен... *Им* служил... только для... вреда... Во всем... с первого... дня... всегда... как мог...

Гройс, с искаженным лицом, наклонился к изголовью рядом со священником и ловил, напрягая слух, невнятные слова.

— Зла... не помню... никому... но *им*... за Россию... *им* не могу... ни... ни... когда...

Голос перешел в хрип. Голова свалилась на край дивана...

Священник дрожал всем телом; крупные капли пота стекали с его лба; трясущимися руками поправил голову умиравшего и покрыл епитрахилью; побелевшими губами шептал:

— Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатью и щедротами своего человеколюбия, да простит ти, чадо, вся согрешения твоя...

Резким голосом Гройс прервал его:

— Довольно! А, поп стервячий... Тут измена советскому правительству. Слышишь? А ты дурацким своим богом покрываешь?!

Священник вздрогнул. Возмутилась душа от страшной хулы. Страх оставил его. И, выпрямившись во весь рост, с глазами сверкающими, устремленными ввысь, голосом громким и властным закончил слова разрешения:

— ...И аз недостойный иерей, властью Его, мне данной, прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

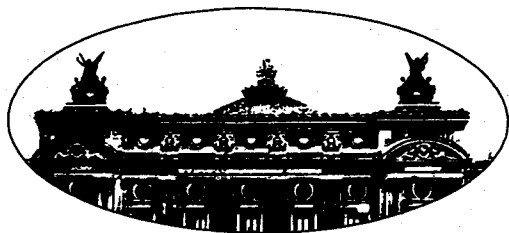
* * *

Наутро хоронили командарма N-ой красной армии, умершего от молниеносной холеры. Гроб весь был украшен

красными флагами, снятыми с бронепоезда «Лев Троцкий». Шел опять дождь, и штабной конвой, провожавший прах на сельское кладбище, тонул в грязи и скверно ругался. У могилы несколькими словами помянул заслуги покойного перед рабоче-крестьянской властью начснаб Гулый. Комиссар был занят и на похоронах не присутствовал...

Три нестройных залпа конвоя завершили печальную церемонию.

Той же ночью в мокрой балке, за кладбищем, чинами Особого Отдела было зарыто изуродованное тело местного священника. Должно быть, торопились — зарыли неглубоко и еще... заживо. Сельский пастух, забредший на другой день в балку, к ужасу своему увидел над свежевскопанной землей человеческую руку — посиневшую и будто грозящую кому-то.



ЖИЗНЬ

Рота добровольцев находилась в сторожевом охранении впереди Одессы, когда к ней прискакал ординарец и передал приказание — немедленно отходить, минуя город на Овидиополь. Ординарца обступили со всех сторон офицеры и солдаты и забросали вопросами — что случилось? Он не знал ничего и стоял перед ними смущенный, тяжело дыша от быстрой езды, весь мокрый от пота, грязными струйками катившегося по лицу.

— Кто его знает. Только все уходят: и греки, и французы. Наш полк больше часу как тронулся...

Собрались быстро. Торопливым шагом двинулась рота вдогонку за полком. Люди шли понуро, молча, подавленные тяжелым чувством неизвестности, тоски и злобы. К кому? Бог знает. Это чувство не имело определенных очертаний и воплощенных образов. Ко всему... Всему, что перевернуло вверх дном их жизнь, что манило несбывшимися надеждами и теперь гнало их прочь от этого города — для многих родного, крепко привязывавшего — одних материально, других кровно. Изредка из рядов доносился тяжелый вздох или циничная брань, грубо врывавшаяся в тишину угасавшего дня.

Слева виднелась, скорее чувствовалась, темнеющая громада покидаемого города. Залитый обычно морем огня, сегодня он выделялся на черном покрове, вдруг брошенном юной ночью, лишь прерывчатыми рядами светлых точек. Издалека донеслись знакомые звуки одиночных выстрелов и короткой ленты пулемета. Гулко стучали они в ночной тишине, усиливая еще более напряженность настроения и смутную тревогу:

— Что-то там теперь делается...

Ротный командир, капитан Рунов, шел впереди — один, низко опустив голову. Подобно многим, он терял сегодня свое личное счастье и спокойствие: там, в этом большом городе, осталась его жена, его единственный близкий и любимый человек.

Судьба была немилостива к ним. Перед самой войной Рунов женился; он только что окончил курс и был оставлен при университете. Мобилизация оторвала его от дома, и за все четыре года войны только однажды он попал опять в Одессу. Тяжело раненный — пуля пробила внутренние органы — он пролежал несколько месяцев в одесском лазарете; долго боролся со смертью, буквально вырванный из рук ее самоотверженным уходом и безграничной любовью своей сиделки — жены. И, вернувшись к жизни, благодарил судьбу за раны, за страдания; давшие ему неповторимые минуты счастья.

Потом — революция. Выгнанный солдатами из полка, он вернулся в Одессу к семье и прерванной работе, чтобы через три-четыре месяца пойти опять без колебания добровольцем в бригаду генерала Тимановского.

Рунов давно не виделся с женой. Знал из последних ее писем, что она больна и не выходит из дому. По его расчетам, посланные в конце прошлого месяца деньги должны быть на исходе, и она оставалась в городе, захваченном большевиками, одна — беззащитная, без близких и без средств.

Рота, обойдя город полями, вышла на Большой Фонтан. Сзади послышалось характерное пыхтение мотора, и по рядам пронесся возбужденный шепот:

— Броневик!..

Рунов на всякий случай свернул роту в сторону и положил людей. Сам остался на дороге. Шум двух моторов явственнее и ближе. Когда головной броневик почти поравнялся, Рунов разглядел на нем трехцветный флажок и окликнул. Машина остановилась. Из-за щита высунулась осторожно чья-то голова, как будто знакомая. Он узнал штабного офицера.

— Кто здесь?

— Рота N-ского полка.

— А, это вы, Рунов! Что вы здесь делаете?

— Догоняем полк. Скажите, пожалуйста, в чем дело? Почему мы уходим?

— Полная эвакуация, батенька. Разодолжили союзники — черт их подери! Бригада идет на погрузку, а куда повезут — неизвестно. Не то в Константинополь, не то в Новороссийск.

— А в городе что делается?

— Большевицких частей пока еще нет, но власть захватил военно-революционный комитет и неистовствует. На улицах идет пальба. Мы с трудом пробились, добрый десяток лент пришлось выпустить. Пошелкали-таки мерзавцев порядочно... Ну, прощайте, тороплюсь...

Рота прошла еще немного по пыльной фонтанской дороге и остановилась на привал. Рунов отошел в сторону, лег на землю и положил голову на глыбу известняка. Смотрел в черное, звездное небо.

Мысли без связи, образы без плоти...

* * *

— Иван Андреевич, где вы?

К Рунову пробирался между недвижимыми телами, лежащими прямо на дороге, поручик Побельский — «отец», как звали его в роте за пожилой ли возраст и бороду с проседью или за наставительный тон. Подошел, сел на землю рядом и тихо заговорил.

— У меня во взводе происшествие — два человека сбежало. Тьма крошечная — где уследить...

— Кто такие?

Побельский назвал фамилии.

— Ну, от этих можно было ожидать.

Наступило молчание. Томительное... Побельский не уходил, и это тяготило Рунова. Хотелось побыть одному со своими мыслями.

— Иван Андреевич, будьте отцом родным, отпустите меня в город. Вот вам крест — к утру догоню роту. Устрою только малышей и назад.

Он говорил шепотом, порывисто, будто желая выбросить вон поскорее слова, застревавшие в горле. Его тон —

просительный и растерянный какой-то — был необычен и неприятно действовал на Рунова.

— Вы с ума сошли?!

— Да ведь пропадут маленькие...

— Не могу! Нет, не могу! Подумайте только, какой пример для других...

Опять тягостное молчание. Но разговор продолжался без слов, передавая беззвучно мольбу, отвечая колебанием.

Рунов встал; поднялся и Побельский.

— Поручик Побельский! Вы пойдете в тыльном дозоре.

Капитан вынул бумажник, сорвал дрожащими руками часы и перстень и, подойдя вплотную к Побельскому, стал быстро засовывать все это в карманы его френча. Шепотом, словно боясь своих слов, он говорил:

— Попросите вашу матушку, пусть передаст это моей жене. Чтоб берегла себя и не забывала. И вернитесь — слышите? Вы должны вернуться, если в вас есть хоть капля совести.

И, повернувшись, крикнул в темноту:

— В ружье!

Рота поднялась и пошла.

Отойдя за придорожную полуразрушенную дачу, Побельский поставил к стене винтовку, сбросил мешок и стал торопливо срывать погоны с френча. Сухой треск рвавшихся крепких ниток заставил его вздрогнуть. Он замер. Почудилось на минуту, что этот еле слышный звук разносится гулко по всему полю, что долетит до уходящих... Услышат и поймут.

Рядом у стены что-то зашевелилось, какой-то темный комок.

— Кто здесь?

В горле перехватило, холодной жутью облило сердце. Молчание... Он пододвинулся и затрясшимися руками зажег спичку. Комок вдруг поднялся, вырос, и на одно мгновение перед упавшей вновь тьмою на Побельского глянули полные животного страха человеческие глаза. Он успел узнать солдата своего взвода и в тот же миг почувствовал, как грузное тело навалилось на него и крепкие, шершавые руки, пахнувшие потом и конским навозом, сжали его горло. Страшный шум и звон нестерпимой бо-

лью отозвались в мозгу. Тысячи молотков дробно и больно ударили по черепу. Широко открытые глаза, преодолевая тьму, метали разноцветные искры, и в их свете будто виделось так близко, так ясно чужое, страшное лицо... Свет ослепительней; словно крутым кипятком плеснуло в голову, в мозг; потекли, закружились в безумном беге — мутное пятно стены, тьма, звезды и страшные глаза...

И кончилось. Шумы замолкли, искры погасли.

От стены бесшумно, крадучись, отделилась человеческая фигура и пропала во мраке.

* * *

С тех пор, как добровольцы оставили Одессу, жизнь Рунова как будто раздвоилась. Вряд ли многие в полку относились с большей добросовестностью и увлечением к службе. На службе и, вообще, внешнему он отдавал только половину своего существа. Всюду, где бы он ни был — в теплушке в дни томительных и скучных переездов... в стрелковой цепи, извивающейся змеей по полю среди тысяч невидимых бичей-пуль, режущих воздух и землю... в бесшабашной угарной пирушке... или под сводами храма, наполненного тоскующими звуками поминальных песнопений — о, как часто бороздили они душу в эти скорбные дни!.. — всюду уходил он в свой мир, особый, заветный, никому не доступный. Он переносился воображением в свой брошенный дом, воспроизводил с реализмом безумца или ясновидящего встречи, разговоры, целые эпизоды, в которых его жена, его Любовь являлась всегда в образе больной, несчастной, преследуемой и мучимой большевиками, а он приносил ей избавление и радость.

Под таким личным углом зрения Рунов расценивал и внешние события. Полк перебросили в Ростов — это было хорошо: крупный центр беженства и прессы.

В ростовские редакции стал часто заходить высокий молодой офицер с неизменным вопросом — нет ли каких-нибудь одесских газет? И когда находилась случайно затрепанная номер старой газеты, он перечитывал его весь от начала до конца, до последнего объявления и уходил всегда неудовлетворенным... В газетах стали появляться объяв-

ления: «Лиц, приехавших из Одессы, просят откликнуться по адресу...» Но не откликался никто, потому что одесские берега охранялись большевиками бдительно, а те немногие беженцы, которые вырывались оттуда, видели в газетном объявлении большевицкую провокацию или поиски денежной помощи.

Полк двинули для штурма Царицына — это было плохо: глухой угол, удаленный от центров и от моря...

И когда ранним утром, вслед за ползущими гигантскими гусеницами, страшной тяжестью своей сметавшими, плющившими дебри проволоочных заграждений, деревья и людей, бросилась в проход его рота, и острый осколок раздробил ему бедро, Рунов был почти доволен: санитарный поезд унесет его в Екатеринодар — там Ставка, сосредоточие всех сведений о советской России...

Но дни в лазарете тянулись без конца. Рана не заживала, приковывая к постели. Нельзя было ничего предпринять. Оживилось чуть настроение Рунова, когда получен был номер газеты с производством его в полковники за боевые отличия. Но не надолго. И лазарет казался постылой тюрьмой. «Только бы выйти на свободу и все можно будет устроить...» Он не знал еще — как *это* случится, но верил, что будет.

Однажды бессонной ночью, когда большое воображение творило одну из бесчисленных поэм благоухающей любви, пришла в голову мысль — такая, казалось, простая и осуществимая... Рунов удивился даже, как раньше не подумал об этом.

Как только явилась возможность подняться, он сел на извозчика и поехал на Соборную площадь, в штаб. С трудом поднявшись по лестнице, разыскал разведочное отделение. Молодой капитан с выпяченной несколько нижней губой, придававшей слегка насмешливое выражение его лицу, подчеркнуто вежливо подал Рунову стул и, взяв из рук его костыли, поставил их в угол.

— Чем могу служить, господин полковник?

Рунов, несколько смущаясь и волнуясь, начал:

— Не знаю, от кого это зависит, но дело вот в чем. Я изранен и вряд ли вскоре смогу стать в строй. Хотел поэтому предложить свои услуги в другом деле. Не нужно ли вам

послать человека на разведку в советскую Россию, в Одессу, например... Простите, я буду откровенен: мне хотелось бы попасть именно в Одессу, потому что там осталась... — Рунов замаялся на миг, — осталась моя семья.

Штабной капитан сделал холодное лицо и раздельно, вежливо ответил:

— К сожалению, мы не можем вам помочь в этом деле. В Одессу, вообще, не предположено посылать никого. Там у нас хорошая местная агентура. Кроме того, для такого трудного, ответственного дела нужны известные сноровки, опыт и — я бы сказал — прежде всего, здоровье.

— Да, конечно, сноровок у меня нет. Но, может быть, имеет значение то обстоятельство, что я не очень дорожу жизнью...

Его собеседник втянул голову в плечи и выпятил нижнюю губу.

— Это качество чрезвычайно ценно, но, я полагаю, оно найдет лучшее применение на фронте...

Рунов покраснел и, опираясь дрожащей рукой на край стола, стал подниматься, ища глазами костыли.

Но капитан уже раскаялся. Он взглянул в лицо Рунова, на его костыли, и что-то шевельнулось в его душе.

— Одну минуту, господин полковник. Тут у нас есть одна комбинация. Может, устроится. Подробностей я не вправе вам сообщить. Вернется генерал-квартирмейстер, я ему доложу. Понаведайтесь завтра в это же время.

* * *

Через неделю Рунов был в Севастополе. Он узнал о своем дальнейшем назначении лишь тогда, когда его вызвали в штаб крепости, приказали отправиться тотчас же на транспорт «Маргариту» и поступить в состав десантного отряда, выходившего в ту же ночь «по неизвестному направлению».

Время тянулось необыкновенно долго. «Секрет» был уже известен всем и комментировался на все лады. Эскадра взяла курс на Одессу, потом по какому-то сигналу остановилась. Несколько часов, до самого вечера стояли в откры-

том море. Бесконечные часы... Мимо «Маргариты» тихо прошел русский крейсер и несколько английских военных судов, а транспорты все еще стояли... Только с закатом пошли дальше и, чуть занялось утро, вблизи показались знакомые очертания Люстендорфа и Большого Фонтана...

Полковник Рунов пошел с головным отрядом, который после небольшой перестрелки заночевал в немецкой колонии. Одесса, к которой его тянуло с такой страстной силой, была так близка... Рунов не мог совладать со своим нетерпением. Казалось, что отряд напрасно медлит, что большевиков в городе мало и что они сами уйдут, если только надавить немного. Он высказывал свои мысли начальнику отряда слишком нервно и возбудил против себя офицеров, видевших в нем «соглядатая из Ставки». Поэтому, когда к вечеру получено было сведение, что морская часть города занята уже восставшими офицерскими дружинами, и Рунов вызвался установить с ними связь, его охотно отпустили. Он проблуждал с двумя разведчиками всю ночь, и только под утро им удалось проникнуть к Приморскому бульвару. На площади, возле памятника Императрице Екатерине располагалась какая-то часть. Трудно было издалека определить — своя или большевицкая: люди, одетые в военное и штатское, толпились группами или спали тут же вповалку на мостовой. Несколько пулеметов преграждали выходы на смежные улицы. Со всякими предосторожностями Рунову удалось установить, что это свои — штаб и резерв одной из дружин. Начальник штаба, молодой человек в черной рубахе с нарисованными на плечах капитанскими погонами, узнав, что Рунов прислан для связи от десантного отряда, изложил ему обстановку: город весь во власти дружин; железнодорожные пути, по видимому, испорчены, исправить их большевики не посмеют, и потому десанту надо бы пойти в обход города с севера, чтобы окончательно отрезать их со стороны Раздельной и Вознесенска.

Капитан, в сущности, не знал как следует обстановки. В городе была еще полная неразбериха, враги перепутались, шла беспорядочная пальба даже в ближайших к бульвару кварталах. Но... нужно было подчеркнуть заслуги дружин и их первенство в овладении Одессой.

Рунов послал с разведчиками донесение и обратился к капитану:

— Скажите, вокзал занят нами?

— Да, конечно.

— Так я пойду туда посмотреть.

Капитан несколько смутился.

— Знаете, я не советовал бы вам торопиться: вокзал переходит из рук и руки, да и улицы далеко еще не очищены.

— Пустяки! Как-нибудь проберусь.

Он пошел вдоль улицы, прижимаясь к стенам, неуверенно ступая на больную ногу и держа наготове браунинг. Улица была пуста, и шаги его отдавались одиноко и гулко. С моря, очевидно с английского корабля, вела огонь артиллерия крупного калибра. Над головой проносились с тихим шелестом стальные громадины и с оглушительным треском рвались где-то невдалеке, в направлении вокзала. Все вокруг вымерло. Раз или два, впрочем, из окон домов, что по другой стороне улицы, выглянули какие-то насмерть перепуганные лица и, увидав странного прохожего, тотчас же исчезли.

Вот уже скоро конец квартала. Второй дом за углом... Сердце забилося...

Из-за угла вдруг выбежали два человека с ружьями, пересекая улицу. Они были так перепуганы и так торопились, что не заметили Рунова. Он поднял браунинг и... опустил.

Свернул за угол. Знакомый серый дом; ворота почему-то открыты настежь. Поднялся по лестнице на второй этаж, позвонил нетвердой рукой. Еще и еще — никто не отзывался. Он стал стучать в дверь кулаком и рукояткой револьвера.

— Люба, это я. Не бойся, открой!..

Никакого ответа.

— Послушайте, кто там — откройте, или я дверь выломаю!

За дверью послышался детский плач, кто-то завозился, зашептался. Слышно было, как прильнули к замочной скважине.

— Да откроете ли вы, черт вас возьми!

Дверь приоткрылась наконец, и на Рунова пахнуло тошным запахом детских пеленок, развешанных в передней. Согнувшись и держась одной рукой за дверь, стояла старуха, дрожащая от ужаса, бормотавшая что-то и непослушными, бегающими пальцами водившая мелким крестом по переднику.

— Где хозяйка?

— Я хозяйка, товарищ, господин то есть, я самая и есть.

— Не то. Это квартира моей жены — Руновой. Где она?

— Не знаем, господин, ваше благородие. Не слышали никогда. Вселил нас комитет сюда, как мы беженцы Подольской губернии. Брошенная была квартира-то. Комод действительно был, кровать еще и пара стульев. А мы ничего не трогали, умереть мне на этом месте. Без нас это разорили, барин, ваше благородие...

Рунов открыл дверь в соседнюю комнату, их бывшую спальню. Оттуда пахло еще большей затхлостью. Штора была завешана. В полутьме на кровати, среди лохмотьев, лежала женщина, по-видимому больная. Из-за нее выглядывали испуганно и любопытно две детских головки.

Рунов торопливо повернул к выходу. У двери старуха остановила его:

— Что теперь с нами будет, ваше благородие?

Ничего не ответив, он захлопнул дверь; сошел вниз и остановился. «Что же теперь делать?» Случайно взгляд его упал на медную дощечку с фамилией соседа — инженера Можайского. Быть может, они что-нибудь знают? Позвонил, потом стал стучаться. Долго не открывали, наконец чуть подвинулась дверь на цепочке; кто-то выглянул.

— Здесь живет господин Можайский?

— Здесь.

— Я бывший ваш сосед, Рунов, хотел бы видеться с ним. Откройте, пожалуйста.

Дверь захлопнулась. Послышался шепот, голоса, топот шагов, и в распахнувшейся настежь двери появился Можайский. Рунов попал в объятия полужнакомой семьи. Его целовали, жали руки, говорили все четверо вместе — инженер, его жена, сын и какая-то родственница. Увели его дальше, в столовую, выходившую окнами во двор, где считали себя в большей безопасности. Рунов шел за

ними, спотыкаясь в полутьме — все ставни были закрыты, окна заложены матрацами. Шел растерянный, смущенный...

— Как вы думаете, можно зажечь электричество, это не опасно?

— Можно, конечно.

— Вы — наши спасители! Боже мой, какое счастье! Если бы вы только знали....

Они все наперебой стали рассказывать, какой ужас царил в Одессе последнее время, и пытливо, опасливо старались вывести, много ли добровольческих войск вошло в город, прочно ли он занят?

Рунов отвечал односложно, томился и никак не мог перенести разговор на волнующую его тему. Наконец, перебив бесконечный рассказ Можайского, спросил:

— Я заходил в свою квартиру и нашел там каких-то беженцев. Не знаете ли чего-нибудь о судьбе моей жены?

— Любовь Николаевна! Вы разве не знаете? Она ведь эвакуировалась. Мы тогда всем домом бросились в порт... Это был такой кошмар...

И опять все вместе наперебой стали рассказывать об ужасных днях эвакуации, обо всем, что наболело за эти страшные недели, месяцы. Рунову хотелось знать всякую мелочь, касавшуюся его жены, но его собеседники продолжали упорно, с наивным эгоизмом вводить его в круг своих личных злоключений. Перебивая разговор, он все же выяснил положение в общих чертах: жене его удалось сесть в последнюю шлюпку, перевозившую беженцев на французский пароход. Можайские остались на берегу и принуждены были вернуться к себе на квартиру. Относительно вещей Любви Николаевны показания расходились: сын Можайского уверял, что ничего, кроме маленького саквояжа, с ней не было, а жена инженера доказывала, что Любовь Николаевна успела погрузить два больших чемодана. И доказывала упорно, не без некоторого раздражения.

Рунов спросил, не знают ли Можайские поручика Побельского и что с ним? Оказалось, знают и были уверены, что он в Добровольческой армии, так как домой с фронта поручик не возвращался. А старуха мать его с вну-

чатами, чтобы скрыть следы, выехала со своей квартиры на другой же день после ухода добровольцев и никому своего адреса не оставила...

В тот же вечер Рунов, попав случайно на французский миноносец, ушел в Новороссийск.

* * *

Кинематографическая лента поэтических образов в душе Рунова изменила свое содержание, но не пресеклась. Теперь воображение рисовало ему шаг за шагом, день за днем скорбный беженский путь его жены: одна, без денег, без друзей, слабая, беспомощная, брошенная в сутолоку чужой жизни... Грязный угол. Тяжелая непривычная работа, унижения на каждом шагу. Голод... Иногда большой душе его представлялся узкий и грязный переулок Стамбула или рабочий квартал большого бездушного европейского города и на фоне их — жалкая женская фигура, протягивающая руку... Он доводил себя до крайнего возбуждения, переживая совершенно реально *ее* боль, *ее* чувства... Дальше уже реализм терялся: путем волшебных превращений, отменяя время, преодолевая пространство, изменяя по воле ход событий, он летел *туда*, находил ее и останавливал в последний миг занесенную над ней руку судьбы — безжалостной и несправедливой. А еще дальше — все было окончательно сумбурно, бесформенно, но чудесно и радостно...

В приемные иностранных миссий, в канцелярию военного управления, откуда периодически ездили за границу курьеры, стал приходить хромой полковник с неизменной просьбой — отправить письмо. На конвертах стояли адреса русских посольств и заграничных газет. Письма принимались почти всегда любезно; иногда они доходили по назначению, но чаще курьер еще в пути освобождался от излишнего, по его мнению, «хлама».

И прежде не особенно общительный Рунов теперь совсем замкнулся в себе, уединился и не принимал участия в товарищеских собраниях и пирушках. Для спасения жены нужны ведь будут деньги, и он старался копить из скудного жалованья, ограничив до крайности свой бюджет...

Между тем события «внешней» жизни текли своим чередом — огромные, потрясающие... Добровольческие армии были в зените своих успехов.

Рана зажила, и Рунов тотчас же поехал на фронт, догнав свой полк уже в Киеве. В первом же бою на Ирпени, ведя батальон в атаку, он захотел проверить свое самообладание и остался доволен собой. А командир полка, увидевший его в цепи, говорил потом:

— Иван Андреевич, с ума ты сошел! Куда ты лезешь?

Это звучало большой похвалой в устах командира, который в бою сам «лез, куда не надо».

Рунов продолжал свои поиски самыми разнообразными путями. Так, прочтя в газете, что в Киев прилетели с Польского фронта французские летчики, он в тот же день отпросился в город, отыскал французов и вручил им свои письма... Эта слабость Рунова не ускользнула от сослуживцев, и в полку за ним установилось прозвище. Об этом он узнал случайно. Однажды, перебирая почту, увидел открытку со знакомым почерком. Приняв ее за свою, пробежал несколько строк. Открытка была капитану Смольскому — его сожителю — от их общего друга и заканчивалась фразой: «Обними за меня нашего Кладоискателя»... Рунов не обратил внимания на эти слова, но невольно вспомнил их, когда, вернувшись домой, Смольский прочитал открытку и сказал:

— Сахаров тебе кланяется.

Рунов густо покраснел.

* * *

Бои шли изо дня в день. Но в темпе их стала чувствоваться какая-то неустойчивость, какие-то перебои. Официальные бюллетени по-прежнему еще дышали оптимизмом, а в городе ползли уже панические слухи. Киев все четыре месяца власти белых находился почти в осаде, и это вносило нечто беспокойное в общий ход жизни, нависало тягостным предчувствием над людьми и деяниями их, мертвило волю и дух.

И катастрофа разразилась наконец, повернув колесо событий, расстроив все человеческие планы и надежды, разметав людей, как щепки после бури...

Одна из таких щепок была заброшена в польский концентрационный лагерь...

Выбитый из колеи, оглушенный, Рунов переносил стоически все внешние условия своей теперешней жизни, вернее, он не замечал их. Его тяготило только ограничение свободы и отсутствие средств, не давая возможности продолжать «поиски клада» — так сам он иногда шутил теперь над собою. Добровольческие «колокольчики», с таким трудом накопленные, потеряли всякую ценность и имели спрос разве только у коллекционеров.

Так продолжалось довольно долго. Но как-то раз в составе делегации от благотворительного общества, посетившей их лагерь, Рунов узнал своего бывшего профессора — поляка. Профессор занимал теперь кафедру в Варшаве; он помог молодому полковнику выйти из лагеря и устроиться на работу. Не надолго, однако. Безотчетное чувство, смутные надежды, какое-то болезненное беспокойство гнали Рунова с места на место. Не раз, к удивлению и обиде своих знакомых, помогавших ему устроиться, он бросал неожиданно для них — и, может быть, для себя — службу и заработок и уходил как будто без цели и без смысла в другой город, где не было ни пристанища, ни работы. Так он побывал в Вильно и Познани, пробрался в Берлин, потом с волною русских беженцев перекатил в Париж. Теперь он — человек, обладающий ученой степенью, полковник, Георгиевский кавалер и инвалид — служит на заводе, *mapoeиvгe'ом*¹; в течение девяти часов производит перед станком два однообразных движения правой рукой, имеет бирку с № 1001 и пользуется расположением *contremaitre'a*². Каждый раз, проходя мимо, тот хлопает Рунова по плечу и произносит единственное слово, вынесенное им из Одессы, куда он ходил механиком на военном корабле:

— Karacho!

Переезды поглотили последние крохи. Кабальный договор с заводом был жесток и невыгоден. Кое-как хватало на жизнь, но нечего было и думать пока скопить что-ни-

¹ Чернорабочий.

² Мастер.

будь или хотя бы приодеться. Четырехмесячный обязательный срок пребывания на заводе подходил, впрочем, к концу, и Рунов обдумывал уже свой дальнейший путь и способы возобновить поиски.

Как вдруг этот странный случай...

* * *

Было воскресенье. Густой туман застилал улицы и глушил свет только что зажженных фонарей. Рунов, возвращаясь домой, пересек площадь и стал в очередь у остановки трамвая. Толпа, вышедшая из вагона, нажала и оттеснила его. Подавшись назад, полковник толкнул кого-то сзади, оглянувшись, чтобы извиниться, и... застыл. Что это — сон, видение? Разительное сходство или больное воображение? Не может быть!

— Люба!..

За ним стояла она, его жена — нарядная, еще более красивая, чем прежде, и в широко раскрытых глазах ее отражались радость и испуг.

— Ты?!

Трамвай ушел, а они все стояли посреди улицы, держа друг друга за руки. Набежавший автомобиль чуть не сбил их с ног. Какой-то прохожий дерзко нагнулся к ним и свистнул. Она опомнилась первая и повлекла его через улицу к стоявшему на углу такси.

— Какая неожиданная встреча, Боже мой! Я не верю своим глазам... Какими судьбами, откуда ты? Едем ко мне, сейчас, скорее!

Она говорила быстро, быстро, губы ее тряслись от волнения. За полчаса пути она успела рассказать ему «все главное» про свою жизнь. Тогда в Одессе ничего с собой не захватила. Когда высадилась в Константинополе, оказалась в ужасном положении... Некуда было буквально деваться. Задолжала за гостиницу — отказали... «На улицу или покончить с собою»... И когда она, сидя на подоконнике в коридоре гостиницы, плакала навзрыд, в ней приняли участие: семья приехавшего на том же пароходе промышленника Тер-Мутьянова взяла ее к себе. Сначала Тер-Мутьяновы жили по своим делам в Финляндии, потом, недавно, переехали

сюда в Париж. Семья состоит из мужа, жены и взрослой дочери, вышедшей в прошлом году замуж. Мутьянов числится членом всяких акционерных предприятий и политических организаций. Живут богато. Любовь Николаевна снимает комнату отдельно от них, работает у Тер-Мутьянова несколько часов в день на машинке, потом подрабатывает на дому еще немного и получает хорошее жалованье.

Рунов крепко сжимал ее руки и смотрел в глаза... Так неожиданно осуществившаяся мечта — эпилог прекраснейших поэм, дававший безграничную радость *тогда*, в снах наяву, в яви мистических сновидений...

Но... почему-то не было *той* радости... Ему стало жутко и стыдно. Неужели только потому, что она не больна, не несчастна, не задавлена судьбой, а цветущая и нарядная. Что он — смешной и жалкий фантазер, подменявший жизнь вымыслом, творил для себя ходульные роли, выброшенные теперь бесстрастной рукой невидимого режиссера...

Любовь Николаевна спохватилась:

— Да что же это — я все говорю, а ты не проронил ни слова... Какой ты... Что с тобой, милый? Ты как-то весь переменялся...

— Не обращай внимания. Я еще не пришел в себя. Потом.

И он обнял ее крепко и стал медленно целовать все лицо. Хотел уверить ее и себя, что ничего не случилось, что все хорошо. А радости *той* не было. Нет.

Подъехали к дому, где жила Рунова.

— Родной, вот — возьми ключ, подымись во второй этаж — там увидишь мою карточку. А я поговорю с Тер-Мутьяновыми по телефону. Видишь ли, у них сегодня серебряная свадьба и большой званый обед. Я ведь к ним ехала, когда мы встретились... Надо извиниться.

Рунов поднялся по чистенькой лестнице, вошел в комнату и долго искал выключатель. Вспыхнуло электричество — стало еще более смутно на душе...

Прелестно обставленная комната, со множеством изящных безделушек, с небрежно разбросанными принадлежностями комфорта и туалета — все это было такое чуждое, такое враждебное всему складу его мыслей. Разрушалась поэма его жизни, золотая нить самотканых снов...

И снова стало больно и стыдно: неужели было бы лучше найти ее в нужде, больную, в холодной мансарде? «Бездонный эгоизм или извращенная психика?» Подумал вслух:

— Что случилось со мной...

Подошел к окну, сел в кресло. На маленьком столике — вазочка с орхидеями; тут же — брошенная визитная карточка. Машинально взял ее в руки: «Дорогая Лю...» Прочел... и уже не мог оторваться. Каждое слово впивалось в мозг отравленными иглами.

«Дорогая Лю! Заседание окончится поздно. Не жди. Баю-бай, разбужу.

Твой...»

Какой-то неразборчивый крючок. На другой стороне: «Сергей Карпович Тер-Мутьянов. Товарищ председателя...» В углу карточки дата: «17-го».

«Какое сегодня? Восемнадцатое. Значит — вчера... Ах, не все ли равно когда — вчера, сегодня, в прошлом году...»

Как душно стало здесь. Каким тяжелым, отвратным воздухом напоена эта комната, все эти вещи, мебель, кровать в шелковых подушках — бесстыдная, словно смеющаяся, и кружевное белье, брошенное на нее... Рунов рванул воротник френча. Распахнул окно. Вещи нагло смеялись. Резким движением он потушил свет. Сел опять и уставился бездумно, невидящими глазами в тусклый рожок фонаря на другой стороне улицы.

Легкие, быстрые шаги по лестнице. Вошла Любовь Николаевна:

— Отчего ты не зажег электричества?

Повернула выключатель.

— Ну, милый, невозможно отвязаться от Маргариты Патвокановны. Это — Тер-Мутьянова. Узнала о тебе и прямо разволновалась. Слышать не хочет об отказе. Просит непременно нас обоих обедать. Мы с ней ни до чего не договорились. Но, конечно, не поедем.

— Отчего же...

Она изумилась.

— Как? Ты хочешь, в такой день?

Но заметила его потемневшее лицо и взгляд, прикованный к записке. Обмерла... «Прочел или нет?»

Тихим, просящим голосом сказала:

— Мы не успеем. Тебе ведь переодеться нужно...

— Нет. На мне мой праздничный френч.

Ехали молча. До Мутьяновых — совсем близко, но, казалось, очень далеко. В темной клетке такси было томительно и напряженно тихо.

У Тер-Мутьяновых сажались за стол. Хозяйка — уже отцветшая женщина восточного типа — приветливо и сердечно встретила их. Долго жала руки. Расцеловала Любовь Николаевну.

— У нас радость, и у вас радость. Мне очень хотелось, чтобы вы этот вечер вашей чудесной встречи провели с нами. После обеда все выпрошу, я любопытная. А теперь занимайте скорее места.

Тер-Мутьянов, неловко поправляя пенсне на толстом носу и глядя в сторону, проговорил:

— Приятно познакомиться.

Рунов, коснувшись холодной, мягкой руки его, почувствовал внутреннюю дрожь...

Вся обстановка этого обеда была для него непривычной, ошеломляющей. Темный резной дуб стен, море света, туалеты дам и остро-режущие блики женского тела — бесстыдно обнаженного и пьяно-ароматного; черные смокинги с белоснежными пятнами груди; и стол, играющими переливами хрусталя и серебра, уставленный и усыпанный цветами. Со всех углов, от всякой мелочи, от людей и вещей веяло роскошью. Особенной... Той роскошью, что вырвалась из застенков, из подвалов чека, прошла, быть может, сквозь ряд «чистилищ» и эвакуаций и выплеснулась на улицы чужого города.

Тихая или шумная, скупая или тороватая, плывет она уверенно поверх беженского моря...

Рунов чувствовал себя чужим и одиноким в этом зале. Знал, что так будет. Но не пойти не мог; им овладело непреодолимое желание знать, видеть самому, разбередить до конца свою боль.

Скользнул взглядом по живому цветнику. Его жена была одета скромнее, но тоже нарядно. Только он один в

своем английском френче, изрядно потертом и выдавшем виды, шесть лет сберегаемом в парусиновом чемоданчике — только он выделялся темным пятном на общем блестящем фоне. Да еще один старик с подвижным лицом, впалыми щеками, в длиннополом, вероятно, еще из России вывезенном сюртуке, висевшем на исхудалом теле его, как на вешалке. Рунов почувствовал почему-то симпатию к этому человеку. Нашел даже в себе желание пошутить: «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!...» Шутки почему-то приходили в голову часто в минуты смертельной опасности или большого душевного напряжения.

Его не успели познакомить ни с кем, и он не завязывал разговора. С правой его стороны сидел важный и надменный господин с иконописным лицом и барскими манерами — известный промышленник. Он был несколько удивлен соседством Рунова и искоса поглядывал на него. Отодвинул незаметно свой стул. Потертый френч, пахнувший перегаром машинного масла, и эти ужасные руки — потрескавшиеся, изъязвленные, покрытые чернью, с короткими ногтями — руки, поднимающие к губам стакан за стаканом красного вина... «Откуда выкопали Мутьяновы этого солдафона и почему посадили его рядом?..» Левее колыхался солидный бюст дамы средних лет — ее величали княгиней — колыхался от деланного смеха, шумно шевеля при этом нитку крупных жемчугов. Княгиня не обращала никакого внимания на своего соседа.

Рунов сосредоточенно пил красное и, глядя мимо Любви Николаевны, видел отчетливо ее фигуру, все ее движения. Бередила свою боль. Глаза их встретились однажды... Взгляд ее вспыхнул и потух тотчас.

Было шумно и весело. Подали шампанское. Рунов отстранил руку лакея, наклонившегося над ним с бутылкой, и снова сам наполнил свой бокал красным.

Начались речи. Первым поднялся господин в длиннополом сюртуке. Он говорил всегда и везде. Затем и пришел сюда, чтоб постучаться лишний раз в человеческие сердца. С вытянутой худой шеей, с порывистыми неровными движениями, он развивал не очень складно свою обычную тему, которая вот уже несколько лет волнует его, которой он отдал свое время и силы. Говорил

о положении беженского юношества и детей. Слова были искренни, нарисованная картина печальна, но все, о чем говорил он, было давно известно, совсем не соответствовало настроению общества, казалось скучным и не имело никакого отношения к юбилею. В конце речи оратор с явной натяжкой связал дело помощи не то с бывшими, не то с будущими заслугами Мутьянова и закончил тостом.

Затем говорил великолепный экс-дипломат, помахивая изящным жестом своим пенсне, ажурно нанизывая фразы; поиграл словом «новобрачные» — в меру фривольно; говорил тонко, остроумно, ровно три минуты и ровно ничего не сказал. Тост его был принят с большим шумом и подъемом. Вспомнили и подхватили:

— Горько!

Через стол по рукам прошла записка, адресованная соседу Рунова. Тот взял ее и, держа на большом расстоянии от глаз — настолько, что княгиня успела разобрать ее, прочел:

«Неловко. Вы больше других знаете Тер-Мутьяновых. Скажите несколько слов».

Ответил, водя золотым карандашиком поперек текста: «К сожалению, я не оратор и не свадебный генерал».

От выпитого вина или от общего оживления настроение его стало благодущнее. Он снова покосился на Рунова. «Как идиотски посадили!..» Захотелось развлечься разговором хоть с этим угрюмым, молчаливым соседом. «С благотворительной целью»...

— Вы были в белой армии?

— Да, в Добровольческой.

— В каком чине?

— Ушел полковником.

— Скажите, как вы объясняете причины провала движения?..

— Трудный вопрос. Они многочисленны и сложны, и притом всеобщие...

— Конечно. Но главные, главные! Я считаю аграрную политику вашего командования первопричиной неуспеха. С идеологией «помещичьих шарабанов» идти на Москву — это было безумием.

— Поверьте, что ни я, ни многие тысячи добровольцев не тащили за собой этих «шарабанов». К тому же огромное большинство из нас в них отроду не ездило. Были иные, более высокие побуждения.

— Да, но ваши вожжи! Не было, к сожалению, Пожарских...

Тем же тоном Рунов перебил:

— Не было, к сожалению, Мининых...

Собеседник откинулся на спинку стула и взглянул недовольно на Рунова: «Стоит ли разговаривать?» Однако продолжал:

— Не было ясных, понятных и близких массе лозунгов. И прежде всего: земля — крестьянам!

Рунов перебил опять:

— Фабрики — владельцам!

Промышленник рассердился.

— А, вы также придерживаетесь этой элементарной, чтобы не сказать хуже, концепции... Удивительно, как люди не хотят понять разницы между голой хищнической эксплуатацией крестьянского труда и просвещенным руководством торгово-промышленными предприятиями, требующими таланта, гения даже, пробивающим пути, завоевывающим рынки, созидающим экономическую мощь государства.

Он отодвинул еще несколько свой стул и пожалел, что заговорил «с этим солдатом».

Княгиня, слушавшая внимательно их разговор, обратилась к Рунову:

— Вы давно знакомы с Мутьяновыми?

— Только сегодня познакомился.

— Они, вообще, недавно появились на нашем горизонте.

И, наклонившись к нему голым плечом совсем близко, почти шепотом продолжала:

— Я рада, что вы обрезали этого господина. Эти купцы очень любят дарить чужое добро...

— Боюсь, княгиня, что вы меня не так поняли. Я отнюдь не имел в виду защиту ваших интересов.

— Однако вы не слишком любезны.

— Что делать. Некогда было постичь это искусство: всю жизнь или учился, или воевал.

Княгиня хотела уже обидеться, но вспомнила про записку, переданную через стол. И в голову ее пришла одна идея. «Превосходная!» В душе она не очень жалуется «всех этих Мутьяновых», которые не могут заменить ей людей ее круга и никогда не постигнут «сокровенных тайн искусства — жить красиво». Она бывает «у этих» только потому, что ее влечет неудержимо тот *train de vie*¹, с которым она срослась органически и который мало-помалу исчезает вовсе в ее кругу и давно исчез из ее дома. «Как это грустно и как несправедлива судьба!» Она припоминала, как много людей ее круга примирилось уже давно с судьбою и ушло с головой в новый быт трудового, полуголодного беженского житья. Но она не может... «Нет, нет!» Княгиня машинально потрогала свои жемчуга, вспомнила, что они фальшивые, и почувствовала еще большую жалость к себе и неприязнь к Мутьяновым. К тому же у нее было и кое-что личное: Мутьянова недавно оказала ей, втайне от мужа, довольно крупную денежную помощь. Такие услуги не забываются и не прощаются. И ей захотелось досадить чем-нибудь Тер-Мутьяновым. Ее сосед мог ей помочь в этом: полковник дерзок и, кажется, достаточно пьян; он может наговорить таких неприятных вещей, что весь мутьяновский юбилей обратится в скандальный анекдот. Повернулась к Рунову.

— Отчего бы и вам, полковник, не сказать речь?

— Я здесь чужой, не знаю ни хозяев, ни гостей.

— Но это — пустяки. В сущности, здесь все полужнакомые.

— Нет ни темы, ни настроения.

— Тема — неважно! Я уверена, что вы скажете гораздо лучше, чем те двое. Что-нибудь такое из действительной жизни. Нам всем надоели уже эти постоянные причитания и пресные каламбуры. Расшевелите нас. Ну, пожалуйста!

— А юбилей при чем же будет?

— Пустяки. Официальная часть окончилась, теперь пошла интимная. Вот, взгляните...

Она указала глазами в сторону, где сидела Любовь Николаевна. Над ней склонился подошедший с бокалом в

¹ Образ жизни.

руке Тер-Мутьянов и что-то говорил. Княгиня еще понизила, голос:

— Ведь это *им*, по-настоящему, надо бы крикнуть «горько». Вы не знаете ее? *C'est la petite amie de monsieur*¹.

Рука с поднесенным ко рту бокалом дрогнула. Сжалось горло. Рунов закашлялся, потом залпом допил вино.

Тер-Мутьянов что-то спрашивал. Любовь Николаевна сидела с опущенными глазами. Губы ее зашевелились, и сквозь шум, смех, звон Рунову почудился ее ответ:

— Оставь...

... *Почти* незвучный. Может быть, и не сказанный?.. Он уловил его в каких-то флюидах, связавших его с женой в том подсознательном разговоре, который вели они через стол — без слов и без взглядов...

Резко кольнуло. Какое противное слово. Короткое... Хоть бы эта маленькая приставка «те». Надежда? Нет. Но так просто, так обнаженно... Те... те... В шуме, смехе, звоне ему чудился назойливо этот звук; в игре хрустальных ваз, в бликах цветов, то вспыхивая, то угасая, перебегала и переливалась, подобно световой рекламе, маленькая навязчивая и ненавистная приставка: те... те...

* * *

Княгиня была настойчива:

— Ну, что же, собрались с духом, скажете?

— Молчите. Да.

Рунов поднялся и стоял молча, пока не смолк шум, опустив голову и опираясь о стол обеими руками. На него устремились десятки глаз с недоумением и досадой.

— Так не вовремя!

Обед кончался. Известно было, что сейчас предстоит концертное отделение: прославленный квартет, известная скрипачка и еще какой-то сюрприз, о котором намекала хозяйка дома, желая удивить гостей артистической новинкой. А тут этот мрачный господин в потрепанном френче и, должно быть, с провинциальными, нудными разговорами...

¹ Это молодая подруга господина.

Маргарита Патвокановна, однако, приветливо и ободрительно покивала головой в сторону Рунова. Тер-Мутьянов сел на свое место и начал внимательно чистить грушу, поглядывая на неожиданного оратора, но избегая встречаться с ним глазами. Подбородок его нервно шевелился, воротничок показался тесным, и Тер-Мутьянов несколько раз провел рукой по короткой шее. Оживилась княгиня. Она простила уже этому «пьяному грубияну» его нелюбезность и не могла скрыть своего нетерпения.

Любовь Николаевна опустила еще ниже ресницы. Флюиды перенесли беззвучно на другую сторону стола: «Зачем?.. Впрочем — все равно. Только скорей, скорей...»

Рунов поднял голову, провел рукой по волосам. Сделал над собой усилие. Тяжелый хмель как будто начал рассеиваться.

— Быть может, голос мой среди смеха звонкого и ласковых улыбок, среди шумного веселья, царящего за этим столом, прозвучит диссонансом... Ну, что же — есть художественные мелодии, сплошь сотканые из диссонансов.

...Много вина... Образы ярче, тени тусклее... Жизнь! Ха!

Он не знал еще — что скажет, чем кончит. Нужно ли вообще говорить... Впрочем, не все ли равно! К черту Мутьяновых и всех! Ведь не для них он будет говорить. Флюиды перебросили *туда*:

«Слышишь?»

И вернулись откликом:

«Да, да. Только ради Бога скорее...»

— Жизнь — удивительнейшее сплетение диссонансов! Жизнь соединяет, жизнь разделяет. Жизнь радует, жизнь печалит. Жизнь играет нами, как ветер пылинкой... Жизнь возводит для нас причудливые, пленительные чертоги и грубо разбивает их ударом грязного сапога. Жизнь подымает нас на головокружительную высоту и стремглав бросает в пропасть.

... И потом, вдоволь натешившись нами, предательски оставляет нас, как любимая, но не любящая женщина.

В ней — предвечная правда, в ней — предвечная ложь! В ней — белоснежная чистота и в ней — грязная тина дна! Ее кланут и ей поют восторженные гимны...

Нарастал голос, нарастало чувство — бурное, гневное. Он посмотрел *туда*. Ресницы ее чуть поднялись, и из-за них глянули скорбные глаза. Полные тоски, мольбы, надежды — такие же точно, как тогда, в долгие часы его страданий, когда она вырывала его из рук смерти. Их не забыть!..

И сразу схлынуло. Все схлынуло. Он снова провел рукой по лбу, будто отгоняя назойливую, бередящую мысль. Продолжал тише и покойнее:

— Много вина... Мутнеет память... Я не помню уже, про кого я говорил: про жизнь или про женщину? Не помню, про кого сказал поэт:

То правдою дышит в ней все,
То все в ней притворно и ложно.
Понять — невозможно ее;
Зато не любить — невозможно!

Про кого? Про жизнь или про женщину? Не знаю, не помню... И потому, чтобы не впасть в ошибку, приглашаю вас поднять бокалы за обеих!

Рунов опустился на стул. Рука сжала сильнее бокал, тонкое стекло хрустнуло, и на белую скатерть полилось вино — красное, как кровь...

За столом поднялось некоторое движение, заколыхались белые груди смокингов и женские плечи. Этот знакомый человек с его странной речью внес какую-то новую, щекочущую струю в атмосферу этой залы. Дипломат высказал предположение: «Уже не это ли новинка, приготовленная Маргаритой Патвокановой?» Находили сходство между человеком во френче и известным артистом гостившего в Париже Художественного театра... Говорили шепотом, что артист одет «под галлиполийца» и что это только начало его выступления.

Княгиня сидела растерянная. Она ждала совсем не того. Досадливо сжала губы и молчала.

Тер-Мутьянов сделал несколько шагов в сторону Рунова. Воротник уже не стеснял его; он протянул через стол бокал, натянуто улыбаясь. Рунов посмотрел на него и не поднялся:

— Мой бокал разбит.

По скатерти, на колени, на пол текли струйки вина: красные, как кровь...

* * *

Хозяйка поднялась. Открылась дверь в гостиную, где в глубине видна была эстрада, обрамленная цветами. Стали шумно подниматься гости.

Рунов вышел незаметно в переднюю. Нашел без труда свое пальто и шапку, повешенные прислугой отдельно от вороха нарядного платья. Сошел на улицу. Туман стлался низко и густо. В нем мутно шевелились люди, бороздили тусклыми лучами глаза автомобилей; контуры вырастали неожиданно близко и так же быстро расплывались.

Человек во френче постоял нерешительно несколько мгновений у подъезда и скрылся в тумане.

* * *

Любовь Николаевна, заметив отсутствие мужа, тотчас же стала прощаться. Маргарита Патвокановна обняла ее и ласково поцеловала.

— Я понимаю, вам не до нас теперь. Но какой он интересный, ваш муж, какой необыкновенный. И как говорит! Сегодня нам, к сожалению, не удалось познакомиться, как следует. Приходите, милая, завтра к обеду, запросто — тогда уж наговоримся. Ну, прощайте.

И, наклонившись к уху Любви Николаевны, прошептала:

— Какая вы молодая и счастливая! Я даже завидую вам немного сегодня...

Тер-Мутьянов пошел провожать молодую женщину вниз по лестнице. Понижая голос и волнуясь, спрашивал. Она не слышала и не отвечала. Хотел обнять ее у выхода — резко оттолкнула его руку и хлопнула дверью. Почти бегом добежала до угла и взяла такси, дав свой адрес.

Ехали медленно, с непрерывными гудками, часто останавливались. Казалось, конца не будет этой дороге... Вдруг острая мысль прорезала сознание. Что она делает? Куда едет? Ведь его нет там. Комната заперта, дорогу он

вряд ли запомнил, да и захочет ли пойти туда... А адреса его она не спросила...

Тоскою сжало сердце. Лицо, все мокрое от слез, сморщилось от боли. Что делать? Неужели все кончилось? Ведь надо было объяснить ему. Сказать так много, много. Но как найти его, где? Куда броситься? Господи, Боже мой. На что надеяться? На стечение обстоятельств, на чудо? Она должна найти его во что бы то ни стало. А, может быть, он — тут где-нибудь, идет недалеко...

Она смотрела напряженно сквозь потное окно автомобиля на улицу. Но не видно было ничего, кроме быстро текущей навстречу и плывшей мимо серой мути.

Разбуженная консьержка ворчливо ответила, что не приходил никто и что, вообще, надо не иметь совесть, чтобы в такой поздний час подымать людей по пустыкам. Но, почувствовав в своей руке бумажку, приветливо добавила:

— Если придет, я вас сейчас вызову, не беспокойтесь, *chère madame. Bonne nuit*¹.

Любовь Николаевна бросилась на постель, не раздеваясь. Мысли бессвязные мелькали и рвались в больной голове. Как все это случилось? Так неожиданно... И он не узнал, она ничего не успела сказать. Ведь последние годы жила уже почти без надежды: были слухи, что он убит под Царицыном. И эта ужасная эвакуация... Жизнь исковеркалась так страшно и непонятно. Сегодня яркий луч внезапно осветил ее и потух. Навсегда? Она виновата, конечно. Не хватило сил бороться с нуждой, с одиночеством, со всей этой тяжелой, будничной, беспросветной жизнью. Но какою ценой!.. Ведь в *этом* — постылом и стыдном — не было ни радости, ни удовлетворения. Одна мука. Ведь ни одного дня она не переставала думать о нем, — далеко, несуществующем уже, быть может... Грязь? Но она отмоеет ее своими слезами. Грязь? Но она спалит ее своим чувством — новым, глубоким, пусть даже безответным. Он поймет, поверит. Ведь говорил же: «Зато не любить невозможно»... Лишь бы только найти его, лишь бы найти...

Молодая женщина, в измятом вечернем туалете, с обнаженными, вздрагивающими плечами, лежала на по-

стели, опираясь на локти, сжимая руками лицо. Уставилась неподвижным взором в иконку Божьей Матери, висевшую на спинке кровати. Молилась страстно, иступленно, переплетая кощунственно бессвязные слова молитвы с чувственными образами *их* прошлого, *их* будущего.

Занавески не были спущены. Занялось утро. Солнечные лучи боролись и побеждали неживой свет электрической лампочки. Руки разжались, голова ее упала на подушку, и в полубреду, полузабытии уста шептали еще:

— Матерь Божья, Заступница, верни мне его... верни...

* * *

Поиски оказались очень трудными. В течение ближайших дней Любовь Николаевна обегала все русские учреждения, конторы заводов, в которых по преимуществу работали русские, целый ряд *arrondissements*¹ — никто не знал полковника Рунова. Опускались руки, начинало охватывать чувство безнадежности.

Помог случай.

Просматривая последние дни все русские газеты, в одной из них она натолкнулась на заметку в отделе хроники: приглашались чины, служившие в той дивизии, в которой состоял во время мировой войны ее муж, прибыть на общее собрание. За час до указанного срока она была уже там, и секретарь «объединения», знавший Рунова, сказал ей, что на собрания полковник не ходит, но адрес его известен. Дал справку. Любовь Николаевна, забыв даже поблагодарить и проститься, сбежала с лестницы и поехала по указанному адресу куда-то далеко, в один из рабочих пригородов.

Такси остановилось у высокого, грязного, ободранного дома, густо заселенного и сплошь пестревшего сушившимся бельем, торчавшим изо всех окон. Когда вошла в ворота, оттуда понесло прелым и чадным запахом тесного и бедного человеческого жилья. Долго не могла добиться, где живет *monsieur Runoff*... Развязный, обтрепанный малый посоветовал:

— Подымитесь на пятый этаж, к *madame Dubois* — у нее жил какой-то иностранец.

¹ Дорогая. Доброй ночи.

¹* Городских округов. — *Прим. ред.*

Стала подыматься. Сверху с криком и свистом скатилась орава детей, чуть не сбивших ее с ног. Прижалась к перилам и постояла минуту — передохнуть. Ноги подкашивались, сердце билось быстро и неровно...

На площадке пятого этажа толстая, обрюзгшая женщина мыла пол и хриплым голосом переругивалась с кем-то, стоявшим еще выше по лестнице.

— Эти грязные свиньи, таская уголь, испакостили мне всю лестницу — пусть и убирают. Почему я должна мыть второй раз на неделе?

Подняла голову и погрозила кулаком кверху:

— Погодите, придет вечером мой муж — он с вами поговорит по-другому!

Любовь Николаевна справилась, где живет madame Dubois. Оказалось — это была именно она. Спросила про Рунова.

— Monsieur Runoff? Fuit!.. — Madame Dubois сделала неопределенный жест рукой. — С прошлого воскресенья нет его. Да вот, погодите минутку...

Она исчезла и тотчас вернулась, держа в руке захватанную открытку. Много раз уже показывала ее соседкам. Не каждый день, в самом деле, бывают такие случаи.

— Вот:

«Милая madame Dubois.

Я уезжаю далеко и надолго. Не имею возможности зайти проститься и рассчитаться. Мой чемодан с находящимися в нем вещами прошу Вас взять себе в уплату моего долга за квартиру.

И. Рунов».

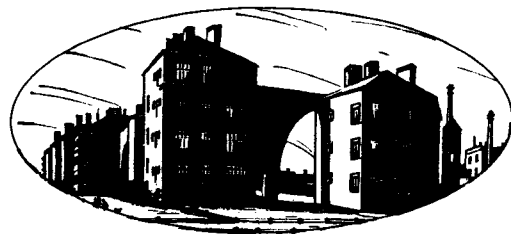
Спрятала открытку за корсаж.

— Положим, за его рвань я не смогла выручить всего долга. О, далеко нет...

Взглянула на побелевшее лицо молодой женщины и пожалела. Сварливая старуха имела доброе сердце,

— ...Но я не сержусь на него нисколько. Il était un brave homme, ce monsieur Runoff. N'est-ce pas, mademoiselle?¹

¹ Он был храбрый человек, этот господин Рунов. Не правда ли, барышня?



ЭТАПЫ

1

Второй день уже без перерыва идет артиллерийская подготовка. Никогда еще такого огня не было. Словно разверзлись бездны и выбросили в мир хаос звуков, сотрясающих воздух и землю. Они — эти звуки — оглушают, давят и держат в тревожном напряжении все живое.

Поле перед австрийскими окопами вспахано, изрыто. Тысячью фонтанов вздымается кверху черная земля, и в тяжелых брызгах ее мелькают обломки бревен, спутанные комья рваной колючей проволоки и временами изуродованные части человеческого тела.

Смерть и разрушение расчищают путь — вперед...

Тысячи глаз, прильнувших к амбразурам, впиваются в знакомые очертания неприятельских окопов — теперь неузнаваемых; словно нащупывают смертоносные гнезда пулеметов.

«Молчат... Не оживут ли?...»

Тысячи сердец бьются часто и томятся великим томлением от долгого, изнуряющего ожидания:

«Скорей бы уж...»

— Поручик Русов... Поручика Русова к батальонному командиру!..

— Ну вот, батенька, готовьтесь. Телефонограмма из штаба дивизии получена: «В 9 часов приказываю войскам дивизии атаковать, и да поможет нам Бог!» Так как вы уж, батенька, не того, не посрамите земли русской...

— Будьте покойны, господин полковник.

Тысячи глаз блещут... Тысячи сердец бьются сильнее... Без четверти... Уж лучше под пули, чем это томительное ожидание... Без пяти минут...

И вдруг сразу, одновременно по всему полю невидимую рукою подняло ввысь стальные бичи, хлеставшие по первой линии неприятельских окопов; подняло и перекинуло вдаль.

— Ур-ра-а!.. — вспыхнуло по фронту и потонуло глухо в урагане звуков, в бушующей стихии разрушения.

... Первая линия занята. Уже тянутся длинные вереницы пленных; идут гуськом, торопясь и кланяясь своим шрапнелям, осыпающим подступы. Рота поручика Русова показалась на гребне бруствера и нырнула в глубокие щели австрийских окопов. Поручик — уже на той стороне, бежит дальше...

— Не задерживаться! Вперед! Окопы осмотрит резерв. Вперед!..

Оглянулся: сильно поредела рота...

Ревет стихия, сыплются кругом шрапнельные пули: австрийцы заградительным огнем стремятся удержать надвигающийся поток.

— Вперед!..

Из-за гребня показался вдруг зеленый навес. Четыре жерла глянули из-под него, четыре темных зева выбросили огненные языки и плеснули смертью почти в упор. Бухнулись люди, словно вросли в почву.

Стоны поползли по земле...

— Вперед!.. Ур-р-а-а!..

Отозвалось всего десятка четыре голосов — надрывным исступленным криком, в котором разряжалось накопившееся напряжение: ожидания страха, надежды... Несколько ручных гранат взметнулось в воздух, упало меж орудий и брызнуло землей и осколками. Что-то лязгнуло, что-то хрустнуло, и через минуту поручик Русов, возбужденный и радостный, с разорванным воротом, размахивая фуражкой, сидел верхом на пушке и кричал:

— Рота, ко мне!..

Стальные бичи свистели выше и хлестали землю все дальше и дальше. Оттуда, с той стороны отзывались уцелевшие орудия — редко и беспорядочно. Вот вспыхнуло

белое облачко в небесной синеве над взятой батареей и рассыпалось градом...

...Русов схватился за голову, потерял равновесие и упал. Инстинктивно прижал обеими ладонями глаз: горячая струя крови просачивалась сквозь пальцы и заливала все лицо.

Померкнул свет...

2

«Протокол общего собрания 1-го батальона N-го полка.

Принимая во внимание несознательность командующего батальоном, капитана Русова, а также, что он 1) до революции был строг с солдатами; 2) отказывается подписывать увольнительные билеты товарищам, которым беспрерывно нужно домой, и даже вопреки медицине; 3) насчет последнего наступления немцев на полк выражался «трусливое стадо», когда никто не обязан участвовать в империалистической бойне; и 4) вообще за старорежимность — собрание постановило капитана Русова отчислить от должности батальонного и назначить кашеваром во вторую роту.

Председатель собрания, он же
председатель батальонного комитета,
лекарский помощник
Слива».

3

Солнце — к закату. Так близко, так отчетливо видны контуры Екатеринодара, Черноморский вокзал, маковки соборов... Впереди — длинные ряды большевистских окопов, усеянных густо серыми шинелями и черными пальто. Трещат немолчно ружья и пулеметы. Трижды подымались цепи Добровольцев в атаку и трижды валились опять — подкошенные, поределые — не в силах преодолеть неширокую, отделяющую их от врага полосу смерти. В ближнем овраге набились густо, перемешавшись между собою, живые и мертвые.

— Капитан Русов! К ферме подошла на подкрепление сотня Кубанцев. Примите командование и приведите их к кургану.

— Слушаю.

Приподнялся на локтях; прополз несколько шагов... По близости затрещало — острые иглы обожгли и впились в ногу.

...Пролежал до полной темноты. И только под ее покровом подползли санитары, стащили волоком в придорожную канаву, перевязали и понесли в станицу.

Утром по всей станице разнеслась потрясающая весть: ее передавали шепотом, точно страшную тайну:

— Убит генерал Корнилов...

«Что же теперь? Конец всему?!...»

По обозу, по избам, набитым ранеными, ползут злоеющие слухи об израсходовании всех патронов, об окружении и сдаче...

Под свернутой в изголовье шинелью рука Русова ощупывает револьвер:

«Не пора ли?...»

4

Солнце заливает Харьков. Екатеринославская улица и Соборная площадь запружены многотысячными толпами народа. Людьми усеяны балконы, крыши домов, даже деревья... Прокатывается по улицам «ура!», гудит площадь, несется ликующий звон колоколов... Радость на лицах, радость в сердцах.

«Ур-р-а-а!...» «Христос Воскресе!...»

Улыбки и слезы... Зеленью и цветами усыпан путь, по которому идут колонны Добровольцев.

Проходит полк. Впереди — офицер с Георгиевским крестом и знаком терновым; черная повязка на глазу; идет, прихрамывая и опираясь на палку. От толпы отделяется светловолосая девушка, протягивает ему пучок белых лилий. Он подымает руку, чтобы взять цветы, девушка хватает ее, быстро целует и скрывается в толпе...

Офицер в волнении роняет цветы, потом неловко, торопливо подбирает их дрожащими руками...

...Снова раскаты «ур-р-а-аа»... Торжественные звуки многолетия, красный звон, колыхающиеся хоругви и яркое, радостное солнце, заливающее улицы, толпу, вой-

ска, играющее веселыми переливами в золотых ризах духовенства, на стали штыков и обнаженных шашек...

Светлый праздник...

5

Бушевал норд-ост; сквозь запертые окна и двери врывался леденящим холодом. В палате сыпно-тифозных тускло горела керосиновая лампа. Тихий шепот, бессвязные речи, буйные крики — жутью наполняли комнату. Смех, стоны, бред... Борьба безумия с разумом, жизни со смертью.

Дежурный санитар у окна тоскливо смотрел на мерцающие огни порта и судов.

«Вот еще один пароход ушел... Когда же нас повезут?...»

— Вперед, за мною!.. Кто растоптал лилии? Почему в крови?... Не смей!

На кровати метался больной; сбросил на пол подушку и одеяло; сорвал черную повязку с головы, привстал и — растерзанный, страшный — одним блестящим, воспаленным глазом обводил палату.

Подошел санитар, поправил постель.

— Полковник Русов, успокойтесь!.. Ну, чего, чего... лягте.

— Пустите меня, пустите... Они топчут белые цветы... Не смей!..

6

Железная клетка рванула и поплыла плавно вниз, в глубокий колодезь. Спускается ночная смена рабочих — русских, итальянцев, португальцев и еще каких-то — желтолицых... Все — в отрепьях, с предохранительными касками на голове, с грязными платками, обмотанными вокруг шеи; держат в руках тяжелые электрические фонари. Подведенные едкой несмывающейся угольной пылью глаза смотрят понуро; разговаривать не хочется.

На 800 метрах — остановка. Расходятся по галереям. Одна партия пошла дальше, к другому спуску. Идут долго, гуськом узким и длинным лабиринтом, низко при-

гнувшись и поминутно задевая касками за балки, подпирающие свод. Сверху сыплются холодные капли воды. Где-то режут насосы, накачивающие воздух, и, когда откроется дверь, отделяющая поперечную галерею, с воем и свистом крутит сквозняк и обжигает холодом.

Вышли в магистральную галерею — здесь несколько шире и выше.

— Attention!..¹

Бросились к стенам, прижавшись вплотную. С глухим шумом прошел по рельсам, почти задевая людей, поезд вагонеток, груженных углем, запряженный двумя першеронами. Лошади здесь — несчастнее, чем люди... Их пускают в это царство вечной ночи один раз и навсегда. Они живут в подземных конюшнях, слепнут быстро от тьмы и угля и, слепые, работают до смерти. Подымают на поверхность только трупы.

Опять железная клетка и спуск — еще на 300 метров... Новый лабиринт, узкие щели — проходы между двумя пластами блестящего угля, с большим наклоном; по ним, лежа на боку и придерживаясь за продольную планку, люди летят в преисподнюю от тяжести своего веса. Дальше щель суживается еще и только уже плашмя на животе, сдавленный сверху и снизу, цепляясь за выбоины черной скалы, скользишь вниз по гладкой темной доске.

Раньше полковника Русова, ввиду его инвалидности, ставили на работу при вагонетках. Это было значительно легче. Но как-то однажды он не стерпел — ответил резко на дерзкий окрик контрметра. С тех пор, вот уже второй месяц, приходится разрабатывать щель. Целыми часами, лежа на боку, он подрывает киркой крышу своего полутемного гроба. Летят куски, сверкающие в луче фонаря, и с шумом катятся по гладкой железной дорожке далеко вниз в подставленную вагонетку. Мелкие осколки засыпают лицо; тучи едкой пыли наполняют гроб, пробиваются сквозь одежду, забираются во все поры, слепят единственный глаз и несут отраву легким. Жарко невыносимо. Разделся по пояс. Обнаженное тело покрывается потом, густо замешанным с угольной пылью...

¹ Внимание!

Русову сегодня не по себе. Раненая нога ноет нестерпимо. Хотел перемочь себя, менял неоднократно положение, но ничего не вышло. Решил бросить на сегодня работу. Сполз вниз, в галерею, пошел к выходу, спотыкаясь о рельсы, шлепая туфлями по лужам.

Послышался странный гул... Полковник поднял голову и вздрогнул: навстречу ему под уклон летела с грохотом оторвавшаяся от поезда вагонетка.

Бросился в сторону, но зацепился ногой... и упал переверк рельс...

7

— Присядьте, сестрица, *assayez*...¹ Ну, вот, благодарю вас. Это ничего, что вы не понимаете меня. Но мне, видите ли, страшно... Не смерти — это пустяки, сколько раз бывал на волоске... Нет. Но такого одиночества... в последние часы. *Mes dernières heures*... Non, non² — не говорите — я ведь понимаю — с разбитой грудной клеткой долго не протянешь... Жаль, что не говорю по-вашему. Но теперь уже все равно...

— Вы знаете — последнее время немножко тяжело было. Непривычная работа, да притом я ведь, правду сказать, калека... Вот у вас хорошо — заботятся о своих инвалидах — дают им легкую работу, пенсии, устраивают убежища... А у нас, сестрица, кому же? Нет у нас родины... И знаете — вы только не сердитесь — я очень доволен уходом и всем... Но все же вы мне чужие... И такая смертельная гложет тоска, так хочется услышать напоследок родную речь, хочется, чтобы близкая рука закрыла глаза...

— Вы уходите, сестрица? Еще минутку, *un moment*... Есть у меня друзья, да далеко. И в вашем городе живет один мой приятель, *mon ami Petroff*³ — солдат нашего полка. Чудесный человек! Ведь вы его вызвали? *Rue de Belgique, quatorze*⁴... Да? Ну, вот спасибо. *Merci... merci...*

¹ Садитесь.

² Мои последние часы... Нет, нет.

³ Мой друг Петров.

⁴ Бельгийская улица, четырнадцать.

— ...А, это вы!.. Дорогой мой, голубчик, как я рад, что застали еще... Поправлюсь? Полноте, не надо, я знаю. Мне трудно уже говорить — задыхаюсь. Дайте мне вашу руку. Так... Рассказывайте же — про себя, про полк, про Россию...

Неслышными шагами вошел санитар и поставил у кровати Русова створчатую ширму. Двое других больных, лежавших в палате — также обреченных, — переглянулись и тяжело вздохнули. Один сказал тихо:

— Счастливцев...

8

В дальней части кладбища, у самой ограды, где тесными, ровными рядами ютятся бедные могилы, вырыта яма, и над ней на досках стоит гроб. Петров волнуется; поминутно поглядывает вдоль дороги к воротам. Все нет... Опоздали, видно, на поезд. А может быть, он сам виноват — не так составил телеграмму...

Могильщики спорили между собою, выражали нетерпение. Один заявил решительно:

— Monsieur, мы больше ждать не можем, у нас есть другая срочная работа.

...Наконец-то!

По каменной дорожке торопливо шла группа людей, прилично и как-то однообразно одетых; все — с усталыми, подведенными глазами. Две русские смены — третья должна была остаться в шахте. С ними — старенький священник.

Окружили гроб, положили цветы, обвитые широкой бело-сине-красной лентой...

— Благословен Бог наш...

Один из углекопов поднял руку... И по чужому кладбищу, над чужими могилами поплыли величавые, волнующие звуки русской скорби...

«...Надгробное рыдание...»

Долго не расходились. Молча, уныло глядели, как ловко, привычными руками вскидывались лопаты и тяжелые комья желтой глины гулко ударяли о крышку гроба.



«СТАЛЬНЫЕ САПОЖКИ»

Так шло изо дня в день.

И в этом убийственном однообразии, уложенном в строгие и точные графики часов и минут в этой бездумной, не требующей ничего, кроме рутинных движений и мускульного напряжения, работе, в этой серости и бедности — замыкался круг выплеснутой из берегов жизни.

Сегодня — как вчера. Завтра — как сегодня.

День капитана Кароева начинался в 6 часов, когда обернутый в полотенце — не разбудить бы жены — глухо стучал ненавистный будильник. С каким удовольствием разбил бы Кароев его блестящий точный механизм!.. С нервной торопливостью выпивал он оставленный с вечера холодный кофе — «экономический», брал с собою маргариновые тартинки и мчался к зияющей дыре ближайшего метро; нырял там под землю, вливаясь в поток таких же, как он, хмурых людей — в нахлобученных на глаза мягких картузах... Два раза кружил по лестницам подземного лабиринта, с кричащими плакатами стен, с едким запахом мыльной воды от невысохших еще после ночной уборки луж... И, сойдя на конечной станции, мчался опять, минут двадцать, по просыпающимся улицам, на которых сутились уже и толкались торговцы, расставлявшие лотки и навесы для базара.

Горы зелени, кровавые туши, поблескивающие чешуей рыбины — ежедневная дань ненасытному парижскому чреву — вызывали в Кароеве чувство раздражения, которого никогда раньше он не испытывал. И не это одно... Раздражали и вызывающие витрины с головокружительными нарядами для изломанных, пресыщенных эстетов и

эстеток... И изнывающие за прозрачными портьерами модных ресторанов от скуки и безделья, в угаре тонких вин, в неге экзотических мелодий и похотливых телодвижений... И тот, — в дорогом «линкольне», вчера чуть не сбившем с ног Кароева — взглянувший безучастно, как на вещь, на припавшего к мостовой человека... И многое другое...

Раньше Кароев просто не замечал этого чуждого ему мира. А теперь вот он вызывает в нем раздражение... Кароеву стыдно бывало за это чувство, «недостойное интеллигентного человека»; но, видно, проклятое безвременье не проходит бесследно: жизнь нисходит до примитивных форм, и психология упрощается под стать к жизни...

Иногда поезда метро сходились незадачливо, и, подходя к видной издалека, давящей громаде железа, бетона и стекла, Кароев со страхом поглядывал на чугунные ворота: в 7 $\frac{1}{2}$ час. они закрывались, и опоздавшие выпускались только через полчаса. Потеря трех франков — еще не беда, но могут учесть неаккуратность при очередном сокращении... И когда случалось опаздывать, он подходил к контрольному автомату, отбивавшему время на личных карточках, с самочувствием провинившегося школьника.

Через несколько минут после закрытия ворот мертвая масса завода оживала в хаосе звуков: ревели моторы и с пронизывающим свистом ходили по железу напильники, насыщая воздух тончайшей металлической пылью; тяжело отзываясь в голове, заставляя дрожать черепные кости, ударяли механические молоты.

Это было самое неприятное в обстановке работы Кароева, к чему он привыкнуть не мог. Оглушительный шум держал его в постоянном внутреннем напряжении, углубляя то тревожное беспокойство, которое последние годы стало хронической болезнью его духа. Не только реальные причины питали это беспокойство, но и мнительность, предчувствия, даже сны. Хозяйка «отеля» не ответит — по рассеянности, вероятно, — на его поклон, и ему начинает казаться, что от комнаты откажут; волнует перспектива поисков нового жилья с потерей рабочих часов, с неразрешимой дилеммой: рассчитаться за старое и дать задаток за новое. Раскашлялась дочь — Манечка... «Уж не дифтерит ли?» Страх за судьбу единственного ребенка, доктор, ле-

карства... И опять подозрительное любопытство хозяйки, не допускающей в доме заразных. Прочел в хронике газеты заметку о кризисе тяжелой индустрии... «Наверно, сократят производство, быть может, даже рассчитают...»

И потом еще эта неуверенность в себе, приниженность, создававшаяся годами от оскорбительных визных мытарств и постоянного безденежья, от потертого смешного платяшка, от плохого знания языка, и — в результате постоянного общения с малокультурной средой — от мелких уколов самолюбия.

Беспокойство и приниженность.

Эти два ощущения вошли в жизнь, поднявшуюся до мансард и опустившуюся до шахт, как нечто провинциальное, неизбывное. Деланная приветливая улыбка, десятки раз скользящее «s'il vous plait»¹, десятки раз хрустящее «pardon», а в душе...

— Такою стала жизнь, друг мой, — говорил как-то Кароев жене, — будто все время ходишь по скользкому канату, каждую минуту рискуя полететь вниз головой.

Действительно, положение на заводе последнее время стало шатким. То вдруг сбавят ставки, то сократят число рабочих дней... Вместо двух дали теперь три станка... И прежде всего всякие сокращения и сбавки ложатся на иностранцев. Кароев знал, что русскими, в особенности, администрация завода дорожит; но это отношение не могло проявляться существенно в строго механизированном укладе, в безличном коллективизме рабочей массы, в сопротивляемости низшей иерархии — к ним, русским, безразличной или иногда враждебной.

В одном ателье с Кароевым работал старик, русский генерал, занимавший некогда высокий пост, несколько французов и партия китайцев, почти не говорящих ни на одном языке, кроме своего. «Шеф» оказался, к несчастью, коммунистом. С генералом он обращался снисходительно-презрительно; с ним — грубо-требовательно, со

¹ Пожалуйста... Извините.

своими, французами, переругивался запросто. И почему-то особенным благоволением пользовались китайцы; их не ругали, не штрафовали; невыполненный минимум работы, заведомо переиженные нормы брака сходили им благополучно с рук. Тогда как ему приходилось не раз, спасаясь от штрафа, и главное от грубости шефа, подписывающего «бон» об окончании работы, набивать тайком карманы испорченными «пьесами», чтобы затем, возвращаясь домой, незаметно побросать их с моста в Сену...

Разговорившись как-то с одним «ходей», жившим раньше в Дальнем и умевшем немного коверкать русскую речь, он узнал секрет благоволения: каждую неделю после расчета «ходя» — старший в своей артели — собирает в шапку добровольную дань и «мало-мало давай» начальству... Китаец хитро подмигнул раскосыми глазами и прибавил еще что-то по-своему, что, судя по мимике, вероятно, означало:

— Эх вы, не умеете приспособляться!

В обеденный перерыв Кароев с генералом ходили недалеко в русскую столовую. Капитан брал суп и заедал его своими маргариновыми тартинками — обыкновенно с куском холодного мяса или колбасы; генерал ел только суп с хлебом — быстро и жадно. Кароев знал, что генерал семейный и сильно бедствует, и старался поделиться с ним. Но тот всегда отказывался:

— Да я сыт совершенно, благодарю вас. Это все, дорогой, баловство — всякие там разносолы. Организм требует строго определенного числа калорий; а что свыше, то от лукавого. Ближе к природе! Я теперь положительно стал лучше чувствовать себя...

На прошлой неделе Кароев расстался и с генералом, и с китайцами.

Шеф-коммунист стал объяснять генералу технические приемы у нового станка. От шума ли, наполнявшего ателле, или от невнятного трескучего голоса генерал, видимо, не понимал. Шеф грубо вырвал из рук старика железную болванку — так, что тот покачнулся даже — и громко выругался:

— Oh, ces gourdes de russes!..¹

¹ О, эти русские болваны.

У Кароева побагровело лицо. Он поднял тяжелую железную штангу и бросился к французу.

— Молчи, мерзавец, убью!

Опомнившись, бросил штангу на землю и, тяжело дыша, смотрел мутным, еще страшным взглядом на побледневшего и растерявшегося француза. Сбоку его одергивала рука генерала, и просящий с дрожью в голосе успокаивал:

— Бросьте, дорогой, что вы!.. Хамье ведь — что от него требовать. Надо быть выше...

Шеф смолчал; но потом, видимо, нажаловался контрометру: через несколько дней, при очередном сокращении рабочих, и генерал, и Кароев получили расчет. Китайцы остались... Правда, третьего дня Кароеву прислали от заводской конторы именное приглашение явиться на работу: это был один из приемов администрации, позволявший таким обходным путем делать некоторый отбор. Со вчерашнего дня Кароев работал опять, но в другом ателле.

Сегодня с утра все складывалось неудачно. И поэтому внутреннее беспокойство заострилось в нем до болезненного ощущения нависшего над головой несчастья. Казалось, дрожал каждый нерв и давила тупым нажимом застрявшая в голове — вот уже девять лет — германская пуля.

С самого утра.

Будильник, слишком плотно завернутый, трещал так глухо, что Кароев проспал. Поезд метро — ведь такой случай бывает раз в год, вероятно, — застрял почему-то на добрых четверть часа на перегоне между станциями... Кароев опоздал на полчаса... Во дворе завода встретился лицом к лицу со своим бывшим контрометром. Тот прошел мимо, поглядев удивленно и враждебно. «Побеседует с кем надо — они ведь все друг за друга тянут — и начнется опять прижим»...

И самое неприятное...

Проходя мимо конторы, встретил генерала. Высокий, некогда грузный, с обвисшими щеками и вытянутой шеей, он шел опустив голову.

— Здравия желаю, ваше превосходительство! Ну, как? Удачно?

Генерал, всегда приветливый и расположенный к нему, на этот раз торопливо поздоровался, не останавливаясь. Махнул рукой:

— Нет, возраст, говорят, не подходит.

Отойдя на несколько шагов, обернулся и, покивав головой, добавил с горечью и упреком:

— И нужно вам было...

...Когда Кароев вернулся к вечеру домой, жена писала письмо. Девочка сидела на полу на подушке возле нее.

— Здравствуй, что поздно так? Сейчас начну разогревать.

— Здравствуйте, милые. Кушайте сами, устал что-то. Полежу немного.

Лег на постель не раздеваясь, подложив под ноги газету, и отвернулся к стене. Думал.

«Боже мой, как мы пали!.. "И нужно вам было!.." Что же, значит — пусть плюют в харю, пусть топчут в грязь наше самолюбие! Франк, желудок и никаких сантиментов!.. Борьба за существование!.. А может, мне это существование осточертело до последнего предела...»

«...А генерал и его жена все-таки получали до сих пор "определенное число калорий", а теперь, наверно, голодают окончательно...»

«Тупик».

* * *

«...Теперь у нас новая квартирка — две уютных, светлых комнаты с кухней. Окна выходят в садик, и видно дорожки, усыпанные красной осенней листвой, и клумбы с пестрыми хризантемами. Манечке есть где побегать...»

Анна Петровна, жена Кароева, писала матери, доживающей свой век в России... Подняла глаза на облупленные от сырости и ветхости грязные обои своей полутемной комнаты, с двуспальной кроватью, служащей им всем троим и занимающей чуть ли не половину всей площади! На единственное окно, выходящее в узкий и глубокий двор, в котором снизу и доверху, до пятого этажа, стоит столбом тяжелая смесь разнообразных запахов, исходящих от десятков «решо»... Но зачем это знать старушке, зачем отрав-

лять ей, быть может, последние, и без того не сладкие, дни. Пусть лучше утешается тем, что им здесь хорошо...

Излагала на бумаге свои маленькие, несбыточные мечты...

«...Я продолжаю работать для солидного магазина, и получаемых денег вместе с заработком мужа вполне хватает на нашу скромную жизнь...»

Хватает... Можно бы, конечно, поступить в *maison de couture*, даже первой рукой — она шьет с большим вкусом и ловкостью, но Маню не на кого оставить. Анна Петровна работает поэтому дома. Случайная работа у *madame Argaut*, и какие гроши платит!.. Наверно, много меньше, чем своим французским мастерицам. Пробовала перейти в русскую мастерскую. Встретила ее изящная дама, с известным именем:

— Моя главная цель — помочь нашим нуждающимся соотечественникам, предоставив им выгодную работу и избавив их от эксплуатации...

...И рассчитала хуже, чем француженка... Анна Петровна вернулась в «*maison madame Argaut*».

А в этом месяце вышло и совсем плохо. Взяла на дом материал — крепдешин — вышивать платье гладью и мерешкой. Две недели проработала, почти кончила... Вечерами, когда во всем многолюдном доме шипят «решо» и газовые рожки горят поэтому так тускло — в их этаже нет электричества — она садилась с работой на шкафчик, под самой лампой. Однажды упал осколок прогоревшей сетки и... прожег материю... Пришлось купить новую. Одна материя обошлась около 200 франков, не считая работы... Так пропал весь месячный заработок. Сколько слез было...

«...Манечка немного простудилась, не выпускаю ее из дому. И потому не могла ее снять, как тебе хочется, в рост. Как только поправится, непременно поведу...»

Как снимать в рост, когда у пятилетней Манечки ножки от рождения были с искривленными ступнями. Ходить девочка не могла. Весною осмотрел ее профессор Павел Иванович. Ничего не взял; сказал, что можно уже оперировать, и велел тотчас же положить в русскую лечебницу.

— Профессор, да на какие же средства?!

— Ничего, там вам скидку сделают. Подождите минуту в приемной, я дам вам письмо.

Когда Анна Петровна, дожидаясь в конторе лечебницы заведующего, прочла в повешенном на стене объявлении, что «плата принимается вперед по расчету 30 франков в сутки», она пришла в отчаяние. Подала письмо заведующему, волнуясь давала ответы, необходимые для заполнения бланка...

— Только вот не знаю, как относительно платы...

— А что? Все в порядке.

— То есть?..

— Вы же принесли письмо Павла Ивановича — в нем деньги по расчету.

Чуть не расплакалась. Первый раз ей помогли, и при этом в такой деликатной форме.

Когда после операции благодарила Павла Ивановича, тот, улыбаясь усом и бровями, отшучивался:

— Пустяки, наверстаю с американцев...

Три месяца ножки лежали в гипсе. Это было наиболее мучительное время для нее и для ребенка. В тесноте — в одной кровати вдвоем, в жаре и духоте... Теперь пора бы начать ходить, да первое время нельзя без ортопедической обуви. А стоит она более пятисот франков... Но... на шкафчике лежит зачитанный, потертый том Пушкина; в нем, между страницами неприкосновенный фонд: скопили уже четыреста; еще сто, и Манечка начнет ходить...

«...Теперь у нас чудная осень — большое оживление. Приехала труппа Московского Художественного театра. Конечно, мы не можем себе позволить часто, но изредка бываем с мужем. Ты, мамочка, не поверишь, какое наслаждение для нас, оторванных от родины, видеть хоть на сцене настоящую русскую жизнь...»

Предательская слеза упала на письмо, и слово «жизнь» расплылось в многорукого безобразного паука, с толстым, лиловым брюшком.

Глубоко вздохнула:

«Хоть бы раз побывать...»

* * *

Кароев поднялся с постели.

— Ужинали?

— Нет, дожидались тебя. Я сейчас...

Анна Петровна положила письмо в конверт, пошла к «решо». Кароев взял машинально конверт в руки.

— Матери пишешь?..

— Да. Ради Бога, не трогай!

Вспыхнула.

— А вот прочту. А? Ну, ну, поверила... И за мной долг числится: три недели не отвечал брату. При нашей собачьей жизни ни думать, ни писать нет охоты...

Судьба брата, оставшегося после крушения Юга в советской России, сильно беспокоила его. В начале, когда им удалось войти в связь, письма брата были полны отчаяния: страшная нужда и невозможность найти работу... Скрывался под чужим именем; сквозь эзоповский язык, которым обыкновенно пишут *оттуда*, сквозил вечный страх, что обнаружат его прошлое... Потом был долгий перерыв. А в последнее время, к удивлению своему, Кароев получил опять — одно за другим — два письма, но совершенно другого характера: с безрассудной смелостью, без аллегорий и экивоков, брат писал о «проклятой, собачьей власти, которой скоро наступит конец...». И такая еще неосторожность в обращении: «Дорогой брат!..» Как мог он сделать такой промах и как могло дойти такое письмо! Теперь — когда возобновились опять неистовства ГПУ, и *оттуда* раздаются призывы: «Ради Бога, пишите осторожнее!..» Очевидно, человек дошел до такого уже состояния, когда жизнь перестает иметь какую-либо ценность.

Кароев подумал, помучился и... перелистал том Пушкина. В одну из суббот сходил на улицу d'Athènes, в комитет. Долго совещался там, делая карандашом выкладки, с высоким, полным господином, который привычным тоном, терпеливо давал объяснения:

— Мы рекомендуем перевод с выплатой в долларах, если адресат собирается ехать за границу, и с выплатой в червонцах — во всех остальных случаях...

Кароев послал два червонца.

Жене об этом не сказал. Зачем раньше времени бередить рану... Быть может, удастся пополнить свехурочными... Только с Маней стал еще более нежен и ласкался к ней с какой-то виноватой улыбкой.

Пужинали быстро и молча. Маня была скучная, вялая. Мать потрогала лобик: небольшой жарок.

— Гу-у-лять хочу...

— Подожди, мое золотко. Теперь уж скоро. Папа сверхурочные получит, я продам пошетки, что выкроила из крепдешина — будут у доченьки сапожки такие — стальные, хорошие... Туп-туп — пойдем гулять по парку...

Кароев нервно пошевелил веками. Заныло в голове — в том месте, где покоилась пуля. «Стальные сапожки»... Есть такие слова, которые, как заноза, застревают в мозгу и саднят. И никак не вырвешь их из мысли. «Стальные сапожки»... Или вот еще сегодняшняя фраза генерала: «И нужно вам было»...

«Эх, заковала жизнь в стальные сапожки...»

— Ты знаешь, Аня, генерала не приняли на завод. Не знаю, как уж они перебьются. Надо зайти поведать...

— Сходи, — освежишься немного...

Вышел. Взобрался с трудом — генерал жил очень высоко. Открыла дверь генеральша и, сухо поздоровавшись, тотчас же ушла, сердито хлопнув дверью. Генерал поднялся навстречу.

— Вы простите, жене нужно было спешно к знакомым, по близости...

Разговор плохо вязался.

— И нет никаких перспектив, ваше превосходительство?

— Какие там перспективы! Куда ни кинешься — либо полно, либо возраст не соответствует. А то еще чин мешает... Один знакомый мой написал Проталову — слышали, вероятно, — богач и меценат. В прошлом немножко даже мне обязан. Без меня, может быть, и не выехал бы за границу... Просил у него знакомый этот места для меня: дворника, уборщика, рассыльного, ну, словом, какой угодно черной работы. Вежливо, но отказал. К сожалению, пишет, нет пока подходящего для такого почтенного лица занятия, а дворником... этого он никак допустить не может!.. Понимаете? Допустить не может!.. Совестьливый человек: он во дворце, я — в сторожке — неловко... А это ничего, что мы с Марьей Ивановной третий день уже, быть может... Ну, я это так, к примеру... Овернемся, конечно, и без него.

— Я хотел вам предложить, ваше превосходительство, на время... у меня есть свободная сотня...

Генерал закричал:

— И думать не смейте! Нищий у нищего. Никогда!

Наступило неловкое молчание.

— Вот вы тогда, дорогой, погорячились, — продолжал генерал спокойнее, — конечно, молодость... Вы не хотите вникнуть — где мы, чем мы стали, в какую среду попали, с какими понятиями?... От кого вы требуете галантного обращения? Он мне дурака, я — ему, ведь это быт-с! Офицерская честь, достоинство — конечно, но в свое время и на своем месте. А тут от monsieur Pigeot, коммуниста этого, сатисфакции требовать, что ли? Полез в кузов — назовись груздем. Народная мудрость — в преломлении беженских условий. Да-с! Забудьте на время, что вы офицер и интеллигент. Поднять до своего уровня чуждую нам среду мы — песчинки, вкрапленные в нее, — не можем. Абсурд. Следственно, применяться нужно к новому для нас быту, к профессиональному укладу, к пролетарской психологии...

Генерал, ходивший крупными, мерными шагами по комнате — пять вперед, пять назад, — вдруг остановился перед Кароевым.

— И знаете ли, от Проталова обида тяжелей легла на сердце, чем от monsieur Pigeot...

При прощании Кароев вновь и настойчиво предложил генералу взаймы.

— Уверю вас — это сбережение. Так будет целее...

Генерал, видимо, колебался...

— Ну, хорошо. Спасибо сердечное, дорогой. Через недельку постараюсь...

Но когда Кароев сходил уже в нижний этаж, наверху открылась дверь, и по темной лестнице загудел голос генерала:

— Послушайте, дорогой, где вы? Не могу. Возьмите ваши деньги. Смалодушничал. Вранье все это насчет «недельки»... Никогда я не смогу вернуть, потому что чувствую — петля.

Кароев прижался к стене и молчал.

— Где вы? Ушел!..

Когда дверь за стариком закрылась, Кароев быстро сбежал с лестницы и вышел на улицу.

Дома уже спали. Анна Петровна, проснувшись, сонным голосом сказала:

— Не забудь оставить 20 франков — завтра базар...

— Отку... Да, да, хорошо.

Не зажег газа. В темноте тайком пошарил рукой по стене; найдя шкафчик, снял с него том Пушкина и бесшумно стал перебирать листы.

* * *

Вернувшись домой в субботу, Кароев нашел повестку, с приглашением в этот вечер присутствовать «на чае», устраиваемом в честь прибывшего в Париж политического деятеля. Смутила несколько перспектива неприятного разговора со старшим группы по поводу неуплаченных уже за три месяца членских взносов и долга в заемный капитал... Но как-нибудь уладится — поймет же человек, что «на нет и суда нет»... А между тем послушать столь осведомленное лицо хотелось. Судя по газетам, положение опять стало напряженным; кругом ходят слухи о полном экономическом крахе советской России, о восстаниях, о таинственной подготовке интервенции... Слухи — самые невероятные и противоречивые. Еще вчера, например, встретил на улице однополчанина, который «из самых достоверных источников» передавал, что интервенция Польши и лимитрофов, при помощи Англии, была окончательно решена, но обнаружилось намерение немцев напасть на Польшу, в случае войны ее с советами... А сегодня, при выходе с завода, в воротах догнал его полковник Нарочкин, румяный и веселый человек, устроившийся в конторе, и еще издали замахал ему приветственно рукой.

— Поздравляю, теперь уже недолго!

Запел вполголоса:

Всадники, други,

В поход собирайтесь...

— Нет, кроме шуток: факт проверенный и достоверный. Третьего дня в Париж прибыл генерал Гофман и

уже был принят Брианом. Привез он проект интервенции и предложение в любой момент выставить два корпуса. На днях и у нас будет объявлена запись.

Жизнь мало-помалу разбивала иллюзии, уташала веру в авторитеты и прогнозы. Кароев не придавал значения всем этим «достоверным сведениям», как и раньше не верил в ежегодно повторявшиеся трубные призывы в весенний поход. Но, помимо всех официальных и частных информации, помимо «фактов» и слухов, помимо постоянных и глубоких разочарований, он носил в себе, как вероятно и тысячи его соратников и соотечественников, интуитивную — не веру даже, а абсолютную уверенность в том, что эта злая доля временная, преходящая, что сгинет большевизм, рухнут препоны, и откроются запретные пути на родину. Весь вопрос в сроках.

Кароев вспомнил, как говорил однажды генерал:

— Ведь это сплошной подвиг — жизнь нашего беженства. Никогда еще такого не было. В условиях тяжкого непривычного труда и нищеты русское беженство сохранило энергию, упорство, дает максимум трудоспособности, минимум преступности. Повсюду, во всем мире. Выдержали-с экзамен на пять с плюсом. А почему-с? Надежда великая есть. Не будь этой надежды, найдись такой лже-провидец, которому поверили бы и который сказал бы: «нет возврата!», так такое пошло бы!.. Многие свихнулись бы. Ко всем чертям послали бы заводы, шахты и пошли бы в петлю или на дно. От отчаяния и безнадежности. Удивили бы опять мир бескрайностью славянской души.

Кароев шел в собрание в надежде на этот раз услышать что-либо достоверное.

Собирались аккуратно, раньше положенного времени. Трогательной была сохранившаяся, прошедшая через все испытания подтянутость и внутренняя дисциплина этих людей. Свободных, но связанных крепкими нитями прошлого и в большинстве еще — убеждением в своей нужности, в своем призвании... Это прошлое наложило на них особую печать: есть что-то, что дает возможность отличить их в любой толпе, в театре, на улице, за рулем такси, в блузе рабочего, в робе углекопа, даже — в пошлой форме гарсона...

Гудели, как в улье, человеческие голоса; слышались приветствия, вопросы давно не видевших друг друга людей. Разделенных расстояниями и недосугом, не успевающих никогда наговориться досыта и отвести душу.

— Господа офицеры!..

Разговор смолк.

...Расходились сумрачные. Кароева затащил в кафе приятель — одноногий инвалид, когда-то безумно храбрый в боях, теперь не справившийся с собою в битве жизни. Пьет, опускается... Его любят однополчане, поднимают на ноги, дают возможность подлечиться, поправиться. Он крепится до поры до времени и опять...

Кароев пригубливал, приятель его пил много и соловел. Стараясь обнять Кароева непослушной рукой, он говорил тоскливо:

— Скажи, друг, ведь правда? Если тебе н-нечего сказать нам — лучше н-не зови!.. Н-не растрavляй...

* * *

Было очень поздно — Кароев возвращался домой с последним метро. Удивил его свет в дверной скважине. «Уж не заболела ли Манечка?» Постучался. Дверь открыл ему какой-то бритый господин, с удивительно знакомыми глазами.

— Не узнал?

— Сережа, брат!..

Перед ним стоял действительно его брат — выходец с того света. Сбритые усы и борода изменили наружность его до неузнаваемости. Он несколько похудел, отчего заострился еще более его резкий профиль, и глубже стало тоскующее и одновременно жесткое выражение его глаз. Хорошо одетый, со свободными движениями и жестами, без признаков той напуганности и опасливости, которые так характерны первое время для людей, вырвавшихся оттуда.

Крепко обнялись.

— Ну вот, говорят, чудес не бывает... Я не могу прийти в себя... Как, какими судьбами?..

— Я уже успел рассказать кой-что из своей одиссеи Анне Петровне!..

— Ну, что за официальности!

— Виноват — Ане. Вы позволите так — по-родственному?

— Ради Бога!

— Так вот, повторю вкратце...

Это была история изумительная по сказочной шире «места действий», по фантастике положений и драматизму переживаний. Но... уже ставшая почти банальной в условиях советской действительности, где давно стерты грани между самой реальной правдой и самым буйным вымыслом.

Спокойный, даже холодный, рассказ Кароева-старшего, лишенный какой бы то ни было рисовки, захватывал его слушателей. Проносились картины... Крым Бела-Куна, в кровавом отблеске пронесшегося смерча... Тысячи верст по потрясенной, разоренной, недоумевающей Руси, глядящей мертвенным оскалом обуглившихся домов, разрушенных мостов, могильной тишью бесконечных, заросших сорною травой, неоплодотворенных полей... Заволжье, Сибирь, тайга... В потоке, стихийно устремившемся за хлебом, в теплушке красноармейцев, на площадке, под вагоном... В чека, под надзором, на свободе... Писарем красного дивизиона, кооператором, даже коновалом... Потом обратный путь — в Москву: опять фальшивые документы, слежка, чека, чудесное освобождение. И всегда — чувство затравленного зверя, всегда — днем и ночью — ожидание налета, ареста и... смерти.

— Ты ведь знаешь, — говорил Кароев-старший, — меня бы они не помиловали. Под конец я устал уже до такой степени, что перестал бояться. Пойти объявиться — не хватило бы сил. Но если бы пришли *они* сами — это казалось избавлением. И потому, когда однажды, проходя по улице, я услышал за собой шаги и окрик: «Товарищ Кароев, стойте!» — я подумал про себя: «ну, вот и конец»... Уверяю вас — подумал совершенно спокойно.

Кароев-старший остановился; взгляд его жестких глаз стал еще тоскливее и острее.

— Теперь я должен коснуться одной области — очень деликатной... Есть такие вещи, о которых не говорят отцу

родному... Вы должны понять и не расспрашивать меня ни о чем более... Остановивший меня на улице человек был не враг, а друг. При его посредстве я поступил в тайную противобольшевицкую организацию. От нее я и приехал сюда с важным поручением. Все это, конечно, должно остаться между нами. Запомни: я — не Кароев и не брат твой; я — коммерсант, латвийский гражданин Калниц... Остановился я невдалеке от Трокадеро — он называл приличную гостиницу — это я говорю тебе на всякий случай; но без особенной надобности ко мне не заходи. Будем видиться у вас или в нейтральных местах.

Уже плыли за окном утренние шумы. Манечка — от света и голосов — спала беспокойно; разметалась на кровати и сквозь сон звала маму. Кароев и Анна Петровна сидели задумчиво, полные впечатлений от рассказа, глубокого сочувствия к перенесенным мукам и серьезного, бережно-почтительного отношения — она с примесью даже страха, — к большой тайне брата, соучастниками которой они стали.

— Только один-единственный вопрос... — Глаза Кароева-младшего заблестели. — Когда же? Правда ли, что скоро? Потому что измотались совсем, душа пустеет...

— Не знаю дня и часа. Но советская власть неуклонно движется к пропасти, и наша задача в том именно и состоит, чтобы дать ей последний толчок. Ну, довольно об этом. Рассказывайте, как живете.

Кароев махнул рукой. Что их серенькое житье, их лишения и маленькие заботы в сравнении с той полной захватывающего интереса жизнью, что развернулась перед ними! И рассказывать неловко.

— Впрочем, я и сам вижу, — Кароев-старший окинул взглядом комнату, — что совсем неважно. Да и поздно уже. Оставим до другого раза.

Встал, стал прощаться. Вспомнил что-то.

— Да, скажи, пожалуйста, ты не знаком с полковником — Впрочем, может быть, он и подполковник — Стебелем и с инженером Шуфовским?

Он вынул из бумажника записку.

— Как зовут их — не знаю, но инициалы первого Н. К., а второго К. Т.

— Полковника Николая Константиновича Стебеля знаю, — бывает иногда у нас. А об инженере не слышал.

— Не можешь ли познакомить меня со Стебелем?

Кароев переглянулся с Анной Петровной. Она нерешительно сказала:

— Может быть, послезавтра зайдете вечером; к нам соберутся, и он, вероятно, будет.

— Аня — именинница во вторник...

— Нет, знаете, латышу Калницу неудобно показываться в обществе, где его могут легко признать... А кто будет?

Кароев назвал.

— Как будто незнакомые... Впрочем, идет! Столько лет я не видел вашей братии, что хочется нестерпимо посмотреть, послушать, чем вы живете. Приду.

* * *

Утром, во вторник Кароев-старший заехал за Анной Петровной — попросил помочь ему сделать кой-какие покупки. Познакомился с Манечкой и узнал ее печальную историю. Анна Петровна хотела оставить Маню у соседки, но он воспротивился: посидит в такси, никому мешать не будет, а ей — только развлечение. Снес ребенка вниз бережно и ласково, и от этого материнское сердце наполнилось чувством умиления и благодарности.

Оказалось, что ему лично покупать ничего не нужно было. Заехали в большой русский гастрономический магазин, где Кароев набрал целую гору закусок, водки, вина — к именинам. Анна Петровна удерживала его, раскраснелась даже от волнения, обратив на себя внимание приказчиков и покупателей. Удалось отказаться только от шампанского.

— Ни за что! Теперь одни лишь большевики могут позволять себе такую роскошь.

Приказчик почтительно ухмыльнулся:

— Не скажите. И из беженцев многие одобряют...

Чувствовалось почему-то, что эта профессиональная улыбка, это «одобряют» — все деланное, актерское, пришедшее вместе с социальным превращением, прилавком и приказчиным халатом. Новая «форма одежды»...

Рассчитываясь у кассы, Кароев наводил вполголоса какие-то справки. Сказал адрес ждавшему их шоферу. Когда остановились, вынес Манечку из автомобиля. Вошли в большой ортопедический магазин. Анна Петровна замерла, боясь поверить своим предположениям, стесняясь спросить. И только когда Кароев обратился к Манечке: «Ну, теперь рассказывай по-французски, какие такие тебе нужны “стальные сапожки”», — она отвернулась и, торопливо порывшись в сумке, достала платок и поднесла его к лицу...

Дома Анну Петровну ждала еще одна маленькая радость. Хозяйка передала ей посылку — большую шляпную картонку, зашитую в коленкор и носившую следы далекого пути и вскрытую: мама прислала из Полтавы кулич — настоящий русский, желтый, сдобный. Кулич разломался в дороге и зачерствел, но это не беда. Главное — оттуда, *из дому*, из теста, замешанного дорогими старушечьими руками, словно впитавшего в себя воздух родных мест, любовь и тоску...

Анна Петровна думала о том, что сегодняшние именины одни из самых счастливых в ее жизни. Было радостно, и хотелось плакать.

Хозяйка заплатила за посылку пошлины 10 франков, надо было вернуть. В сумке подходящих монет не оказалось, и она, став на стул, достала том Пушкина. Перелестав от начала до конца и еще раз, была поражена и испугана, найдя вместо четырехсот франков только пятнадцать...

Вечером, когда проснулся муж, оба смеялись долго над «тайной его преступления»...

* * *

Манечку «подкинули» на ночь соседке. Двухспальную кровать с трудом разобрали и вынесли по частям в коридор. Посуду собрали понемногу от соседей. Стулья и лишний стол дала хозяйка, которой подарили большую коробку консервов из русского магазина и которая, вообще, последнее время стала немного любезнее. Она сама носила им стулья — больше из любопытства, впрочем, и, вернувшись к себе, говорила дочери:

— Какой странный народ, эти русские! Совсем не умеют жить: бедствуют, голодают, ни одной рубашки без заплат, а в один день прокутить месячное жалованье — это им нипочем! Зайди посмотри, что там делается. Спроси для виду — не нужно ли чего-нибудь из посуды.

Гости начали собираться около восьми. Пришел «Калниц» и три однополчанина Кароева с женами; полковник Нарочкин; одноногий инвалид; капитан Кубин, ухитрившийся стать распорядителем торгового акционерного общества и среди своих носящий кличку «спекулянта», — он принес имениннице букет золотистых хризантем: не молодой уже человек, которого все звали просто «поручиком»... Словом, комната была полна, почти целиком занятая большим столом с грудой закусок и бутылок и сидящими вокруг него людьми.

Когда вошел генерал, все офицеры поднялись — по-старому... — Генерал был один, без жены — ей неловко было показаться у Кароевых, после тогдашнего хлопанья дверьми... Принес в кармане 50 франков — другие 50 успели проесть. Но, увидев обилие закусок, решил, что Кароев разбогател и можно повременить с отдачей... И тут же мысленно обозвал себя «подлецом».

Калниц внимательно присматривался ко входящим. Один из «заводских», скромный, добродушный человек, старался занять одинокого соседа и вводил его в курс общих интересов и непонятных для него ситуаций. Калница заинтересовал чин «поручика», явно не соответствовавший возрасту офицера.

— Собственно, он капитан, а почему его так зовут — пусть сам скажет.

Поручик услышал разговор, повернулся к ним и без улыбки, чеканя слова, сказал:

— Произведен в поручики Высочайшим приказом в декабре шестнадцатого. Прочие чины — не в счет.

Решили, не дожидаясь запоздавших, приступить к закуске. Поручик, налив водки, встал и, вытянув левую руку по шву, правой быстро опрокинул в рот рюмку; сел.

— Это, собственно, что обозначает?

— Подражание хорошему японскому обычаю: первый молчаливый тост — громко ведь не всегда уместно — за здоровье Его Императорского Величества.

— Кого?

— Законного Российского Императора.

Сидевшая напротив молодая дама, по моде стриженная, по моде подкрашенная, засмеялась.

— Ах, поручик, вы одержимый!..

— Никак нет: верноподданный.

— Господа, бросьте, а то опять он начнет...

— За здоровье дорогой именинницы!

— Ур-р-а-а-а!..

— Тише! Господа, что вы! Не забываете — за стеной свирепая хозяйка.

Разговор быстро оживился. Он шел по группам и касался, главным образом, житейских будней. Дамы беседовали между собой. Анна Петровна продемонстрировала Манечкины «стальные сапожки» и пожаловалась на неудачу с прожженным платьем. Другая дама — постарше, худая и желчная, уверяла, что предпочитает работать на какую угодно французскую певичку, чем на своих русских «буржуев».

— Вчера, представьте себе, примеряла платье этой Шуйкиной — мы знаем откуда у них средства... Так шесть раз пришлось то укорачивать, то удлинять подол. Прямо для издевательства! Полчаса ползала перед ней по полу...

Молодая красивая дама с очень усталым лицом, рассказывала, что теперь стало немного легче. Но последние четыре месяца, когда сократили производство на заводе, где работает ее муж, пришлось ей заняться поденщиной. И вот какие оригинальные бывают положения: поступила к... персидской принцессе — тоже ведь политическая эмигрантка, свергнутой династии. Вся квартира обставлена в восточном вкусе, пропитана нежными ароматами, убрана цветами, коврами, подушками. Словом — экзотика. Гостей принимает много и пышно. И случайно оказалось — умеет говорить по-русски. Хотя с акцентом, но довольно свободно...

Вмешался Нарочкин:

— Эх, знаете, подозрительная ваша принцесса...

Говорили о том, что квартиры как будто стали дешевле, а провизия, несмотря на стабилизацию франка, все дороже и дороже.

«Заводские», бывшие на разном расчете, спорили о преимуществах сдельной платы перед фиксом. Генерал объяснял Калницу несовершенство французских законов об охране труда.

И опять говорили о ценах, о дороговизне, о трудности найти работу...

— Господа, это прямо удивительно, — покрыл общий гул своим голосом полковник Нарочкин. — Ну мыслимое ли дело, чтобы когда-нибудь в доброе старое время на именинном пироге, в обществе генералов, полковников и милых дам шел разговор о ценах на подметки и брюки, о «плонжерах», поденщине и прочем...

— Стойте, дорогой, — перебил генерал, с явным удовольствием дожевывая кусок кулебяки. — Не считаетесь с фактом борьбы за существование и с социальным законом: род занятий определяет склад понятий, и — я бы сделал вольную прибавку — и характер разговоров. Мы, здесь присутствующие — в двойственной ипостаси: с одной стороны — полковники, интеллигенты, с другой — *mapoeuvres spécialisés*¹; с одной стороны — полковницы, бывшие институтки, с другой — *femmes de menage*². Вот и получилась мешанина — смею думать, не в урон нам перед лицом потомственного пролетариата. И не у одних нас — беженцев — такое положение. Если судить по газетам, так и в Австрии, в Венгрии, отчасти в Германии... Да и повсюду — кризис интеллигенции, особенно жестокий в побежденных странах. Скольких он выбросил на улицу! Вот и заговорили о цене на хлеб и подметки... Только у нас жила оказалась крепче. Впряглись, кряхтим, но возем без откату. А вы посмотрите, какая масса самоубийств в Будапеште, например, или в Вене... Так-то! С другой стороны — что далеко ходить за примером... И среди нас есть такие, которым чужды наши разговорчики. Вот хоть бы «спекулянт» наш... Скажите, дорогой, по совести, вы знаете, сколько стоит фунт мороженого мяса?

Кубин улыбнулся.

— Никак нет, ваше превосходительство, не интересуюсь.

¹ Чернорабочие.

² Домработницы.

— А чем вы «интересуетесь»?

— В данное время одной вновь изобретенной эссенцией для моторов и только en gros¹.

— А раньше?

— О, очень многим: балканскими яйцами для Франции и пухом для Швейцарии; латвийским и польским картофелем для Бельгии; английскими послевоенными «стоками» для Венгрии; венгерским тряпьем для Германии; немецкой маркой и французским франком в период инфляции — всем понемногу.

На лице соседа Калница выразилось явное восхищение.

— А ведь без копейки начал. Голова!

— Но, кажется, вы немного погорели на деле Троцкого? — не без яду спросил Нарочкин.

— Ваше замечание неверно. Я, кажется, один из немногих, благополучно унесших ноги.

Послышался тягучий и не совсем уже твердый голос инвалида:

— Дружище, М-митя, за тебя я спокоен... Ты н-не пропадешь...

— Спасибо.

— Воз-зьми меня в компаньоны...

— Никак нельзя. У нас сухой режим.

Все смеялись.

* * *

Пустели тарелки, бутылки. Гости приходили в благодушное настроение, становились шумнее и откровеннее. По русской натуре иные изливали друг другу интимные подробности своего горя или неудач — завтра будет от этого стыдно...

Увидели русский кулич и умилились. При этом невольно начали вспоминать про старое, говорили с тоской о России, о том, как все там переменялось — и быт, и люди. Пожалуй, почувствуешь себя совсем чужим, когда вернешься...

¹ Оптом.

Калница не было слышно. Лицо одного из гостей показалось ему знакомым. За наружность свою он не беспокоился. Но голос... И из предосторожности он разговаривал вполголоса только со своими соседями — генералом и «рабочим». Это никого не удивляло: приписывали застенчивости человека, попавшего в новое, незнакомое общество.

Радостными восклицаниями приветствовали вновь вошедшего гостя — шофера в ливрее. Сбросил ее и предстал хорошо одетым молодым человеком. Склонился к руке именинницы, положив незаметно на стол букет роз и коробку конфет.

— А, Володя, что так поздно?..

— Сюда, сюда садись!

— Ур-ра-а!

— Почтить его вставаньем!

— Тише, господа, ради Бога!

Сосед Калница пояснял ему:

— Душевный человек. Видите — какой худой, в чем только душа держится! А работает запоем — бывает, по 20 часов подряд... Да деньги у него как-то не держатся. Когда есть — раздает, все больше без отдачи. И я, признаться, грешен...

— Володя, расскажи, как ты маркизу возил.

— Господа, да дайте же человеку поесть!

— Владимир Иванович, а вы кушайте и рассказывайте — я что-то слышала, вы богачом чуть не стали.

— Да, был богат весь день в воскресенье: клиент с утра в *voitur'e*¹ чемоданчик забыл. Такой буржуйный, из дорогой кожи... После обеда встретился я, как водится, с однополчанами, покатали их, прогуляли до вечера. А под сиденьем — находка...

— Ну и что же?

— Кончил день, повернул по привычке к гаражу, вспомнил и...

— Ну, ну?.. — раздалась нетерпеливые голоса.

— И отвез чемодан в комиссариат.

Дамы вздохнули разочарованно.

¹ Автомобиль.

— Там его изуродовали при вскрытии. Оказалось — всякие безделушки и драгоценности дамские на крупную сумму. В комиссариате со мной разговаривали по-хамски, почитая не то за вора, не то за дурака.

— И чем же кончилось?

— А вот заезжал я днем домой и застал письмо. Сего дня, оказывается, мой рассеянный клиент получил свои вещи и прислал мне, кроме сердечной благодарности, приложение в 200 франков — больше, пишет, не может. Завтра же сообщу ему, что эти деньги внесены в пользу безработных.

— Ну, уж это смешно...

— Может быть... Теперь — довольно! Другой раз дурака валять не буду.

— Не верьте, господа, — отозвался Кароев. — И в следующий раз то же сделает.

Стали, шутя, спорить о том, как поступили бы присутствующие, найдя что-либо ценное, вернули бы или нет? Мужские голоса разделились; дамы, кроме одной, решили: «ни за что».

— Расскажите-ка лучше политические новости, — обратился к шоферу полковник Нарочкин.

— Не осведомлен.

— Говорите! А о чем вы так долго в церкви беседовали в прошлое воскресенье с...

— Однако вы очень наблюдательны... Не о политике, во всяком случае... Довольно. В нашей беженской политике — только грызня да подсиживание. Извозчицье ремесло куда чище. А вот вы — я слышал — Гофмана нам сватаете?

— Ну, знаете, я слишком малая сошка, чтобы... Но, по существу, что вы можете иметь против такой комбинации?

— А сколько он с вас возьмет? С большевиков в восемнадцатом году взял без малого треть Европейской России.

Вмешался генерал:

— Это в вас, дорогой, говорит старая психология пресловутой «союзнической верности». Довольно нам союзнички напакостили. Пора бы понять. Пусть помогает,

кто может, и берет, что хочет, лишь бы помогли. В свое время всё вернем. Ведь каждый лишний день советского владычества, ох, как дорого обходится стране! — вот что учесть надо. Да к тому же — не наше с вами это дело. Про то знают те, кому ведать надлежит.

— Правильно, — отозвался один из «заводских». — Хоть с чертом, только бы...

— Союзническая верность тут, ваше превосходительство, ни при чем. Мне странно кажется только та легкость, с какою мы здесь расплачиваемся за счет России.

Генерал хотел возразить, но в это время вошел полковник Стебель, и разговор прервался.

— Что же вы это к шапочному разбору! Как жаль.

— Простите, не мог раньше.

Калниц перенес все свое внимание на вошедшего. Сосед его, дававший ранее пространные объяснения, теперь был лаконичен:

— Вот это человек!

И другие гости отнеслись к вошедшему с особенным вниманием. Даже инвалид как-то подтянулся и стал подбирать ножом неряшливо разбросанные вокруг его прибора крошки и окурки.

— Николай Константинович, — обратился шофер к Стебелю, — поддержите меня...

— А вот дайте выпить за здоровье именинницы... В чем же дело?

— Генерал с Нарочкиным проповедают поход на Советы «хоть с чертом и какою угодно ценою». Как вы смотрите на этот вопрос?

— Совершенно отрицательно. Во-первых, я не вижу пока подходящих условий для интервенции. Зачем напрасные обольщения? Но допустим, что обстановка изменится... Несомненно, что весьма большая часть военного беженства пожелала бы пойти в поход. Вот здесь присутствующие, например, я уверен — все пошли бы...

— Если на то последует Высочайшее повеление, — перебил поручик.

Полковник усмехнулся.

— Беда в том, что ни революции, ни контрреволюции не возникают по Высочайшим повелениям... Явления эти

посложнее. Но оставим этот вопрос... И уверен, что и наш «спекулянт» пошел бы, хотя он очень занят. И как образцово поставил бы он снабжение экспедиционного корпуса!..

Кубин привстал и, иронически улыбаясь, поклонился. Из «заводского» угла прогудел басок:

— Почтить его вставаньем.

— ...Вот только инвалид наш ослабел...

— Я-то? Николай Константинович, отец родной! С вами — хоть к черту н-на рога! И пить брошу...

— ...Но все это — только принципиальная сторона вопроса. Дальше — труднее. В доброе старое время все было просто: традиции, присяга, дисциплина, приказ. Теперь — все основано на инерции и доверии. *Добровольная* дисциплина... — она потребовательнее... Ей нужно знать, например, и кто союзники? Идут ли они лишь свергать советское правительство или завоевывать и грабить Россию!.. Ибо тогда нас встретила бы страна как изменников, а не как освободителей... И понесем ли мы с собою подлинное освобождение и те именно блага, о которых мечтает народ? Наконец — как пойдём? Вы посмотрите — какой наш состав: ведь самому молодому из нас — юнкеру, защищавшему в свое время Перекоп, — теперь под тридцать. И с каждым годом эта невязка заметнее... Слов нет, наше зарубежное «старое» офицерство — элемент великолепный по духу и по опыту, хотя и ослаблено годами и невзгодами. Но... как его использовать надлежало, чтобы этот драгоценный костяк оброс молодыми и крепкими мускулами?.. А подросшая зарубежная молодежь, которая еще не воевала — воспитывается ли она в созвучном с нами настроении?

Видите, как все сложно...

Наш возраст, опыт, все пережитое сделали нас более сознательными и осторожными. Вот мы и хотим — и, думаю, имеем право знать: с кем, с чем и как? А узнать, уверовав — тогда уже руку к козырьку, «Слушаю!», и — никаких.

— Верно! — отозвалось горячо несколько голосов, и в их числе — тот, что недавно хотел идти «хоть с чертом».

* * *

Пустели бутылки. Хмель бродил в головах — легкий, приятный. Мысли уходили далеко от всего тяжелого, будничного, настоящего. В прошлое — облакая его покровом ласки и тихой грусти, как будто и не было в нем вовсе ни горя, ни грязи... В будущее — несущее — о, несомненно! — отраду и избавление, как будто мало еще таится в нем колючих терний...

— Нельзя не пить рабочему человеку, — говорил один из «заводских» «спекулянту», — иначе задумываться начинаешь...

Другой, склонившись к генералу, отводил душу:

— А помните, ваше превосходительство, как под... вы послали меня с батальоном в обход — брать хутор... Как подумаешь — какие люди были! Под убийственным огнем, без единого выстрела... И почти никого не осталось. Кого ни вспомнишь — убит...

Один из гостей запел:

Пусть свищут пули, льется кровь,
Пусть смерть несут гранаты...

Все подхватили.

Раздался стук в стену. Анна Петровна заволновалась. Калниц кивнул ей, вышел на минуту и, вернувшись, сказал тихо:

— Ничего, уладил...

Не плачь о нас, святая Русь,
Не надо слез, не надо...
Молись за павших и живых,
Молитва — нам награда...

Лилась стройно и красиво знакомая песня, ритм и немудрящие слова которой давно уже переросли свой смысл и значение... Песня, распевавшаяся на позициях великой войны, потом под Орлом и Царицыном, под Киевом и Одессой, во Владикавказе и Дербенте. И впитавшая в созвучья свои радость былых побед, и боль поражений, и весь скорбный путь, и неугасшую, невзирая ни на что, надежду...

И когда звучали последние строфы:

Вперед, полки лихие!
Господь за нас — мы победим.
Да здравствует Россия! —

...невольно подкатывало к сердцу щемящей болью и радостью, дрожали складки над бровями, и глаза застилало влагой...

Начали расходиться. Воспользовавшись освободившимся местом. Калниц подсел к полковнику Стебелю, и между ними начался разговор вполголоса. Скоро оставались только они и инвалид, который тихо и не совсем твердо напевал: «Занесло тебя снегом, Россия...» По-видимому, он тоже поджидал Стебеля. Анна Петровна, чтобы дать им возможность поговорить, старалась занять инвалида.

Наконец Стебель встал. Вышли втроем на улицу. Инвалид покачивался, но был еще достаточно трезв. Сказал просительно и серьезно:

— Николай Константинович, я вас провожу домой.

— Не надо, вам пора спать.

— Ну, так я при нем... Все равно. Николай Константинович, все опротивело, решил пошабашить. Так хоть с пользой, чтобы вспоминали добром пьяницу и озорника... Хочу угробить Ра...

Полковник закрыл ему рот ладонью.

— Тсс... Молчите! Что вы — с ума сошли?

Калниц подошел к инвалиду, взял его за руку повыше локтя, сжал сильно и, пристально глядя в глаза, сказал:

— Приходите завтра в четыре в кафе, что против остановки метро Леколь Милитер. Мне с вами надо поговорить. Только — трезвым, слышите?

И странно было видеть, как дерзкий и во хмелю и в трезвом виде инвалид вытянулся перед незнакомым ему человеком, позволявшим себе такое обращение, и почти-точно, по-военному ответил:

— Слушаю!

Стебель с недоумением взглянул на Калница. Тот сказал:

— Я потом вам доложу....

Провожая полковника, Калниц, склонившись к нему, продолжал начатую в комнате беседу:

— ...Личный контакт необходим — он откроет нам широчайшие перспективы. Вы не поверите, с каким душев-

ным трепетом мы, еще не зная вас, наблюдали, скорее, чувствовали, ведущуюся параллельно с нами вашу самоотверженную работу, которой так боятся большевики. О, они дорого бы дали, чтобы уловить ведущие к вам нити...

* * *

В большом кабинете с тщательно занавешенными окнами собрался десяток видных деятелей, чьи имена выпадают постоянно на страницах зарубежных газет и вызывают невольно представление о больших и ярких эпизодах прошлого, о предгрозовье, смуте, борьбе...

Хозяин квартиры отличался большой терпимостью, и потому в политическом отношении состав общества был довольно разнообразен. Это оправдывалось и исключительной важностью сегодняшнего собрания. Потому, вероятно, — и завешенные окна, и неполный свет, и некоторая напряженность ожидания.

Хозяин беседовал с бритым господином, глядевшим сосредоточенно, печально и жестко. Звонок телефона — хозяин вышел. Тотчас же к бритому господину подошли двое и стали говорить, волнуясь и перебивая друг друга:

— Вы совершенно не бережете себя. Разве так можно...

— Вас видели и в церкви, и в русском театре...

— Ну, если не из-за себя, то из-за того важного дела, которому вы служите...

— Собственно, и это собрание слишком многочисленное...

Бритый господин улыбнулся.

— Когда годы ходишь по краешку пропасти, то перестаешь думать об опасности. Профессиональная привычка.

Открылась дверь. Хозяин ввел нового гостя.

— Ну, теперь, кажется, все...

Он указал рукою место против себя бритому господину и обратился к присутствующим:

— Пожалуйста, господа, садитесь.

Потом, по давнишней привычке председательствовать, постучал карандашом по столу, хотя внимание всех было и без того сосредоточено.

— Повод нашего сегодняшнего собрания, господа, совершенно исключительный. Оторванные от родной земли

в течение стольких лет, мы утратили связь с нею, утратили способность разбираться в процессах, там происходящих. Многие были уверены в том, что в советской России народные массы задавлены до такой степени, что ими утрачена окончательно воля не только к активному сопротивлению, но и к самому жалкому протесту.

Он повысил голос и стукнул ладонью по столу.

— Но это нет! Там растет революционное движение, там создались широко расставленные боевые организации, ведущие борьбу с коммунистической властью не на жизнь, а на смерть, проникшие своими щупальцами не только в народную толщу, но и в самые сокровенные части советского механизма. Один из руководителей такой организации — среди нас. По понятным причинам я не буду называть его имени: *nomina sunt odiosa**... Понятно также, что все, что здесь будет говориться, должно быть сохранено в глубочайшей тайне. Итак, господа, я передаю слово... — жест в сторону бритого господина, — будьте добры!

Докладчик начал говорить. Резко, скупно в выражениях, с простотой и строгостью. Он сделал оценку современного положения советской России и советской власти, которая, «упираясь всеми конечностями», вынуждена все же уступать одну позицию за другой и медленно, но верно катится к термидору и к своей гибели. Говорил о возрождающийся жизни во всех ее проявлениях, о подъеме сознательности и экономического благосостояния в населении, придающих ему голос, силу и волю к сопротивлению, к борьбе.

По временам докладчик обводил глазами присутствующих, и когда ему по выражениям лиц казалось, что кто-либо относится скептически к его доводам, останавливал на том свой упорный взгляд и раздельно, чеканя слова, говорил как будто ему одному.

— ...Голодный, изнуренный будет нести с тупой покорностью свое постылое ярмо. Сытый же восстанет. И потому первейшим условием успеха борьбы — это касается особенно эмиграции — мы считаем устранение всех препятствий к экономическому возрождению нашей родины.

* Букв. «имена ненавистны»; не будем называть имен.

Один из слушателей во время речи то снимал нервно, то одевал опять пенсне, что обличало в нем волнение. Поймав взгляд хозяина, он знаком попросил слова, и получил согласие.

— Прошу извинения, что перебиваю докладчика, но меня смущает один весьма важный вопрос... Из слов ваших можно вывести заключение, что мы не должны чинить препятствий и к получению советской властью иностранных кредитов. Так ли я понял вас?

Докладчик секунду помолчал.

— Я прекрасно отдаю себе отчет в том, как может быть встречено мое заявление в данной аудитории. И тем не менее скажу без колебания: да, вы поняли именно так! Мы считаем, что эмиграция совершает крупную ошибку, более того, преступление, используя свое влияние, свою прессу для противодействия русским займам...

— Вы хотели, очевидно, сказать советским... Но не считаете ли вы, что иностранные деньги пошли бы только на деятельность Коминтерна и, вообще, на нужды и укрепление советской власти?

— Отчасти — может быть. Но это не важно. Пусть даже половина кредитов будет загублена, зато другая пойдет по прямому назначению — на восстановление народного хозяйства. А это даст могучий прилив сил и толчок к развязке.

Его оппонент недоуменно развел руками, нервно сбросил пенсне и замолк.

— И наконец, самый щекотливый вопрос... Вы можете отнестись с недоверием — и это ваше право — ко мне и к организации. Мы в этом отношении бессильны. Чем мы можем доказать вам, что мы — фактическая серьезная противобольшевицкая сила, а не миф и не провокация? Быть может, теми строками советских «Известий», которые говорят о ряде террористических актов и поднятых нами волнениях против коммунистической власти? Но характер нашей деятельности требует сугубой конспирации, а святые для нас имена наших мучеников ничего ровно не говорят вам. Повторяю — мы бессильны. И потому — скажу прямо — мы не ожидаем от вас полного доверия. Смотри-

те на помощь нам, как на предприятие, сопряженное с известным риском, но, ради Бога, не умывайте рук.

Нам нужны деньги и люди.

Конечно, мы справились бы и сами, как справлялись до сих пор... Но ваша помощь позволит развернуть еще шире нашу деятельность, даст нам моральное удовлетворение и пополнит наши ряды новыми элементами высокого жертвенного служения, которыми, как я убедился лично, так богата еще русская эмиграция, и в особенности белое офицерство...

Поднялись. Хозяин извинился и на минуту потушил электричество. Взглянул из-за портьеры в окно: улица была совершенно пуста. Зажег свет опять. Начали расходиться, обменивались вполголоса впечатлениями. Обсуждение тезисов доклада отложено было до другого раза, без участия докладчика. Один из присутствующих долго что-то шептал докладчику и, уходя, в дверях уже бросил:

— А относительно «металлических вещей» не беспокойтесь — сколько угодно!..

* * *

В доме Кароева все повеселели. Анна Петровна удачно распродала пошетки и расчет за последнюю неделю получила хороший, сверх ожидания. Новое начальство Кароева на заводе оказалось вполне приличным. Да и вообще настроение его, в связи с подъемом, периодически охватывающим беженство, и с теми отрывочными сведениями, которыми делился с ним изредка брат, сильно поднялось.

Будто в темный подвал, в который упрятала их жизнь, заглянул луч света.

А тут еще Манечка... После нескольких репетиций со «стальными сапожками» дома, девочку усадили в коляску и повезли в парк. Оба с волнением и радостью наблюдали, как ребенок, с удивлением поглядывая на свои толстые, поблескивающие ножки, неуверенно, но прямо зашагал по гравию дорожки. Первый раз в жизни!

Брат заходил к ним редко — всегда поздно вечером — и оставался недолго. Предложил помочь — Кароев поче-

му-то, сам хорошенько не понимая своего упорства, отказался. Взял только 300 франков. Посмеялись: «десять долларов с лихвенными процентами». Кароева-младшего, по правде сказать, несколько обижало отношение брата. Ему казалось, что брат питает к нему слишком мало доверия. Ведь мог бы, если бы хотел, привлечь его к делу... С какой радостью он променял бы свою постылую работу на ту, во сто крат более трудную и опасную, но захватывающую по своей идее. Сам не хотел об этом говорить. Попросил жену «намекнуть при случае». Анна Петровна, без особенной, впрочем, охоты, наметнула.

— Видите ли, Аня, я решительно отказываюсь втягивать брата в наше предприятие. Я — один, у него — семья. Все мы ходим ежечасно между жизнью и смертью. Довольно и одной кароевской головы...

Анна Петровна в душе порадовалась такому исходу.

Дела брата, насколько можно было судить по его скудным, отрывочным фразам, шли хорошо. Случайно оброненные имена людей с видным общественным положением свидетельствовали о солидных связях. Некоторые суждения и прогнозы, слышанные Кароевым от брата, появлялись на столбцах газеты, с сочувственным откликом и с пояснением, что высказаны они «весьма авторитетным лицом, недавно прибывшим из советской России...».

В воскресенье Кароев с женой и с Манечкой зашли в церковь. Пели Херувимскую. Никогда — для очень многих, по крайней мере — потребность в *своем* храме не бывает такой мучительной и летучей, как на чужбине, в изгнании. Кароев сегодня не вникал в смысл молитвенных возгласов и песнопений. Душа его сама впивала в себя привычное с детства, родное, «нездешнее», излучавшееся от сводов потемневших, от ликов благостных и суровых, от света паникадил и клубов дыма кадильного; от торжественного ритма служения и звуков небесных, то ударяющих в своды хвалою и радостью, то замирающих тихой мольбою... Стоит только полузакрыть глаза и постараться не думать. И уходят далеко серые будни, с ревом стальных чудовищ, с «пьесами» и контрметрами, с безработицей и голодовкой...

«...Всякое ныне житейское отложим попечение»...

...И нисходит тихое, светлое, примиряющее...

Кароев подумал — много ли среди присутствующих в храме людей искренно и глубоко верующих?.. И скольких привело к Богу и в храмы — в чайные воскресения — горе и взывание Родины? По себе и по другим он чувствовал, видел, как меняются лица молящихся и даже голос священнослужителя, когда возносится прошение:

«О страждущей стране Российской»...

Закрывать глаза и не видеть — можно. Но не слышать нельзя... Возле Кароева двое трещали что-то о своих делах, и этот разговор врвался пошло и грубо в его настроение. Подошел сзади знакомый шофер. Поздоровался.

— Отчего не зовете никогда? Я слышал, у вас недавно здоровый выпивон был!..

— Ну...

Настроение сошло. Спустился на землю. Обвел рассеянным взглядом находившихся в церкви. В среднем проходе увидел вдруг проталкивающегося вперед брата. Брат почтительно, но с достоинством склонился перед пожилым сановного вида человеком; тот повернулся, взял подошедшего за талию и с приветливой улыбкой что-то говорил ему.

Шофер, толкнув Кароева, указал глазами на разговаривавших.

— Видите — бритый этот — не то англичанин, не то американец... Везу их на прием... Прощайте, выходят уже. Так позовете?!

Возвращаясь домой, Кароевы встретили на улице одионого инвалида. Он шел с озабоченным видом и был совершению трезв. Кароев не мог скрыть своего изумления:

— Чудеса!

— Ты что это, насчет градусов? Целую неделю ни маковой росинки! Занят по горло важным и ответственным делом. Рассказал бы тебе, друг, но... есть такие вещи, о которых, не говорят отцу родному. Скоро услышишь... Тороплюсь.

«Есть такие вещи»... Кароев вспоминал, от кого он слышал недавно точь-в-точь такую же фразу...

* * *

Последнюю неделю старший брат не заходил к Кароевым ни разу. Это очень смущало их — не случилось ли чего-нибудь? В таком деле все возможно... Брат предупреждал — без крайней надобности не ходить к нему в гостиницу... Поэтому Кароев решил съездить после ужина к полковнику Стебелю — быть может, он что-либо знает... Дома не застал. Соседи-французы сказали ему, что русский мосье недели две тому назад уехал — кажется в Прагу, и до сих пор не возвращался.

Кароев повернул к Трокадеро, вблизи которого оставился брат — так, на всякий случай... Подошел к гостинице. Многоэтажный дом с мраморной облицовкой нижнего этажа, с обширным вестибюлем, уставленным кадрами с цветами. Через окно видна была контора и в ней швейцар, по важности похожий на министра.

Заходить не хотелось — брат будет недоволен, да при том же эта проклятая застенчивость: отвык; в порядочный *hôtel* неловко стало заходить... Походил с четверть часа мимо гостиницы и не утерпел — зашел все-таки.

— Скажите, пожалуйста, дома господин Кароев?

«Министр», не отрывая глаз от счетов, процедил:

— Не останавливался.

— Как?

Кароев растерялся и покраснел. «Фу, какой скандал — ведь брат не так прописан. Подведешь еще, чего доброго»... Поправился:

— А господин Калниц?

— Уехал экстренно утром в Берлин.

Без сомнения, случилось что-либо серьезное. Уехал так поспешно, не зайдя проститься. Хоть бы написал несколько слов...

Возвращаясь домой, Кароев думал об их детстве, о старом кароевском доме. Брат был много старше его и пошел по другой дороге: до призыва он занимал уже видное место и имел имя в специальной литературе. Разница в годах и несомненное интеллектуальное превосходство старшего брата отозвались на их отношениях: никогда, с самых ранних лет, между ними не было настоящей близости.

сти. Младший несколько завидовал старшему, но втайне гордился им и питал в нему большое уважение.

«Все-таки хоть бы черкнул словечко...»

У самого дома Кароев встретил знакомого офицера. Когда-то были дружны, но давно не виделись. Говорили про него, что он состоит в какой-то «боевой группе»... Во всяком случае, нигде не работает и ведет таинственный образ жизни. Поздоровались.

— А у меня к вам дело...

— Милости просим наверх.

— Я заходил уже на вашу квартиру. Там — гости, а мне надо бы поговорить с глазу на глаз. Зайдемте за угол, в брассери.

Они сели за столик, подальше от людей, и потребовали пива.

— Скажите, пожалуйста, у вас нет ли родственника или однофамильца, Сергея Кароева — за границей или в советской России?

Кароев насторожился.

— Нет. А почему вы спрашиваете?

— Объявился тут латыш один подозрительный. Мы понаблюдали за ним и раздобыли преинтересные сведения: во-первых, он не латыш, а русский — Сергей Кароев, а во-вторых...

Он порывлся в своем портфеле.

— А во-вторых, нам удалось изъять из его чемоданчика две явки в сов. учреждения и этот вот предмет...

Он положил на стол фотографию: группа людей, одетых в форму ГПУ, в веселых непринужденных позах. Двое — в штатском. Один из них — с усами и тупой бородкой...

Кароев побледнел. Перехватило горло.

«Брат»...

Офицер не мог заметить, какое впечатление произвела фотография на его собеседника, потому что в тот же момент чья-то рука хлопнула его по плечу, и между ними просунулась пьяная голова инвалида.

— Здорово, молодцы!

Офицер брезгливо отодвинул руку инвалида и торопливо спрятал карточку в портфель. Процедил сквозь зубы:

— Черт знает что за амикошонство!..

И, прощаясь тотчас же с Кароевым, спросил:

— Никого не признали?

— Нет.

Инвалид схватил за руку Кароева и в пьяном волнении, заплетающимся языком говорил:

— Друг, наплюй мне в рожу — я подлец! Я н-негодяй! Все было готово — понимаешь? Н-на углу бульвара Ля-Тур-Мобур, когда будет возвращаться от этого от Бриана. Бац! А я с утра н-напился и н-не пошел. И р-револьвер пропил, и все...

... Н-но я н-не мог удержаться пон-нимаешь? Н-не мог! Та-кой удар — Николай Константинович н-наш!.. Ведь — как отец родной... Такой удар!..

Кароев опомнился.

— Какой удар? Ты о чем?

— Н-не знаешь?..

Он порывлся в кармане и бросил на стол помятый номер газеты. Под рубрикой «Террор в советской России» напечатано было:

«Из Москвы сообщают:

При переходе советской границы был задержан подозрительный человек, оказавшийся белогвардейским полковником Стебелем. Расследование выяснило участие его в подготовлявшемся крупном противоправительственном выступлении на Украине. Постановлением коллегии ГПУ Стебель приговорен к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение».

Кароеву показалось, что вокруг него зашумели заводские молоты, что пол качнулся, — он теряет равновесие и падает в пропасть. Схватился за стол, чтобы не упасть.

А ослабевший инвалид уныло тянул:

— Как я теп-перь пок-кажусь ему на глаза...

Кароев крикнул:

— Кому? — так громко, что встревожились посетители кафе, и из-за стойки выглянул хозяин. Инвалид вздрогнул, недоумевающе поднял глаза.

— Кому?! Латышу!..

.....

Прошел час. Они все еще сидели за столиком, заляпанным, запачканным пеплом, и пили без конца, мешая пиво с аперитивами. Кароев — с мокрым лбом, с налитыми кровью глазами, говорил, стуча кулаком по столу:

— Люди зверями стали! Ты понимаешь — жить страшно...

* * *

...Дома жены не было. Кароев долго зажигал газ непослушными руками: ломались спички, и пьяно кружилась, уплывая из рук, лампа. Манечка спала. На большой кровати сиротливым шариком чернела ее головка.

Первое, что бросилось в глаза Кароеву, были «стальные сапожки», аккуратно сложенные на стуле. Он застыл, не сводя с них глаз. Потом медленно потянул к ним руки, ощупал и поднес к лицу. Холодные, поблескивающие — немые свидетели... Кароев схватил рукодельные ножницы жены, и, торопясь и срываясь, стал резать ремешки и кожаные части. Пытался сломать стальные полоски, но они не поддавались... Он бросил аппараты на землю и стал топтать их ногами...

Из соседней комнаты громко стучали в стену.

Кароев с ненавистью взглянул на изуродованные обломки, отшвырнул их ногою в угол и вдруг оглянулся...

На кровати сидела разбуженная Манечка, свесив тонкие худые ножки с несошедшими еще сизыми рубцами. Она испуганно глядела то на отца, то на обломки «сапожек» и жалко плакала. Кароев провел рукой по лбу, будто отгоняя наваждение; весь осел, прильнул к маленьким ножкам и, тяжело дыша, говорил:

— Не плачь, моя доченька... Проклятые! Оплели, испоганили... Но не будет! Не сломите! Мы устоим, вы — сгинете... Не плачь, родная. Потерпим еще немного: будут у тебя новые сапожки и поедем с тобой в Россию...

Capbreton,
1927

СОДЕРЖАНИЕ

Кручинин А. С. «Нужно писать правду...» (Военный историк и писатель *А. И. Деникин*) 5

Старая армия

Том первый

От автора	93
Управление и командование	95
Начальники и подчиненные	116
В Военной Академии	134
В Казанском округе	169
Армия и общественность	190
Армия и первая революция	207

Том второй

В Юнкерском училище	227
В артиллерийской бригаде	284
«Казарма»	330

Офицеры

Пролог	385
Враги	402
Исповедь	415
Жизнь	430
Этапы	459
«Стальные сапожки»	467





По тем или другим
причинам русское
общество мало
знало и мало
интересовалось
своей армией.

А между тем полутора-
миллионная военная
среда, помимо
своеобразного
колоритного быта,
представляла не малый интерес
и с точки зрения общественно-
государственной.

А. И. Деникин



ISBN 5-8112-1411-1



9 785811 214112

АЙРИС  ПРЕСС